

ISSN 0130-7673

ЖИВОБЫИ
МИИР

7



1988

7

ЖИВОБЫИ
МИИР

1988



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1988 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВЛАДИМИР ЦЫБИН — Счет годов, стихи	3
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Дождь на реке, стихи	6
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ — Сомнамбула в тумане, рассказ	8
НОННА СЛЕПАКОВА — Мгновенья бытия, стихи	27
ВЛАДИМИР ОРЛОВ — Аптекарь, роман. Окончание	31
ЛЕОНАРД ЛАВЛИНСКИЙ — Стихотворения	158
Ю. ДАНИЭЛЬ — Дом, стихи	160
ПУБЛИЦИСТИКА	
АНДРЕЙ МОНИН — Застойные зоны	162
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ЕВГЕНИЙ ГНЕДИН — Себя не потерять... Подготовка текста и публикация Н. М. Гнединой	173
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
С. С. АВЕРИНЦЕВ — Византия в Русь: два типа духовности. Статья первая	210
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА — «Чаша дружбы». Из «Притчи о Моцарте»	221
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	243
О. Мраморнов. Блажен, кто помнит...	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
Б. Рунин. Трагедия страха. Марина Новикова. Цыганский кич или цыганский вопрос? Г. Померанц. Голос другой культуры	
<i>Политика и наука</i>	257
В. Калинин. В стороне от реальности. Петр Черкасов. Конец Романовых.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
Г. ШАКУРОВ — Социоцентризм или социализм?	263
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Л. Карасев.— Александр Нежный. Бумажное дело. Повесть, очерки. ♦	
Вяч. В. Иванов.— Песни былого. Из еврейской народной поэзии ♦	
Е. Хомутова.— Ладо Гудашвили. Книга воспоминаний. Статьи. Из переписки. Современники о художнике	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ВЛАДИМИР ЦЫБИН



СЧЕТ ГОДОВ

Барачная баллада

Длинный дом из длинных досок,
пол — щелястый, верх — течет.
Как на шумный перекресток,
собрало сюда народ:
кого — горе, кого — чистка,
кто — без паспорта,
кто — так,
голь, барачная прописка,
полстраны — и все барак.

Вечер серый и невзрачный
встал над крышею барачной.
За картонною стеной
Жорка ссорится с женой,
вдох и слезы за картоном,
свет — соломой из щелей.
— Говорят, что за кордоном
и темней и тяжелей...

За другой — из школьных карт —
у Сергея и Ивана
разыгрались два баяна
для девчат, войдя в азарт.

— Гармонист, а ну разà,
гармонист, жми на баса.—
Песня дрогнула, сама
задышала в планки.
Воркута да Колыма —
не за так, по пьянке.
— Срок за что тянул?

— За плен.

— Я — без толку, ни за хрен.

А за третьей — из газет —
спит с пустой бутылкой дед,
на столе одни огрызки,
кружка, порванный кисет.
Ни семьи и ни прописки
на земле у деда нет.
Комендант, его земляк,
пожалел, хоть взял трояк.

Слышу, словно из тумана,
отходя с трудом ко сну,
дедов храп
и два баяна,
Жорку, Жоркину жену...

Нет исхода моей силе.
Я боюсь запить с тоски.
Над барачною Россией
просыпаются гудки.

Где-то там, вдали, во мраке
день мой, боль моя, страда:
строят новые бараки —
начинают города.

Смерть Марфы Посадницы

Дорогою на пути опасном и трудном, при побеге из монастыря, настигла ее болезнь, и за нею приключилась и смерть...

Народное предание.

По весне, отяжелев от холодов,
белый ветер набегаёт с Соловков.
Перед Марфой расстилается, как дым,
путь на Волхов по болотинам лесным.
Под монашьям клобуком несёт, дрожа,
по лесам живую душу мятежа.

Слаб ей Новгород тайком своих гонцов —
господин и государь пяти концов:

«На три поля наборонено беды,
на три озера наронено слезы.
Слезы выжжем, разбороним мы напасть —
лучше мертвыми, но вольными пропасть!..»

Вьюга застит, вьюга стесывает путь,
хворь примерзла к старым жилам — не шагнуть,
три погони, как три смерти, за спиной,
три погибели — ей хватит и одной.

Как ходила, как носила красоту,
на помин швыряла деньги в босоту,
две свечи в руках горели — два луча:
сыну Дмитрию и Федору — свеча.

«По лесам свою кручину разнесу —
все деревья тут же высохнут в лесу;
в чисто поле брошу ветру — размети!
Не останется бороздки на пути.
Погружу ее я в озеро — тони!
Зарастет травкою озеро в тени.
Не по силушкам дана работа мне,
не по размыслу забота на уме!..»

Волчьим оком светит дальнее село,
замело ее снегами, занесло,
но дрожал в ее зрачке, оледенясь,
под хоругвею Иван, великий князь...

По весне, отяжелев от холодов,
белый ветер набегаёт с Соловков.
И легла на грудь могильная плита
и распятие в сердце белого креста.

На пять ветров, на пять далей,
как копье,
вечевое имя брошено ее,
на три озера накоплено слезы,
на три века наборонено грозы...

Лица стариков

Век двадцатый слишком был суров,
ранами зияют годовщины.
Все же я всегда сказать готов,
глядя на тяжелые морщины:
как прекрасны лица стариков!

Время в них само воплощено,
счет годов правдивый, безысходный.
Не вините их за домино,
за простой их облик старомодный.

Вдруг блеснут со старенькой скамьи
в терпеливом старческом прищуре
те, почти забытые, бои
на высоких сопках на Амуре.

И в изломе праведном морщин
видишь ты и горести и драмы:
эта — Магадан,
а та — Берлин,
годы на лицо легли, как шрамы.

Возле дома желтая скамья,
он с женою — вот и вся семья.
Сыновья ушли, не уцелели.

Вон какие были времена,
путь какой был трудный — не сробели.
Я бы всем им выдал ордена —
слишком их ушло на «юбилеи».

Я б хотел им молодость вернуть,
дал бы все, что надо, не по крохе,
чтоб не тихо жили, как-нибудь
скромные создатели эпохи.



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН



ДОЖДЬ НА РЕКЕ

Пассажи́р

Не затворяя всех дверей,
Щадя свою былую рану,
Других, наверно, не дурей,
Он шел к вагону-ресторану.

Состав швыряло на путях,
Порой раскачивало косо,
И очень близко — тах-тах-тах —
Гремели в тамбуре колеса.

Он сел у самого окна.
Была ни шаткой и ни валкой

Равнина возле полотна,
Как бы раскатанная скалкой.

Еще с времен библейских, с тех,
Где ни двора и ни овина,
Та неразгаданная степь,
Та азиатская равнина.

Что различал он? Чье жильё
Или кочевников стоянку,
Пока он пиво пил свое,
Пока хлебал свою солянку?

Окоп

Пуля около виска
Просвистела птичкой шибкою.
Струйка тонкого песка
Прошуршала за обшивкою.

Здесь привычный быт суров.
Настоящие окопники
Говорят почти без слов,
До рассказов не охотники.

Жизнь со множеством примет
Измеряют точной мерою.
Дождик мелкий, небо серое —
Над окопом крыши нет.

Плащ-палатка, просеченная
Сотней дырочек и дыр,
Прикрывает этот мир,
Это место обреченное.

Тротуа́р

Безногий грузный инвалид
По знаменитому бульвару,
Верней сказать, по тротуару
Вниз на колесиках гремит.

За ним другой — в шальной тоске,
В хмельной печали и гордыне.
Они проносятся... Так ныне
Мальчишки ездят на доске.

Музыка из окна

Погода серая
С утра и до темна.
Система стерео
Играет из окна.

Вот так в тридцатые,
И тоже из окон,
Хрипел, досадуя
На что-то, патефон.

Свет, словно оспины,
Тревожил тротуар.

Похожий, собственно,
Звучал репертуар.

И те же маечки
И кофточки в окне.
И те же мальчики
И девочки — вполне.

Как скрепкой сколоты
С судьбою эти дни,
Где были молоды —
Но мы, а не они.

Охота на жуков

Вечер заступил в ночную смену...
Странный звук.
Это смачно шмякнулся о стену
Майский жук.

Всей своею тяжестью тупою —
При звезде.
А мальчишки маленькой толпою:
— Где он? Где?

Но уже другой вдоль старой дачи
Мимо прет,
И его сбивают при удаче
Кепкой, влет.

— Майский жук — законченный вредитель,
Гад, кретин! —
Говорит заждавшийся водитель
«М-1».

...Принадлежность дачного уюта —
В окнах свет.
И своя охотничья минута —
Слаще нет.

* * *

Маленький этот поселок,
Замкнутая среда.
Грозного мира осколок,
Как-то попавший сюда.

Ни огонька за рекою.
Впрочем, отсутствует мост.
Господи, все под рукою:
Школа, работа, погост.

* * *

Прошло всего лишь три десятка лет,
Как бы подобных мигу,
И никаких препятствий больше нет
Печатать эту книгу.

А ведь кому-то в прежнее житье
Стояла костью в горле.
Но отошли гонители ее,
Хулители померли.

А те, что сохранились до сих пор
Из той суровой были,
Про жесткий отзыв свой и приговор
Почти уже забыли.

Дождь на реке

Луг позабыл о косьбе.
Двор аж по щиколку залит.
Грустно в просторной избе,
Где уже нету хозяев.

Вспахана ветром река,
И при рассеянном свете

Видятся издалека
Длинные борозды эти.

И только дождик в окне,
Что моросит поневоле,
Может засеять вполне
Это текущее поле.

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ

★

СОМНАМБУЛА В ТУМАНЕ

Рассказ

Земную жизнь пройдя до середины, Денисов задумался. Задумался он о жизни, о ее смысле, о бренности своего земного, наполовину уже использованного существования, о страхах ночных, о гадах земных, о красивой Лоре и некоторых других женщинах, о том, что лето нынче сырое, о далеких странах, в существование которых ему, впрочем, не очень-то верилось.

Особенное сомнение вызывало существование Австралии. В Новую Гвинею, в ее мясистую, с писком ломающуюся зелень, в душные болота и черных крокодилов он еще готов был поверить: странное место, но пусть. Допускал он также цветные мелкие Филиппины, голубоватую пробку Антарктиды допускал, — она висела прямо над его головой, рискуя отвалиться и засыпать колотыми кубиками айсбергов. Валяясь на диване с твердыми допотопными валиками, с просевшими пружинами, покуривая, поглядывая Денисов на карту полушарий и не одобрял расположения континентов. Ну, наверху еще ничего, разумно: тут суша, тут водичка, ничего. Парочку морей бы еще в Сибирь. Африку можно бы ниже. Индия пусть. Но внизу плохо все устроено: материки сужаются и сходят на нет, острова рассыпаны без толку, впадины какие-то... А уж Австралия совсем ни к селу ни к городу: всякому ясно, что тут по логике должна быть вода, так нате вам! Денисов пускал дым в Австралию, разглядывал потолок в разводах сырости: выше этажом жил капитан дальнего плавания, белый, золотой и прекрасный, как мечта, летучий, как дым, нереальный, как синие южные моря; раз или два в год он материализовался, являлся домой, принимал ванну и заливал квартиру Денисова со всем, что в ней находилось, а в ней ничего не находилось, кроме дивана и Денисова. Ну, еще на кухне холодильник стоял. Денисов как человек деликатный не решался спросить: в чем дело? — тем более что не далее как на следующее утро после катаклизма великолепный капитан звонил в дверь, вручал конверт с парой сотен — на ремонт — и твердой походкой уходил прочь: в новое плавание.

Раздраженно размышлял Денисов об Австралии, рассеянно — о Лоре, невесте. Все уже было, в общем-то, решено, и не сегодня завтра он собирался стать ее четвертым мужем, не потому что, как говорится, от нее светло, а потому что с ней не надо света. При свете она говорила без умолку и что попало.

Очень многие женщины, говорила Лора, мечтают иметь хвост. Сам подумай: во-первых, как это красиво — толстый пушистый хвост, можно полосатый, скажем, черный с белым, мне это пошло бы, и вообще, на Пушкинской я видела такую шубку, которая к такому хвосту в самый раз. Короткая, рукавчик широкий, шалевый воротник. Можно с черной юбочкой, вроде той, что Катерина Иванна сшила Рузанне, но Рузанна хочет продать, так представляешь — если бы был хвост, шубу можно вообще без воротника: обмотала шею — и тепло. Потом, если, допустим, в театр: простое открытое платье, и сверху — собственный

мех. Шикарно! Во-вторых, очень удобно: в метро можно держаться хвостом за поручни, станет жарко — обмахиваться, а если кто пристанет — хвостом его по шее! Ты хочешь, чтобы у меня был хвост?.. Ну как это: все равно?

Эх, красавица, мне бы твои заботы, тосковал Денисов.

Но Денисов знал, что он и сам не подарочек — с прокуренным своим пиджаком, с тяжелыми мыслями, с ночным сердцебиением, с предрассветным страхом — умереть и быть забытым, стереться из людской памяти, бесследно рассеяться в воздухе.

До половины пройдена земная жизнь, впереди вторая половина, худшая. Вот так прошелестит Денисов по земле и уйдет, и никто-то его не помянет! Каждый день помирают Петровы и Ивановы, их простые фамилии высекают на мраморе. Почему бы и Денисову не задержаться на какой-нибудь доске, почему не украсить своим профилем Орехово-Борисово? «В этом доме проживаю я...» Вот он женится на Лоре и помрет — она же не решится обратиться туда, где это решают, увековечивать, нет ли... «Товарищи, увековечьте моего четвертого мужа, а? Ну, това-арищи...» «Хо-хо-хо...» Ну в самом деле, кто он такой? Ничего не сочинил, не пропел, не выстрелил. Ничего нового не открыл и именем своим не назвал. Да ведь и то сказать, все уже открыто, перечислено и поименовано, все, и живое и мертвое, от тараканов до комет, от сырной плесени до спиральных рукавов зауменных туманностей. Вон какой-нибудь вирус — дрянь, дешевка, от него и курица не чихнет, так нет, уже пойман, назван, усыновлен парочкой ученых немцев — смотри сегодняшнюю газету. Призадумайся — как они его делают на двоих? Небось разыскали его, завалившее такое дрянцо, в немытом стакане и обмерли от счастья — и ну толкаться, кричать: «Мое!» «Нет, мое!» Разбили очки, порвали подтяжки, отмузили друг друга, запыхались, присели со стаканом на диван, обнялись: «Давай, брат, пополам!» «Давай, что уж с тобой поделаешь...»

Люди самоутверждаются, цепляются, не хотят уходить — это так естественно! Скажем, записывают концерт. Замер зал, буйствует рояль, мелькают клавиши, словно взбесившаяся пастила, — бегом, бегом, все на одном месте, все круче; свивается сладостный смерч, сердце не выдержит, оторвется, трепещет на последней нитке, и вдруг: кхэ. Кхе-ррр-кхм. Кху-кху-кху. Кашлянул кто-то. И хорошо так, крепенько кашлянул. И уж всё теперь. Концерт с сочным гриппозным клеймом родился, размножился миллионами черных солнышек, разбежался во все мыслимые стороны. Светила погаснут, и обледенеет земля, и планета морозным комком вечно будет нестись неисповедимыми звездными путями, а кашель ловкача не сотрется, не пропадет, навеки высеченный на алмазных скрижалях бессмертной музыки, — ведь музыка бессмертна, не так ли? — ржавым гвоздем, вбитым в вечность, утвердил себя находчивый человек, масляной краской расписался на куполе, плеснул серной кислотой в божественные черты.

Н-да.

Пробовал Денисов изобретать — не изобреталось, пробовал сочинять стихи — не сочинялось, начал было труд о невозможности существования Австралии: сварил себе крепкого кофе и засел на всю ночь к столу. Работал хорошо, с подъемом, а под утро перечел — и порвал, и плакал без слез, и лег спать в носках. Вскоре после этого он и повстречал Лору, и был пригрет и выслушан, и многожды утешен как у себя в Орехове-Борисове, где на них, конечно, пролился золотым дождем капитан, опять отдраивший кингстоны, так и в ее безалаберной квартирке, где всю ночь в коридоре что-то шуршало.

— Что это, — тревожился Денисов, — не мыши ли?

— Нет, нет, спи, Денисов, это другое. Потом скажу. Спи!

Что делать, он спал, видел во сне гадости, проснувшись, обдумывал увиденное и вновь забывался, а утром пил кофе на кухне вместе

с благоухающей Лорой и ее вдовым папой, отставным зоологом, кротчайшим голубоглазым старичком, немного странненьким, — а кто не странненький? Папина борода была белее соли, глаза — ясней весны; тихий, скорый на светлые слезы, любитель карAMEЛЕК, изюма, булочек с вареньем, ничем не был он похож на Лору, шумную, взволнованную, всю черно-золотую. «Понимаешь, Денисов, папа у меня чудный, просто голубь мира, но у меня с ним проблемы, потом расскажу. Он такой чуткий, интеллигентный, знающий, ему бы еще работать и работать, а он на пенсии — недоброжелатели подсидели. Он там у себя в институте делал доклад о родстве птиц с рептилиями или там с крокодилами — ну ты меня понял, да? — бегают и кусают; а у них ученый секретарь был по фамилии Птицын, так он принял на свой счет. Они вообще в этой зоологии постоянно бдят и высматривают идеологическую гниль, потому что еще не решили, человек это что — обезьяна или только так кажется. Вот папунчика и поперли, сидит теперь дома, плачет, кушает и популяризует. Он пишет эти, знаешь, заметки фенолога для журналов, в общем, ты меня понял. Про времена года, про жаб, зачем петух кукарекает и в связи с чем слон такой симпатичный. Он хорошо пишет, не шалай-валяй, а как образованный человек плюс лирика. Я ему говорю: пуськин, ты у меня Тургенев, — он плачет. Ты, Денисов, люби его, он заслуживает».

Опустив голову, грустный, покорный, выслушивал белый папа Лорины монологи, промакивал платком уголки глаз, уходил мелкими шажками в кабинет. «Ч-ш-ш-ш,— говорила Лора шепотом,— тише... Пошел популяризовать». В кабинете тишина, запустение, высыхают полки, пылятся энциклопедии, справочники, пожелтевшие журналы, пачки с оттисками чьих-то статей — все ненужное, слежавшееся, стывшее. В уголку некрополя, как одинокая могилка, папин стол, стопка бумаги, экземпляры детского журнала: папа пишет для детей, папа втискивает свои многолетние знания в неразвитые пионерские головки, папа приноравливается, садится на корточки, становится на четвереньки, — в кабинете возня, восклицания, всхлипы, треск разрываемой бумаги, Лора выметает клочки, ничего, сейчас успокоится, сейчас все получится! Сегодня у папы волк, папа борется с волком, гнет его, ломает, втискивает в подбирающие рамки. Денисов рассеянно просматривает выметенное и порванное:

«Волк. Канис люпус. Пищевой рацион.

Пищевой рацион волка разнообразен.

Волк имеет разнообразный пищевой рацион: грызуны, домашний скот.

Разнообразен пищевой рацион серого: тут тебе и грызуны и домашний скот.

До чего ж разнообразен пищевой рацион волчка — серого бочка: тут тебе и зайчики и кудрявые овечки...»

Ничего, ничего, папуленька, радость моя, пиши; все пройдет! Все будет хорошо! Это Денисова разрушают сомнения, червивые мысли, чугунные сны. Это Денисов страдает, словно от изжоги, целует Лору в темечко, уезжает к себе домой, заваливается на диван, под карту с полушариями, носками — к Огненной Земле, головой — под Филиппины, ставит пепельницу себе на грудь, окуривает холодные горы Антарктиды — ведь кто-то сидит же там сейчас, ковыряется в снежку во имя большой науки, — вот вам дымку, ребята, погрейтесь; отрицает Австралию, ошибку природы, слабо мечтает о капитане: пора бы протечь, деньги-то все прожиты, — и снова о славе, о памяти, о бесмертии...

Он видел сон. Купил он будто хлеба — как обычно, батон, круглый, бубликов десяток. И несет куда-то. В каком-то он будто бы доме. Может быть, учреждение — коридоры, лестницы. Вдруг трое — мужчина, женщина, старик, только что спокойно с ним разговаривавшие, — кто что-то объясняет, кто советы дает, как пройти, — увидели хлеб и как-

то дернулись, словно бы бросились мгновенно и тут же сдержались. И женщина говорит: «Простите, это у вас хлеб?» — «Да вот купил...» — «А вы не дадите нам?..» Он смотрит и вдруг видит: да это блокадники. Они голодные. Глаза у них очень странные. И он сразу понимает: ага, они блокадники, значит, и я блокадник. Значит, есть нечего. И разом наваливается жадность. Только что хлеб этот был пустяк, ерунда, ну купил и купил — и вдруг сразу жалко стало. И он говорит: «Ну-у, я не знаю. Мне самому надо. Не знаю, не знаю». А они молчат и смотрят прямо в глаза. И женщина дрожит. Тогда он берет один бублик, тот, где мака поменьше, разламывает на части и раздает, но один кусок от этого бублика все-таки берет себе, придерживает. Руку как-то странно изгибает — наяву так не согнешь — и придерживает. Неизвестно зачем, ну просто... чтобы не всё уж так-то сразу... И тут же уходит от них, от этих людей, от рук их протянутых, и вдруг он уже у себя дома и понимает: какая же, к черту, блокада? Никакой блокады. Да мы же вообще в Москве живем, за семьсот километров — с чего это вдруг? Вон и холодильник полон, и сам я сыт, и за окнами люди довольные идут, улыбаются... И сразу совестно, и в сердце нехорошая тошнота, и батон этот пухлый тяготит, и девять бубликов этих как звенья распавшей цепи, и думает он: ну вот, зря пожадничал! Что это я? Свинья какая... И кидается назад: где эти, голодные-то? А их уже нет нигде, всё, проехали, милый друг, упустил, ищи-свищи, все двери закрыты, время приоткрылось и захлопнулось, иди себе дальше, живи, живи, можно! Да пустите же!.. Откройте! Так все быстро, я даже ужаснуться не успел, я был не готов! Но я же был просто не готов! Он стучит в дверь, колотит ногами, пинает каблуком, дверь распахивается, там столовая, кафе какое-то, выходят спокойные едоки, утирают сытые рты, на тарелках — макароны, котлеты расковыренные... Тенью прошли те трое, заблудившиеся во времени, растворились, рассыпались, нет их, нет, не будет никогда, голое дерево качает ветвями, отражаясь в воде, низкое небо, горящая полоса заката, прощай.

Прощай! И он всплывает на своей постели, на диване, он всплыл, он скомкал простыню ногами, он ничего не понимает: что за глупость, в самом деле, зачем? И ему бы немедленно заснуть опять, и все бы прошло, и забылось к утру, и стерлось, как стираются слова на песке, на морском шумящем берегу, — так нет же, пораженный увиденным, он зачем-то встал, отправился на кухню и, бессмысленно глядя перед собой, съел бутерброд с котлетой.

А был темный июльский рассвет, самое его начало, и птицы еще не пели, и по улице никто не проходил, и для теней, привидений, суккубов и фантомов самое было подходящее времечко.

Как они сказали-то? «Дайте нам» — так, что ли? Чем больше он о них думал, тем яснее видел детали. Как живые, честное слово. Нет, хуже, чем живые. У старика, например, появилась и упорствовала, настойчиво воплощаясь, шея, густо-коричневая, морщинистая шея, темная, словно кожа колченого сига. Ворот белесой, выцветшей из синего, рубахи. И пуговица костяная, наполовину обломанная. Лицо условное — старик, и все, — но шея, ворот, пуговица так и стояли перед глазами. Женщина, видоизменяясь, пульсируя так и сяк, сложилась в худую усталую блондинку. На тетю Риту покойную чем-то похожа.

А мужчина был толстый.

Нет, нет, они вели себя некорректно. Эта женщина, как она спросила: «Это у вас что, хлеб?..» Как будто не видно! Да, хлеб! Надо было не в авоську, а в сумку или хотя бы бумагой прикрыть. И что это: «Дайте нам»? Ну что это? А если у него самого семья, дети? Может быть, у него десять человек детей? Может быть, он детям нес, откуда они знают? Неважно, что детей нет, это в конце концов его дело. Купил — значит, надо было. Спокойно себе шел. И вдруг: «Дайте нам!» Ничего себе заявленище!

Что они пристали? Да, он пожалел хлеба, было у него такое движение, верно, но бублик-то он дал, а сдобный, дорогой, румяный бублик, между прочим, лучше, ценнее черного хлеба, если уж на то пошло, это во-первых; а во-вторых, он же сразу опомнился, бросился назад, хотел все поправить, но все куда-то делось, сместилось, искажилось — что ж тут поделаешь? Честно, ясно, в полном сознании своей вины он искал их, ломился в двери, что ж поделаешь, если они не стали ждать и уплыли? Им надо было стоять и не двигаться, держаться за перила — там были перила — и спокойно дожидаться, пока он прибежит к ним на помощь. Десять секунд не могли потерпеть, тоже мне!.. Нет, не десять, не секунд, там все иначе, и место скользит, и время валится вбок рваной волной, и все это крутится, крутится; там одна секунда стоит большая, медленная, гулкая, как заброшенный храм, другая — мелкая, юркая, быстрая, — чиркнув спичкой, сжигает тысячу тысяч лет; шаг в сторону — и ты в чужой вселенной...

А мужчина этот был, пожалуй, неприятней всех. Во-первых, он был очень полный, неряшливо полный. И держался чуть в стороне, и смотрел хоть и отрешенно, но с неудовольствием. Он, кстати, не стал объяснять Денисову дорогу, он вообще не принял в разговоре никакого участия, но бублик взял. Ха, он бублик-то взял, первым сунулся! Он даже старика рукой толкнул! А сам толще всех! И рука у него такая белая, будто детская, с перетяжкой, и веснушки мелким пшеном по руке, и нос крючком, и голова яйцом, и очки! Вообще противный тип, и непонятно даже, что он там делал, в этой компании! Он явно был не с ними, он просто подбежал и присусежился, увидел, что раздают, — ну и... Женщина эта, тетя Рита... Кажется, она была самая голодная из троих... Ну что ж, я ведь дал ей бублик! Да это просто роскошь в их положении — такой свежий, румяный кусина... О боже, в каком положении?! Перед кем я оправдываюсь? Не было их, не было! Ни здесь, ни там, нигде! Смутное, бегущее ночное видение, струение воды по стеклу, мгновенная спазма в глубоком тупике мозга, лопнул ничтожный, ненужный сосудик, булькнул гормон, ёкнуло в мозжечке, в каком-нибудь турецком седле — как они там называются, эти нехоженые закоулки?... Нехоженые закоулки, мощеная мостовая, мертвые дома, ночь, качается фонарь, метнулась тень — летучая ли мышь, ночная птица, или просто упал осенний лист? Вдруг все трепещет, отсыревает, плывет и вновь останавливается — пронесся и исчез короткий холодный дождь.

Где я был?

Тетя Рита. Странных спутников подобрала она к себе в компанию, тетя Рита! Если это, конечно, она.

Нет, не она. Нет. Тетя Рита была молодая, у нее была другая прическа: надо лбом валик, волосы светлые, прозрачные. Она вертелась перед зеркалом, примеряла кушак и пела. А еще что? Да ничего больше! Просто пела!

Замуж, должно быть, собиралась.

А потом она исчезла, и мать велела Денисову никогда больше о ней не спрашивать. Забыть. Денисов послушался и забыл. А пудреницу, которая от нее осталась, стеклянную, с фукалкой, с синей шелковой кистью, он променял во дворе на перочинный ножик, и мать побила его и плакала ночью — он слышал. И тридцать пять лет прошло. Зачем же его мучить?..

При чем тут блокада, хотел бы я знать? Блокада к тому времени давно уж кончилась. Начитаешься на ночь всякого...

А интересно, кто эти люди. Старик какого-то колхозно-рыбачьего вида. Как он туда попал?.. А толстяк этот — он что, тоже мертвый? Ох, как он, должно быть, не хотел умирать, такие умирать боются. Визгу, наверно, было! А дети кричали: папа, папа!.. За что он умер?

Товарищи, но почему же ко мне? При чем тут я? Я, что ли, уби-вал? Это не мои сны, я ни при чем, я-то не виноват! Прочь, товарищи! Пожалуйста, прочь!

Господи, как тошно от себя самого!..

Лучше он будет думать о Лоре. Красивая женщина. И что в ней хорошо, так это то, что она, по всем признакам сильно любя Денисова, совершенно ему не докучает, не требует непрерывного внимания, не покушается на его образ жизни и вообще гуляет сама по себе, шатаясь по театрам, подпольным вернисажам, саунам, пока Денисов, напряженно мысля, чахнет на своем диване и доискивается путей к бессмертию. Какие у нее еще там проблемы с папой? Папа хороший, смиренный, папа что надо, папа при деле. Сидит в своем кабинетике, ни во что не вмешивается, грызет шоколадку, статейки сочиняет впрок на зиму: «Любит лесной хозяин полакомиться многокостянковыми и покрытосеменными... А как задует сиверко, как распотешится лихое ненастье — резко замедляется общий метаболизм у топтыгина, снижается тонус желудочно-кишечного тракта при сопутствующем нарастании липидной прослойки. Да не страшен минусовый диапазон Михайло Иванычу: хоть куда волосняной покров, да и эпидермис знатный...» О, вот бы так, медведем, забиться в нору, зарыться в снега, зажмуриться, оглохнуть, уйти в сон, пройти мертвым городом вдоль крепостной стены, от ворот до ворот, по мощеной мостовой, считая окна, сбиваясь со счета: это не горит, и это не горит, и вон то, и то никогда не зажжется,— только совы, и луна, и остывшая пыль, и скрип двери на ржавых петлях... ну куда они все подевались? Тетя Рита, вот хороший домик, маленькие окна, лестница на второй этаж, цветы на подоконнике, фартук и метла, свеча, кушак и круглое зеркало, живи здесь! Выглядывай по утрам из окошка: старик в синей рубахе сидит на лавочке, отдыхает от долгой жизни, веснушчатый толстяк несет зелень с базара, улыбнется, помашет рукой, а там точильщик точит ножницы, а там выбивают ковры... А вон Лорин папа едет на велосипеде, крутит педали, собаки бегут за ним вслед, путаются под колесами.

Лора! Тошно мне, мысли давят, Лора, приезжай, расскажи что-нибудь! Лора? Алло!

Но Лора не в силах добраться до Орехова-Борисова, Лора сегодня страшно устала, прости, Денисов, Лора ездила к Рузанне, у Рузанны что-то с ногой, кошмарный ужас. Она показывала врачу, но врач ничего не понимает — ну, как всегда,— а вот есть такая Виктория Кирилловна, так она посмотрела и сразу сказала: с вами, Рузанночка, сделано. А когда делают, то всегда на ноги. И можно даже узнать, кто эту порчу напустил, но это, сказала Виктория, вопрос второстепенный, потому что в Москве тысячи ведьм, а сейчас главное — попробовать снять, и прежде всего нужно окурить квартиру луковым пером, все углы, так что мы ходили и окуривали, а потом Виктория Кирилловна просмотрела все цветы в горшках и сказала: эти ничего, можно, но вот этот — вы что, с ума сошли, дома держать? — немедленно выкинуть. Рузанна сказала, что она знает, кто ей вредит, это бабы на работе. Она купила себе третью шубу, пришла на работу и сразу почувствовала, что атмосфера напряженная; это элементарная зависть, и даже непонятно, к чему такие изменные чувства; ведь в конце-то концов, говорит Рузанна, шубу она, если хотите, покупает как бы не себе, а другим, для повышения эстетического уровня пейзажа. Ведь ей, Рузанне, изнутри шубы все равно ничего не видно, а им всем, которые снаружи, становится интереснее и разнообразнее на душе. И причем бесплатно. Ведь чуть какая-нибудь художественная выставка, Мону Лизу привезут или там Глазунова, они же по пять часов давятся в очередях и еще свой кровный рубль платят. А тут Рузанна заплатила свои деньги и пожа-луйста — искусство с доставкой на дом! — так они же еще и недо-

вольны. Просто мракобесие какое-то. И Виктория Кирилловна сказала: да, это мракобесие — и велела Рузанне лечь на кровать головой на восток. А Рузанна показала ей фотографию дачи, которая у них с Арменом на Черном море, чтобы Виктория сказала, всё ли там в порядке, и Виктория внимательно посмотрела и говорит: нет, не всё. Дом тяжелый. Очень тяжелый дом. И Рузанна расстроилась, потому что столько в эту дачу средств вложено, неужели все перестраивать? Но Виктория ее успокоила, она сказала, что она выкроит время, приедет к ним на дачу вместе с мужем — он тоже обладает какими-то удивительными способностями, — поживет там и посмотрит, чем можно помочь. Она спросила Рузанну, близко ли от них пляж и рынок, потому что это источники отрицательной энергии. Оказалось, совсем рядом, так что Рузанна еще больше расстроилась и просила Викторию помочь безотлагательно, просто умоляла немедленно вылететь на Кавказ и по возможности эти источники экранировать. И Виктория, золотая душа, берет с собой фотографию Рузанниной ноги, чтобы там, на юге, ее лечить.

А Лоре она сказала, что у нее энергетический пучок совершенно расфокусирован, позвоночный канал засорен, и точка Инь искрит непрерывно, и что это может плохо кончиться. Потому что мы живем у телебашни и наши с папой поля дико искривлены. А про папин случай — с папой у меня проблемы — она сказала: это за пределами ее компетенции, но вот сейчас в Москве с визитом какой-то совершенно замечательный гуру, имя не произнести, Пафнутий, допустим, Эпаминондович, он излечивает верующих в него плевками. Совершенно необразованный, чудный старикан, борода до колен и глаза такие пронзительные-пронзительные. Не верит в кровообращение и многих уже убедил, что его нет; даже одна врачиха из ведомственной поликлиники, большая его поклонница, совершенно убеждена, что, в сущности, он прав: никакого кровообращения нет, учит Пафнутий, а только одна кажимость, а вот соки есть, это да. И ежели в человеке соки застоялись — это болезнь, свернулись — увечье, а если совсем, к чертовой бабушке, высохли, то тут ему, родимому, и кондрашка. А лечит Пафнутий не всех, а только тех, кто верит в его учение, и требует смирения: надо упасть к нему в ноги и попросить: «Подсоби ты мне, дедушка, червя малому и убогому», — и ежели хорошо попросишь, то он плюнет в тебя, и, говорят, сразу легче, сразу будто озарение и душевный подъем. Курс лечения — две недели, причем не курить, и чаю нельзя, и даже молока ни боже мой, а пить только сырую воду через нос. Ну, конечно, всякие академики бесятся, ты же понимаешь, у них вся научная работа летит, и аспиранты на сторону смотрят, но тронуть его не могут, потому что он вылечил какое-то начальство. И, говорят, приезжали из Швейцарии, фирма эта — как ее, «Сандоз», или как ее? — в общем, брали у него слюну на анализ, они же без химии ни шагу, бездуховность такая, ужас, — так вот, результаты засекречены, но якобы нашли в дедовой слюне левомиметин, олететрин и какой-то фактор пси. И они у себя в Базеле строят два завода для промышленного выпуска этого фактора, а этот журналист, Пострелов, ну ты знаешь, знаменитый, так он пишет сейчас очень острую статью в том смысле, что не допустим ведомственной волокиты и разбазаривания отечественной слюны, а не то опять придется покупать собственное достояние на валюту. Да, это все точно, а я вот вчера стояла в магазине «Наташа» за перуанскими бобочками, ничего, только воротничок грубый, и разговорилась с одной женщиной, она знает этого Пафнутия и может к нему устроить, пока он в Москве, а то он потом опять уедет к себе в Бодайбо. Ты меня слушаешь?.. Алло!

Глупая женщина, она тоже бредет наугад, вытянув руки, общающаяся выступы и расселины, спотыкаясь в тумане, она вздрагивает и ежится во сне, она тянется к блуждающим огням, ловит неловкими

пальчиками отражения свечей, хватает крути на воде, бросается за тенью дыма; она склоняет голову на плечо, слушает шуршание ветра и пыли, растерянно улыбается, озирается — где оно, то, что сейчас промелькнуло?

Булькнуло, ёкнуло, порскнуло, ахнуло — лучше гляди! — сзади, наверху, вниз головой, пропало, нету!

Океан пуст, океан штормит, с ревом ходят горы черной воды в свадебных венцах кипучей пены; далеко, просторно бежать водяным горам — нет преграды, нет предела штормовому кипению; Денисов отменил Австралию, вырвал с хрустом, как коренной зуб: уперся одной ногой в Африку — кончик отломился, — уперся покрепче — хорошо; другой ногой в Антарктиду, скалы колются, в ботинок набился снежок, встать поустойчивее; ухватил покрепче ошибочный континент, пошатал туда-сюда — крепко сидела Австралия в морском гнезде, пальцы скользили в подводной тине, кораллы царапали костяшки. А ну-ка! Еще раз... эпа! Вырвал, вспотел, держал обеими руками, утерся локтем; с корня у нее капало, с крышки сыпался песок — пустыня какая-то. Бока холодные и скользкие —росло порядочно. Ну и куда ее теперь? В северное полушарие? А там место есть? Денисов стоял с Австралией в руках, солнце светило ему в затылок, вечерело, далеко было видно. Зачесалась рука под ковбойкой — э, да на ней мураши какие-то! Кусаются!.. Ч-черт... Он плюхнул тяжелую кокорыжину назад — брызги, — булькнула, накренилась, затонула. Эх... Не так он хотел... Но ведь укусил же кто-то! Он присел на корточки, разочарованно поболтал рукой в мутной воде. Ну и черт с ней. Ладно. Население там было неинтересное. Бывшие каторжники. И вообще он хотел как лучше. Вот только тетю Риту жалко... Денисов повернулся на диване, уронив пепельницу, укусил подушку, завыл.

Глубокой ночью он взлелеял мысль о том, что хорошо бы стать во главе какого-нибудь небольшого, но чистого движения. Скажем, за честность. Против воровства, допустим. Очиститься самому и позвать за собой других. Для начала вернуть все зачитанные книги. Не заигрывать спички и авторучки. Не красть туалетную бумагу в учреждениях и междугородных поездах. Потом больше, больше — и, глядишь, потянутся люди. И пресекать зло, где бы ни встретил. Глядишь — и помянут тебя добрым словом.

На другой же вечер, стоя в очереди за мясом, Денисов заметил, что продавец жулит, и решил немедленно крикнуть слово и дело. Он громко оповестил граждан о своих наблюдениях и предложил всем, кто взвесил свои куски и направился платить, вернуться к прилавку и потребовать перевеса и пересчета. Вон же и контрольные весы стоят. И доколе, о соотечественники, будем мы терпеть кривду и уроны? И доколе звери алчные, пиявицы ненасытные будут попираť наш трудовой пот и насмеяться над голубиной нашей кротостью? Вот вы, дедуль, перевесьте свою грудинку. Клянусь честью, там одной бумаги на двугривенный.

Очередь забеспокоилась. Но старик, к которому воззвал праведный глас Денисова, сразу обрадовался, сказал, что такую контру, как Денисов, он рубал на южных и юго-восточных фронтах, что он болролся с Деникиным, что он как участник ВОВ получает к праздникам свой шмат икры, и ветчину утюжком производства Федеративной Республики Югославии, и даже две пачки дрожжей, что свидетельствует о безоговорочном доверии к нему, участнику ВОВ, со стороны государства в том плане, что он не употребит дрожжи во зло и самогон гнать не будет; сказал, что теперь он в ответ на доверие государства каленым железом выжигает половую распущенность в ихнем кооперативе «Черный лебедь» и не позволит всяким гадам в японских куртках бунтовать против нашего советского мясника, что правильно сориентированный человек должен понимать, что нехватка мяса объяс-

няется тем, что кое-кто завел дорогих, недоступных простому народу собак и те все мясо поели; а что если масла нет — значит, и войны не будет, потому что все деньги с масла пошли на оборону, а кто носит тапки «адидас», тот нашу родину предаст. Сказав, старик отошел довольный.

Несколько человек, прослушав стариковы речи, посерьезнели и бдительно осмотрели одежду и ноги Денисова, но большинство охотно зашумели, дали взвесить мясо и, убедившись, что разнообразно обсчитаны, радостно возмутились и, счастливые своей правотой, толпой двинулись в подвал, к директору. Денисов вел массы, и уже словно заколыхались в воздухе хоругви, и всходило невидимое солнце девятого января, и в задних рядах будто даже запели, но тут вдруг директорская дверь распахнулась, и из тусклого закута с полными сумками в руках — женскими, стегаными, в цветочек — выплыл знаменитый красавец, актер Рыкушин, буквально на этой неделе мужественно хмурившийся и многозначительно кутивший в лицо каждому с телеэкрана. Бунт немедленно распался, узнавание было радостным, хотя и не взаимным, женщины взяли Рыкушина в кольцо, тут же сиял кучерявый директор, произошло братание, кое-кто прослезился, незнакомые люди обнимали друг друга, одна полная женщина, которой было плохо видно, влезла на боченок с сельдью и отцицеронила такую горячую речь, что было тут же решено направить коллективную благодарность в торг, а Рыкушина просить взять творческое шефство над двести тридцать восьмью ясельками с ежегодным появлением в виде Деда Мороза. Рыкушин кудрявил блокнот, вырывал листки с автографами, пускал по волнам голов; сверху, из торгового зала, валили новые поклонники, под руки вели ослепшую от волнения четырехжды орденосную учительницу, а пионеры и школьники со свистом съезжали вниз по шатким перилам, шлепаясь в капустные отвалы. Денисов что-то сипел о правде, его не слушали. Он рискнул, присел на корточки, отогнул край рыкушинской сумки, ковырнул бумагу. Там были языки. Так вот кто их ест. Он снизу, с корточек, заглянул в холодные глаза гурмана, и тот ответил взглядом: да. Вот так. Положь на место. Народ за меня.

Денисов признал его правоту, извинился и выбрался вон против течения.

Вид безмятежно существующей Австралии вызвал у него ярость. Вот тебе! Он дернул карту и вырвал пятую часть света вместе с Новой Зеландией. Заодно и Филиппины треснули.

Ночью сочилось с потолка. Капитан приехал. Деньги будут. Вот написать повесть о капитане. Кто он да откуда. Где плавает. Почему капает. А почему он, действительно, капает? Без воды не может?

А может быть, у него труба проржавела.

Или он пьян.

Или он приходит в ванную, кладет голову на край умывальника и плачет, плачет, как Денисов, плачет, оплакивает свою бессмысленную жизнь, морскую пустоту, обманчивую красоту лиловых островов, людские пороки, женскую глупость, оплакивает утонувших, погибших, забытых, преданных, ненужных; слезы текут по замызганному рукомойному фаянсу, льются на пол, вот уже поднялись до щиколоток, вот дошли до колена, рябь, круги, ветер, шторм. Разве не сказано: сердце мудрых — в доме плача, сердце глупых — в доме веселья?

Тетя Рита, где ты? В каких пространствах бродит твой легкий дух, знаком ли тебе покой? Носишься ли ты бледным ветерком над лугами мертвых, где мальвы и асфодели, воешь ли зимней бурей, протискиваясь в щели теплых человеческих жилищ, поешь ли в звуках рояля, рождаясь и умирая вместе с музыкой? Может быть, скулишь бездомной собакой, торопливым ежом перебегаешь ночную дорогу, безглазым червем свернула под сырым камнем? Видно, плохо тебе там,

где ты теперь, иначе зачем проникать в наши сны, протягивать руку, просить подаяния — хлеба или, может быть, просто памяти? И кого это ты взяла к себе в компанию, ты, такая красивая, со светлыми волосами, с цветным кушаком? Или те дороги, по которым вам бежать, так опасны, леса, где вам ночевать, так холодны и пустынные, что вы сбиваетесь в шайки, жметесь друг к другу, держитесь за руки, пролетая ночью над нашими освещенными домами?..

Неужели и мне через короткий неведомый срок тоже предстоит вот так скитаться, скулить, стучаться: вспомни, вспомни!.. Предрассветный стук копыт по булыжной мостовой, глухой удар яблока в облетевшем саду, всплеск волны в осеннем море — кто-то просится, царапается, хочет вернуться, но ворота закрыты, и замки заржавели, и выброшен ключ, и умер сторож, и никто не пришел назад.

Никто, слышите, никто не пришел назад! Слышите?! Я сейчас закричу!!! Ааааааааааа! Никто! Никто! И всех нас несет туда, толкает в спину неодолимая сила, ноги скользят по осыпающемуся склону, руки цепляются за кустики травы, дайте же хоть опомниться, передохнуть! Что останется от нас? Что останется от нас? Не трогайте меня! Лора! Лора! Да Лора же!!!

...И вот она возникла из тьмы, из сырого тумана, возникла и двинулась ему навстречу, не торопясь, — топ-перетоп, шаг-перешаг, — в каких-то разнузданных золотых сапожках, в наглых, раскоряченных, развратно коротких сапожках; худые, сырые щиколотки ее поскрипывали, покачиваясь в золотой коже, выше свивался и шелестел пышный плащ в черном бисере ночного тумана, бряцали и лязгали пряжки, еще выше двигалась улыбка — и уличные огни лунной радугой вспыхивали на розовых зубах, над улыбкой нависли тяжелые очи, и все это шевеление, весь этот риск и блеск, торжество и безобразие, весь клубящийся живой омут был прилеплен сверху трагической мужской шляпой. Господи боже, царю небесный, вот с ней и предстоит делить ему ложе, стол и мечты. Какие мечты? Неважно. Всякие. Красивая женщина, болтливая женщина, в головке — мусор, но красивая женщина!

— Ну, здравствуй, Денисов, сто лет не виделись!

— Что это за онучи на тебе, прелестница? — недовольно спросил Денисов, целуемый Лорою.

Она удивилась и посмотрела на свои сапоги, на их мертвые золотые обшлага, вывернутые, как бледная плоть поганок. То есть как это?! Что это с ним? Да она их уже целый год носит, он что, забыл? Другое дело, что пора уже новые покупать, но ей совершенно сейчас не до того, потому что пока он там себе отшельничал, с ней случилось кошмарное несчастье: дело в том, что она в кои-то веки выбралась в театр, она хотела хоть немного отдохнуть от папы и пожить, как все люди, а папу она отправила на дачу и попросила Зою Трофимовну за ним присмотреть, Зоя Трофимовна больше трех дней выдержать не смогла, да и никто бы не смог, ну это к слову, так вот, пока она прохладдалась в подвальном театрике — очень модном, очень труднодоступном театрике, где все-то оформление — рогожа да канцелярские кнопки, где с потолка каплет, но дух светел, где дует по ногам, но как войдешь, так тебе сразу и катарсис, где такое горение и святые слезы, что просто держите меня, — так вот, пока она там валандалась и хлопала ушами, их квартиру обчистили злоумышленники. Все вынесли, буквально все: и подсвечники, и лифчики, и подписного Мольера, и филимоновскую ядовито-розовую игрушку в форме мужика с книгой — подарок одного писателя-деревенщика, прирожденный гений, не печатают, а он пешком пришел из глубинки, ночует по добрым людям и принципиально не моется, принципиально, потому что знает Главную Правду и ненавидит кафель лютой ненавистью, просто багровеет, если видит где-нибудь кафель или мелахскую плитку, у него и цикл поэм есть антикафельный — могучие, бревенчатой силы стро-

ки, там все что-то гой! гой еси! и про гусли-самогуды, что-то очень глубинное,— так вот, и подарок его пропал, и шуршащий вьетнамский занавес сняли, а что не могли вынести, то сдвинули с места или повалили. Ну что за люди, просто я не знаю, она, естественно, заявила в милицию, но толку от этого, конечно, никакого не будет, потому что у них там такие страшные стенды — дети, пропавшие без вести, женщины, по многу лет их не могут найти, так неужели они тут же бросятся прочесывать Москву в поисках каких-то там лифчиков? Хорошо еще, что папины рукописи не выбросили, только распушили. Так что вот, всем этим она страшно расстроена, а еще она расстроена тем, что была на вечере встречи с бывшими одноклассниками, пятнадцать лет окончания школы, и все изменились так, что просто не узнать, просто кошмар какой-то, чужие люди, но главное не это, а главное то, что у них были такие Маков и Сысоев, сидели на задней парте и плелись жеваной бумагой, приносили в школу воробьев и вообще были не разлей водой; так вот, Маков погиб в горах — там и остался, и уже четыре года назад, и никто не знал, подумать только, просто герой, больше ничего, а Сысоев стал такой сытый и довольный, приехал на черной машине с шофером и велел шоферу ждать, и тот действительно весь вечер проспал в машине, а когда ребята узнали, что Сысоев такой важный и главный, а Маков лежит где-то в расщелине под снегом и не может прийти, а эта свинья поленился пройти пешочком и прикатил на казенной машине, чтобы всем тыкать этой машиной в глаза,— вышла небольшая драчка и заваруха, и вместо теплых объятий и светлых воспоминаний устроили Сысоеву бойкот, как будто не о чем больше было поговорить! И как будто он виноват, что Маков полез в эти горы! И все просто озверели, так грустно все это, а один мальчик — конечно, он уже лысый совсем, Пищальский Коля,— наковырял из салата крабов, и счистил их со своей тарелки прямо на лицо Сысоеву, и кричал: ты ешь, ты привычный, а мы люди простые! И все думали, что Сысоев его за это убьет, а он ничего, он очень смущался и хотел общаться, а все отворачивались, и он ходил такой растерянный и всем предлагал, кто хочет, противотуманные фары. И потом он ушел как-то боком, и девочки стали его жалеть и кричать: вы не люди! что он вам сделал? И так все и разошлись, злые и злобные, и ничего из вечера не вышло. Вот так вот, Денисов, а ты что молчишь, я по тебе соскучилась, пошли к нам, правда, там здорово разворовано, но я уже привела все в более или менее божеский вид.

Скрипели золотые Лорины сапоги, шуршал плащ, сияли глаза из-под шляпы, брови пахли розами и дождем... а дома, в прокуренной комнате, под мокнущим потолком, прищемленная сдвинутыми пластинами времени, бьется тетя Рита со товарищи; она погибла, и порвался кушак, и рассыпалась пудра, и сгнили светлые волосы; она ничего не сделала за свою короткую жизнь, только спела перед зеркалом, и вот теперь, мертвая, старая, голодная, испуганная, мечется в государстве снов, попрошайничает: вспомни!.. Денисов крепче ухватил Лорин локоть, повернул к ее дому, разгоняя туман: не надо им расставаться, быть им всегда вместе, под одной фигурной скобкой, неразрывно, неразъемно, нерасторжимо, слитно, как Жорь и Калиныч, Лейла и Меджнун, «Дымок» и спички.

Чашки были украдены, так что пили из стаканов. Белоснежный папа, уютный, как сибирский кот, ел пончики, зажмурив от счастья глаза. Вот и мы тоже, как те трое — старик, женщина, мужчина, думал Денисов, мы тоже сбились вместе, высоко над городом, посмотреть сторонним взглядом — что нас объединяет? Маленькая семья, мы нужны друг другу, слабые и запутавшиеся, ограбленные судьбой,— он без работы, она без головы, я — без будущего. Так сбиться же тесней, держаться за руки, один споткнется — двое подержат, есть пончики, никуда не стремиться, запереться от людей, жить, не поднимая головы, не ожидая славы... в положенный срок

закрывать глаза поплотней, подвязать челюсть, скрестить на груди руки... и благополучно раствориться в небытии? Нет, нет, ни за что!

— Занавески все вынесли, подлые,— вздыхала Лора.— Ну зачем им мои занавески?

Туман улегся, а может быть, он и не поднимался до шестнадцатого этажа, этот легкий летний туман,— в оголенные окна смотрела чистая чернота, драгоценные огни далеких жилищ, и только на горизонте, в лакированной японской тьме вспухал оранжевый полукруг вставшей луны, словно проступила вершина горы, освещенная фруктовым утренним светом. Где-то там, в горах, вечным сном спит Маков, Лорин одноклассник, поднявшийся выше всех людей и оставшийся там навсегда.

Светлеет розовая вершина, скалы пылят снегом, Маков лежит, вглядываясь в небосвод; холодный и прекрасный, чистый и свободный, он не истлеет, он не состарится, не заплачет, никого не уничтожит, ни в чем не разочаруется. Он бессмертен. Может ли быть судьба завиднее?

— Послушай,— сказал Лоре пораженный Денисов,— но если ваши дундуки ничего про этого Макова не знали, то, может быть, его сослуживцы?.. Музей там какой-нибудь организовали бы или что-то такое? И почему бы вашей школе не носить имя Макова — ведь он же ее прославил?

Лора удивилась: какой там музей, господь с тобой, Денисов, где ж музей-то? Он учился через пень-колоду, бросил институт, потом армия, то-се, а в последние годы вообще работал кочегаром, потому что любил книжки читать. Семья с ним намучилась, ужас, это я знаю от Нинки Зайцевой, потому что ее свекровь с маковской маманей вместе работают. А школа имени Макова никак быть не может, потому что уже носит имя А. Колбасявичюса. С которым, между прочим, тоже все не так просто, потому что, видишь ли, было два брата-близнеца Колбасявичюсы, один убит лесными братьями в сорок шестом году, а второй сам был лесным братом и умер, объевшись поганками. А поскольку инициалы у них были одинаковые, а по внешности родная мать не могла их различить, то возникает крайне двусмысленная ситуация: можно было бы считать, что школа — имени брата-героя, но в свое время местные следопыты выдвинули версию, что брат-герой проник в лесное логово и там был коварно погублен бандитами, распознавшими подмену и окормившими его ядовитым супчиком, а брат-бандит осознал свое заблуждение и честно пошел сдаваться, но по ошибке был застрелен. Ты понял, Денисов? Один из них точно герой, но кто именно — не установлено. Наша директриса просто с ума сходила, она даже подала петицию, чтобы школу переименовали. Но все равно о Макове даже речи идти не может, он же не сталевар, верно?

Вот она, людская память, людская благодарность, подумал Денисов и почувствовал себя виноватым. Кто я? Никто. Кто Маков? Забытый герой. Может быть, судьба, обувшись в золотые сапожки, подсказывает мне: прекрати метаться, Денисов, вот твое дело в жизни, Денисов! Извлеки из небытия, спаси от забвения погибшего юношу; над тобой посмеются — стерпи, будут гнать — держись, унижат — пострадай за идею. Не предавай забытых, забытые стучатся в наши сны, вымалывают подаяния, воют ночами.

Когда Денисов уже засыпал в обворованной квартире высоко над Москвой, а рядом засыпала Лора и темные волосы ее пахли розой, — поднялась голубая луна, легли глубокие тени, скрипнуло в глубине квартиры, прошуршало в прихожей, стукнуло за дверь, и что-то мягко, мерно, медленно — скок! скок! — двинулось по коридору, доскало до кухни, пискнуло дверь, повернулось и — скок! скок! — направилось в обратный путь.

— Эй, Лора, что это такое?

— Спи, Денисов, ничего. Потом.

— Как это потом? Ты слышишь, что делается?

— О боже мой,— зашептала Лора,— ну это папа, папа! Я же тебе говорю, что у меня проблемы с папой! Он сомнамбула, он ходит во сне! Ну я же тебе говорила, его выперли с работы, и у него сразу же это началось! Что я могу поделать? Я у лучших врачей была! Тенгиз Георгиевич сказал: побегаешь и перестанет. А Анна Ефимовна сказала: что вы хотите, это возрастное. А Иван Кузьмич сказал: чертей не ловит — и слава тебе, господи! А через Рузанну я вышла на одного экстрасенса из Министерства тяжелой промышленности, так после сеанса стало только хуже: он голый бегаешь. Спи, Денисов, мы все равно ничем не поможем.

Но какой уж тут мог быть сон, тем более что зоолог, судя по звукам, снова доскакал до кухни, и там что-то рухнуло со звоном.

— Ой, я с ума сойду,— заволновалась Лора,— он последние стаканы поберет.

Денисов натянул штаны, Лора бросилась к отцу, раздались крики.

— Ну что он делает! Господи, он мои сапоги надел! Папа, я тебе тыщу раз говорила... Папа, да проснись же ты!

— Теплокровные, ха-ха! — рыдая, кричал старичок.— Они называют себя теплокровными! Простейшие, и больше ничего! Уберите свои псевдоподии!

— Денисов, да хватай же ты его сбоку! Папочка, папочка, успокойся! Валерьянки сейчас... За руки, за руки держи!

— Пустите меня! Вон они! Я их вижу! — рвался сомнамбула, и сила у него откуда-то бралась невыносимая. На голом теле зимними, шерстяными вещами казались усы и борода.

— Да папочка же!

— Василий Васильевич!

Ночь летела над миром, далеко во тьме кипел океан, растерянные австралийцы озирались, огорченные исчезновением своего континента, капитан заливал горячими слезами прокуренную берлогу Денисова, кушал холодное из кастрюли проголодавшийся от славы Рыкушин, Рузанна спала головой на восток, Маков спал головой в никуда — каждый занят был своим делом, и кого могло взволновать, что посреди города, в вышине, в перламутровом свете луны мечутся, борются, топчутся, кричат и страдают живые люди — Лора в прозрачной сорочке, лицезреть которую не отказались бы и цари, зоолог в золотых сапогах и Денисов, истерзанный видениями и сомнениями?

...Дачная местность была чудесной — дубы, дубы, а под дубами лужайки, а на лужайках в красноватом вечернем свете играли в волейбол, — гулко чвакал мяч, медленный ветер проводил по дубам, и дубы медленно отвечали ветру. И маковская дача тоже была чудесная — старая, серая, с башенками. А среди клумб, под сырой вечерней черемухой сидели за круглым столом, пили чай с малиной и смеялись четыре сестры, мать, отчим и тетка Макова; тетка держала на руках младенца, тот помахивал пластмассовым попугаем, в сторонке умилялась безвредная собака, и даже какая-то птица пешочком, не торопясь шла по дорожке по своим делам, не потрудившись хотя бы из вежливости всполошиться при виде Денисова и броситься куда попало. Он был немного разочарован идиллией. Конечно, напрасно было бы ожидать, что дом и сад убраны траурными флагами, и что ходят на цыпочках, и что черная от горя мать лежит пластом на постели и не сводит глаз с сыновнего ледоруба, и что время от времени то один, то другая выхватывают скомканный платок, чтобы вцепиться в него зубами и удушенно зарыдать, — но все-таки чего-то печального он ждал. А они забыли, они все забыли! А он-то тоже хорош: с букетом, будто поздравить... Они обернулись и с

недоумением, с испуганными улыбками смотрели на Денисова, на вязанку бархатцев в его руке, багровых, как закат перед ненастьем, как запекшиеся кровяные корочки, как мemento мори. Младенец, самый чуткий, еще не забывший той страшной тьмы, откуда недавно был вызван, сразу догадался, кем послан Денисов, закричал, забился, хотел предупредить, но слов не знал.

Нет, ничего печального не было видно, печальным было разве то, что Макова здесь не было: не играл он в волейбол под медленными дубами, не пил чай под черемухой, не гонял поздних комаров. Денисов, твердо решившийся пострадать во имя покойного, преодолел неловкость, вручил цветы, поправил траурный галстук, подсел к столу, объяснился. Он — посланец забытых. Такова его миссия. Он хочет знать об их сыне все. Может быть, напишет его биографию. Музей, а если нельзя, то хотя бы уголок в музее организует. Стенды. Детские вещи. Чем увлекался. Может быть, собирал бабочек, жуков. Чай? Да-да, с сахаром, спасибо, две ложки. С гляциологами надо будет связаться. Возможно, восхождение Макова чем-то важно для науки. Увековечение памяти. Ежегодные Маковские чтения. Помечаем: пик Макова — почему бы нет? Фонд Макова с добровольными жертвованиями. Да мало ли!..

Сестры повздыхали, отчим курил, скучливо подняв седые брови, а мать, тетка и младенец заплакали, но то был грибной дождь — льющие слезы высыхали здесь, среди малины, дубов и черемухи, — и медленный ветер, прилетев с далеких цветущих полей, подсказывал: брось. Все хорошо. Все спокойно. Брось... Мать придавила платком нос, чтобы не дать слезам ходу. Да, печально, печально... Но все прошло, слава богу, прошло, забылось, утекло водой, зацвело желтыми кувшинками! Жизнь, знаете ли, идет! Вот Жанночкин первенец. Это наш Василек. Василек, ну-ка, где у бабы нос? Пра-авильно. Агу-гуленьки! Ату-тусеньки! Вера, он мокрый. Вот наш сад. Клумбы, видите? Ну, что же еще... Вон там гамак. Удобно, да? А это Ирочка наша, она замуж выходит.хлопот, знаете! Все молодым устрой, все им подай!

Ирочка была премиленькая — молодая, загорелая. Комары ужинали на ее голой спине. Денисов засмотрелся на Ирочку. Ветерок покачивал черные ягоды черемухи.

— Пойдемте, сад посмотрим. Как у меня помидоры хорошо взялись. — Маковская мать отвела Денисова в глубь сада и зашептала: — Девочки Сашу очень любили. Ирочка особенно. Ну что же делать. Я вижу, вы с душой, помочь хотите. У нас просьба к вам... Она замуж выходит, мы мебель им достаем... И знаете, она шкаф «Сильвия» хочет. Сбилась с ног. Ведь молодые, что ж... Им жить хочется. Если бы Саша был жив, он бы всю Москву перевернул... В память Сашки... для Ирочки... «Сильвию», а? Молодой человек?..

«Сильвию» покойнику! — крикнули незримые силы. Вечная память!

— «Сильвия»... «Сильвия» шкаф... Как бы Саша радовался... Как бы радовался... Ну, еще чайку давайте.

И они пили чай с малиной, и дубы никуда не спешили, и Маков лежал в высоте, в алмазном блеске, скалясь в небо нестаряющимися зубами.

Долг есть долг. Хорошо, пусть это будет шкаф. Почему нет? От Макова останется шкаф. От тети Риты — стеклянная пудреница. Пудреницу я променял. Ничего не осталось. Загробная темь. Выжженная степь. Мерзлая наледь. Грибная сырость подвала. Железный запах крови. Шестая часть света, вырванная с мясом. Нет! Ничего не хочу знать! Я ничем не мог помочь, я был маленький! Я помогаю только Макову, за всех, за всех, за всех! И когда крупные вежливые санитары уводили рыдающего капитана и он цеплялся за притолоки,

за почтовые ящики, за шахту лифта, расставлял ноги, подгибал колени, визжал, а потом из его квартиры вынесли и отдали пионерам на макулатуру сотни бумажных корабликов, а я и все соседи стояли и смотрели — я тоже ничем не мог помочь, я помогаю только Макову!

Ничего не хочу знать! Шкаф, только шкаф! Шкаф, буфет, мебельный гарнитур с бронзовыми вставками — золотой волосок, не толще! — с блестящими уголками, с деликатной резьбой, с мелким блеском стекольных шашек. Нежные ямки резьбы — мягко, легко так, будто заяц пробежал, — чудесный, чудесный кусок жилья!

Будто заяц пробежал в коридоре. Лорин папа. Дзины! — разбил что-то. Пудреницу. Нет, стакан. Они пьют чай с малиной из стаканов. Маков смотрит в небо: достаньте шкаф во имя мое! Согласен. Я постараюсь. Я готов пострадать. Я пострадаю — и Маков отпустит меня. И капитан отпустит. И тетя Рита. И ее товарищи опустят невыносимые глаза.

Лора ровно дышит во сне, волосы ее пахнут розами, в коридоре шуршит зоолог, двери заперты — куда убежишь? — пусть побегаёт, — выдохнется, устанет, лучше будет спать. «Я знал, но забыл, я знал, но забыл», — бормочет он, и глаза его закрыты, и ноги легки. Взад-вперед, взад-вперед, по лунным квадратам, мимо книжных полок, от входной двери до кухонной. Взад-вперед, может быть, надел Лорину шляпку или босоножки, может быть, повязал шею газовым шарфиком или украсил голову дуршлагом, он любит ночные безделушки; взад-вперед, от двери до двери, мягкими прыжками, высоко поднимая колени, вытянув руки вперед, словно ловит что-то, но ни разу еще не поймал, — веселая охота, безобидные жмурки, никакого вреда. «Я знал, но забыл!»

Утром пришел красный рассвет, растворилась гора с черной букашкой Макова на вершине, усталый лунатик сладко уснул, запели дегенеративные городские птицы, и две голубые слезы скатились из денисовских глаз в денисовские уши.

В поисках «Сильвии» Денисов толкался в самые разные двери, но везде нарывался на отказы. Вы что? Импорт сокращен! А уж «Сильвия» тем более! Ишь!.. Да ее и генерал не достанет! Разве маршал, да и то смотрит какой! Какого рода войск! Нет, товарищ Петрюков вам не поможет. И Козлов не поможет. И к Люлька не обращайтесь — бесполезно. А вот товарищ Бахтияров... Товарищ Бахтияров может сделать, помочь, но человек он прихотливый и своеобразный, характер у него кудрявый и непредсказуемый, и как этого Бахтиярова взять за жабры — одному дьяволу известно. Но безусловно ловить его надо не в кабинете, а где-нибудь в «Лесной сказке», когда товарищ кушает и расслабляется. Можно и в баньке, и в баньке-то лучше всего, и это старинный способ — подгадать момент, когда красавица сбросит лебединые перья и оросит себя, так сказать, родниковыми струями, — тут-то ее, голубушку, и цопнуть, перья — в загашник, а от самой просить чего душа пожелает. Но Бахтияров на красавицу не тянет, увидите сами, и перья его, и штаны, и чемодан с бельем и всякими закусками и заедками до того надежно охраняются, и банька до того непростая, и так она ловко поворачивается к лесу передом, к людям задом, что проникнуть в нее без пегушиного слова не моги и думать. Так что попробуйте все-таки в загородном поищите, в «Сказке». Ну что делать, попробуйте! Он там отдыхает.

И была «Сказка».

Фу ты, до чего там было тепло, до чего нарядно, а как славно пахло! Сейчас бы Лору сюда, да денег побольше, да вон в тот угол под желтым абажуром, где салфетки кульком, где мягкие кресла! Покой измученной, полубезумной душе!

Шли официанты, и Денисов спросил самого сладкого и ласкового: нет ли тут, часом, товарища Бахтиярова? — и тот сейчас же полюбил

Денисова, как родного брата, и мизинчиком указал и направил: вон там товарищ отдыхают. В кругу друзей и прекрасных дам.

Теперь туда — будь что будет, — туда, — не за себя прошу, — туда, где куполом клубится синий дым, где порывами ветра гуляет хохоток, где шампанское пенистым крюком выскакивает на скатерть, где тяжелые женские спины, где кто-то в сиреневом галстучке, щуплый, собачистый, быстро вертится вокруг Хозяина, непрерывно его обожая. Шагнуть — и он шагнул, и пересек черту, и стал посланцем забытых, безымянных, реющих в снах, занесенных снегом, белой костью торчащих из степной колеи.

А товарищ-то Бахтияров оказался человеком круглым, мягким, китайцеобразным, даже каким-то славненьким с виду, и сколько ему было лет — шестьдесят или двести, — сказать было нельзя. Видел он человека насквозь, все видел — и печеньку, и селезенку, и сердчишко, да только не нужна была ему ваша печенка-селезенка — черт ли в ней, — вот и не смотрел он на вас, чтобы не прострелить насквозь, и разговоры завивал куда-то вбок и мимо. Ел товарищ Бахтияров телятину нежности прямо-таки возмутительной, преступно юного ел поросеночка, и зелень была — три минуты как с грядки — столь невинная, еще и не опомнилась, росла себе и росла, вдруг хоп! — и сорвали, и крикнуть-то не успела, а уж ее едят.

— Люблю молодежь кушать, — сказал Бахтияров. — А вам, зайчик, нельзя: язва у вас, по лицу вижу. — И точно, угадал: у Денисова была старинная язва. — А вот я вас с пользой попотчую, — сказал Бахтияров. — За мое ли за здоровьичко, за мое ль за разлюбезное.

И по его щелчку подали тушеную морковь и воду «Буратино».

— Думаю я, думаю, — говорил он между тем, — день и ноченьку все думаю, а ответа не придумаю. Вот вы человек, видать, ученый — глазки у вас эвона какие невеселенькие, ну-ка подскажите. Отчего пивной завод — имени Стеньки Разина? Ведь это ж, голуби мои, государственное учреждение, план-переплан, отчетность, соцсоревнование, партком, — держите меня, — местко-ом! Местком! Шутка ли? И тут же какой-то разбойник. Нет, не понимаю. По-моему, смешно. Смейтесь!

Друзья и дамы засмеялись, сиреневый даже взвизгнул. Денисов тоже вежливо улыбнулся и отпил теплое «Буратино».

— А с другой стороны посмотреть: Степан Тимофеевич — это ж народный герой, это ж чаянья наши, — и за борт ее бросает, — это ж, понимаете, событие большого политического звучания, — и тут же какой-то заводошник с сомнительным, понимаешь, профилем; по-моему, смешно. Смейтесь!

Дамы опять открыли рты и захохотали.

— Ка-ак у тещи в чем-модане береженный шевиот... он не тлеет, он не прееет, не ржавеет, не гниет, — вдруг запел сиреневый, поводя плечами и притопывая.

— Вот как мы тут славно шуткуем, — говорил довольный Бахтияров, — светлым детским смехом смеемся да посмеиваемся, и все в рамочках дозволенного, все в граничках допустимого... И все-то у нас ладушки, а у вас ко мне просьбишка, а вот-ка мы ее слушаем...

— Собственно, дело очень простое, то есть очень сложное, — сосредоточился Денисов. — То есть, видите ли, я как бы прошу не для себя, лично мне ничего не нужно...

— Клен ты мой опавший, кто ж для себя просит, для себя нынче никто не просит... Нынче только плюнь — набегут проверяльщики, подхватят под белы ручки, — туда ли плюнул, да где слюну брал, да на каком таком основании, — а мы что, мы ничего, чистенькие... А можно я вас буду звать цыпа-ляля? Ты мороз, мороз! — запел товарищ Бахтияров. — Пойте, голуби!..

— Не морозь меня!.. — завели за столом.

— Ка-ак у тещи в чемодане,— поперек хора пробовал сиреневый, но его заглушили. Пели хорошо.

— У Клавдюхи-то сопрано — не фу-фу,— говорил Бахтияров.— Наша Зыкина! Мария, так сказать, Каллас, а то и покрепче! Ты тоже пой, цыпа-ляля.

«Что ж, предупреждали, — думал Денисов, мерно разевая рот.— Предупреждали, и я готовился, ведь не для себя же, и ничто просто так не дается, не пострадав — не добьешься, просто я не предполагал, что страдать до такой степени неприятно».

— Не поваливши не поешь,— подтвердил товарищ Бахтияров, глянув Денисову в самое сердце,— а ты как думал, родненька моя? Тебе какой артикул-то? Шка-а-аф?.. Ишь мы какие шалуны... А ты спел бы нам лично, а? Вот так, попросту, для души? Выдай нам свое потребительское соло, чтоб душа играла! Слушаем, голуби мои! Тишина! Уважаем!

Денисов торопливо спел, страдая под взглядами бахтияровских гостей, спел, что подвернулось, что поется во дворах, в походах, в электричках,— городской романс о Шаровой Леночке, поверившей в любовь, и обманутой, и надумавшей погубить плод легкомысленного своего заблуждения: «Да ямку вырыла, да камень тиснула, а Зина-девочка разочек пискнула!»— пел, уже понимая, что он в пустыне, что людей здесь нет, пел о приговоре, вынесенном бессердечными судьями: «а расстрелять ее! да расстрелять ее!», о печальном и несправедливом конце заблудшей: «я подхожу к тюрьме, она раскрытая, Шарова Леночка лежит убитая», и Бахтияров сочувственно кивал мягкой головой, нет, Бахтияров-то был еще ничего, совсем ничего, на лице его даже просматривались какие-то уютные, симпатичные уголки, а если сощуриться, то можно бы на минуточку поверить, что вот — дедушка, старенький, любит внучат... но только если, конечно, сощуриться. Другие были много хуже — вот эта, например, очень плохая женщина, похожая на лыжу,— перед ее весь заткан парчой, а спина совершенно голая; или та, другая, красавица с глазами кладбищенского сторожа; но страшнее всех вон тот вертячий хохотун, развинченный петрушка, и галстучек его сиреневый, и жабий рот, и шерсть на голове, кто бы изничтожил его, извел, прижег, что ли, всего зеленкой, чтобы не смел смотреть!.. А впрочем, все они ужасны лишь постольку, поскольку празднуют мое унижение, крестные мои муки, а так — граждане как граждане. Ничего. «Шарова Леночка лежит убитая!»

— Как хорошо-то, пончики мои! — удивился Бахтияров. — Как товарищ хорошо спел-то! Просто пьяниissimo, да и только. Да и весь тут сказ. А ну-ка и мы грянем. В ответ! Покажем гостю бемоль!

Гости грянули; сиреневый вертун — сама предупредительность — дирижировал вилок, у красавицы из мертвых глаз струились слезы; едоки из-за соседних столов, утеревшись салфетками, присоединялись к хору, пронзительной, струнной нотой вступало Клавдюхино сопрано:

Ах, мама, ты милая мама,
Зачем ты так рано ушлааааааааааа,
Сынишку ворешкой оставила,
Отца-подлеца не нашла!!!

Там, в горах, повалил снег, все гуще и гуще, наметая сугробы, засыпая Макова, раскинутые его ноги, обращенное к вечности лицо. Он не тлеет, он не прет, не ржавеет, не гниет!.. Сугробы поднимались все выше, выше, гора захрустела под тяжестью снега, загудела, лопнула, с паровозным грохотом сошла лавина, и на вершине ничего не осталось. Снежный дымок покурился и осел на скалы.

— Не друзья ли мы с тобой, посетитель дорогой! — кричал Бахтияров, хватая Денисова за щеки. — Во! Стихами говорю! Не чужд! А?! Я такой! Испей буратинца за мое здоровычко! До дна, до дна!

Вот так! А знаешь, вот что: уважь старого друга! Гулять так гулять! Полезай под стол! Для смеха! Пошѐ-ёл!

— Вы что? — сказал Денисов, свободный от Макова. — Вы что, дядя? Гуд бай вам, и шкаф мне ваш не нужен. Я передумал. — И он стал вставать.

— Под стол! Ничего не знаю! Что такое?! — рвал пиджак Бахтияров. — Просим! Просим! Господа!..

— Про-сим! Про-сим! — топали дамы, друзья, гости, официанты, откуда-то взявшиеся повара, и весь зал, поднявшись на ноги, выходя из-за столов, дожевывая, скандировал и хлопал в ладоши: — Просим!

Нет же, нет, нет! Почему?! Я человек, звучу гордо, не полезу, хоть убейте!.. Ну, а пострадать? Эй, вспомни! Пострадать-то! Ты же хотел.

Он дико затосковал, как перед смертью, ослабел душой, нахмурился — не помогло, хотел вздохнуть — нечем уж было и вздохнуть. А Бахтияров уже откинул скатерть, и боком сел, чтобы ноги не мешали, и приглашал рукой: прошу! пожалуйста!..

..Он скрючился в полотняной штопаной полутьме, поджав колени, как зародыш, тупо глядел на женские ноги, на серебряные хвосты и лакированные копытца; коварное брашно туманило слух и взор; сопрано давило голову; вот что я сделаю. Я знаю. Я поставлю памятник забытым. Пусть это будет плоское место в степи, без ограды, без знака, пусть растёт там ковыль или камыш, пусть солнце выжжет землю, чтобы выступила соль, пусть валяется там щебень или битое стекло, пусть вечерами воет шакал или пирует разудалая компания. Привет вам, консервные банки, и вам, пивные пробки, слава плевкам, ура раздавленным помидорам. Холм мусора или соляная проплешина, шорох ковыля или свист ветра — все хорошо, все безразлично, ничто не страшно забытым, — ведь с ними уже ничего больше не может случиться.

Под стол свесилось зареванное безглазое женское лицо, забормотало, ища сочувствия:

— Почему, ну почему одним все широе, лёкое, бротистое, а другим только плявое и мяклое, ну почему?

Сердце мудрых — в доме плача.

«Буратино» сморило Денисова, и он уснул.

Лунный луч, пробившись сквозь штопку, кольнул в глаз. Лунная скатерть лежала на паркете, серебряный сад стоял за окном, август чиркал звездами во тьме. Словно все снега со всех гор осыпались на сад, на тишину, на немые тропинки. Денисов скрипнул половицей, постоял у окна. Никого он не видел сегодня во сне.

Петух пропел, Бахтияров и ведьмаки его сгнули, тени спят, в мире покой.

Да и что за глупость — мучиться воспоминаниями ни о чем, выпрашивать у мертвеца прощения за то, в чем, по людскому счету, ты неповинен, ловить горстями туман? И никакого нет пятого измерения, и никто не подводит баланс твоих грехов и побед, и нет в конце пути ни кары, ни награды, да и пути нет, и слава — дым, и душа — пар, и если ты полез под стол, то уж прости, дорогой, но это твой выбор и твой личный вкус, и благодарное человечество не повалит толпами за тобой, и незримые силы не крикнут из предвечной лазури: «Хорошо, Денисов! Давай! Жми в таком духе! Всецело одобряем и поддерживаем!»

Он обошел всю «Сказку», дергая двери, все было заперто. Н-да, комиссия! Сиди теперь до утра. Окно, что ли, вышибить? Тут небось сигнализация. Поселок маленький, всё на виду — засвистят, замигают, выедут опергруппы; не в саду, так на шоссе поймают как миленького. В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье голу-

бом, а Денисов будет метаться между кустами и будками, присесть за мусорные баки, шуршать в боярышнике, заслоняться от прожекторов. Ни к чему. Валом тьмы окружен мир; бесплотный лунный сахар пересыпается с листа на лист, дрожа и мерцая; сахар, снег, сон, глушь, все застыло, все умирает, тупея в бессмысленной красоте, все забыто, все прощено, да ничего и не было, да и не будет ничего.

А, вот телефон. Лоре позвонить. Умер сам — научи товарища.

Голос у Лоры был насморочный.

— Ой, Денисов, бери такси, приезжай. У меня тут кошмарное горе. Что значит заперли? В какой сказке? Ты что, с ума сошел, Денисов, у меня такое горе, проблема с папой, я его повезла за город, к одной старухе, ты не знаешь, баба Лиза, она знахарка и вообще женщина чудная. Мне Рузанна ее рекомендовала, чтобы папу отчитывать; ну как отчитывают? — сажают под иконы на табуретку, свечу ставят, воск в таз капает, баба Лиза молитвы читает, энергетика очень улучшается; ну, это все на несколько сеансов рассчитано; так ты представляешь, пока я отлучилась в сельмаг, там у них выбор хороший, мужские рубашки голландские, я для тебя хотела, ну вот, их уже разобрали, а я засмотрелась на товары для пайщиков, я не знаю, какие пайчики, что-то такое потребсоюз или что. В общем, для сдатчиков гриба чаги там мокасины мужские, белые, австрийские, это то, что тебе нужно, еще там джинсы на мясо и фломастеры на морковь, это нам не надо, а мокасины очень хорошо; я говорю девушкам: девушки, чаги у меня нет, может быть, так дадите? А одна, симпатичная такая, говорит: подождите заведующую, может быть, договоритесь; я ждала-ждала, а уже темно, никого, они говорят: она вряд ли подойдет, к ней друг из Североморска должен был подъехать, ну я пошла назад, а баба Лиза в жуткой панике: говорит, он сидел-сидел и уснул, а когда уснул, ты же знаешь, какой он становится; он уснул, вскочил, дверь распахнул и бежать, а на улице-то темно, а местность совершенно незнакомая, так и убежал, я не знаю, что делать, Денисов, я в милицию, а они зубы скалят. В общем, я сейчас дома, в полной прострации, ведь у папы денег ни копейки, ведь он очнется где-нибудь в лесу, он заблудится, он замерзнет, он умрет, он же не знает, куда я его завезла, ведь он пропадет, Денисов, что я наделала!

...Значит, он убежал, вырвался и убежал! Он знал, он все время знал дорогу! Встрепенулись забытые, тени подняли головы, прозрачные призраки насторожились, прислушались: он бежит, его отпустили, встречайте, выходите в дозор, машите флажками, зажигайте сигнальные огни! Сомнамбула бежит по бездорожью, смежив вежды, вытянув руки, с тихой улыбкой, словно видит то, что не видят зрячие, словно знает то, что они забыли, ловит ночью то, что потеряно днем. Он бежит по росистой траве, по лунным пятнам и черным теням, по грибам и подорожникам, по бледным ночным колокольчикам, по маленьким лягушатам. Он взбегаёт на холмы, он сбегает с холмов, чист и светел под светлой луной, вереск хлещет его легкие ноги, ночь дует в спящее лицо, белые волосы развеваются по ветру, расступается лес, расцветает клен, разгорается свет.

Неужели он не добежит до света?



НОННА СЛЕПАКОВА



МГНОВЕНЬЯ БЫТИЯ

Круги

Под кручею горы на поздней зорьке мглистой
Шуршали тернием, шершавились корьем
Репей чешуйчатый, волчец жестоколистый,
Во тьме точимые извилистым червем.

Под слизью розовой неуязвимо-гладок,
В ощеренных зубцах своих насущных грядок
Коленчато он полз, назоблившись едой,
Но схвачен был за хвост лягушкой молодой,
Чей водянистый блеск, рожденный темной глыбью,
Был крапчато покрыт зелено-бурой сыпью.

Но, шею дряблую напрягши для глотка,
В ничто уставя взор бесчувственный и гордый,
Лягушка обмерла: на краешек листка
Внезапно прилегла своей скуластой мордой
Угрюмым серебром сверкнувшая змея,
В игольнике травы длину свою тая.

Но вся змеиная сокрытая пружина,
Готовая к прыжку, осталась недвижима,
Поскольку из кустов вдруг выкатился еж.
Он вперевалку шел, покручивая носом,
Который дергала принюживанья дрожь
Под колким хохолком щетинисто-белесым.

И все, что было там: язвящий каждый куст,
Щетинистость ежа и гадов скользкий туск,
Все поедатели (они же и съедобье)
И все кишачье во тьме природозлобье —
Застыли, притаив движение и вдох,
Мгновеньем бытия захвачены врасплох.

А мрачный клоч зари висел над крутизною
И замок освещал последней желтизною —
Как рваную, в зарю вдавившуюся кость,
Как перевернутую зубчатую гроздь.

В том замке на горе в час позднего заката
Крестило девочку семейство реформата —
Свершилось таинство, и пастырь уходил...

И девочка (никто за нею не следил)
 По залу поползла; тихонько огибала
 Кувшина медный ствол, чугунный куст шандала,
 И столик с книгою, и складки полотна,
 И до подножия высокого окна
 Украдкой добралась, и дерзкими глазами
 Глядела в темноту, прильнув к свинцовой раме,
 И слушала, как там, под стенами, внизу,
 Побулькивает жизнь, как варево в тазу,
 Что там за хлюпанье, урчание и всплески
 В болотце илистом, в игольчатом подлеске,
 И как незримые рокочут дерева,
 Еще не рублены на добрые дрова
 Для жаркого костра упорной еретички...
 ...Живет под ними еж, а в кронах дремлют птички.

Час пик

Час пик в ноябре. Раздражительный час —
 Месить этот снег, эту сажу и воду.
 Мы улиц не чистим, должно быть, кичась,
 Что вскоре навек обуздаем погоду.

Толпится, беснуется, мрачно гудёт
 Вся полупровинция, полустолица.
 Не снег и не дождь, а такое идет,
 Что проще повеситься, чем застрелиться.

Промозглая жадность, испарина, дрожь...
 И жизнь пробивается медящей каплей
 Меж глинистой общей картохой за грош
 И дорогостоящей частною вафлей.

Скользка и оступчива наша тропа
 Средь мизерных радостей нового нэпа.
 Любая мечта наша сроду глупа,
 Насильственна вольность и новость нелепа.

Мы злимся на знаки своей правоты,
 Слова свои слышим со страхом знакомым...
 Нас даже и в рай-то загонят менты
 Все тем же испытанным адским приемом.

И очередь к водке на целый квартал
 Не больше другой — к опьяненной печати.
 Не выпьете если, прочтется подвал,
 Что пить никому и не хочется, кстати.

И всем интересно, и тает поэт,
 Впервой оптимизмом блеснуть восхотевший,
 Что всем интересно, что шорох газет
 Слышнее, чем шорох листвы (облетевшей)...

Но, впрочем, мои-то какие права?
 Что я-то задумала, я совершила?
 Во мне-то растёт ли такая листва,
 Что все осенила бы, все заглушила?

Иду среди всех, раздражаясь на всех,
 Сама — раздраженья чужого причина,
 И разом на все раздражается снег,
 А может, и дождик, что неразличимо.

Ночью

Это ненависть, ненависть бродит
В поздний час у меня за стеной —
Водку глушит, будильник заводит,
Одичалой трясет сединой.

Вот идет — тяжело, босоного,
Стонет. Воду лакает, как зверь.
И ее мозговая изжога
Проникает ко мне через дверь.

«Знаешь, ненависть — это работа.
Ненавижу, вовек не прощу
День постылый — за то, что суббота.
Водку эту — за то, что хлещу.

А тебя ненавижу особо,
Потому что в ту давнюю ночь
Родила тебя эта утроба
И до гроба ты стала мне дочь.

Чуть под юбкой моей довоенной
Закруглился тобою живот —
Над твоей несмышленной вселенной
Встала я, словно громоотвод!

Ненавижу за то, что, рожая,
Уберечь тебя думала я.
Ненавижу за то, что чужая,
Ненавижу за то, что моя!»

Благовещение Беллини

Со всеобщим секретным благом
Входит к девушке Гавриил.
Строевым архангельским шагом
Он вошел — и шаги смирил,
Натянувшись, жесткая риза
В подколении, как металл,
Изломилась черно и сизо,
Цвет войны всю ткань пропитал,—
Прах искрошенного бетона,
Опустелая тьма небес
И — кометой во время оно —
Бомбовоз, низверженный в лес.

И с грядущим сообразуясь,
Вдруг лилея в руке гонца
Заострилася, как трезубец,
Жаждой кровушки и мяса.

А Марии так одиноко!
От покоя и от поста
Чуть заметно припухло око,
Отекли-запеклись уста.

Томной отроческой пустыней
На пришельца глядит она,
В непробойный, красный и синий,
Плотный кокон заключена.

С нетерпением терпит невеста,
 Как неслыханная судьба
 Уязвимого ищет места,
 И отводит атлас со лба,
 И под детский платочек, чепчик,
 Щекоча волоски бровей,
 Сострадательным громом шепчет
 Тайну тайн, сужденную ей.

Но бесстрашно отроковица
 Слышит участь свою и честь
 И грядущего не боится:
 Жизнь огромна, и время есть.

Не расширит узкого ока,
 Не унизится задрожать.
 Что там будет — еще далеко,
 Еще надо носить, рожать...

Послание другу

В мире дальнем, что подчас
 Даже кажется загробным,
 Друг, при случае удобном
 Помяни меня хоть раз.

Я стеречь осталась дом,
 Опустелый, многолюдный,
 Оголтелый, непробудный,—
 Помяни меня вином.

Я осталась — резедой
 Украшать свой сад заглохший,
 Полувыжженный, иссохший...
 Помяни меня водой.

Здесь осталась я вдвоем
 С матерью моей безумной.
 Духота в палате шумной...
 Помяни меня окном.

Здесь осталась я, храня
 Место на родном кладбище.
 Коли жив ты там, дружище,
 Жизнью помяни меня.



ВЛАДИМИР ОРЛОВ

★

АПТЕКАРЬ*

Роман

38

Чerez день Любовь Николаевна переехала на Кашенкин луг. Ей бы исчезнуть из квартиры Михаила Никифоровича в мгновение, как случалось прежде, а она потратила на сборы весь вторник. Михаил Никифорович работал днем, до трех часов. Уходил утром в аптеку, Любовь Николаевна возилась с какими-то тряпками; вернулся — чемоданы ее были раскрыты. Он спустился на лифте, дышал морозным воздухом, слушал споры и исповеди в автомате на Королева, появился в квартире снова, а Любовь Николаевна собиралась будто бы в курортную местность с игорными домами и толпами Лоллобриджид. В общежитии ее чемоданы могли смутить неустроенных девушек, а то и вызвать беспорядки. В последние дни разговоры Михаила Никифоровича с Любовью Николаевной были служебными, проживало бы в квартире третье лицо, они бы обменивались вынужденными словами через это третье лицо. Сейчас же Михаил Никифорович решил сказать Любови Николаевне о нравах в общежитии и ее чемоданах.

— А вам-то какое дело? — резко сказала Любовь Николаевна.

— Никакого... — растерялся Михаил Никифорович.

— Ну и помалкивайте! — предложила Любовь Николаевна. И тут же потребовала: — Вы бы лучше помогли чемоданы закрыть! Наступили бы на крышку. Вы же тяжелый.

Михаил Никифорович поднялся как бы с ленцой, нехотя, а сам взволновался. Вещи, уложенные в чемоданы, Любовь Николаевна прикрыла льняными скатертями, чемоданов было три, а вещей хватило бы на семь. Михаил Никифорович, надавливая на кожаные крышки коленями, сумел укротить сопротивление формы. Затянули они вместе с Любовью Николаевной ремни. Любовь Николаевна покраснелась, капельки пота поблескивали на ее носу и над верхней губой.

— Ну вот! — сказала она. — Хоть на что-то сгодился мужик.

Михаил Никифорович псгядел на нее, но тотчас взглянул на окна. Занавеси и ламбрекены висели.

— Это все ваше! Ваше! — успокоила его Любовь Николаевна. — Это я не беру.

— Я их выкину, — сказал Михаил Никифорович.

— Не выкинете, — уверила его Любовь Николаевна. — Они украшают квартиру.

— Выкину, — повторил Михаил Никифорович и пошел на кухню.

— А выкинете, будете дураком! — понеслось ему вдогонку.

Михаил Никифорович чуть было не ответил ей, но опустил на табуретку и взял в руки «Вечернюю Москву». Что она, скандал, что

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5, 6 с. г.

ли, желает устроить? Слова, какие ему явились для ответа, были самые базарные. Возня с чемоданами, пакетами, сумками будто вновь преобразила Любовь Николаевну или вернула ее в истинное состояние. Но какое ее состояние было истинным? По вечерам Михаил Никифорович видел теперь в своем жилище строгую, платиновую женщину, которая днем наверняка руководила текстильной фабрикой или даже целой отраслью легкой промышленности, скажем обувной или льнопрядильной, а если братъ занятие Михаила Никифоровича, то и всем аптечным делом, всеми микстурами, порошками и рецептами в отечестве. Да и оборонными предприятиями могла руководить Любовь Николаевна. Из-за иной Любви Николаевны Михаил Никифорович ездил на Савеловский вокзал. Та была и пропала. А может быть, той и вовсе не было... Приходила к Михаилу Никифоровичу тоска, какой он никогда не испытывал. Но серебристой оказалась эта тоска, она была и как мечта... А возвращенная в Останкино Любовь Николаевна в английском костюме и белой блузке с кружевами, если являлась на улицу Королева после усердий в отраслях и сферах, возможно, и ночами сидела над деловыми бумагами. Ей этаж в доме полагался, а не койка и тумбочка в общежитии. Когда Михаил Никифорович по недоразумению встречался взглядом с глазами Любви Николаевны, ему казалось, что он видит в них презрение, а то и брезгливость. «Ну и катились бы отсюда!» — желал сказать ей Михаил Никифорович, но не говорил: а вдруг в нынешней Любви Николаевне, в тайнах ее, пребывала прежняя Любовь Николаевна, летняя и осенняя.

Но сегодня-то Любовь Николаевна походила на ту, что готовила психюшки, суп жарчо, кабачки, фаршированные мясом, посылала Михаила Никифоровича на улицу Цандера за швейной машинкой и могла пуститься в загул. Да хоть бы и пустилась!.. Ту, летнюю и осеннюю, живую Любовь Николаевну почувствовал рядом с собой Михаил Никифорович, когда закрывал чемоданы. И запахи были — живой Любви Николаевны. Жаркая, в пушистом оранжевом свитере, в ношеных джинсах, высунув язык, помогала она ему затягивать кожаные ремни, плечом толкнула, и оно было живое, знакомое. Михаилу Никифоровичу захотелось отшвырнуть чемодан, обнять Любовь Николаевну. Не отшвырнул и не обнял...

— Как вы думаете, без паспорта можно поселиться в общежитии? — Любовь Николаевна стояла в коридоре.

— Вам — можно, — сказал Михаил Никифорович.

— Вот и нет. И мне нельзя. Я и не особенная. Я обычная и с малым сроком проживания в Москве. А в бумагах я осталась Стрельцовой. Неразведенной. И можете представить, как нелегко было поселиться не разведенной и имеющей площадь на Королева.

— Позвольте вам не поверить насчет нелегко, — сказал Михаил Никифорович. — При вашей-то... пронырливости... Или пробойности... Или... А не разведенная вы, видимо, со мной?

— С кем же еще?

— С одной дамой я хоть разведенный...

— Я ее хорошо знаю, — напомнила Любовь Николаевна.

— Но зачем вам теперь нужна моя фамилия?

— На время, на время! Девушки из общежития помнят, что вы мой муж. Но это пустяки. Они могут и запомнить. А вот площадь ваша останется у меня в резерве. Мало ли что. И вы, как неразведенный, посадите для меня на скамье запасных.

— Не нарушаете ли вы условия договоренности с нами?

— А хоть бы и нарушаю! — рассмеялась Любовь Николаевна.

— К чему вы все это мне говорите?

— Хочу — и говорю! Дразню вас. Скандала хочу!

— А-а, — сказал Михаил Никифорович и развернул «Вечернюю Москву». Когда он прочитал (слова прыгали со строчки на строчку

и не сразу собирались в предложения) заметку о вымогательнице из парикмахерской, заслужившей восемь лет и конфискацию имущества, из комнаты донеслось: «У кого же нет капусты, прошу к нам в огород, во девичий хоровод...» Давно не пела при нем Любовь Николаевна. И как пела теперь! Михаилу Никифоровичу бы слушать и слушать ласковое ее пение, но он встал, газету бросил и, грозный, отправился закрывать дверь в комнату, чтобы никакие издевательские звуки не мешали ему жить.

И тут же Любовь Николаевна встала в дверном проеме, бедром прислонилась к косяку.

— А вы: нервничаете,— улыбнулась Любовь Николаевна.— Дверью хлопнуть решили. Это я дверью должна хлопнуть. Вы-то что нервничаете, Михаил Никифорович? Вам один вечер и осталось терпеть. Или вы недовольны тем, что я уйду в общежитие? Может, вы обижены? Может, удержать меня собрались? Что вы молчите, Михаил Никифорович? А может, у вас любовь ко мне?

— Хорошо, считайте, что любовь,— каким-то дурным, сдавленным, чуть ли не хриплым голосом сказал Михаил Никифорович, повернулся и пошел на кухню.

— Вот тебе и любовь! — рассмеялась Любовь Николаевна.— А сами сбегаете!

«Издевается! Голову дурит! — старался уверить себя Михаил Никифорович.— Нет, надо продержаться, всего-то одна ночь, до петухов». Сразу же он удивился себе: каких петухов, при чем тут петухи? Но не ущемляла ли в чем-то себя Любовь Николаевна ради его покоя, комфорта и свободы? Однако тут же он вспомнил Любовь Николаевну последних дней и за столом у дяди Вали. «Дурачит, дурачит! Или развлекается. И жить она может где хочет. Общежитие — ее блажь, блажью была и моя квартира»,— говорил себе Михаил Никифорович. Но спокойствие к нему не приходило.

— Да! — Любовь Николаевна появилась на кухне.— Сбежали!

— Что вам нужно от меня? — спросил Михаил Никифорович.

— Теперь, пожалуй, и ничего не нужно,— сказала Любовь Николаевна серьезно. Печаль была в ее глазах.

Михаил Никифорович встал.

— Была надежда,— сказала Любовь Николаевна,— но, увы, то, что вы могли, вы не сделали.

— У женщины, со мной разведенной,— сказал Михаил Никифорович,— тоже была надежда, а я ее разочаровал. Вы знаете.

— Здесь иное,— сказала Любовь Николаевна.— Вы могли меня спасти, но не спасли.

И Любовь Николаевна ушла в комнату.

Мрачный Михаил Никифорович ходил по кухне и ругал себя. Он был туподум, мыслить о житейских обстоятельствах быстро не умел. Виноватым признать себя было легко, но сообразить, что именно он не сделал, чтобы спасти Любовь Николаевну (и от чего?), он не мог. «Скотина я! — твердил себе Михаил Никифорович.— Но что делать? Что?» Подсказала бы она, как ее спасти (от чего — уже не имело значения), он бы и жизнь отдал.

А потом Любовь Николаевна снова запела. Вспомнила вначале о том, как ночевала тучка золотая на груди утеса-великана... Не оказался Михаил Никифорович утесом-великаном, так, стало быть, следовало понимать? Но Любовь Николаевна, став Лелем из оперы тихвинского волшебника, отчитала глупых девок словами чужанина: «Что за радость вам аукаться...» Никакой печали не было теперь в голосе Любви Николаевны. Михаил Никифорович ходить перестал. Напоминание об утесе-великане вряд ли было намеренным. Да она как будто бы и танцует, показалось Михаилу Никифоровичу. Он закурил, стряхивал пепел в банку из-под майонеза. Майонез покупала

Любовь Николаевна. Могла ли женщина, которую требовалось спасти, думать о майонезе? Сомнительно. А теперь она, судя по звукам, пританцовывала или водила сама с собой хоровод. Вовсе не грустным получался ее последний вечер в квартире Михаила Никифоровича, сладостной, возможно, представлялась ей жизнь в компании девушек-отделочниц. Да и одних ли девушек-отделочниц? А Любовь Николаевна запела «Черноокий, чернобровый, молодец кудрявый», призывно запела, с удалью. Михаил Никифорович был чернобровый, но не кудрявый и глаза имел серые, не к нему был обращен призыв Любови Николаевны. Среди знакомых к чернобровым и чернооким можно было отнести Шубникова. Но черноокие и чернобровые нашлись бы и помимо Шубникова. Тем временем Любовь Николаевна отправилась в ванную, зашумел душ. Купание ее было недолгим. Веселая, ухоженная, прекрасная, босая, в мохнатом халате вышла она в коридор, манила Михаила Никифоровича шальными глазами.

— Что же вы, Михаил Никифорович? — говорила Любовь Николаевна. — Или вы боитесь меня? А ведь когда-то были отважным мужчиной. Или вы полагаете, что я и впрямь полая, или на транзисторах, или вампир и кровью вашей наслажусь, или кикимора из полеских болот и сглажу вас?

— Не издевайтесь надо мной, — тихо сказал Михаил Никифорович.

— А если вы заслужили?..

Михаил Никифорович и сам будто не хотел, но резко направился к Любови Николаевне, возможно, чтобы высказать ей возмущение или даже скрутить, связать ее, затрещину вклеить и прекратить ее развлечение. Но в шаге от Любови Николаевны остановился, ощутив, что несправедлив и нелеп, сказал лишь:

— Вы уезжаете. И ладно.

Любовь Николаевна протянула руку и пальцем, перстом указующим, дотронулась до груди Михаила Никифоровича.

— Все должно было быть иначе, — сказала она снова серьезно. — А вы, может быть, меня предали... Или себя...

— Вы объясните мне, — сказал Михаил Никифорович, — что я должен был делать. Или что вы считаете, я должен был сделать.

— Михаил Никифорович, — грустно покачала головой Любовь Николаевна, — подсказки здесь невозможны.

Палец свой с огненным ногтем она не отнимала от груди Михаила Никифоровича, он будто жег. Мог и опалить.

Наконец отвела руку Любовь Николаевна...

— Да ведь шучу я, Михаил Никифорович! — сказала она. — Все я шучу! Или вы не видите?

— Зачем? — спросил Михаил Никифорович.

— А я и сама не знаю зачем. Просто я дурная, вам известно. Куражусь вот перед вами. Но, может, и удовольствие хочу получить напоследок. А? И вам небось хорошо будет.

— Не будет, — солгал Михаил Никифорович.

Желанная, единственная стояла рядом женщина, а Михаил Никифорович волю в себе собирал.

— Может, и случая потом не представится, — сказала Любовь Николаевна. — В общежитии-то...

— Ну и замечательно! — произнес Михаил Никифорович, пошел к раскладушке, схватил ее будто за шиворот, скрылся в ванной и задвинул защелку с силой, достойной амбарных засовов.

Еще когда был в коридоре, услышал: «Ведь я про какой случай говорю.. Вы же опять не поняли...» — но дальше разговор вести не пожелал. Нерушимое убеждение в том, что она развлекается, и не только ради собственного удовольствия, а и ради посрамления его как личности, казалось, захватило его. Михаил Никифорович был из тех людей, что чаще готовы и самые горькие, окаянные упреки

по поводу их природы и действий не отвергнуть, а посчитать верными и заслуженными, признать, что именно в них самих и есть источники чужих и своих бед. Но сейчас он заупрямился. Уверил себя в том, что и в те мгновения, когда Любовь Николаевна говорила якобы серьезно (что он ее не спас, а мог спасти, что предал ее и себя, а мог сделать нечто), и тогда она лицедействовала и развлекалась. Или развлекала кого-то. Она по чьему-то расчету или ехидству была навязана Останкину и ему, аптекарю, но она ему — не по силам. И он негодяй, что не отторгнул ее сразу, а существовал с ней рядом в теплой житейской сытости как с некоей беззлобной шуткой природы. И несомненно он был безразличен ей или интересен лишь как объект опыта. Возможно, в этом опыте, или, как было названо, в кашинском эксперименте, ему и отводилась особая роль, но он ее не исполнил и тем расстроил экспериментаторов. В мыслях об опыте Любовь Николаевна виделась Михаилу Никифоровичу наглой и бесстыжей, поступавшей против правил. Каких правил? Если и были у нее правила, то для Останкина непригодные. Так говорил себе сейчас Михаил Никифорович, лежа в ванной на раскладушке.

Ему казалось, что он слышит смех Любви Николаевны. Потом будто раздавались звуки царапающие, большой кошки или рыси. Потом словно бы отмычкой или крючком хотели добраться до защелки и откинуть ее. «Спать, и все. А завтра ее не будет...» Но не слетал на Михаила Никифоровича сон. О своей жизни думал Михаил Никифорович и о Любви Николаевне. А может, надо было открыть дверь? И все бы пошло иначе... Ни за что. Никогда... Дальние шумы мерещились Михаилу Никифоровичу, подземные гулы и взрывы, обвалы в снежных горах. Тревожно и больно стало на душе Михаила Никифоровича, будто перед землетрясением. Или перед падением бомбы. Или перед гибелью близкого, внезапно осознанной... «Нет от смерти в саду трав»,— явилось ему. Нет в саду трав... Что жизнь твоя, и ее, и его, и всех и зачем?.. Он хотел встать и зажечь свет, но не смог. Да и принес бы электрический свет облегчение и в чем бы укрепил? Вот и оставалось ждать до петухов... «Но отчего же до петухов?» — противился петухам Михаил Никифорович. Студено стало в ванной, стужа была не ото льдов, не колымской, а сырой, будто от полевских болот, упомянутых Любовью Николаевной. Михаила Никифоровича знобило. Глаза его были закрыты, но виделось ему нечто быстрое, взлетающее и зеленое. Оно то приближалось к нему, то будто отпрыгивало или отбрасывалось от него, и лики чьи-то проступали в зеленом, незнакомые и скорбные. И уже не тревога была в Михаиле Никифоровиче, а боязнь, чуть ли не страх чего-то. И выло, выло в небесах ненасытное, злое. А тут из быстрого, взлетающего, зеленого бросилось нечто — птица ли, ветка ли ожившая, корявая, колючая, зверь ли какой оголодавший,— бросилось к Михаилу Никифоровичу, будто желая вцепиться ему в горло. Михаил Никифорович отшвырнул одеяло, рывком поднялся на локтях.

Тишина была в доме.

Вода ни из единого крана не капала, трубы и батареи отопления не громыхали, не скандалили и не стонали.

Кто-то заплакал. Заплакал тихо, но совсем рядом, в комнате или в коридоре. Плакал ребенок. Плакал, ничего не выпрашивая и никого не подзывая. Нет, теперь, жалуясь самой себе, плакала женщина. Михаил Никифорович захотел встать и пойти на плач, но его качнуло, опустило на раскладушку и прижало к ней. Глаза Михаила Никифоровича закрылись, и он заснул...

Проснулся он поздно, в девять, и то оттого, что в дверь ванной энергично постучали. Любовь Николаевна ожидала водных процедур. Была она деловой и чужой в квартире Михаила Никифоровича, вче-

рашный вечер мог оказаться и его сновидением. «Доброе утро. Извините», — хмуро пробормотал Михаил Никифорович, собирая раскладушку. Пока у Любови Николаевны были занятия в ванной, Михаил Никифорович сходил за газетами, поглядел на мир из окна кухни. Башня была на месте, троллейбусные провода висели не оборванные, липы и тополя стояли прочно, буйств стихий ночью в Останкине не происходило. Михаил Никифорович был даже разочарован.

Он мог помочь Любови Николаевне перенести чемоданы и сумки на Кашенкин луг. Но руки нашлись. В двенадцать явились две товарки Любови Николаевны — девушки из комплексной бригады отделочниц, знакомые Михаилу Никифоровичу по осенним гостеваниям в его квартире. Имен их, впрочем, он не помнил. Девушка, та, что помоложе, смотрела на него с укором, чуть ли не враждебно, полагая, видимо, что именно он виноват в раздоре с супругой, столь милой и порядочной. Девушка постарше Михаилу Никифоровичу даже улыбалась, он чувствовал, что она готова начать разговор, какой бы мог уладить или хотя бы смягчить семейную драму. У порога, когда чемоданы и сумки были в руках у трех дам, она все же высказала сожаление о разбитой семье.

— Что тут сожалеть, — жестко сказала Любовь Николаевна. — Оно, может, и к лучшему... Найдутся люди и более достойные. А Михаилу Никифоровичу суждено пожалеть о том, что он выпустил из рук. И куда оно уйдет. — Жесткий взгляд Любови Николаевны был направлен теперь на Михаила Никифоровича. — И, видимо, скоро пожелать. Как бы и не вышло бед.

Отделочница помоложе будто ждала этих слов и закивала одобрительно. Михаил Никифорович лишь руками развел. «Проваливайте, проваливайте», — сказал он, закрыв за дамами дверь. Ну и что он выпустил из рук, ну и куда оно пойдет? Пойдет и пойдет... Михаил Никифорович заглянул в комнату. Осматривать со вниманием комнату он не стал. Если что забыла — придет товаровод-отделочниц. Занавески и ламбрекены висели. И возвращенные Любовью Николаевной три горшка с худыми растениями стояли на подоконниках. Выкидывать их сразу показалось Михаилу Никифоровичу мелкой мстью. Михаил Никифорович уселся на диван, зажмурился в удовольствии. Неужели он совсем свободен от Любови Николаевны? Свободен! И жив!

Но следовало собираться на работу. Михаил Никифорович забрал из шкафчика в ванной деловые бумаги и возвратил их в комнату. При этом полистал паспорт. Штамп с именем жены действительно не исчез, не выгорел и не стерся. «А-а! Исчезнет!» — легкомысленно предположил Михаил Никифорович.

После работы освобожденный Михаил Никифорович заглянул в ресторан «Звездный» и допустил нарушение диеты. Бывшая аптека Михаила Никифоровича, а ныне пункт проката, находилась метрах в семидесяти, огням там в двенадцатом часу полагалось бы не гореть, а они горели, и в недрах ощущалось служебное движение людей. И будто бы новая вывеска светилась. Впрочем, Михаил Никифорович не придал мелким странностям значения.

Он ожидал продолжения радости в очищенной от наваждения квартире. Но никакие радости дома не возникли. Да пусть бы жила рядом с ним Любовь Николаевна, пусть бы стесняла, пусть бы ходила хоть и в сером английском костюме!.. «Суждено пожалеть...» И другие слова вспомнил Михаил Никифорович. Но и впрямь, от чего он мог уберечь Любовь Николаевну, от чего и как спасти, что он должен был делать, как он предал ее и себя? «Подсказки здесь невозможны...»

Иным вышел уход Мадам Тамары Семеновны. Тамару Семеновну надо было не спастись, а обеспечить. Вести в Высший Свет. Спасти себя она могла сама. Что и сделала, расставшись с Михаилом Никифоровичем. А сейчас она, возможно, и обеспечена и вблизи светского общества, а то и в нем. Тогда его сожаления, растерянность, чувство

вины оказались временными, а ощущение свободы — стойким. Тамару Семеновну Михаил Никифорович, пожалуй, не любил. Увлечение или влюбленность были в Крыму и позже в Москве, но они потихоньку выветрились... Нынешнее свое удрученное состояние Михаил Никифорович объяснил в конце концов тем, что он по своей натуре склонен привыкать или привязываться к чему-либо или к кому-либо и потом ему без этого привычного худо. Но пройдет время, и он отвыкнет от наваждения...

Михаил Никифорович направился к дивану. Но потом снял раскладушку, отправленную было на антресоль, расставил ее в ванной, там и улегся. Уснуть, как и накануне, не мог. Опасался закрыть глаза. Вот-вот, казалось, возникнет снова зеленое, гибкое и взлетающее, станет выть, раздадутся шумы и грохоты, а потом из зеленого бросится к нему птица, ветка или зверь и уж теперь вцепится ему в горло. И боялся Михаил Никифорович услышать плач в тишине. Но не ожило зеленое, и никто не заплакал. Противно текла вода из бачка в туалете, и дрожали, постанывая, трубы водопровода...

40

Через два дня Михаил Никифорович достал из почтового ящика письмо от Любви Николаевны.

Любовь Николаевна благодарила Михаила Никифоровича за приют и терпение, извинялась, что не высказала этого при расставании. Она напоминала, что дала слово пайщикам излечить его, но не ее вина в том, что он заупрямился и отказался от ее участия. Сама же она навязываться не станет. Писала Любовь Николаевна и о деньгах. Она все помнит, заработает и, что должна, отдаст. Любовь Николаевна просила Михаила Никифоровича поливать цветы. И советовала не расстраиваться, если в Останкине возникнут не предвиденные им обстоятельства. Был на конверте адрес отправительницы с номером восемьдесят девятым комнаты в общежитии, Михаилу Никифоровичу не нужный. Деньги он получить от Любви Николаевны не ожидал и в расчет их не брал. Растения в горшках Михаил Никифорович осматрел. Поливать их не стал, предоставив им самим зачухнуть или выжить. Может быть, следовало квартиру продезинфицировать или воспользоваться средствами войн с тараканами и клопами, чтобы ни одного микроба от Любви Николаевны в доме на Королева более не пребывало? Подумав, Михаил Никифорович решил обойтись пылесосом и мытьем полов.

Здание на улице Цандера украшала теперь вывеска «Ищущий центр проката». Михаил Никифорович быстро получил пылесос. В зале, где когда-то отпускали лекарства, сидели конторщики, принимавшие заказы. Конторщик при телефонах, мониторе и дисплее полистал паспорт Михаила Никифоровича, списал данные, сказал, что жена, наверное, может быть довольна таким усердным мужем. Михаил Никифорович чуть было ему не надерзил, но конторщик нажал кнопку, и сейчас же подсобный рабочий принес пылесос «Веселые ребята». Подсобный рабочий в черном опрятном халате был Валентин Федорович Зотов. Он поздоровался сухо, но доброжелательно, как государственному служащий с клиентом, на пустые слова времени не имел. «Но беда-то ведь небольшая? А?» — спросил Михаил Никифорович. «Извините», — сказал дядя Валя и ушел. Минуты через две он опять появился в зале. Теперь дядя Валя вывел верблюда-бактриана, чьи горбы по причине зимы были укрыты туркменским ковром, подвел его к даме в шубе из скунсов и после некоторых формальностей сопроводил верблюда и даму к выходу. В дверях верблуду пришлось присесть, так, на карачках, он и выбрался на улицу Цандера. «Там скользко, лед!» — обеспокоился Михаил Никифорович. Но, может быть, животное было подкованное. Михаил Никифорович хорошо знал все

помещения бывшей аптеки и был отчасти удивлен. Где же держат они вещи? — недоумевал он. И не только, можно понять, вещи.

Уже у двери Михаил Никифорович обернулся и увидел Шубникова. Загадочный, похожий на черного иллюзиониста, кому в старом цирке отдавали полное представление, стоял Шубников. Несомненно он стал выше. И Шубников сухо кивнул Михаилу Никифоровичу, но доброжелательства не было в его глазах.

С пылесосом Михаил Никифорович зашел в пивной автомат. Время текло обеденное, знакомые присутствовали.

— Ба! Да он с покупкой! — обрадовался финансист Моховский.

— Я взял в прокате, — смутился Михаил Никифорович.

— Он от прокатчиков! — рассмеялся Моховский.

Но тут же и утих. И все отчего-то замолчали.

— Они не прокатчики, — с досадой произнес Филимон Грачев. — Прокатчики — другие, специалисты черной металлургии...

— А может, они как лучше хотят, — предположил Михаил Никифорович. — Мне пылесос выдали моментально. А женщине — верблюда.

— Может быть, и как лучше... — задумались собеседники.

В это мгновение в автомате появился Петр Иванович Дробный. «Вон. Один из прокатчиков», — толкнул Михаила Никифоровича инженер по электричеству Лесков. Петр Иванович презирал пиво, и видеть его вблизи кружек было удивительно. Дробный заметил Михаила Никифоровича, подошел к компании. «Что это ты?» — спросил Михаил Никифорович. «Устал, — сказал Дробный. — Ужарился». «На улице не жарко». «Не жарко, — кивнул Дробный. — Но вот ужарился. И не на улице». «На улице, — вспомнил Михаил Никифорович, — ты, бывало, созерцал. И мне советовал...» «Сейчас не посоветую», — быстро сказал Дробный. Он действительно выглядел усталым, и видно, был отчего-то в раздражении. «Как у вас в прокате?» — поинтересовался таксист Тарабанько. И его бесцеремонный вопрос вызвал раздражение, но Петр Иванович, как человек воспитанный, лишь промолчал и поглядел куда-то вверх Тарабанько. Потом он все же сказал, но обратившись к Михаилу Никифоровичу: «Это интересно. Даже занятно. Но нелегко... Кстати, я встретил здесь общего знакомого. Хирурга Шполянова. Тогда он был у нас в мясничкой... У него хорошая услуга». Если бы Михаил Никифорович не знал Дробного, он мог предположить, что тот чуть ли не завидует сейчас доктору Шполянову. Но Дробный считал зависть чувством бесполезным и лишним. Самого Дробного объявляли и кавалером, сопровождающим дам, и певцом для домашнего музицирования, как-то потянуло Дробного в каскадеры. При оказании какой услуги он сегодня ужарился и пожелал выпить пива?.. Дробный отозвал Михаила Никифоровича из компании и спросил, хорошо ли он знает Шубникова. «Давно знаю, но это не значит, что хорошо...» «Мне показалось, — уже не спрашивая, сказал Дробный, и не для Михаила Никифоровича, а для себя, — он может быть и капризным. Или опасным...» Но сразу Дробный и замолчал, и Михаил Никифорович понял, что Дробный еще станет жалеть о произнесенных им словах. Дробный извинился, ему надо было идти и продолжать занятия; обеспокоенный, усталый и все еще раздраженный, он удалился из автомата.

— Этого дорого нанимать, — сказал Тарабанько.

— С чего ты взял? — спросил Филимон.

— А ты цифры посмотри в ценнике.

— Михаил Никифорович, — сказал Лесков, — но ведь вы тоже у них в прокате.

— Это кем объявлено? — спросил Михаил Никифорович.

— Все пайщики там.

— И Филимон?

— Я не пайщик, — заявил Филимон. — Я — гонец.

— Призовут — и пойдешь, — сказал Тарабанько. — Будешь чрезвычайный и полномочный курьер. Или гонец по особо важным поручениям.

— Никогда! — пылко пообещал Филимон.

— И кем же я там? — спросил Михаил Никифорович.

— Твой пай — главный. И ты открывал бутылку.

— Если я чем-то и связан с пунктом проката, — сказал Михаил Никифорович, — то лишь квитанцией на пылесос.

— Говорят, там у вас... у них... будет управление малых рек, — сказал Тарабанько, — и управление диких птиц.

— Как это можно управлять малыми реками? — удивился Филимон. — И зачем?

— Значит, можно, — сказал Тарабанько. — И надо. Они ищут. Можно будет взять напрокат малую реку, ну, участок ее, и поить в ней коров или ловить щук. Или вот у нас в доме нет горячей воды. Они будут давать в прокат горячую воду. Сразу по нашим трубам давать.

Слова Тарабанько взволновали Филимона. Он вскричал:

— Ее зовут не Любовью, а Варварой!

— Спасибо за компанию, — сказал Михаил Никифорович и поднял с пола картонную коробку.

— А может, они тебе поломанный дали? — спросил Лесков. — Или со взрывным устройством?

— Его взрывать не станут, — сказал Филимон. — До поры до времени.

Не прошел Михаил Никифорович и ста метров, как ему стало казаться, что в картонной коробке что-то шевелится, тикает и желает расширяться. Шевеление вскоре прекратилось, но тиканье, какое вполне могло сопутствовать взрывному устройству, становилось все наглее и громче. «Не мог дядя Валя...» — старался успокоить себя Михаил Никифорович. Тикало теперь с перебойми и как бы дергано, когда же наступал перебой, будто открывалась пропасть, и Михаилу Никифоровичу было страшно. «Бросить надо коробку, — думал он, — и бежать...» Но механизм, наверное, был обречен сработать, а Михаил Никифорович проходил мимо окон, за которыми сидели девушки-счетоводы, и одарить их пылесосом с улицы Цандера было бы низко. И в некую гордыню отчаяния впал Михаил Никифорович: да пусть сокрушают, пусть взрывают его, он сейчас ни перед кем не взмолится, ни перед кем не опустится на колени, отклонит любые условия пощады, пусть взрывают и разносят.

Но от сведения счетов с ним природы, судьбы или кого-то, получившего силу, не должны были страдать люди. Куда же следовало вырваться с картонной коробкой, в какое одиночество, чтобы ни один осколок не побил ни в чьем жилище стекла, чтобы никто не застонал и не заплакал, он не знал. Сквер на улице Королева был сейчас пуст, но и там мог невзначай возникнуть человек, а за сквером лежали рельсы для седьмого и одиннадцатого трамваев. Куда же следовало уединиться и где притихнуть, не заскулив?.. Михаилу Никифоровичу было теперь все равно, кто она — Любовь или Варвара, главное, чтобы она была, однако неужели она могла оказаться такой мелкой и тиканье коробки было связано с ней? «Миша, что несешь-то, золотой мой?» — услышал Михаил Никифорович. Навстречу ему шла старуха Гладышева с пятого этажа их подъезда, несла в авоське пустые бутылки изпод кефира и портвейна «Чишма». «Пылесос», — растерянно сказал Михаил Никифорович. Старуха остановилась, она любила беседовать с Михаилом Никифоровичем, он не раз ей делал уколы по назначению врачей. «Ох и хороший пылесос! — оценила Гладышева. — И как тикает! Будто музыка! Будто Толкунова». «Да, тикает», — согласился Михаил Никифорович, норовя убежать. «А зачем тикает-то?» «Чтобы быстрее ходить по комнатам... Извините, я бегу». «Ну беги, — поощрила его Гладышева. — Беги. Надолго твоя-то уехала?» Михаил Ники-

форович остолбенело посмотрел на старуху, прошептал: «Надолго!» — и побежал. Он знал, что любознательная Гладышева стоит и с добрым вниманием смотрит ему в спину. Он бы ее расстроил, если бы сейчас с пылесосом бросился в сторону от дома, может, и устои бы долговременные в ней обрушил, а потому и побежал в свой подъезд. Не надо было этого делать, но побежал. В лифте подумал: «Ведь теперь и весь дом разнесет...» Коробка отяжелела, будто в нее переместились из государственных подвалов золотые слитки, но тиканье не прекратилось, стало прыгающим, и опять в коробке что-то зашевелилось, принялось рваться наружу и раскачивать дом. В Михаиле Никифоровиче в самом все теперь, казалось, вздрагивало и вспрыгивало, но коробку на пол кабины он не ставил, полагая, что, держа ее на весу, всю ответственность за нее он оставляет себе... «Он может быть капризным. Или опасным...» Не намек ли был в этих словах Пети Дробного? Не предупреждение ли?

Лифт остановился. Бурлаком Михаил Никифорович доволком коробку на кухню, на весу она уже не держалась. Не раздеваясь, принялся развязывать узел бельевой веревки, стянувшей коробку, ему бы успокоиться, сообразить, что бы предпринял на его месте бывалый сапер, а он тормозил коробку, раздражал, злил то, что было в ней, хлебным ножом рассек веревку, распахнул крышки — в коробке стоял пылесос. Пылесос был скромный и будто бы напуганный Михаилом Никифоровичем, не тикал, не шевелился, не подпрыгивал, никуда не рвался. «Да что же это я? — удивился Михаил Никифорович. — Что со мной?»

Но ведь и старуха Гладышева слышала тиканье. А она несла сдавать бутылки, значит, не могла быть привидевшейся. Михаил Никифорович разобрал пылесос, не обнаружил взрывных устройств и часовых механизмов, снова собрал, воткнул вилку в розетку удлинителя, нажал кнопку. Не взорвалось, не разнесло, не опалило Останкино. Завыло по-домашнему, приласкивая, притягивая пыль. Видно, система «Веселые ребята» была рассчитана и на пыль музыкальную. Михаил Никифорович ощутил, как звуковые потоки от его кухонного приемника утекли именно в пылесос, и там пропали концертная программа «Маяка» и два выпуска новостей (три дня потом приемник молчал). Михаил Никифорович надеялся, что пылесосом были вобраны все остатки слов Любови Николаевны и ее песен. Когда деловой вой пылесоса прекратился, изумрудная тишина возникла в доме. Михаил Никифорович долго сидел в этой тишине без мыслей и желаний.

Но к трем часам надо было ехать в аптеку.

И снова вернулось беспокойство: не переутомление ли у него, не новые ли следствия отравлений? Что происходит с его нервами? То будто зеленое кидалось к его раскладушке, то мерещилось тиканье взрывного устройства, и пылесос, в котором всего-то килограмма четыре, показался телегой, застрявшей в грязи, вытащив какую можно было получить заворот кишок. Не начать ли ему пить пустырник?

Собранный, почти невесомый пылесос он уложил в коробку, подумал: «Надо же! Значит, не было ни тиканья, ни старухи Гладышевой, ни авоськи с бутылками...»

«Было! — услышал Михаил Никифорович мерзкий алюминиевый голос. — Предупреждение! Вам сделано предупреждение!»

Слова эти прозвучали внутри Михаила Никифоровича и за пределы его не вышли.

Пылесос еще три дня стоял в квартире Михаила Никифоровича. В эти дни пустого времени у Михаила Никифоровича почти не было. Ни в аптеке, ни вне ее. Года два назад он придумал инвалидную службу. Вернее, не придумал, а затеял, придумали другие, в

Орехове-Борисове, о чем он прочитал в газете. Лекарства в аптеке Михаила Никифоровича брало немало инвалидов войны. Один, безрукий, Зигнатулин, ходил, ходил в аптеку, а потом перестал. Позже от людей из дома Зигнатулина Михаил Никифорович узнал, что тот умер. Зигнатулин был одинокий, слег, на столе у него валялись рецепты. А если бы кто пошел с ними в аптеку, то Зигнатулин, возможно, и теперь бы жил. Михаил Никифорович знал примерно, в каких домах и переулках обитают их постоянные посетители. Он обошел эти дома и составил список инвалидов Отечественной, их обнаружилось сорок четыре, из них девять — второй группы и четверо — с домашним режимом существования. Михаил Никифорович завел на них карточки с адресами, телефонами, краткими историями болезни и сведениями о лекарствах, какие сорока четырем более всего прописывали. Потом в картотеке появились телефоны посетителей-инвалидов, переселенных на окраины, но заезжавших в аптеку из своих выселок по старой привычке и из упрямства. Все они были у Михаила Никифоровича под опекой. Заведующая, оценив затею как своевременную, предоставила ему даже шкаф, распорядившись назвать его фондом инвалидов Отечественной войны. При участии Михаила Никифоровича были налажены отношения со многими московскими аптеками, и когда какое-нибудь лекарство либо трава, скажем трентал или сушеная резеда, кончались, а за ними приходили в нужде, у просителей брали открытки или номера телефонов, аптекари связывались с коллегами, и где-нибудь в Лианозове отыскивались и трентал и резеда. Ради инвалидов, а к ним добавились и выявленные хронические больные из ближних кварталов, Михаил Никифорович путешествовал за лекарствами. В те дни он ездил то в Крылатское за лазексом для хроника Пустовойта, то в Люблино за верошпироном для отставного морского офицера Устинова. Расхворались тогда и некоторые его одинокие инвалиды, и им наносил визиты Михаил Никифорович.

А пылесос смиренно стоял в прихожей. Михаил Никифорович к нему привык. Однако кому-то он мог понадобиться. Да и платить за услугу полагалось. К тому же в Ищущем центре проката могли считать, что он запуган предупреждением. Или в смятении от него. Оттого и не решается вернуть предмет.

По дороге в пункт проката Михаил Никифорович встретил старуху Гладышеву. Теперь в ее авоське лежала морская рыба в прозрачном пакете и мытый картофель в сетке. «Треску дают,— прошептала Гладышева.— Безголовую. По пятьдесят шесть копеек. И очередь короткая. Отварил бы в сметане. И хорошо для твоей печени...» Ни о какой печени Михаил Никифорович старухе Гладышевой не докладывал. Он вяло одобрил покупку Гладышевой безголовой трески. «Обратно несешь?» — радуясь круговороту жизни, спросила Гладышева. «Обратно», — подтвердил Михаил Никифорович. «Надо же, вот попадет такая, загрязнит квартиру,— посетовала Гладышева,— а потом мужику маяться...» Михаил Никифорович чуть было не стал защищать Любовь Николаевну, но решил продолжить путешествие. «Иди, иди! — напутствовала его Гладышева.— Там полезные дела. У них теперь души переселяют...»

Михаилу Никифоровичу захотелось, чтобы в картонной коробке нечто зашевелилось, потяжелело, затикало, обещая террористический акт. И чтобы все в пункте проката ощутили это. Но ничто не затикало и не зашевелилось. Кротким, как Валентин Федорович Зотов, был груз в коробке. А Михаил Никифорович, отворяя дверь в пункт проката, взволновался, потому и не все сразу рассмотрел в помещении. Направился к конторщику, одалживавшему ему пылесос, и увидел, что на его месте сидит Четвериков. Сергей Четвериков, как известно, учился вместе с Михаилом Никифоровичем в Харькове. Москву же облагодетельствовал, став в ней санитарным врачом. Четвериков Ми-

хаила Никифоровича узнал, но сделал вид, что не узнал. «Ну хорошо, раз так надо», — подумал Михаил Никифорович. Но все же спросил: «По совместительству?» Четвериков чиновно взглянул на Михаила Никифоровича, слова не произнес, но не выдержал и кивнул. Да и как он мог бросить улицу Кирова, кофейную, рыбную, хлебную, мясную, книжную, с электрическими инструментами, с шерстяными олимпийскими костюмами и грампластинками? Где бы еще так заслуженно тяжелели его портфели и сумки? Михаил Никифорович стал объяснять Четверикову, что с пылесосом все в порядке, он целый и умытый, а вот веревку пришлось разрезать. Четвериков нахмурился, дал понять, что решение вопроса не в его возможностях, и ушел к компетентным служащим.

А Михаил Никифорович осмотрел зал и увидел под потолком степенно поворачивающееся табло венгерской фирмы «Электроимпекс». То и дело загорались слова: «Новинки услуг Центра проката». Под ними строки сообщали: «Сдается в прокат спартаковский дух. С сегодняшнего дня сдается в прокат спартаковский дух». «Вот, — подумал Михаил Никифорович, — откуда старухе Гладышевой зашло в голову переселение душ. Ей что дух, что души — одно...» А строчки поспешали: «Спартаковский дух может быть использован для подъема настроения спортивных коллективов, как вышших, так и низовых. А также для одоления несправедливости и тупой силы в нравственных конфликтах. И для претворения наук в гул станков и звон дрезин. Силы спартаковского духа практически не ограничены и слабо исследованы. Возможны открытия. Выдается в стеклянных сосудах емкостью от 760 граммов до 12 литров. Мелкие дозы предлагаются в древесностружечной расфасовке. В особо важных случаях спартаковский дух отпускается материализованным в виде спортивной человеческой личности...»

Четвериков задерживался. На табло пошли лазоревые с фиолетовым слова: «Анонс! Анонс! Ближайшие новинки услуг Центра проката. Переселение душ. Переселение душ. Домашние гуру. Домашние гуру. Подробности последуют». Нет, старуха Гладышева не напутала. Не способна, видно, она была в том, что касается услуг, что-либо напутать.

Четвериков явился с укоризной в глазах. Михаила Никифоровича приглашали пройти в администрацию для разрешения возникших по его небрежности обстоятельств.

— Деньги, что ли, я должен уплатить за веревку? — спросил Михаил Никифорович. — Я заплачу. А на разговоры времени нет.

— Возникли осложнения, — церемонно сказал Четвериков. — И вас приглашают. А что я? Я ведь при кнопках и счетах...

И он нажал на кнопку. Или на педаль. Или повернул какой тумблер. Вблизи Михаила Никифоровича тут же засуетились три женщины в кимоно, они выпевали цифры и артикулы правил, а за ними глухонемыми Герасимами двигались два холодноглазых молодца, каких в автомате на Королева именовали бы Шкафами, они стали теснить его к двери в недра здания. Было видно, что они умеют не только теснить, но и знакомы с секретами боевых послушников Шаолинского монастыря. Да и женщинам, наверное, не случайно форменной одеждой были определены кимоно.

— Я иду по приглашению, — сказал Михаил Никифорович.

Он не то чтобы сдался, ему надоела толкотня. И возник интерес — не из его ли, заведующего аптекой, бывшего кабинета последовало приглашение? Нет, указали ему на дверь комнаты, где когда-то сидела его горемычная заместительница. За дверью Михаил Никифорович обнаружил Бурлакина.

— Садитесь, — предложил Бурлакин.

— Для ваших претензий у меня две минуты, — сказал Михаил Никифорович.

— Мы вас пригласили,— сказал Бурлакин,— чтобы объявить о недопустимом нарушении... Вы были обязаны ознакомиться с текстом правил и...

— Там ведь, наверное, первым делом написано — для блага и прочее... И эти амбалы-каратисты для блага населения?

— Какие каратисты? — чуть ли не расстроился Бурлакин.— Молодые люди, которые вас эскортировали ко мне? Неужели они вас обидели? Это почетное сопровождение. А так они грузчики. У нас есть услуги с тяжелыми предметами.

— Сколько уплатить? — спросил Михаил Никифорович.

— Хорошо, Михаил Никифорович,— обеспокоился Бурлакин.— Оставим веревку, если тебе неприятно говорить о ней. Хотя она теперь зафиксирована и никуда не денется... Конечно, мы тебя позвали по иному поводу. Ты нам нужен.

— Спасибо,— сказал Михаил Никифорович.— Но вы мне не нужны. Пылесосов я более брать не буду. Особенно с часовым механизмом.

— С каким часовым механизмом? — удивился Бурлакин.

— Ни с каким,— сказал Михаил Никифорович.— Это я так.

— Вот что, Михаил Никифорович.— Бурлакин поднялся.— Возможно, я эгоистично сказал. Хотя и верно. Да, ты нам нужен. Но мы бы желали, чтобы и мы тебе были нужны. И чтобы ты понял, что мы ищем не для себя, а для Останкина. А ты зарыл свой талант. Или талант.

— Стало быть, вы ищете вместе с Любовью Николаевной?

— Вместе.

— Но Шубников обещал, что не будет опираться на нее.

— Выходит, что вместе плодотворнее. Это пока ищем. А когда найдем и устроимся, сможем и не опираться.

— Обойдетесь без меня.

— Обойдемся,— согласился Бурлакин.— Но печально, что твои мщности стынут задаром. Да, мощности, энергия, силы, поля, желания, мечты... И учти. Многие в Останкине нас поняли и со всем лучшим, что у них есть, пришли к нам.

— И дядя Валя?

— И дядя Валя. И Игорь Борисович Каштанов. И Серов. И Тарабанько. И...— Далее Бурлакин назвал Михаилу Никифоровичу еще несколько известных тому фамилий, в их числе и мою.

— Тексты объявлений вам не Каштанов пишет?

— И Каштанов.

— А кто у вас сам спартаковский дух? Тот, что для важных случаев и материализованный? Не Лапшин ли?

— При чем тут Лапшин? — обиделся Бурлакин.— Именно дух. Но материализованный в виде личности. Так привычнее и достовернее. На него уже есть заявка. Через час заберут. Вот он.

На стене слева от стола Бурлакина выявился экран, и на нем в цветном, объемном изображении был предъявлен спартаковский дух. Он Михаила Никифоровича разочаровал. Михаил Никифорович полагал увидеть богатыря с морковными щеками или хотя бы атлетическую, задорную натуру из передачи «Если хочешь быть здоров», а где-то на вокзальной скамье ожидал заказчика кислый, задерганный мужичонка лет сорока, со скудными волосами, такой бы задрожал при виде конной милиции.

— Его не возьмут,— предположил Михаил Никифорович.

— Ошибаешься,— возразил Бурлакин.— От его голоса может повалиться шишкинский бор. А если он соберет волю, то уж...

— Кто его заказал?

— Доменный цех. Для выполнения квартального плана.

Экран погас и исчез.

— Дальнейших вам успехов,— раскланялся Михаил Никифорович.

— Ты нас не серди, Михаил Никифорович,— помрачнел Бурлакин.— И уж не зли. Наш художественный руководитель...

Сразу же в комнату вошел Шубников. Я чуть было не написал — ворвался. Или влетел. Нет, не ворвался и не влетел, хотя появление его и вышло метеорным. Он протянул руку Михаилу Никифоровичу, и тот без всякого к тому желания ее пожал. Шубников был в черном халате, но халат его, долгополый, с серебряной застежкой под горлом, походил на плащ звездочета. Или алхимика. Шубников молча долго смотрел в глаза Михаила Никифоровича. Взгляд его Михаил Никифорович вытерпел. Но Шубников как будто бы и не пугал сейчас его, не пытался подчинить своей воле, он, казалось, стремился понять нечто в Михаиле Никифоровиче и давал рассмотреть себя. Он серьезно изменился. Его случайным знакомцам могло прийти в голову, что это и не Шубников. Но Михаил Никифорович увидел, что ставшее безбородым лицо Шубникова удлинилось и утончилось, даже обострилось книзу. Шубников более не носил очки, даже и в минуты его безалаберных авантюр вызывавшие у людей сторонних соображения о простодушии и незащищенности останкинского баламута. Скорбная и важная мысль обнаруживалась в его глазах. Нос Шубникова выпрямился, стал резок и классичен, осунувшееся лицо прорезали глубокие вертикальные морщины уставшего и всепонимающего творца.

— Я догадываюсь, о чем был разговор,— сказал Шубников.— Очень жаль, Михаил Никифорович, что вы не хотите быть с нами — из упрямства или по инерции мышления. Но я не буду сейчас в чем-либо убеждать. Попрошу лишь об одном — прочтите. Здесь всего восемнадцать страниц на машинке. Необязательно сегодня. Когда будет время. Не откажите в нижайшей просьбе. Здесь есть факты и соображения. Они должны объяснить, из-за чего и ради чего мы ищем. Да, мы и сами были нехороши, но отчего же и не подчиниться тяге к совершенству?..

Шубников протянул Михаилу Никифоровичу сафьяновую папку, на обложке ее было вытеснено: «Записка о состоянии нравов в Останкине и на Сретенке...»

— Я прочту,— неуверенно сказал Михаил Никифорович, взяв в руки папку.— Но это ничего не изменит.

— И еще. Здесь до проката была ваша аптека. Стены привыкли. И держат в себе. Не хотелось бы, чтобы они стали мешать. Вы знаете латинский. Вы помните Сенеку. Вот из него...

Михаил Никифорович знал латынь в пределах аптечной необходимости, из Сенеки же он ничего не помнил. Шубников продекларировал вовсе не по-латыни:

— Нет места лекарствам там, где то, что считалось пороком, становится обычаем.

— Слова эти не имеют отношения к аптеке,— сказал Михаил Никифорович.

— Я хотел, чтобы вы подумали и об этом,— как бы не услышал его Шубников.— Когда вы прочтете «Записку», оно само и придет вам в голову. А относительно веревки все уладят.

— Благодарствую,— сказал Михаил Никифорович.— Только я вам свою принес взамен.

— Вся тонкость в разрезанном узле,— осторожно заметил молчавший при Шубникове Бурлакин.— Здесь нарушение правил...

— Уладим! — поморщился Шубников.— Вы, Михаил Никифорович, можете пройти мимо Четверикова, даже и не взглянув на него.

— Отчего же,— сказал Михаил Никифорович.— Взгляну. И на грузчиков-каратистов взгляну. Вдруг они стали у вас обычаем.

Шубников в недоумении взглянул на Бурлакина.

— Это заблуждение,— быстро сказал Бурлакин.— Это опять же твое заблуждение, Михаил Никифорович. Или инерция мышления...

И уже закрывая дверь, услышал Михаил Никифорович продолжение его речи:

— Мы не торопим. Но нам нельзя медлить с делами.

Полчаса назад приемный зал Центра проката и коридор служебных помещений были почти пусты и тихи. Сейчас же здесь все забурило, возможно, подтверждая слова Бурлакина о недопустимости медлить с делами. И коридор и приемный зал будто раздвинулись, приподняли потолки, в зале у окон с видами на ресторан «Звездный» Михаил Никифорович углядел теперь и зимний сад с кактусами, агавами, лианами и зарослями юного бамбука, в бассейне тучные китайские золотые рыбы томно проплывали под листьями лотоса, синие мухоловки с лиан и бамбуковых палок перепархивали на электрическое табло, поклевывали слова с комплиментами спартаковскому духу. Людей же энергичных, обнадеженных были толпы в коридоре и зале. Сотрудники носились, летали, светились сознанием гражданского благодетельствования. Один Валентин Федорович Зотов был хмур и строг. Четвериков же издалека кивнул Михаилу Никифоровичу с почтением, как значительному лицу. Может быть, равному с главнокомандующим всех санитарий, гигиен и эпидемий города. Что Михаилу Никифоровичу даже польстило. Подписывались квитанции, соглашения, договоры. Крупных животных особей, предметы и машины, сообщало табло, предлагалось забирать со склада, устроенного на улице Кондратюка. Михаил Никифорович услышал волнующую просьбу командированного из Петропавловского мясокомбината выдать им на воспитание двух или трех брошенных дурной матерью и почти замерзших уссурийских тигрят. Мясокомбинат решил тигрят усыновить. «Я же целый день летел сюда с полуострова! — гремел камчадал.— Мы про вас слышаны... Хабаровский зоокомбинат нам отказал. А вы все можете!»

В неведении, вырастут ли приемные сыны мясного комбината и что обучатся кушать, вышел Михаил Никифорович на улицу Цандера. Снег падал неспешный, ласковый. Этот чистый, ласковый снег умиротворил Михаила Никифоровича. «А может, они впрямь ищут, страдают, осознались? — думал Михаил Никифорович.— Я же, выходит, саботажник? Может, и она, Любовь Николаевна, все же именно мучающаяся с нами природа?» Мысли об этом сделали Михаила Никифоровича вовсе благодушным. Они и обнадежили его. Он захотел сесть в троллейбус и поехать на Кашенкин луг. Комната в общежитии была известна. Восемьдесят девятая.

Но в троллейбус Михаил Никифорович не сел. Пришел домой и прочитал сочинение Шубникова. Потом позвонил мне. О «Записке» Шубникова не сказал, а поинтересовался, правда ли, что я согласился сотрудничать с Центром проката или даже напросился к ним сам. Я ответил, что это ложь, что никаких искательных разговоров со мной не вели, а если бы повели, получили бы отпор.

А Михаилу Никифоровичу стало нехорошо, тошнило, занял правый бок. Он захотел прилечь. Зашел в комнату, но там дзынулся не к дивану, а сразу же, будто ощутив знак, оглядел подоконники. Фиалки в глиняных горшках ожили, листья их были сочные, свежие и обещали появление цветов. А Михаил Никифорович фиалки так и не поливал...

Шубников плохо спал. Прежде, когда бывал в северных землях, он тяжело переносил белые ночи. И еще его беспокоила звезда Альциона скопления Плеяды. Шубников полагал, что ему судьбой приписана звезда Альциона... Но сейчас его бессонницы вызывала вовсе не звезда Альциона. Домой Шубников приходил часов на пять,

остальное же время проводил в занятиях на Цандера и в местах, с которыми было связано теперь состояние дел в динамичном и благо городном предприятии. Шубников сам удивлялся собственной энергии и работоспособности. Это были его энергия и работоспособность, они появились раньше, чем пункт проката изменил свои отношения с Любовью Николаевной. В жизни Шубникова случилось немало вспышек энергии, но они быстро гасли, ни разу не приведя к удаче. Шубников как натура, неспособная к длительным уныниям, словно бы и не задумывался над тем, нужна была ему удача или нет. Сейчас же он мечтал о ней.

По ночам Шубников ожидал озарения. Ему казалось, что он уже достоин его. Он столько усердствовал, столько порушил в себе мелкого, несуразного, такие мусорные ямы засыпал и замуровал, столько взрастил в себе совершенного и благоухающего, что не должен был зависеть от кого-либо, хотя бы и от Любви Николаевны, не должен был выпрашивать или вымалывать озарение. Оно обязано было снизойти на него само. Но пока не снисходило.

«Записка о состоянии нравов в Останкине и на Сретенке...», было заброшенная, снова занимала его. Перечитав ее, Шубников расстрогался. Он хотел, чтобы и еще кто-то стал ее читателем. Любовь Николаевна дала ему понять, что письменное обращение к ней известно ей до последних опечаток. Бурлакин же как читатель «Записки» стал Шубникову неинтересен. Тогда Шубников и подумал о Михаиле Никифоровиче. Да, тот был обязан познакомиться с его наблюдениями и проектами. Проектов, правда, в «Записке» не было, но Шубникову казалось уже, что они есть. При этом Шубников думал, что в его обращении к Михаилу Никифоровичу нет корысти. Он вообще в своих заботах об останкинских жителях видел себя бескорыстным. Он уверил себя в том, что любит их и готов стать ради них не щадящим себя Данко. Но для трудов и подвигов требовались подпоры. И Шубников уговорил себя преодолеть неприязнь к Михаилу Никифоровичу и пригласить его в соратники. И для этого были причины. Как счастливый сочинитель, взволнованный своим произведением, Шубников полагал сейчас, что оно вызовет конгениальное волнение и у каждого читателя. Михаил Никифорович должен был ощутить огонь его души и пойти за ним. И Любовь Николаевна могла бы оценить с благоразумием его обращение к Михаилу Никифоровичу. Но это ладно...

Как бы только Михаил Никифорович не разорвал в сердцах рукопись. Как бы не оказался этот стержень упрямым эгоистом! И представив в ночной час, как Михаил Никифорович, этот беспечный аптекарь, рвет листы, где каждая буква на машинкой «Олимпия» отпечатана, а произросла в его душе, Шубников заскучал.

По коридору бродил ротан Мардарий.

Мардарий в последнее время настораживал Шубникова. Казалось, что Мардарий вот-вот пожелает жить сам по себе и не потерпит более подчинения и зависимости от них, Шубникова и Бурлакина. Он словно бы стал чужой, стеклянно-холодно поглядывал на воспитателей и молчал. При этом Шубников чувствовал, что существует несомненная связь между ним и Мардарием, будто бы Мардарий оказывался похожим на него. Или даже продолжением его. Называть его ротаном или рыбой стало теперь неловко и несправедливо. Ростом Мардарий был уже с Филимона Грачева, ходил на задних лапах, они удлинились и окрепли, хвост же Мардария получил приказ укоротиться. Шубников не удивился бы, если бы Мардарий потребовал сюртук, шляпу или даже кожаное пальто. К этому шло. Шляпа или шапка понадобились бы Мардарию большие, крупная голова, и так свойственная ротану, разрослась, но обнаружилось на ней и неожиданные черты, украшения и подробности, какие делали ее вовсе не рыбьей. И если бы Мардарий в кожаном пальто и шляпе да еще и

с тростью в руках прошелся по Москве, вряд ли бы он кого поразил. В крайнем случае его бы посчитали представителем малоизвестной страны, с какой у нас еще не установлены дипломатические отношения на уровне послов. А впрочем, не исключено, что и европейцем. Но Мардарий на улицу не просился. Он не требовал сейчас пищи. Бурлакин однажды в присутствии Любови Николаевны посетовал на прожорливость развивающегося Мардария, этак на самом деле можно было оставить всю систему вторчермета и утиля без сырья. Любовь Николаевна кивнула и сказала, что в силах отменить чревоугодие Мардария, отчего он не усохнет и не станет заморышем. Мардарий слонялся теперь по квартире Шубникова, рассматривал газеты и иллюстрированные издания, стоял у окна. И нельзя было понять, соображает он что-либо, держа передними (или верхними?) лапами «Воздушный транспорт» или «Рекламное приложение» или же прикидывается неучем и лишенным интеллекта. И что он высматривал, стоя у окон? Бурлакин предположил, что Мардарий созрел и нуждается в подруге. Но откуда было ее взять и какую?

«А не загрызет ли он нас?» — задумался однажды Бурлакин. «Сейчас и загрызет!» — иронически улыбнулся Шубников. А почему бы ему и не загрызть?.. Мардария более не дрессировали. Мысль об этом не приходила в голову. Шубников жалел о том, что Мардарий вообще существует в доме. Экий дурак Бурлакин, что приволок его рыбной мелочью. Но и он, Шубников, был хорош, увлекшись летними и осенними забавами с Мардарием, его воспитанием, играми и выступлениями в Останкинском пруду! Однако тогда он еще искал себя, был к себе подлинному лишь на дальних подходах, а разве не бывают при поисках лишние тропы и ямы с капканами? Избавиться от Мардария Шубников не решался. Возможно, Мардарий и не позволил бы, чтобы от него избавились. Нечто тайное и сильное чудилось теперь Шубникову в Мардарии. Порой казалось, что Мардарий смотрит на него с усмешкой и чуть ли не высокомерно, будто он и есть в квартире высшее существо. Можно было, конечно, Мардария приспособить к делу и держать на складе возле ветеринарной лечебницы. Но и на это Шубников пока не отваживался. Останавливала мысль о том, что вдруг и впрямь нечто важное из его, Шубникова, натуры перетекло в Мардария, там привилось и преобразовалось и Мардарий знает о нем всю правду. Просить же Любовь Николаевну освободить его от Мардария Шубников не желал. Тогда бы вышло, что Мардарий ему неподвластен, он — ее создание. С этим Шубников не мог согласиться. Он убеждал себя в том, что и перемены в его собственной внешности не подарок или подачка Любви Николаевны, а вызваны его, Шубникова, желанием и усилиями воли. И Мардарий рос, преобразовывался по его велению — пусть и при авантюрном ассистенте Бурлакине. К Любви же Николаевне они прибегнули куда позже...

Что касается Любви Николаевны, то здесь, кажется, все было Шубниковым установлено для самого себя и отвердело благоразумными объяснениями. Да, он обещал не опираться на Любовь Николаевну и ее возможности. Но проявил слабость. Или нет, решился на деловое соглашение. Причем и самой Любви Николаевне было объявлено, что обращение к ней временное, что ее средства и эффекты не решающие, а вспомогательные, скажем, как пиротехника при съемках батального сериала. А самовар разгорался. Вот уж и пай Валентина Федоровича Зотова находился под контролем Шубникова. Невзначай обнаружилась неожиданная и скрытая страсть дяди Вали, тогда последовал моментальный поворот винта, и дядя Валя был приручен и прикован к общеостанкинскому благу. Следовало остановиться и не нарушать доктрину далее, но так забурлило все на улице Цандера, что Шубников и стал подумывать о Михаиле Никифоровиче как о необходимом читателе известной «Записки»... Перед

тем сам Шубников вновь просмотрел сочинение. Нет, он был не Савонарола, не Аввакум, не князь Михаил Михайлович Щербатов. У него было свое назначение в природе.

Но не спускалось, не снисходило на него озарение!

Оттого и приходилось искать и творить на улице Цандера в паршивом строении, пропахшем аптекой, с цирюльней на втором этаже, с наглой и глупой парикмахершей Юноной Кирпичевой, пролившей когда-то воды на мерзкую аптеку, а ныне со своими пороками и порочными нравами занесенной в «Записку». Впрочем, и Юнона не могла быть объявлена пропащей, и ради нее Шубников готовился светить в полумраке собственным сердцем. «Кстати,— подумал Шубников,— цирюльню пора подчинить прокату, надо завтра же сказать Ольгерду, чтобы сходил куда надо». Ольгерд Голушкин оставался директором, хотя и употреблял. Но он умел врать властям и населению, оттого был полезен. Шубников же полагал и его исправить. Хотя в настоящем искусстве нужны мастера и на злодейские роли. Однако не на злодейские ли роли он призывал Михаила Никифоровича? Нет, куда уж ему... «Да не Михаил Никифорович тебе нужен, а пай его, пай, самый богатый! — услышал в себе Шубников.— И лжешь ты, что нет в тебе теперь корысти! Есть она!» «Да, значит, есть,— вступил с собой в объяснения Шубников,— но ведь если ты осознаешь свою корысть, огорчаешься из-за нее, готов ее изничтожить, стало быть, ты стремишься к совершенствованию, а потому успокойся. И все ли зло в тебе от тебя самого? А корысть-то или, скажем, интерес к паю, они ведь вызваны мыслью об усовершенствовании жизни всех...» Шубникову захотелось сейчас же записать свои соображения на бумагу. Раз уж не спалось, надо было начинать «Исповедь сына века». Почему «Исповедь сына века»? — удивился себе Шубников. Такая исповедь уже была. Она — чья? Гюго, что ли? Или Мюссе? Альфреда? Шубников стал вспоминать студенческую пору, и именно время экзаменов по зарубежной литературе. Ну да, вроде бы Мюссе. Однако никто не помнит этого Мюссе. Если только вот он, Шубников. Но разве он, Шубников, всего лишь «сын века»? Печально было бы, если только сын... Нет, название сочинения не подходило Шубникову. Да и, пожалуй, само сочинение пока еще не выросло в нем...

Утром Шубников, хоть и не выславшийся, но после энергичной гимнастики и душа в деловых устремлениях, вошел в Ищущий центр проката. Одет он был так, будто собирался по вызову в солидное учреждение, но в такое, где уважают особенности художнических натур, а потому позволил себе вместо галстука повязать тонкий пестрый платок. Однако в учреждения ходил не Шубников, а директор Ольгерд Денисович Голушкин. Шубников велел сейчас же кликнуть Бурлакина, но вспомнил в досаде, что Бурлакин сегодня не придет. Бурлакин и не думал бросать службу, признавая прокат баловством и выделив для него выходные и библиотечные дни. Был повод Шубникову опять посетовать на одиночество и замкнутость его натуры в толпе. Но кабинет посетил директор Голушкин. Голушкин был курносый, важный и хитрый. Разговоры с Шубниковым из гонора и с высоты должности он начинал как начальник, но уже через несколько фраз выглядел чуть ли не курьером, готовым лететь с пакетом в Бирюлево-Пассажижское. Выгоды сотрудничества с Шубниковым уже ощущались его карманом, а рисковать Голушкин привык, похोдив и в гардеробщиках, и в инкассаторах, и в судебных экспертах, и в дегустаторах шоколадной фабрики. Да и догадывался он о Любви Николаевне, уползать же от нее в кустарники было поздно. Шубников разъяснил Голушкину ненормальность ситуации с парикмахерской, неразумно было не подчинить частную службу быта службе генеральной. «Справедливо,— сказал Голушкин.— Это уладим». «И еще,— пришло в голову Шубникова.— Надо подумать

о новой услуге. У нас должны появиться антропомаксимиологи». «Это кто такие?» — спросил Голушкин. «Свежий ручей науки,— объяснил Шубников.— Резервы возможностей организма. Мать поднимает грузик, под которым ее ребенок». «Ну, это понятно,— успокоился Голушкин.— Это перспективно». Об антропомаксимиологии Шубников узнал случайно, взглянув нынче мельком на спортивную газету, приклеенную к фанере на Кондратюка. Строчки ее сейчас же подсказали Шубникову решения, чрезвычайно далекие от мыслей отцов антропомаксимиологии, названных в газете Икарами двадцатого века. В их мысли он и не думал вчитываться. «Но ведь в управлении могут и удивиться,— снова стал важным директор Голушкин.— Вдруг ручей не наш. Не останкинский». Голушкин давал понять, сколь трудными могут оказаться его хлопоты в учреждении и какой он государственный человек в сравнении с новыми порханиями наук. «Это для ваших плеч, Ольгерд Денисович,— поощрил его Шубников.— Для ваших-то плеч — быть директором картины, и не на каком-нибудь «Мосфильме»! А то прокат!» Вся государственность спала с Голушкина, когда Шубников производил его в директоры картины. Или продюсеры. «Осуществим», — пообещал Голушкин. «И что значит — удивятся? — сказал Шубников.— Хорошо, что удивятся. Будущее начинается с удивления. Чем сильнее удивятся, тем скорее привыкнут». И Голушкин отбыл осуществлять. Шубников знал, что осуществит Любовь Николаевна, но на поверхности жизни должно было происходить чиновное движение бумаг. В минуты счастливых спокойствий и самому Шубникову могло показаться, что никакой Любови Николаевны вовсе нет.

Дело с антропомаксимиологией как с видом услуг было административно решено к обеду, и Игорю Борисовичу Каштанову спустился заказ сочинить оду для электрического табло. Отвлекало и нервировало Шубникова ожидание Михаила Никифоровича. Однако Михаил Никифорович не приходил... Не пришел он и на второй день. И на третий. Нетерпение Шубникова, вызывавшее в бессонные часы сомнения и досаду, обернулось чуть ли не ненавистью. «Ах вот ты какой! Да тебя стоит стереть в порошок!» Но выражение вышло скорее аптекарское, и Шубников отчитал себя. Зачем же злиться на человека, если ему недоступно понимание высшего? Ему следует сострадать...

На четвертый день Михаил Никифорович явился, и Шубников сразу понял, какова будет рецензия.

— Это неправда,— сказал Михаил Никифорович, положив рукопись на стол Шубникова.

— Ни капли правды? — язвительно спросил Шубников.

— Капли есть,— сказал Михаил Никифорович.— Случаи, которые ты описал и перечислил, были.

— Ну так что же! — вскричал Шубников.

— Неправда то, к чему ты желаешь меня подвинуть,— сказал Михаил Никифорович.

— Значит, бросить все, что мы делаем?

— Какое отношение имеет ваше дело к тому, что ты написал? Останкино оно не улучшит. Да вы и навязываете себя Останкину.

— Мы никому ничего не навязываем,— с достоинством произнес Шубников.— К нам идут, едут, плывут и прилетают.

— Возле вас сытые проголодаются.

— Помарки неизбежны. Особенно в поиске. И вначале. Но мы не для appetites потребителей, ты ошибаешься.

— Хорошо, коли так. Но пока до свидания.

— Ты пожалеешь! — зло сказал Шубников. Или зловеще.

— Понимать как угрозу? Предупреждение уже было сделано...

— Рассуди сам.

— И что же, вы полагаете меня взорвать?

— Необязательно,— жестко сказал Шубников.— Но вдруг ты станешь свидетелем такого, от чего тебе будет стыдно и горько, и ты ощутишь себя виноватым?

— Присутствует ли честь в вашем предприятии?

— Ты напрасно оскорбляешь нас, подозревая в отсутствии чести. И дорого обойдется Останкину и тебе твое упрямство или неприязнь к нам,— произнес Шубников с грустью и с жалостью к Останкину и Михаилу Никифоровичу.

— Приму к сведению,— сказал Михаил Никифорович и покинул Ищущий центр проката.

Шубников расшвырянул, обиженным зверем метался по кабинету. Он был готов уничтожить саботажника и предателя. «Предатель! Предатель!» — шептал Шубников. Отчего Михаил Никифорович выходил предателем, Шубников не задумывался. Предатель, и все. Был рядом, обнадеживал участием, а взял и изменил делу. Да и более ярые мысли могли прийти в голову самолюбивому автору, чье сочинение, или исследование, было не принято и оскорблено. Оплевано было. Но вскоре Шубников решил, что уничтожать предателя, клеветника и саботажника — лишь унижать самого себя, а Михаил Никифорович достоин одного — презрения, презрения, презрения! Хотя, конечно, и ничто иное не исключалось. Остывая, Шубников стал думать, что гордость гордостью, а пай остается при Михаиле Никифоровиче и, возможно, он, Шубников, увлекшись и переоценив силу своей «Записки», в простодушии ошибся, а Михаила Никифоровича вовлекать в сподвижники следовало совсем иным способом. Каким — предстояло открыть. Или изобрести. Способ мог оказаться и самым неожиданным...

Часом позже Шубников рассказал Бурлакину о разговоре с Михаилом Никифоровичем. Рассказ вел в лицах, разволновался, Михаил Никифорович опять вышел у него предателем, клеветником и интриганом, останкинским макиавелли.

— Слушай,— сказал Бурлакин,— ты-то не прикидывайся несведущим или отуманенным человеком, который не понимает, что занят вовсе не улучшением нравов.

— Если ты такой здравомыслящий и справедливый, почему же приходишь сюда? — с обидой спросил Шубников.

— Мне свойственны увлечения. И пока интересно.

— Но ведь вы с аптекарем не правы, пусть и в разной степени. Да, за этот прокат я ухватился случайно, но форму, хоть и случайную, мы можем подчинить сути. И подчиним! А сорняки прополем и отбросим! Все войдет в соответствие с тем высоким, что есть сейчас во мне. И, надеюсь, в тебе.

— Не бредем ли мы в лес дремучий? — засомневался Бурлакин.

— Прежде ты любил рисковать.

— Ради чего?

— Если разобраться — ради ничего.

— Вот именно. И риск тот был собственный, огорчал немногих. Забавы хороши поначалу, но когда происходит их трансформация...

— Для меня теперь нет забав! — оборвал его Шубников.— Но если все так плохо, сейчас же все и прекратим!

Долго Шубников сидел сникший, будто раздавленный судьбой. Бурлакину стало жалко его.

— Попробуем еще немного...— сказал он неуверенно.— Но я тебя прошу. Ты особо не гни дядю Валю. Он ведь и сломаться может.

— Я все знаю. И вижу.

— Эх, Шубников,— покачал головой Бурлакин,— тебе бы какой-нибудь женщиной увлечься. Вон ты на вид какой стал плейбой. Или денди.

— Что? — удивился Шубников. — К чему ты заговорил о женщине?

— Сам не знаю к чему, — сказал Бурлакин. И удалился.

43

А через день вечером улицу Цандера посетили две гости, озадачив Ольгерда Денисовича Голушкина просьбой. О просьбе их Голушкин в записке уведомил художественного руководителя. Одна из женщин, прилично, как, впрочем, и ее приятельница, одетая, вежливая и миловидная, оглядев зал Центра проката, обронила слова: «Давно я здесь не была». В записке Голушкина Шубников прочитал: «Заказ. Уроки Высшего Света с погружением». Был приглашен Добкин, иногда дававший консультации по вопросам протокола и дипломатического церемониала: он сталкивался в Архангельске и Ялте с иностранными моряками. «Что ж тут неясного? — удивился Добкин. — С погружением — это как при изучении языка, с чаепитиями и балами в костюмах, и все на английском языке. А тут свои погружения». «Ольгерд Денисович, займитесь, — обрадовался Шубников. — И обеспечьте». «Попробуй обеспечить! Как же! — запыхтел Голушкин. — И какой братъ Высший Свет? Ведь для каждого Высший Свет свой». И стало ясно, что Высший Свет Ольгерда Денисовича Голушкина может не совпасть с Высшим Светом Шубникова, иные в нем обнаружатся личности, напитки, запахи, туалеты, выражения и привычки. «Надо приготовить несколько вариантов Высшего Света, — указал Голушкину Шубников. — А как появятся вчерашние заказчицы, направьте их ко мне». Указание это вырвалось неожиданно для самого Шубникова. «Да что это я? — удивился Шубников. — Зачем мне смотреть на этих баб?» Однако Шубникову хотелось взглянуть на женщину, помнившую Центр проката аптекой. Или, может быть, слова Бурлакина о женщине раззадорили, раздражили его? Случается ведь так — одно слово, произнесенное с намерением или, напротив, ненароком, производит поворот в мыслях и желаниях. В особенности когда натура к этому повороту оказывается подготовленной.

Действительно, с весны у Шубникова не случилось лирических приключений. И действительно, выглядел теперь Шубников плейбоем, денди и художником, к нему, как непременно после творческих терзаний и отборов написал бы Игорь Борисович Каштанов, приковывался женский взор. Но без толку приковывался. Шубников весь был в делах, в познании человечества и себя, во вселенской сосредоточенности. Но вдруг Бурлакин был прав? Стремление сжечь себя ради Останкина вовсе не отвергало женщину как подругу и сподвижницу. Почему не быть при нем своей Аспазии? «При чем тут Аспазия? — подумал Шубников. — Кто такая Аспазия? Где, при ком она была?» Этого он не помнил, но имя Аспазия — светилось. Отчего же и не Аспазия? Была ли такая Аспазия в Останкине, в Ростокине, в Свиблове, в Медведкове, на Сретенке, во всей Москве? Может, и была, но как ее обнаружить и привлечь? Прежде и при своих очках, посредственном росте, вздорном носе провинциального простака Шубников в отношениях с женщинами был пустр и удачлив. Но какие ему выпадали женщины? С кем находил он утехи? С той же Юноной Кирпичевой, с той же медсестрой районной поликлиники Анечкой Бороздиной, увлекшейся затем закрыщиком Цурюковым! Об этих Юнонах и Анечках стыдно было вспоминать. Они ни в какие, даже и в самые незрелые, эпохи не годились в Аспазии. Хотя и были по-своему милы... Отчего теперь волновала Шубникова мысль о женщине, заинтересованной в уроках Высшего Света с погружением? Может, в ее приходе случилась подсказка судьбы? Однако если эта женщина когда-то посещала аптеку на Цандера, она могла знать и Михаила Никифоровича... «Ну и что? Ну и что? — сказал себе Шубников. — Ну

пусть и знала!» Впрочем, что думать именно о ней! Ведь он мог сейчас призвать и осчастливить и самую редкую женщину. Мог — сам и без помощи Любви Николаевны... Какая уж в этом деле помощь Любви Николаевны!..

Но ведь Любовь Николаевна была и красивая женщина! Михаил Никифорович вызывал неприязнь Шубникова еще и потому, что у них с Любовью Николаевной что-то произошло. Михаил Никифорович был ей безразличен; хорош, нехорош — не важно, но не безразличен. Это Шубникова огорчало. Зависть ли, ревность ли окрашивали огорчение Шубникова. И особое отношение Любви Николаевны к аптекарю мешало ему. Но отчего он, Шубников, не мог оказаться любезен Любви Николаевне? Стоило ли искать Аспазию в Свиблове или Медведкове, не следовало ли предпринять попытку увлечь Любовь Николаевну? Или хотя бы остудить ее чувства к Михаилу Никифоровичу? Может, и вытеснить его из фаворитов?..

Тут Шубников чуть ли не рассмеялся иронически. Это Михаил-то Никифорович — фаворит! Хороши, стало быть, нынче в Останкине фавориты! Если такие, как Михаил Никифорович, попадали «в случай»; то почему бы не стать фаворитом ему, Шубникову? Теперь он более других в Останкине был достоин этого.

На стене, на экране, возникла физиономия Ольгерда Денисовича Голушкина. Шубников включил звук.

— Явилась старуха, — сказал Голушкин, — с ковровой дорожкой и двумя безрукавками козлиного меха. Потребовала принять на сохранение. Ей объяснили: здесь не ломбард. Она скандалит.

— Скандалит... — на секунду озаботился Шубников, но сразу же опять и воодушевился: — Старуха — молодец! Почему и не ломбард? Примите ковер, безрукавки и выплатите! Заведем и ломбард! Сдавать станут не одни лишь ковры и козьи меха, природы закладывать будут! А мы их улучшим!

— Я вас понял, — сказал Голушкин. — Я и сам так рассудил. Получены сведения о женщине, заказавшей уроки Высшего Света с погрешением. Тамара Семеновна Каретникова, учительница географии, муж ее — районный архитектор, когда-то проживала в Останкине, прежний муж и теперь прописан здесь, кстати, он перед нами провинился, разрезав узел упаковки, и еще не компенсировал порчу, это некий Михаил Никифорович Стрельцов...

— Спасибо, — сухо сказал Шубников.

— Сама же Тамара Семеновна Каретникова...

— Спасибо. Я оценил ваши старания, — сказал Шубников и погасил экран.

Исчезнувший со стены Голушкин, надо полагать, обиделся, но пусть и соображает, капризно подумал Шубников, что расторопность расторопностью, а и следует догадываться о том, какие сведения могут оказаться для него, Шубникова, неприятными. Но почему неприятными? Что скверного в том, что какая-то Тамара Семеновна Каретникова была когда-то супругой какого-то Михаила Никифоровича Стрельцова? Отчего было расстраиваться? От знака, объяснил себе Шубников. От совпадения, в котором явно был знак.

Никаких женщин, сейчас же вышло постановление. Никаких Аспазий! А коли востребует организм, утоление ему дадут Юноны Кирпичевы и Анечки Бороздины. Но сейчас, в разгаре дел, организм должен был оказаться выше и не востребовать низменного. Любовь Николаевна и впредь обязана была оставаться для него лишь подсобным средством, но не женщиной.

Ломбард! Да, ломбард! Шубников встал из-за стола, направился к складу, надутому ребристому дирижаблю, усаженному возле ветеринарной лечебницы. И лечебницу следовало присоединить к Центру проката. А за ней, на спуске к Звездному бульвару, можно было уместить и ломбард. Начать его с палатки для старухиных мехов и ков-

ровой дорожки, а потом произвести в палату. «Стоп! — сказал себе Шубников. — Палата? Чертог? Нет, чертог — не для нас. Палата. Почему бы и не Палата? Палата услуг...» Слово «ищущая» Шубников был намерен оставить. Для бумаг и объяснений. Но в слове этом ощущались претензия и просительность. А останкинская Палата услуг ни о чем не должна была просить. Шубников вернулся в кабинет и пригласил директора Голушкина. Он извинился перед Голушкиным, объяснив, что разговор с ним прервал из-за того, что его посетила мысль. «Думаю, что директор Палаты, — сказал Шубников, — получать станет не менее трехсот пятидесяти...» «Зачем Палата? — засомневался Голушкин. — Надо сразу Комбинат. Или Трест». «Когда вы научитесь мыслить образами? — рассердился Шубников. — Или вы не для нас? Можете идти!» «Я здесь директор! А вы неизвестно кто. Я вас уволю!» — вскричал Голушкин. «Суд рассмеется, — устало и безразлично махнул рукой Шубников. — Я же сказал: можете идти!» Доверяешь любому идиоту, думал Шубников, надеешься, что он расцветет, из вытертого сальными головами полотна обоев превратится в пикардийский гобелен, но возможно ли такое превращение? Раздраженный Шубников вышел из кабинета. Тогда он и столкнулся со мной. Я глядел на табло с текстами Каштанова.

— Автор у вас не совсем грамотный, — сказал я, — следовало бы его и править...

— У нас никто никого, — гордо заявил Шубников, — не должен править. — И спросил: — Чем могу быть полезен?

— Миллионами услуг, — сказал я. — Тут, говорят, и меня упоминали в числе ваших сотрудников.

— Безответственные болтуны есть повсюду. Но предложение мы были намерены тебе сделать. Вот наши условия...

— Не надо условий, — сказал я. — А имя мое в числе своих прошу не называть.

— Это досадно.

— Ну да, — кивнул я. — Мои четыре копейки...

— Это досадно, — повторил Шубников. — Мы делаем, а нас ненавидят. Мы ищем, а нас не понимают. Потом станет стыдно и будут просить прощения.

— Даже так? — взглянул я на Шубникова. — Но ведь вы не из тех, кто прощает.

— Досадно. Обидно, — сказал Шубников и ушел.

«Новая форма услуг! Переселение душ! — увидел я на табло. — А также подселение душ! Домашние гуру! Домашние гуру! Подробности в ближайшие дни. Следите за табло!»

А Шубников в коридоре увидел подсобного рабочего Валентина Федоровича Зотова, стряхивавшего чужие табачные крошки с черного халата. «Черные халаты нехороши, нехороши! — подумал Шубников. — В них банальное неприличие нестиранных халатов грузчиков винных отделов». Свой халат с серебряной застежкой Шубников носил как рыцарский плащ, был им доволен, но теперь, рассмотрев со вниманием дядю Валю, понял, что и его плащ убог. На улице Цандера полагалось носить специальные одежды, какие упростили бы доверие к Палате услуг и вызвали бы разговоры в Москве. Шубникову вспомнилась легенда, гулявшая по вгиковским коридорам, об удивительных спецовках Хичкока. Какую-то куртку надевал на съемках Хичкок с собственной фамилией на спине и какой-то невысказанный картуз с пуленепробиваемым, что ли, козырьком, и всякие жути и чудеса с привидениями потом колыхались на экранах. Московские модельеры обязаны были посрамить Хичкока, следовало их немедленно призвать и вовлечь. Да что одни московские! Были ведь и прочие Кардены, и Нины Риччи, и Сен-Лораны, и, наконец, Кензо у восходящего солнца! Любовь Николаевна, лукаво полагал Шубников, не могла бы не пойти навстречу тяге Палаты услуг к достойной и красивой одежде и

самого Шубникова одарила бы костюмом, пристойным творцу и мужчине, при виде которого вздрогнула бы и Тамара Семеновна Каретникова. «Опять Каретникова! — осерчал на себя Шубников. — Это уж глупо. И не видел я эту Каретникову. А она скорее всего и дура и страшна. Да и какая могла быть жена у аптекаря!» И Шубников возвратил мысли к московским и заштатным модельерам. Халаты, несомненно, были нехороши.

— Да, — сказал дядя Валя, — дрянные халаты в службе быта, а на них еще табак сыпят.

— У нас, Валентин Федорович, — сказал Шубников, — не служба быта, а нечто несравненно высшее. Халаты же пойдут на тряпки для мытья стекол. Всем будет создана новая форма.

— Преображенского полка, — согласился дядя Валя. — Драгун украсят конскими хвостами.

— Какого Преображенского полка? — удивился Шубников. — Какие драгуны с конскими хвостами?

— Я пошутил, — покорно, будто испугавшись чего-то, произнес дядя Валя. — Школу вспомнил... Стихотворение...

— Однако... Преображенского полка... — задумался Шубников. — И с конскими хвостами. Это, конечно...

Шубников был доволен тем, что возле дяди Вали его посетили соображения о необходимости переодеть и переобуть Палату услуг, а может, и дать ей новую сценографию, чтобы она отличалась от прежнего нищего пункта проката, как горный курорт Шамони, где Шубников, правда, не был и куда его не звали, от зимовья охотников за соболями. Но ему хотелось услышать теперь слова одобрения от Валентина Федоровича Зотова.

— У вас, Валентин Федорович, — спросил Шубников, — есть ко мне какие-либо предложения? Или вопросы? Или претензии?

— Нет, — сказал дядя Валя.

И тут он взглянул в глаза Шубникову, и Шубников ощутил, во взгляде дяди Вали дерзость, обиду и тоску.

— Я вас не понимаю, — искренне сказал Шубников. — Вы получили то, о чем не смели и мечтать. И к чему шли всю жизнь.

— Вышел обман, — сказал дядя Валя. — Я ли в себе обманулся, меня ли ввели в соблазн — не важно.

— Вы ведь, Валентин Федорович, этак можете и обидеть.

— Чем это я могу теперь обидеть? За все спасибо. Премного благодарен. Не извольте беспокоиться. Пребываю преданным вам рабом. С нижайшим поклоном... — И дядя Валя раскланялся перед Шубниковым.

— Валентин Федорович, — хмуро сказал Шубников, — вы сейчас дурачитесь. Это нехорошо.

— А вот я возьму и удалюсь от вас, — сказал дядя Валя.

— Никуда вы бы не удалитесь! — выговорил, свирепея, Шубников. — Вы вот здесь у нас! А если в Останкине узнают о вашей тайной страсти, ныне утоленной, о вашем бункере, вам тяжело будет!

— Если ты что-нибудь еще вымолвишь про бункер, — зло сказал дядя Валя, — я тебя изувечу!

— Вы забываетесь! — вскипел Шубников. — Мы вас вышвырнем!

— Я и сам удалюсь, — печально сказал дядя Валя и коридором поплелся к выходу из служебных помещений.

«Каксы! Каковы! Неблагодарные! Блуждающие в потемках!» — говорил себе Шубников в метаниях по кабинету. Михаил Никифорович, Бурлакин, директор Голушкин, писака со 2-й Новоостанкинской (я). И теперь Валентин Федорович Зотов. Да, возле него Шубников остановился в надежде, что после сегодняшних слов непонимания, сомнений, дерзости он услышит или почувствует нечто, что его поощрит и подвигнет к делам дальнейшим. Но и дядя Валя оказался недо-

волен, недалновиден. Мразь! Чернь! Никчемные люди! Рожденные ползать! «Куртизаны! Исчадь порока!.. Вы в разврате погрязли глубоко!» — вспомнились сейчас же Шубникову обличения несчастного шута мантуанского двора.

То в негодовании пребывал Шубников, то в отчаянии и обиде. Но какой буревой силы и ниагарьей мощи были эти негодования, отчаяние, обида! Если бы судьба человеческая распорядилась сейчас выпустить Шубникова на сцену, не каждая сцена оказалась бы достойной его, пришлось бы ему отдавать площадку театра Стратфорда-он-Эйвона или сцену в Афинах, чьи камни исходили герои отцов трагедии. Да, трагиком жизни ощущал себя теперь Шубников. То он был намерен пересилить заблуждения и ложные заботы сытой самоуспокоенной толпы и повести ее к высям. То готов был утихнуть, замереть, уйти в горы или в не известные никому пещеры, покинуть ограниченных, жалких людей и хотя бы уходом своим расшевелить, устыдить неблагодарных никчемностей. И в том и в другом виделась сладость. И жертвенный порыв и гордые слезы одиночества в пустыне мироздания могли принести усладу. Однако произнести: «Ах так, ну и живите как хотите, но без меня!» — никогда не поздно. Шубников убеждал себя в том, что уйти от бурь было бы теперь стыдно, это про таких, как он, сказано поэтом: «Горит наша алая кровь...» — и далее по тексту, а инерцию сытости и спокойствия, недалновидности в людях следует устранять с терпением и состраданием.

Попросил выслушать его директор Голушкин. «С управленческим модулем решено, — сообщил он с экрана. — Покончим с коридорной теснотой». «Хорошо, — сказал Шубников. — Только не надо называть модуль управленческим. Слово канцелярское. Мы же люди творческие, свободного поиска». «Может быть, и слово «директор» несовместимо с поиском?» — чуть ли не обиженно спросил Голушкин. «Совместимо, — успокоил его Шубников. — И сочетание «директор Палаты услуг» совместимо пока с фамилией Голушкин». «Корпус модуля и оболочка из сплавов, что идут в небеса. Выбили с трудом». «Труд будет оценен», — сказал Шубников. «Модуль поставим между складом и ломбардом». «Завтра и ставьте». «Завтра? — озадачился Голушкин. — Но его еще нет...» «Завтра и ставьте», — повторил Шубников и погасил экран. «Ну вот, — подумал он растроганно, — порычал, посупротивился, а делает, понял...» Досада на Голушкина стала теперь казаться напрасной. Да и нужны ли ему, Шубникову, механические исполнители? Пусть рычаг и ворчат, пусть спорят, пусть злятся, а потом-то поймут и сделают как свое. И Бурлакин поймет и успокоится, он — при всех своих сомнениях — верный спутник в странствиях души. И Михаил Никифорович не столь недалновиден и безнадежен, как кажется, и дядя Валя, достойный, кстати, и сочувствия, и Мардарий, и прочие останкинские и сретенские жители.

Шубников тут же предложил Бурлакину насытить Палату услуг и завтрашний модуль техникой.

— Хорошо, — сказал Бурлакин. — А бумаг здесь более не будет. И тем более урн для бумаг.

— Но... — неуверенно начал Шубников, а вспомнив о своей «Записке» и предполагаемой поучительной для людей книге, сказал категорично: — Бумаги здесь будут. Не канцелярские, а документы духа и истории. Новые цивилизации, возможно, обойдутся без бумаги. Культура же всегда пребудет с бумагой.

В воодушевлении находился теперь Шубников. Ему были нужны зрители и слушатели. Люди для него новые. Хотя бы из посетителей Палаты услуг. «Женщину тебе надо завести! — прозвучало в Шубникове. — Женщину! И скорее!..» Голос взывал к нему чужой. Не его, Шубникова, и не Бурлакина. Незнакомый был голос. И не внутренний. «Это от бессонниц», — успокоил себя Шубников.

Он пригласил на экран директора Голушкина.

— Ольгерд Денисович,— спросил Шубников,— нет ли клиентов или заказчиков, у каких была бы нужда в разговоре со мной?

— Есть пара,— сказал Голушкин.— Рвутся. Супруги Лошаки.

— Кто такие? — спросил Шубников.

— Пожилые. Бывалые. Заслуженные,— объяснил Голушкин.— На вид — воспитанные. Но с запросами.

— Приглашайте ко мне Лошаков,— сказал Шубников.— Или нет. Я сам выйду к ним. Но пусть нам никто не мешает.

Вряд ли вы помните Лошаков. А супруги Лошаки появлялись в аптеке Михаила Никифоровича, иногда и досаждая ему. Жили они вовсе не в Останкине, но молва о здешней Палате услуг, как известно, взбудоражила Москву. Они вели себя смирно, льстили Голушкину, и тот посчитал, что именно Лошаки доставят художественному руководителю удовольствие. Шубников прошел в зимний сад и уселся на скамью из черного туфа возле бассейна с ленивыми китайскими золотыми рыбами, а Лошакам предложил расположиться на туфовой же скамье напротив. Лошаки сразу же забыли о стеснительности, они уселась бы и без приглашений. «Вот, уважаемый Виктор Александрович, не обслуживают. Наведите порядок»,— сказал Лошак-муж и протянул Шубникову бумагу. Это был рецепт. «Сандратол югославского производства по швейцарской лицензии»,— объяснила Лошак-жена. Шубников был важен, ему бы послать этих Лошаков по известным адресам, а он в великодушных раздумьях просвещенного вельможи держал рецепт перед глазами. «У нас порядок есть, он наведен,— улыбнулся Шубников.— Но сандратола нет». «Тогда вот эти, по списку»,— заспешил Лошак и вынул Шубникова взять новую бумажку. На ней выстроились под номерами наглые, беспоконные медицинские слова. «У нас и этого нет,— опять улыбнулся Шубников.— И не должно быть». «Почему?» — удивился Лошак, но так удивился, будто протестовал и гневался. «У нас не аптека,— стал успокаивать его Шубников.— Вы зайдите в аптеки». «Мы были во всех аптеках! — возмущенно заявила Лошак-жена.— Нам говорят: нет. Или говорят: есть аналог, но харьковского производства». «И что же,— поинтересовался Шубников,— без сандратола по этой швейцарской лицензии вам или вашим близким грозит гибель?» «Нет! — сказали Лошаки.— Но надо иметь совесть!» Далее было сообщено, что все же есть аптеки, в которых может объявиться все, что перечислялось в списке. «Вот вы туда и сходите»,— посоветовал Шубников. «Ха! — Лошаки смотрели на него как на идиота и бесстыжего издевателя.— В те аптеки надо быть прикрепленными!» И сейчас же последовал заказ Палате услуг прикрепить их, Лошаков, к четырем аптекам, чьи адреса и номера указывались, и еще к каким-то учреждениям, конторам, в коих, в частности, имелись грецкие орехи и ростовский рыбец. «Это не в наших возможностях»,— покачал головой Шубников. Он растерялся. Лошаки галдели, напирали, настаивали, а он не мог найти ответных слов. В каком возрасте пребывали Лошаки, определению не поддавалось. Они были живые, с хорошими зубами, пожалуй, и не фарфоровыми, быстрые в словах и движениях. Но, возможно, Лошаки ходили в гимназию при сражениях Куропаткина. Хотя вряд ли они получили гимназическое воспитание. Высоченный Лошак седым кучерявым чубом танцора кадрили и широким сильным носом должен был скорее заслужить фамилию Лось. Дама же скорее походила на супругу Барсука. «Я их долго не выдержу,— повторял про себя Шубников,— не выдержу». «Раз вы объявили себя Палатой услуг,— заорал Лошак,— значит, вы наши слуги! И извольте служить!» «Неужели вы при нашем напоре,— спросил Шубников без всякого притворства,— куда не прикрепленные?»

Супруга Лошака посчитала вопрос Шубникова проломом в казанских стенах и бросила на штурм конницу: «Да, уж прикрепите,

прикрепите нас!» И в руках Шубникова оказался новый список с заявкой Палате услуг на прикрепление. «Вот что,— сказал Шубников, заставив наконец себя встать,— Палата услуг создана для того, чтобы помочь жить людям лучше и самим стать лучше. Вы же намерены с нашей помощью жить легче. Это нехорошо. Вы и сейчас ведете себя нескромно и крикливо. Зайдите через два дня». «Через два дня!» — раскинула руки Лошак-жена. «Через два дня,— надменно сказал Шубников.— И не ко мне. А обратитесь в седьмое окно». Он уже не видел Лошаков и не желал помнить о них, но его догнали слова дамы Лошак: «И что ждать от них? Если у них художник-руководитель такой плюгавый мужичонка!»

«Услуги! Слуги! Извольте служить! Ах вы твари лошацьи! Не будет никаких слуг и услуг! Все отменим и прекратим!»

Немедленной отмене всего помешало появление Голушкина в кабинете. «Две трети окулиста»,— сказал Голушкин. «Что?» — не понял Шубников. «Две трети окулиста»,— сказал Голушкин.— Такая заявка!» «Сейчас мне не нужны остроты!» «Да помилуйте, какие остроты! — обеспокоился Голушкин.— Такая заявка. Я и сам не знаю, что предпринять...» Оказывается, новую поликлинику в Бибиреве по штатному расписанию оделили третью окулиста, теперь главный врач просил две трети окулиста хотя бы на полтора месяца, пока не отладят штатное расписание. «Выдайте им две трети окулиста!» — отказал Шубников в раздражении. «Да вы что, Виктор Александрович! — Брови Голушкина уползли к небу. — Откуда же я их возьму? Да и что это такое — две трети окулиста?» «Мне наплевать на то, что это такое! Выдайте, и все! Возьмите из моего резерва. Перешлите указание на Кашенкин луг!» «Слушаюсь!» — сказал Голушкин испуганно и исчез.

Не упоминание ли Кашенкина луга напугало его?

«Ах вы твари! — не переставал думать Шубников о разговоре в зимнем саду.— Обнаглели! Еще и „плюгавый мужичонка!“ „извольте служить!“». Да пошло бы все в тартарары! Он тотчас удалится в горы! В сырую, с летучими мышами келью отшельника!

Одновременно с этими соображениями являлись Шубникову и слова, извлеченные Каштановым три дня назад из мудростей Даля. Услуживать значило оказывать услуги, помощь, угождение, приносить пользу. С услугами в названии как с подачкой идиотам следовало покончить. Примеривались Шубниковым иные слова. Шире, мощнее будет — Палата Останкинских Польз. Может быть, Палата Останкинских Общественных Польз? Определение «общественных» показалось казенным, от него пахло сукном и хромовым сапогом, и Шубников решил завтра же объявить, что теперь на Цандера будет размещаться Палата Останкинских Польз.

Тем временем невдалеке от Шубникова возник скандал. Опять вынуждали угождать и служить. Скандалил закройщик Цурюков. Полчаса назад он звонил, требовал, чтобы заявку у него приняли на дому и устроили ему сейчас же низменное развлечение, а с завтрашнего утра в постель приносили кофе с ликером. Цурюкову объяснили, что он пьян, и предложили перестать куролесить. Но совершенно трезвый Цурюков прибежал на Цандера, кричал, опять требовал низменных развлечений, но без женщин, от них он устал, каких именно низменных — на это у него не хватало знаний, он полагал, что Палата услуг и сама обязана определить степень и характер его личной низменности. Шубников поначалу подумал, что Цурюков оттого, что его не пригласили на Цандера сотрудничать, обиделся и выламывается. Но из слов Цурюкова выходило, что он и не унизился бы до сотрудничества с людьми, взявшимися гуталинить Останкину туфли и вытирать сопли. Шубников и прежде Цурюкова, этого налого блондина нордического характера, считал мелочью. Он вывел его в своей «Записке», но вывел, основываясь на игре воображения. Неуважение к

Цурюкову было вызвано отчасти и тем, что брюки он пошил ему отвратительные. Однако в «Записке» Шубников не объявлял Цурюкова окончательно погибшим. И вот каков оказался неблагодарный Цурюков! Два холодноглазых молодца и женщины в кимоно выдворили Цурюкова, тот кричал, что происходит обман и крушение иллюзий, и просил освободить его из лап опричников и опричниц.

Тогда и Шубников покинул здание на улице Цандера. Покинул, как он полагал, навсегда. Уходя бросил директору Голушкину горькие слова о несовершенстве и непонимании его, Шубникова, души. А может быть, и вредительский умысел был у бывшего гардеробщика и эксперта, коли он направил ему на собеседование именно супругов Лошаков. Если это так, то пусть ему потом будет стыдно. Впрочем, он прощает Голушкину и несовершенство и вредительский умысел, потому как все прощает всем. И удаляется. Бедный, простодушный он человек! Недостойными Палаты Останкинских Польз выхледи здешняя местность и ее люди!

Мокрый снег догонял Шубникова, бил в спину, залетал за шиворот, он был хорош сейчас для Шубникова, страдальца и изгнанника. «Мне бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний...» Фу ты, гадость какая, отчего ожили в нем пошлые слова из динамиков танцевальной веранды, где он служил затейником, не указанием ли на то, что там ему и место? Нет, Шубникову сейчас был нужен Байрон. Или Шиллер. Или Бетховен. Или пусть бы зазвучал «Полет валькирий»!

Шубникову показалось, что он и зазвучал...

Ротан Мардарий не спал. Стоял в коридоре, шелковый платок Шубникова повязав с претензией на причастность к цеху артистов. «Это еще что?» — удивился Шубников. Мардарий, оценив состояние хозяина и воспитателя, молча стянул с себя платок, церемонно положил его на вешалку и скрылся в ванной. «Он что? — с тревогой подумал Шубников. — Иронизирует надо мной? Разыгрывает пародиста?» Следовало разобратся с Мардарием. Однако заходить в ванную Шубников не стал.

Вот он, стало быть, каким видится людям. Слуга. Плюгавый мужичонка. Не рыцарь, не вдохновенный провидец и проводник в совершенство, не светоч, себя сжигающий, а будто половой в трактире, халдей с полотенцем, от которого ждут лишь угождений и севрюгу по-монастырски на подносе. Не дождутся! Слюной истекут и не дождутся! Все. Нынче — перелом. Одоление перевала. Переход через ручей, за которым — просторы великого одиночества кесаря. Сожжение знамен и отмена рескриптов.

Он ошибся в останкинских жителях. Они и те, кто населяет бывшие Мещанские улицы, Свиблово, Медведково, Сретенку, — люди никчемные, не стоящие его любви, страданий и жертв. Твари жалкие, растяпы, попрошайки, погрязшие в пороках вымогатели, все, что делается для них, их не исправит и не улучшит. Лошакам — лошаково. Даже те, кого он был готов произвести в сподвижники и соратники, даже они не поняли его сердца и полета души, даже они утонули в сомнениях, неверии и в предательстве. Никто из них не достоин равенства с его, Шубникова, помыслами, а стало быть, и с ним самим.

Может, теперь его и одарили озарением. Или не так: это озарение выстрадано им. Оно вознесло его на вершину ледяного одиночества.

Шубников подошел к зеркалу. Старуха Лошак была глупа и несправедлива. Шубников отражался в зеркале надменный, великолепный. Такому нечего было делать в толпе. Такому не следовало из горных чистот опускаться на мокрые асфальты Останкина.

Однако правдивый ответ зеркала («Чего-то честное зеркало»,— вспомнилось вдруг Шубникову) дал поворот его настроениям. Шубников не простил останкинских жителей, не перестал их презирать, не угасла брезгливость рыцаря духа к ним. Но в Шубникове стало нарастать предвкушение удовольствий. Он поставит останкинских жителей на колени. Он их укротит, обломает, они руки подымут и дадут слово отказаться от дурных привычек, фрейдистских заблуждений и низменных удовольствий. Он их кнутом погонит на поля и лужайки благодравия, на нивы здравых дел.

Как важен был для него пай Михаила Никифоровича! Как необходима стала вся энергия Любви Николаевны, полностью им покоренная и ему покорная! «А почему? — в азарте подумал Шубников.— А почему бы и нет?!»

Шубников понимал, что рискует. Мыслям его, уж тем более желаниям, объявленным или не объявленным, полагалось сейчас же стать известными Любви Николаевне. Ну и пусть она знает! Пусть знает о всех его желаниях. Пусть знает о том, что он желает ее! Кураж игрока, сладостно знакомый Шубникову, разгорался в нем. Пусть! Пусть Любовь Николаевна знает, что и ее положение сразу же и волшебным образом должно перемениться, что она из существ потайных, подпольных, в связях с которыми стыдно и признаться, превратится в блистательную подругу, опору и сподвижницу с чистой легендой и возможностями делать в Москве то, что ей положено судьбой или поручением. В подругу, опору, сподвижницу останкинского Рыцаря, оставаясь, конечно, как было объявлено, и его рабой («И я рабом окажусь, преданным и нежным»,— тут же пообещал на всякий случай Шубников, полагая, что Любовь Николаевна воспринимает сейчас его сигналы).

Обещание его вышло отчасти искательным. Не рассмеялась ли сейчас Любовь Николаевна, обеспокоился Шубников. Но если бы и рассмеялась? Все равно он имел основания полагать, что Любовь Николаевна должна была немедленно появиться пред ним, и такая, какой он ее к себе призывал. Не появилась Любовь Николаевна. Не откликнулась и не вняла.

Были ночью мгновения, когда Шубников оправдывал Любовь Николаевну, находил изъяны в своем призыве или позволял себе думать: она отлетела куда-то. Или просто уснула, утомившись. Но и эти объяснения вызвали в конце концов досаду Шубникова. И даже ревность. Он жаждал Любовь Николаевну. Но где она была и с кем? И как позволила себе не слушать его, Шубникова?

Обиды и жалость к себе снова выталкивали Шубникова в черносиние выси. Сколько людей в скольких историях вминали его в грязь, не давали ему ходу, усаживали в телегу с неудачниками, глумились над ним, и всем им он должен был напомнить о себе и их ничтожестве (и этой дуре, теперь кинозвезде, Тутоморовой, рыло корчившей ему на втором курсе). Шубников и грозил сейчас, что найдет этим, уклонявшимся от его призывов, закон и управу, был в своих угрозах смел и страстен.

Что-то зашуршало, заскребло в коридоре. Шубников вскочил, бросился в прихожую. Высокомерно ухмыляясь, смотрел на него наглец Мардарий, опять повязавший шелковый платок Шубникова.

— Пошел вон! — истерично крикнул ему Шубников. Поспешил в комнату, уткнулся лицом в подушку.— Не отступлюсь! — шептал он.— Не отступлюсь! Ни от чего не отступлюсь!

Отчего-то на ум ему пришел утренний посетитель Палаты услуг, профессор, то ли Собакин, то ли Мышеловьев, изобретатель беспроводочной колбасы, предлагавший эту колбасу выделки Подольского мясокомбината и попробовать. «Будет Мардарий жевать Мышеловьеву колбасу»,— пообещал Шубников и уснул.

У фиалок в горшках на подоконниках полнели стебли и листья. А Михаил Никифорович фиалки не поливал.

Пешеходные прогулки, если такие случались, Михаил Никифорович раньше совершал по аллеям Останкинского парка, по эллипсам и лучам Выставки достижений, бродил он и по историческим переулкам Белого и Земляного городов, но никогда ноги не приводили его на Кашенкин луг. А тут дважды привели.

Эскадрильи девушек-лимитчиц, громких, уверенных в своих прелестьях и нарядах, пробовали завоевывать по ходу движения и Михаила Никифоровича, но он давал им отпор, впрочем, благодушно: «Да куда мне, я для вас дед...» Но не встретил Михаил Никифорович знакомых. Прогулки на Кашенкин луг Михаил Никифорович себе запретил, а запретив, стал поливать растения в горшках, чтобы ни у кого не складывалось впечатление, что их стебли и листья полнеют, процветают сами по себе или при чем-то странном присмотре и участии. Михаил Никифорович вознамерился купить и удобрения для цветника на окне.

В автомате на Королева Михаил Никифорович как-то узнал, что на днях Любовь Николаевну видели при художественном руководителе Палаты Останкинских Польз и они друг с другом были любезны. Очевидец любезностей, правда, не присутствовал в автомате, и неизвестно было, кто этот очевидец, однако новость удивления не вызвала. Все снова замолчали и словно бы посерьезнели. Должен сказать, что в те дни в останкинской атмосфере стали возникать как бы напряжения. В такие минуты казалось, что над Останкином ворон кружит. Но эти минуты проходили...

В автомате теперь утоляли жажду жидким ячменным хлебом много новых для улицы Королева людей. Их называли и паломниками. Возможно, это было и не совсем верно. Паломники, пусть и притянутые святыми местами, все же из породы любопытствующих странников. Являлись и такие в Останкино. Но куда больше людей приводили к нам хлопоты и суета. Возникали и озабоченные иностранцы. Выходило, что Палата Останкинских Польз моментально стала известна и на Балеарских островах.

На улице Цандера стояли теперь автобусы телевидения и кинохроники. Ходили слухи, что один из павильонов Выставки с самым изысканным фронтоном будет отведен для передачи опыта достижений именно Палаты Останкинских Польз. Желающие приобрести хоть бы и крупницы этого опыта являлись из разных местностей и земель к зданию на Цандера. Правда, сразу же растекались по окрестным магазинам, домам обуви, выставочным ярмаркам и салонам разнообразных красот. Но это вначале и по глупости. В каждом автобусе находились или ленивые, или простодушные люди, или те, кому просто поручали стеречь вещи и продукты, они никуда не растекались, а заходили в Палату, и скоро выяснилось, что и не нужно растекаться и стаптывать туфли, а все можно добыть и обеспечить на улицах Цандера и Кондратюка. Разве только введя себя в дополнительные расходы.

И снова приходили ко мне сомнения. Что из того, что мне много не нравилось или вызывало подозрения в затеях бывших «прокатчиков», а ныне — «пользунов»? А может быть, я их не понимал? Бывало ведь, начнет жена шить себе блузку, платье или костюм, подойдет ко мне, спросит: ну каково, хорошо будет? И предъясляет только рукав, заколотый булавками, вернее и не сам рукав, а пока лишь идею рукава. Я же проворчу что-то, предположив, что платье или костюм задуманы скверные, жене не к лицу и не к фигуре, потом же, как правило, окажусь посрамленным произведением домашней портнихи и швеи. Не выйдет ли теперь подобным образом с моим

отношением к Палате Останкинских Полей? Не станет ли со временем досадно самому: вот, мог сделать нечто полезное, а не сделал? Случается по-всякому. В увлекшей меня книге об Аристотеле Фьорованти я прочел: «Результирующая форма возникла в результате преодоления неоднократно возникавших казусов непонимания или недопонимания с обеих сторон». Может быть, и Любовь Николаевна не знала, какой будет ее и наша «результирующая форма», или предчувствовала ее, а мы, устрояясь, топтали дело (даже само предрасположение к делу) в «казусах непонимания». Не это ли происходило теперь?

Однако как только я услышал о любезностях Шубникова и Любови Николаевны, мои сомнения отлетели. И причиной тут были одни чувства. Ах, значит, они заодно!.. И снова укрепилось во мне упрямство. Пусть я не прав, но мои четыре копейки в помощь им не пойдут. Но чем меня так расстроили сейчас любезности Любови Николаевны и Шубникова? Я и разбирать свои чувства не желал, расстроили, расстрожили, и все. Ждать следовало не пользы, а лиха...

А Михаил Никифорович сходил на Выставку достижений и там в ларьках купил пакеты с питательными порошками и крупинками для домашних растений. Посыпал ими землю в горшках, но в меру, чтобы не сжечь фиалки. Он понимал, что если пойдет в поликлинику и при известном там его недомогании пожалуется на боли, ему обязательно выпишут больничный лист, а то и уложат на койку, да еще и определит капельницу с эссенциале. Он решил перетерпеть боли, не жаловаться, авось пройдут. В его решении был и как бы вызов. Судьбе, химическому заводу-отравителю, ВТЭКам. Еще кое-кому. «Душа — самовластна», — вспомнилось при этом Михаилу Никифоровичу. Но самовластна ли была сейчас его душа?..

Мардарий начал бродить по Останкину. Об этом говорили как бы шепотом. Да и Мардарий ли это был, уверенно определить никто не брался. Может, и не Мардарий, а некто или нечто из новинок Палаты Останкинских Полей, вышедшее на прогулку. Или за сигаретами. Но потом все утвердилось во мнении, что Мардарий. А однажды Мардарий зашел в автомат на Королева, выпил кружку пива. Выпил, не произнес ни звука, взглянул на гордость помещения — чеканку с изображением вяленой, но вымершей рыбы, то ли воблы, то ли хариуса, — высокомерно усмехнулся, забросил изящный конец вязаного шарфа за спину и ушел. Возможно, усмешку его вызвала судьба хариусов и вобл, а возможно, и мы, стоявшие под знаком не вынесшей развития цивилизации и торговли рыбы. Всем стало не по себе. Неприятно стало.

Летчик Герман Молодцов, вернувшийся из полетов, услышал, что таксист Тарабанько по надобности получил в прокат малые реки, и именно малые реки Яранского района Кировской области.

— Они-то хоть рыбные? — спросил Молодцов.

— Не будем говорить об этом! — быстро, нервно сказал Тарабанько. — У каждого есть свои секреты.

А я и потом встречал Мардария на 2-й Новоостанкинской в грязно-серые часы сумерек. Прохаживался Мардарий медленно, ни на кого не глядя, думу думал, а в позе и движениях его было нечто такое, отчего казалось, что все сущее Мардарий презирает и всем брезгует. При этом было в нем что-то невещественное, как у привидений от туманов. Видели Мардария, естественно, и другие останкинские жители и склонялись к мнению, что Мардарий похож на Шубникова. Вроде бы это была чепуха, однако... Изменения во внешности Шубникова произошли существенные, но не такие, к каким приводит пластическая операция. В нынешнем облагороженном Шубникове проступил Шубников прежний, и думалось, что это мы сами раньше, грешным делом, воспринимали Шубникова как бы в искажении. Марда-

рий же на наших глазах пропарывал эры, эпохи, стадии, геологические периоды, девоны и мезозои, из какой-то водяной мелочи преобразовывался в степенную особу, расхаживавшую вблизи нас на двух длинных нижних конечностях. Срамил ли он при этом или подтверждал классическую теорию эволюции. не было времени разобратся. Но разве можно было сравнить красивую голову Шубникова с башкой Мардария? И однако приходили мысли о сходстве Мардария и Шубникова! Не поймешь отчего, но приходили. Кто-то высказал соображение, что Мардарий этот — мнимый, скорее всего сам Шубников превращается в Мардария и бродит по Останкину с пока неясными нам, но далеко идущими целями. Соображение было признано глупостью. Но сколько соображений, признанных глупостями, окзывались потом верными.

Впрочем, прогулки Мардария были пустяками в сравнении с разворотом дел Палаты Останкинских Польз. О всех делах мы, естественно, не знали, но выстраивали предположения. Раз таксист Тарабанько при скромности его средств и интересов получил в прокат малые реки Яранского района, то можно было вообразить, какие приобретения случались у людей, чьи интересы и средства были нескромными. Выходило, что и закройщик Цурюков в конце концов испытал низменные удовольствия. Но опять же Цурюков — мелочь. К тому же он быстро утомился, захандрил, оказалось, что он и не готов к большому ряду удовольствий, а только хорохорился. Но столько являлось на улицу Цандера людей неутомонных, неизбыточных, неуспокоенных, жаждущих, с воображениями и страстями. Да что просто людей! Прибывали сюда представители самых разных предприятий, контор, театров, автоколонн, трамвайных остановок, колхозных рынков, учебных заведений и прочего. Услуги часто исполнялись штучные, с соблюдением (при желании клиента) тайны заказа. Потому и не о всех услугах было известно. Но оставались услуги и для всех открытые. Доктор Шполянов встречался мне отощавший, с растормошенными усами, в сандалиях на босу ногу — и это при снеге, — меня он почти не узнавал, на разговоры у него не хватало сил, но, значит, наемных котов приглашали в квартиры и учреждения, а возможно, на крыши и в подъезды. Ходил ли он в свою клинику или вовсе перекрался в Палату, я не спрашивал. Можно было догадаться, что доктор Шполянов, как и Петр Иванович Дробный, оказывает населению важные услуги, но вряд ли это были услуги планетарного значения. А вот когда Палата Останкинских Польз давала в прокат учреждению в Гнездниковском переулке свежайшие фильмы для показа на риверных фестивалях и сразу же гран-при к ним, либо тулупы-невидимки резервным отарам овец в миллионы голов на альпийских джайляу, либо снимала тень с обратной стороны Луны по просьбе двух отдыхающих магаданцев, тут уж было к чему отнестись с интересом.

Однажды Филимон объявил, что Варвара становится все варваристой и варваристой. Ему возразили, сказали, что Любовь Николаевна не слишком плоха и опасна, а собой и просто хороша, на что Филимон ответил расстроено:

— Эх вы! Покусились! Все вы теперь пусть и втайне, но рассчитываете на выгоды от нее.

Укор Филимона, похоже, никого не смутил.

— Люди мелочны и корыстны! — пришел к выводу Филимон.

Вечером у овощного магазина я повстречал дядю Валю.

— Ну как, Валентин Федорович, — легкомысленно поинтересовался я, — дела в вашем бункере?

— Что ты знаешь о бункере? — спросил дядя Валя с отчаянием. — Что?.. Отойдем отсюда!

— Да что вы, Валентин Федорович, что с вами? — теперь обеспокоился я. — Так, шутят в автомате о каком-то бункере. — И добавил,

чтобы совсем прекратить собеседование на неприятную тему: — Говорят, у вас новую форму ввели.

— Ввели. Три комплекта, — вяло сказал дядя Валя. — Один с памятью о Преображенском полке. Второй — из звездных фантазий. Третий — рабочий, как его... забыл...

— Деньги за них будут вычитать из зарплаты?

— Нет. Они — собственность Палаты. Выдаются лишь в производительное время.

— С памятью о Преображенском полке — это для потешных парадов, что ли?

— Не шути. С ними теперь не шути, — сказал дядя Валя. — И не сорюсь теперь с ними... А преображенский комплект — для оказания антикварных услуг. В частности.

— Когда же вам положен чрезвычайный костюм?

— Послезавтра. Комбинезон со звездными мотивами.

— И во сколько же произойдет церемония, ради которой вам назначены звездные мотивы?

— Почему церемония? Оформление услуги. В два часа.

— Услуга особо важная?

— Выдача колесного парохода «Стефан Баторий», — сказал дядя Валя. — Важная или не важная — не мне знать.

— Почему же это не вам знать! — возмутился я. — Ваш пай не слабее пая этого самого художественного руководителя. Отчего вы полезли в маленькие люди? А что весной и летом говорили нам и Любови Николаевне, вы не помните?

— И не хочу помнить, — тихо сказал дядя Валя. — Я всего достиг. Достиг совершенства. Я утолил страсти. Я получил все.

Возможно, в подобной усыпляющей тональности произносили про себя уверения сторонники психологических тренировок.

— Словом, вам хорошо, — предположил я.

— Мне плохо, — закрыл глаза дядя Валя. — Я в прорубь нырну. Или с башни спрыгну.

— Но что же вы...

— Оставь меня, — попросил дядя Валя. Было ощущение, что у Валентина Федоровича не хватит сил донести домой сумку с капустой и морковью.

45

Через день без четверти два я встал из-за стола и пошел на улицу Цандера. И вот что я увидел: народ стремился к Палате Останкинских Поляз. Шел и ехал. В служебное, кстати, время. Высаживали на углу Кондратюка путников лимузины с дипломатическими номерами, а сами отъезжали в поисках доступных стоянок. Уже на подходах к дому Шубникова привратники Палаты в костюмах, напомнивших о порохе Полтавы и Очакова, четверо из них имели и скунсовые шапки с конскими хвостами, приветствовали иностранных граждан, дипломатов и коммерсантов (один из них двигался с табличкой «„Банко ди Рома“, что возле ТЮЗа»), возможно, впрочем, и прохиндеев. А многие на Цандера производили впечатление обычных московских зевак. Но разве могут быть не симпатичны наши простодушные ротозей? Правда, это они сейчас зеваки, а потом как пойдут по воду да поймают в проруби щуку! Хотя что было вспоминать о щуке именно сегодня? И опять же прибывало к Палате немало людей с ожиданием в глазах: и нам достанется! Или: а вдруг разверзнется — и мы увидим?

Было известно, что на Цандера и Кондратюка возникли строения ломбарда, складов, депозитария имени Третьяковской галереи, просмотровых залов, управленческого модуля, еще чего-то, но народ давился у дверей исторической части Палаты, прежнего пункта проката. А для этой реликвии и двадцати гостей было достаточно. Но вме-

щались! Вмещались! И я вместился. Вместе с толпой внесло меня в огромный зал с поднебесным куполом, где можно было подвешивать маятник Фуко и убеждать в правоте Галилея и Коперника упрямец, каких не тронули еще доказательства Исаакиевского собора. Да что маятник Фуко! Тут и вертолеты, казалось, могли блуждать от стены к стене.

Среди людей, преимущественно мне незнакомых, я не обнаружил Михаила Никифоровича. Добкина со Спасским обнаружил, а его нет. «Кто-то ведь на днях собирался занять у Добкина семьсот рублей,— вспомнил я,— а ему сказали, что Добкин на Каймановых островах. Но вот же он, Добкин-то...» Я хотел было подойти к Добкину, сказать ему про Каймановы острова и семьсот рублей, но тут и разверзлось. То есть где-то под куполом куранты, сначала зашипев, пробили два часа. И сразу же в толпе произошло стеснение, возник коридор, устроенный усилиями хладноглазых служителей в робах с космическими мотивами, со множеством каких-то блестящих заклепок, «молний», ремней, но без скафандров. В уважаемом месте, где маятник Фуко мог бы успокаиваться на ночь, образовался стол для подписаний с моделью колесного парохода «Стефан Баторий» на коричневом сукне. И модель была хороша, а уж как-то стоял сейчас где-то в затоне сам красавец «Стефан Баторий»! На экране, слетевшем из-под купола, проявилось изображение документа из трех обрывков, на них виднелись черные и киноварные кресты, крючки, буквы, нескладные рисунки четырех камней, козы и лука с натянутой тетивой. «План клада...— пронеслось в зале,— клада... клада...» Коза была несомненно самарская, а в луке с тетивой я сразу же угадал Жигули. И тотчас к столу со «Стефаном Баторием» проследовали участники подписания, люди, по всему видно, деловые и горящие нетерпением. Один из них был Шубников, во фраке и при белой бабочке, двое — явно из Палаты Польз, в черных художественских куртках с номерами на спинах (№ 1 и № 14) и фамилиями («Голушкин» и «Ладошин»). Четвертый же, в широких штанах, важный, привыкший выказывать себя барином, отчего-то сбивался с ноги и облизывал губы — наверное, был с нежной душой и конфузился.

Голушкин, № 1, и человек в широких штанах уселись за стол, им предстояло подписывать. Человек в широких штанах начал перечитывать бумагу, наверное, ему известную. Что-то его будто расстроило, он стал тыкать пальцем в текст, затем левая его рука потянулась к модели колесного парохода, а правая открыла серьезный портфель. Палец указывал на какие-то подробности «Стефана Батория». Возможно, несовершенные. Голушкин, вероятно, отстайвал достоинства «Батория». Но по движениям Ладошина. № 14, очевидно секретаря, по его озабоченным взглядам можно было понять, что в церемониале подписания происходит заминка. Шубникова не тронули озабоченные взгляды, он был и здесь и над всеми, стоял, выдвинув левую ногу вперед и скрестив руки на груди, смотрел на пустоту жизни глазами всеильного, глумливого и утомленного гордеца. Впрочем, судя по скульптурным изображениям, сходные позы принимали некоторые адмиралы и просветители, а потому мои мысли относительно гордеца могли оказаться и ложными. Вдруг человек в широких штанах вскочил, вскинул руки. Хладноглазые молодцы напряглись, некоторые из них бросали пулевые взгляды в толпу, отыскивая сторонников человека в широких штанах или же недоброжелателей Шубникова. И Шубников, похоже, огорчился, оглянулся дважды. А человек в широких штанах захлопнул портфель и, гордый, двинулся от стола, давая понять, что подписание не состоится.

И тогда ворвалась в зал Любовь Николаевна.

Человека в широких штанах столб воздуха или столб света остановил вмерзшим в пространство с прижатым к животу портфелем. В движениях, во взглядах, в линиях, в музыке Любви Николаевны

было нечто, что заставляло думать: она пришла не на помощь, не экстренной пособницей, а была вынуждена где-то задержаться и просит извинить ее, но все это не важно, а важно то, что она теперь с нами, а мы — с ней и от этого и ей и нам должно быть хорошо и светло. Я сказал: в музыке Любови Николаевны. Я несомненно слышал в те мгновения музыку, и она вызвала во мне мысли о музыке, с какой Петр Ильич Чайковский в третьем акте привел на бал в замок Зигфрида блистательную Одилию. Привел — не то выражение, он ею выстрелил. В цвете платья Любови Николаевны, длинного, свободного, с широкими романтическими рукавами, красном, черном и синем, были и пламень, и бездна, и небо. Сияли глаза ее, и сиял золотой гребень в светлых ее волосах, стянутых сзади эллинским пучком.

У стола Любовь Николаевна поклонилась четырежды в разные стороны света, и публика была тронута ее обхождением и простотой. Человек в широких штанах более не артачился, быстро подписал вместе с Голушкиным документы в синих папках с серебряным тиснением, обменялся с Голушкиным рукопожатием, секретарь Ладосин, № 14, осыпал их подписи протокольным песком. Арендатор колесного парохода и обрывков секретного плана позволил себе подойти к Шубникову, руку ему было протянул, но тот остановил его ледовитым кивком. А Любовь Николаевна с улыбкой благодетельницы неожиданно предложила человеку в широких штанах лобызать ее руку, отчего с тем случился солнечный удар. Публика же отнеслась к жесту Любови Николаевны благожелательно.

Было заметно, что Любовь Николаевна произвела на публику впечатление. А многие видели ее впервые. И ведь стояли в толпе люди из тех, что не разевают рты, а исследуют, у них есть что тратить и что вкладывать, и им надо знать, стоит ли иметь дело. Вспомнились мне слова историка, произнесенные об одной замечательной наезднице: «Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил». Любовь Николаевна и увиделась многими женщиной в полном сборе. Возникало ощущение, что она надежна и до того благополучна, но не в житейском прожиточном смысле, а в смысле судьбы и возможностей, что и другие вблизи нее могут быть благополучны и что в предприятиях с ней выйдет толк и сыщется поприще под ее покровом.

Но дело-то приходилось иметь не с Любовью Николаевной, а с Палатой Останкинских Польз и ее художественным руководителем. С этим, наверное, и не сразу, но смирился важный человек в широких штанах. Про него вблизи меня говорили, что он, Сеникаев, то ли чабан, то ли овчар, то ли директор совхоза, то ли заведует ледником-глетчером, то ли руководит кафедрой встречных тем в песках, то ли пасечник. А может, он и подставное лицо. Сейчас этот Сеникаев принимал от Ладосина, № 14, модель «Стефана Батория». Ожидалась уплата суммы за услугу, но сведущие зашептали, будто кассы стоят в ином, бронированном, помещении. «Нет, по перечислению, — заверил Добкин. — Только по перечислению. Или почтовым переводом. Из рук не принимают». Почтовым переводом или в бронированном помещении — не имело значения, несравненно лучше было бы, если бы у всех на глазах с пересчетом бумаг и выдачей сдачи.

Так и вышло. Шубников знал людей. И медные монеты сдачи звякнули, падая на черную пластмассовую тарелку из тех, что украшали кассы останкинских продовольственных магазинов в сороковые годы. И у многих из взволнованно притихшей публики пересохло в горле. А может быть, напротив, у кого-нибудь выделилась слюна. И никто не кашлянул, как в Большом консерваторском зале при взлетах палочки Рождественского.

Оформление свершилось. Публика, однако, стояла. И одно бесплатное событие с колесным пароходом должно было ее накормить.

Но нет, уходить было жалко. «Сейчас будут оформлять оксфордскую мантию», — пообещал мне сосед. «С чего бы? — удивился я. — Кому она нужна?» «Ну-у! — мечтательно протянул сосед. — Оксфордская мантия... Да с шапочкой-то! И с париком!» Видно, и он жаждал оксфордскую мантию. Но имелись ли средства на услугу у бедняги? Полагаю, что не имелись... Ожидание оксфордской мантии оказалось неоправданным. Шубников с Любовью Николаевной держали паузу. Пауза была нарушена появлением дяди Валя.

Поначалу я подумал, что тут притворство и игра чуть ли не по сценарию и дяде Вале отведена роль даже и не из театрального, а из циркового представления. И одет он был как шут и волок на поводке собаку. Кроме собаки он увлекал за собой и женщину, мне знакомую, из лебедих, Анну Трофимовну. Анна Трофимовна вцепилась в руку Валентина Федоровича с намерением отторгнуть его от общества, обратить внимание на пагубность поступка, кричала что-то, однако дядя Валя оказался сильнее. Он наступал на Шубникова и Любовь Николаевну, выпятив грудь, с оттянутыми назад руками. Одежду его истерзали, возможно, в коридорах Палаты, брюки на дяде Вале были собственные, а помятая куртка относилась к комплекту с космическими мотивами, но многое на ней было утрачено или изуродовано. Хладноглазые молодые сослуживцы дяди Валя двинулись было на него, взглянули на Шубникова и Голушкина, но не получив никаких распоряжений, остановились. А дядя Валя подскочил к Шубникову почти вплотную, пошел бы, видно, и врукопашную, если бы не был отягощен Анной Трофимовной и собакой.

Ярость Валентина Федоровича, не испепелив пламенем Шубникова сразу, словно бы и приугасла. Дядя Валя остановился. Бурлакин, никаким специальным костюмом не преобразованный, с лентой шагавший за дядей Валею без видимого желания укротить героя, догнал его и тоже встал. Бороду подергивал. В высокомерии Шубникова проглядывало сострадание или даже снисхождение к дяде Вале, но я видел, что Шубников волнуется. Любовь Николаевна улыбалась, в глазах ее было: «Вот ведь как интересно-то! А вам? Я совсем не против этого! А вы?»

Теперь можно было рассмотреть, что из-под куртки Валентина Федоровича выехала и болтается, поблескивая зажимом, одна из подтяжек его брюк, что левого рукава у него вовсе нет, а из раздерганных звездных «молний» торчат клочки бурой шерсти, возможно, от конских хвостов. Анна Трофимовна попыталась схватить болтавшуюся подтяжку и укрыть ее, это движение словно бы вывело Валентина Федоровича из состояния контузии. Он очнулся. Сделал шаг к Шубникову. Нет, не было сейчас в дяде Вале притворства, не было! Оживал прежний Валентин Федорович Зотов. Глаголом обязан был сейчас жечь сердца людей, до того готовым к подвигу стоял он на виду у всех!

— Отдавай мой рубль сорок, сука! — сказал дядя Валя, охрипнув на первом же слове. — Отдавай, гад!

Шубников на мгновение опешил, он, видно, ожидал совсем иного заявления. Но услышанному обрадовался и даже улыбнулся, впрочем, надменно и коротко, и остудил движением руки ретивость молодых служителей.

— Покорно просим извинить и понять, — обратился он к публике. — Проще было бы вымести сор быстро, и метлой. Но не хотелось бы, чтобы у уважаемых гостей возникло искаженное представление об отношениях в Палате Останкинских Польз. Эти отношения простые и на равных. Как с действующим персоналом, так и с бывшими сотрудниками...

— Ах гад! — вскричал дядя Валя. — Уже и с бывшими!

— Наш подсобный рабочий Валентин Федорович Зотов, — продолжил Шубников, — всегда обладал чувством достоинства. Но, видимо,

его меланхолическое состояние, а также раны, полученные в разнообразных войнах, привели к разброду чувств. Валентин Федорович, я полагаю, вы не станете отнимать время у ни в чем не повинных людей и последуете со своими спутниками в кабинет директора, где ваша претензия будет рассмотрена незамедлительно. Анна Трофимовна, я думаю, это разумно?

— Разумно. Конечно, разумно,— подтвердила Анна Трофимовна и опять стала пристраивать подтяжку дяди Вали.

— Оставь меня! Пошла ты! — оттолкнул Анну Трофимовну дядя Валя.— Отдавай, гад, мой рубль сорок!

— Я у вас, Валентин Федорович, никогда никакие рубль сорок не брал,— возразил Шубников.— Если вы считаете, что вам недоплатили рубль сорок, то, повторяю, вам следует решить ваш частный вопрос с директором Голушкиным.

Шубников опять улыбнулся, но, естественно, не подсобному рабочему, а зрителям, в сочувствии которых не сомневался.

— Я требую вернуть не рубль сорок,— сказал дядя Валя,— а мой пай ценой в рубль сорок. Ты плут, жулик и мародер.

Шубников более не улыбался. Глаза его стали злыми.

— Вы всегда врали, Валентин Федорович,— сказал Шубников,— иногда и веселили кого-то. Но сейчас я не советую вам оставаться посмешищем далее. Клоунов хватает и без вас.

— Я не клоун,— гордо произнес дядя Валя.— Я Останкино желаю уберечь. Я всем говорю: одумайтесь и не соблазняйте! Вы не караванчики в пустыне, развеите миражи! Пусть истекут они из Останкина вонючим дымом! Здесь в вас поднимут пену мутную, и ею вы отравитесь! В вас оживут тени, о которых вы и знать не знали, и растерзают вас. Здесь в вас возбудят жадность, какую не насытишь, и камни будете грызть железными зубами. Здесь у вас душу не купят, а вывернут наизнанку, и тошно станет от самих себя. Я прошу вас: не соблазняйте доступностью недоступного! Я предупреждаю вас!..

— Хватит! — перебил дядю Валью Шубников.— Вы не клоун. Вы смешнее. Не приставить ли к вам учеников? Они будут записывать на телячьей коже ваши пророчества. А имея в виду ваши заслуги в сражениях, мы можем придать вашим ученикам бесплатно чтеца и барабанщика.

— Не трогай мои заслуги и сражения! — разгневался дядя Валя.— Ты-то кто есть? Ты-то и мог лишь воровать собак для поделки шапок. Верни мне рубль сорок! И тогда мы посмотрим, какой из тебя выйдет властелин мира!

Последние слова Валентина Федоровича, похоже, крайне задели Шубникова. Я видел: он с трудом удерживал себя от поступка. А поступок мог быть один: напустить на оратора хладноглазых молодых людей.

— Вы сейчас отсюда исчезнете, Валентин Федорович,— произнес наконец Шубников.— И я бы мог сообщить интересующимся, какие такие тени ожили в вас. Но мне противно. Только вы лжете, будто не знали, что это за тени. Знали! Всю жизнь знали и пестовали их в себе! А теперь прячете их в бункере!

— Эти тени не мои, а твои,— воскликнул дядя Валя,— ты во мне их развел и выкормил, забирай их и верни пай!

— Вон отсюда! — закричал Шубников.— Получите расчет после сдачи инвентаря и форменной одежды. И забудьте дорогу сюда!

— А местком? — рассмеялся дядя Валя.

— Да, конечно, и после решения местного комитета...

— Накося, выкуси! — загремели под куполом слова дяди Вали, раскатились по залу, при этом Валентин Федорович произвел жест, известный как произведение фольклора задних дворов Марьиной ро-

щи, по знаковой системе некоторых присутствующих эстетов и не совсем приличный, но вполне убедительный.

Шубников не удержался, и началась перебранка, более уместная на рынке, причем не на Птичьем, а на Минаевском. Шубников и дядя Валя горлопанили. Звучали выражения, связанные с культом здоровой и нездоровой плоти, частыми были фаллические мотивы, однако во взаимных аттестациях оппоненты обращались и к странностям животного и растительного мира, а потом вспоминали и о житейских несовершенствах. Публика в зале была обескуражена. Да что это? куда мы попали? — было на лицах у многих. Не мне одному, похоже, стало гадко, хотелось не то чтобы уйти, а бежать куда-то. Шубников все грозил рассказать о бункере, о тайных страстях Валентина Федоровича, о слизняках его души; дядя Валя же обещал, если Шубников не вернет пай, сейчас же привести приятелей-головорезов с Екатерининских, Переяславских улиц, из двух Солодовок, семейной и холостяцкой, с ножами и дубовыми дрынами. Собака дяди Вали подпрыгивала и лаяла, рвалась к Шубникову, бешеная подтяжка буйствовала, в стараниях унять ее Анна Трофимовна вскрикивала, маятник Фуко, хотя его не было, совершал движения быстрее положенного, ударял по спинам, по ногам, по головам гостей-наблюдателей. Шубников нарекал дядю Валю неблагоприятной тварью, дядя Валя же призывал в мстители все тех же несуществующих мифических головорезов и орал: «Отдай рубль сорок!»; энергия перебранки должна была вызвать Ходынку, хождение по головам и костям. Палата Останкинских Польз теряла лицо. Я понимал: более других неприятен сейчас публике Шубников. Дядя Валя явился шутком гороховым, да и был он подсобный рабочий, возможно и пьющий. Но Шубников-то, во фраке с белой бабочкой, как же он-то мог низвергнуться со своих скал в хляби и грязи? Его ожидал крах. И он должен был сообразить это...

Но что же Любовь Николаевна? Или хотя бы Бурлакин?

Бурлакин с места не двигался. Лишь бороду подергивал. Понятно, выяснение частного вопроса дядей Валею и Шубниковым заняло несколько минут. Обмен мнениями вышел пулеметный. Бурлакин смотрел на Шубникова и дядю Валю прищурившись, казалось, что обе стороны он выслушивает с одинаковой степенью внимания и участия.

А Любовь Николаевна все улыбалась. Она-то не стояла как вкопанная. Переступала с места на место, меняла позы, двигались иногда ее руки, будто бы какая-то пружина не давала ей застыть или замереть. Но в разговор она не вмешивалась. Не морщилась, не хмурилась, не расстраивалась, а улыбалась. Сияние ее прекратилось, а улыбка не исчезла, оставалась по-прежнему доброжелательной и лукавой. И не произнесла она ни слова. А помните: не произнесла ни слова Шемаханская царица, только хи-хи-хи да ха-ха-ха. Но что за существо была Шемаханская царица? Думаю, что и Александр Сергеевич об этом не знал. Римский-Корсаков догадывался, впрочем, музыкой легче догадаться, нежели словом. Однако я совершенно не собирался ставить в один ряд с Шемаханской царицей Любовь Николаевну, так просто подумал в быстролетности...

А может быть, Любовь Николаевна и не имела прав вмешиваться в диалог. Он, кстати, уже утихал. Шубников выкрикивал как бы устало о каком-то залоге, дядя Валя же твердил: «Подыхать ради тебя я не стану, не жди, а все равно отдавай мне рубль сорок, гад ползучий!» Но и дядю Валю утомила вспышка праведной борьбы. Он замолк. И замолк Шубников. Сырые яйца и тухлые овощи должны были сейчас же полететь в него. Он поджал губы, ресницы его захлопали, обещая ребячьи слезы, глаза молили о пощаде: «За что вы меня невзлюбили? Я же все это ради вас...» Но не было Шубникову пощады. Рокот неприязни к нему возник в зале.

В это мгновение на плечо его положила руку Любовь Николаевна. Позже говорили, что она не положила руку, а возложила. И что сразу же раздался треск. Или грянул гром. И ударила молния. И в это поверили. Тем более что московские грозы особенно хороши в Останкине, нередко и в зимнюю пору. И папоротник, говорили, тут же расцвел в углу Палаты Останкинских Полей. Я не помню ни треска, ни молнии, ни папоротника, хотя допускаю, что они были. Любовь Николаевна по-прежнему улыбалась. И сняв руку с плеча Шубникова, этой же рукой — сама в полупоклоне — произвела плавное движение, как бы поощряя Шубникова к произнесению слов. Мол, пожалуйста, вам предоставляется, и извольте, люди ждут.

Шубников взглянул на нее с испугом и недоумением: какие еще слова, зачем они? После того, что вышло, надо исчезнуть. Но испуг и недоумение эти были остаточными, он сделал решительный шаг вперед и заговорил. А толпа притихла. Будто пристыженная.

Речь Шубникова я не могу передать в точности, она вошла в меня с большими пропусками. Поначалу Шубников — пламень уже был в его голосе — поздравил всех нас и товарища Сеникаева, в широких штанах, с оформлением услуги. Шубников рассказал об истории строительства в начале века на Сормовском заводе для смешанного общества «Кавказ и Меркурий» колесного гиганта «Стефан Баторий», волжского ломовика и волжской чайки. Напомнил он — пламя разгоралось — о былинном походе свободолюбивых казаков в Хвалынское море к персидским пределам во главе с атаманом, чьим именем назван теперь пивоваренный завод в городе на Неве. «Сарынь на кичку!» — провозгласил Шубников и сразу же заговорил об Амударьинском кладе. Потому, объяснил Шубников, ему пришлось упомянуть об Амударьинском кладе, что в публике присутствуют уважаемые британские подданные. Он просит прощения у уважаемых гостей с туманного Альбиона, но обязан напомнить о том, что Амударьинский клад из множества золотых и серебряных предметов работы мастеров древних Парфии, Бактрии и Согдианы находится в Лондоне, в Британском музее, хотя должен принадлежать среднеазиатским народам. Сейчас же Шубников попросил наше воображение перенестись в карибские моря и увидеть, как кучки индивидуалистов, людей предприимчивых, но богатых, отыскивают на дне остатки испанских галеонов, а в них затонувшие золото, серебро, драгоценности инков, оцениваемые в четыре миллиарда долларов. И вот теперь здесь произошло событие, какое не стыдно будет сопоставить с самыми замечательными подвигами искателей. И дальше пошли слова о ценностях персидской казны, о скорости хода «Стефана Батория», о комфорте его кают, об ароматах его кухни, о научной подготовке членов экспедиции, которых представляет здесь товарищ Сеникаев. Можно предположить, что теперь с помощью Палаты Останкинских Полей будут найдены в диких, непроходимых Жигулевских горах сокровища персидской казны и они послужат на благо всем. Частью на благо культуры и музейного дела. Частью на благо развития отечественного сыроделия. Частью на благо членов экспедиции «Стефана Батория». Частью на благо всем. И он, Шубников, чрезвычайно рад тому обстоятельству, что Палата Останкинских Полей делами доказывает, как она служит на благо всем. На благо всем! На благо всем!

Вот, собственно, почти все, что я запомнил из речи Шубникова. А он говорил дальше. Что говорил, не вспомню, наверное, никогда. Пожалуй, слова «человек», «благо», «историческое предназначение», «добро», «воля», «повреждение нравов» им употреблялись, но в каких сочетаниях, я не помню. Но помню, что происходило как бы преобразование самого Шубникова и преобразование его слушателей. Очень скоро оставшееся в них чувство безразличности было обращено уже вовсе не на Шубникова, а на самих себя, на свои несовершенства, на свои слабости и подлости. Как вы могли понять из моего пересказа,

начало речи Шубникова выглядело обыкновенной вежливой болтовней, какую мог сочинить и помощник-текстовик. Теперь же Шубников стал трибун и борец. Он нас гипнотизировал, говорили потом, он нас завораживал. Не знаю, не верю. Ну, допустим... Хотя нет. Шубников, казалось, нас и не видел, а весь был в искреннем порыве, в безоглядном полете. Мы стали куда ниже Шубникова. А он возвысился над толпой. Мы осознали, что мы дряни, скоты, никчемные люди, но вот явился человек, способный вывести нас из паскудного состояния. В него надо верить и ему должно подчиняться. Нам хотелось выть и кричать, чтобы выразить это свое состояние. Шубников стоял красивый, жертвенный, а голос его стал сладок и мощен, звал нас куда-то. И надо было идти, идти, идти за ним. И если бы сейчас в руке Шубникова возник факел, мы бы пошли за ним, не думая о жизни и гибели, а полагая, что прокладываем путь ко всеобщему благу и совершенству.

Шубников замолчал, молчала и толпа, ожидая новых слов или призывов, куда идти и что делать, но слов не последовало, и воодушевление осуществилось благодарственными криками, взлетом вверх рук с сомкнутыми или сжатыми пальцами, а Валентин Федорович Зотов рухнул на колени. Шубников великодушно взмахнул рукой, давая понять, что все это мелочи, последствия нервического хода времени и пусть дядя Валя успокоится. Великодушный жест Шубникова был замечен и оценен аплодисментами, кто-то бросил к ногам Шубникова букет гвоздик.

Тогда-то и приблизилась снова к Шубникову Любовь Николаевна.

Шубников, возможно, уставший, растративший себя ради нас, не сразу и сообразил, кто рядом с ним. А Любовь Николаевна, наклонив голову, предложила Шубникову взять ее под руку. Шубников хорошо носил нынче костюм и красиво повел женщину. В левой вскинутой руке Любви Николаевны взблеснул золотой стержень с зеленым камнем, и опять вблизи Любви Николаевны возникло сияние. Сияние это принадлежало теперь и Шубникову (или исходило и от него). Шубников и Любовь Николаевна последовали к выходу, покидая восхищенных подданных. Они проходили мимо меня, и тут Любовь Николаевна взглянула на меня со значением или подсказкой и будто бы даже подмигнула мне. Не эта подсказка или подмигивание удивили меня тогда, нет, я увидел, что Любовь Николаевна смотрела на Шубникова восторженными глазами. Она была увлечена им.

А отчего же было ей не увлечься Шубниковым, если он всех увлек и заморозил? Стало быть, в нем есть сила, какая была надобна Любви Николаевне. И какая еще проявит себя в Останкине. Разве можно было сравнить с сегодняшним Шубниковым Михаила Никифоровича?

Публика расходилась с неохотой. Глаза у многих еще горели жаждой действия. Но, возбуждив энергию и воодушевление, факел не зажгли и никого никуда не позвали. Одно успокаивало: еще позовут, и тогда пойдём.

Валентин Федорович Зотов удалялся домой (или продолжать службу? тогда не знали) понурый и безмолвный. Подтяжка его была укрощена и прищеплена к брюкам. Анна Трофимовна деликатно молчала и опекала безмолвную же собаку. За дядей Валею шел Бурлакин в черной задумчивости.

«Женщина-то какая ядовитая!» — услышал я от соседа, ожидавшего услугу с оксфордской мантией. «Что? — рассеянно спросил я. — Какая женщина? Отчего ядовитая?» «Ядовитая!» — сладко, закрыв глаза, произнес мимолетный сосед, и стало ясно, что «ядовитая» для него высшая степень одобрения женщины. Эх, кабы ему в жизни выпали оксфордская мантия с шапочкой и париком и ядовитая женщина! «Вы из хлопобудов?» — спросил я. «Нет, — посмотрел на меня сосед с удивлением. — Нет. Не допущен. — Но сразу же добавил, слов-

но стараясь сделать мне приятное: — Здесь есть хлопобуды. Есть. И немало. Тот, что стоит за мантией, например. Я думал, его время подошло. Ан нет... Но получит».

Дом мой был рядом, и отложенная тетрадь ждала на столе, но я все бродил возле бывшего пункта проката. Воодушевление сменилось во мне подавленностью. Из иных же воодушевление пока не истекло. Педанта, выразившего сомнение, не уместнее ли было бы остантить экспедицию не колесным пароходом, а струтами и челнами, тут же пристыдили. Палата Останкинских Польз знает свои резоны, и критики ей не нужны. Слова эти вызвали одобрителный гул. Возвращались иноземные автомобили и забирали любопытствующих гостей Москвы, видно, что озадаченных.

«Ядовитая женщина!» — опять очутился возле меня мечтатель. Я хотел было согласиться с ним, чтобы он отстал, но увидел Мардария. Мардарий сидел на крыше, свесив ноги в лунных сапогах, смотрел на суету людей и машин, был одинок и надменен.

— Да, ядовитая! — уже обижаясь на меня, заявил мечтатель. — Не я один ее возжелал. Но кто я? Она досталась по праву...

— По праву! — прервал я его и пошагал прочь.

46

Дня три у меня болела голова и было скверное настроение. Я будто угорел и никак не мог вывести из себя вред угара. Но от Шубникова, от его власти и силы я отдалялся. Явись он теперь ко мне с факелом и потребуй идти за ним осуществлять общее благо, я бы не пошел. Увольте, сказал бы я, от своих прихотей и видов. Я сказал бы это и Любви Николаевне. Но ни она, ни Шубников ко мне не приходили.

Отчего в Останкино съехалась, слетелась, сбилась публика? Что ее привлекло? Что заманило? Слух ли искаженный, но загадочный? Или, напротив, с подробными разъяснениями приглашение? Впрочем, что и как привлекло, было не самым существенным. А предъявили публике вот что: Шубников с Любовью Николаевной заодно, более того — она увлеклась Шубниковым, а что могут сотворить дама с фаворитом, известно всем. Далее: Шубников показал, что способен не только усмирить бунтаря Валентина Федоровича Зотова, он, наверное, уже и сейчас мог бы вызвать у тысяч людей состояние восторга и отваги, при которых впору было бы штурмовать Бастилии или же ломами сравнивать с землей Кордильеры. Полагаю, штурмы и сравнивания с землей еще предстояли.

Предъявлено так предъявлено, решил я. Но это их дело.

Приходили на ум реплики, услышанные в толпе и тотчас забытые, о тысячных — да что там тысячных! — уплатах за услуги и о том, что все дело в один миг возьмет и порушит фининспектор. Тогда казалось: это судачат завистники и очернители; теперь же думалось: даже если и не завистники, какая разница? Сможет ли что-либо порушить на улице Цандера и самый добродетельный фининспектор? Вспоминался и надменный Мардарий, сидевший на крыше... Однако мысли эти были как бы остатками угара. Они утекали. Потом голова перестала болеть.

А о Михаиле Никифоровиче я думал. И отчего-то с жалостью... Естественно, что эта моя жалость вряд ли могла быть существенна для художественного руководителя Палаты Польз. Но при отличиях наших размышлений и чувств объект их временами был один — Михаил Никифорович. Присутствие Михаила Никифоровича рядом на земле сейчас тяготило Шубникова. Он хотел бы не оглядываться на Михаила Никифоровича, совсем не знать, что такой есть, но не мог. В нем вдруг возникло: «Аптекаря не должно быть!» Но каким образом не должно быть? Отправить его с походной аптечкой долой с

глаз, долой из памяти, своей и чужой, куда-нибудь к морю Росса на антарктические станции или к зулусам, которые, как известно, с копиями ходят и на профсоюзные собрания? Или извести вовсе? Но кому отправить и извести? Не ему же, Шубникову. Это вышло бы недостойно его нравственного движения. И просить кого-то о пособничестве было бы унижительно. И подло. Вот если бы все случилось само собой и кто-то сам бы понял его, Шубникова, и легонько так, будто забывшись, сдунул бы Михаила Никифоровича с земли. Вот если бы эдак...

Это были мысли тайные, упрятанные в подземелье, прикованные там к чутунным столбам, и будто бы даже удавленные кованой печкой, но они выживали и, как тараканы по ходам вентиляции, приползали к Шубникову. «Это низко! Это ниже тебя, какой ты теперь есть», — слышал Шубников, но ничего не отвечал укорам и усовестлениям. Он знал: через многое ему предстояло перешагнуть и, может быть, начинать следовало именно с Михаила Никифоровича... Однако Михаил Никифорович оставался при двух рублях с мелочью, и Любовь Николаевна могла иметь сентиментальные причуды. Фелица, владычица киргиз-кайсацкия орды, предположим, старалась не причинять неудобств и неприятностей отставленным кавалерам, напротив, она помнила о прежних удовольствиях без зла. Шубников ни разу не заговорил с Любовью Николаевной о Михаиле Никифоровиче. Но, не вытерпев, он пожелал, чтобы она открыла его, Шубникова, подземельные помышления, не названные словами и самому себе. Она открыла и назвала, и Шубникову стало болезненно сладостно.

Тогда-то Шубников чуть ли не успокоился и посчитал: да и не стоит связываться с такой убогой личностью, как неудачливый останкинский аптекарь! Пусть видит все, тогда и без специальных усилий он будет унижен, разбит и уничтожен. Ему же, Шубникову, и узнавать о крахах всяких дальних и ближних тварей необязательно. Что ему теперь Михаил Никифорович Стрельцов! Что ему все остальные останкинские никчемности! Ничто!

Теплое, непередаваемое, упоительное возникало в Шубникове, когда он вспоминал о проявленной им силе. Конечно, логично допустить, что ему в помощь был дан заряд, посыл энергии, но ведь выбрали для действия единственно его, и выбрали, стало быть, поверив в него, избрав его, признав его достойным чрезвычайного промысла. Но логично допустить и другое: ему ничего не объявляли, значит, и никто никого не избирал, а ему, Шубникову, судьбою, развитием мироздания была предопределена миссия, какую пришла пора исполнить. Сила явилась не на время, чтобы избавить его от конфуза в споре с подсобным рабочим Зотовым, она не исчезла, Шубников проверял ее и играл ею, но пустячно, между прочим, и сегодня, и вчера, и позавчера. И он уверил себя в том, что сила и прежде существовала в нем, возможно, он одарен ею изначально, он предчувствовал, что она когда-нибудь пробудится, как пробудилась мощь мускулов в детине из Карачарова и заставила его отправиться на тяжелом коне в Киев, в рать Владимира Святославича. И свет в нем — собственный, и огонь в нем — собственный. И, видно, прежде он проявлял нечаянно силу, возможно, и Мардария ставила на ноги эта дремлющая в нем сила. И без Любви Николаевны могли приходить удачи в делах на улице Цандера, они — от неких протуберанцев его, Шубникова, дара, которому уже становилось тесно в гнетях определенного сроком покоя (Шубников предоставил, как рассмеялся бы при этом его построения естествознания Бурлакин, ну и дурак; этот Бурлакин начинал надоедать, но еще мог понадобиться). «Нет. Свет во мне — собственный, — повторил про себя Шубников. — И огонь во мне — собственный!»

Ради вежливого равновесия в отношениях с предполагаемыми, но не объявившими себя, неведомыми сферами он готов был в мыс-

лях признать Любовь Николаевну трутом, спичкой, от чьей вспышки свет и огонь пробудились и получили возможность светить и пылать. Дальнейшее было делом его воли и прозрений. Любовь Николаевна явилась к нему в пору, назначенную судьбой.

В реальности было не так. Это он явился к ней на Кашенкин луг, не выдержав после ночи, когда он безуспешно призывал Любовь Николаевну. Он робел, как прыщавый тринадцатилетний обеспокоенный мальчик. Но знал: или — или. Теперь крайность чувств на Кашенкинском лугу вспоминалась со снисходительным пренебрежением, но тогда было именно: или — или. Однако не ждал его крах. Волчок рулетки уткнулся в его число.

С юношеских лет Шубников был везучий дамский забавник. Лишь в последние годы он не то чтобы притомился, а просто приятные обхождения с барышнями, требовавшие находчивости и игр, наскучили ему из-за повторов. Повторялся и он, повторялись и приятельницы в ласках и в легкости необязательной дружбы. Были в жизни Шубникова и трогательные истории любви, особенно в студенческую пору и после нее, с актерством, со страстями, с серенадами вблизи виковского Гвадалquivира — Ростокинского акведука, с подобранными платками, с красивыми несчастьями, с болями и досадами всерьез. Те истории давно отодвинулись от Шубникова, но не были им забыты.

А на Кашенкин луг он направился без всяких намерений возобновлять искусство любовной охоты. Не собирался он напоминать и о своих правах. После ночи ледяного одиночества, напрасного ожидания Любви Николаевны, он шел к ней, по собственному определению, в лохмотьях правды. Шубников не был влюблен в Любовь Николаевну и сказал ей об этом. И сразу же добавил, что готов служить при ней как рыцарь. «Как же, как же...» — грустно улыбнулась Любовь Николаевна и напомнила строки трубадура, услышанные ею от Шубникова при первой встрече в доме Серова: «Я, вешней свежестью дыша, на пыльную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне скрасил бы досуг...» Шубников подумал, что она смеется над ним, замер в гордыне. Но Любовь Николаевна предложила ему выговорить суть (будто бы не обязана была воспринять эту суть ночью). «Я в отчаянии, — сказал Шубников. — Я бессилен что-либо изменить и улучшить. Прошу вас стать моей сподвижницей во всех делах и усилиях». «Я ждала этой просьбы», — кивнула Любовь Николаевна.

И свершилось.

Ко всему прочему он пришел к Любви Николаевне влопад. Она не изменила своего отношения к товаркам, знакомым Михаилу Никифоровичу, но как будто бы их стыдилась. Не совпадали их интересы и досужие дела. В отделочницы она не пошла, сказала, что устроилась медсестрой в больницу у Северянина. В общежитии ей казалось, что все вокруг чувствуют, что она играет или притворяется. Или хуже того — дурачит их. Она и сама не могла объяснить себе толком, зачем на этот раз вздумала поселиться в общежитии. Разве только для того, чтобы Михаил Никифорович о чем-то задумался и пожалели товарики? Это было лишнее. В переезде на Кашенкин луг она проявила себя просто взбалмошной душой. Жить там было уже невозможно. И вот подоспел Шубников. Рано или поздно он должен был созреть. И созрел.

Разговаривали во дворе. День был унылый, сырой. Любовь Николаевна зябла, мрачной виделась пятиэтажная коробка общежития, глядя на эту коробку, Шубников сказал, что Любви Николаевне будет предоставлена резиденция. «Какая резиденция?» — оживилась Любовь Николаевна. Шубников и сам не знал какая, но отступить не мог. «Городская и деревенская, — сказал он. — Вы выберете. Или сами предложите. Когда вы намерены переехать?» «Послезавтра. В двенадцать дня, — сказала Любовь Николаевна. — И не нужны ради меня особые

усилия. Я обойдусь без роскошеств. Снимите номер в гостинице. В «Космосе», раз он рядом». «Хорошо,— согласился Шубников.— А за городом?» «Ну ладно, и за городом,— как бы уступила Шубникову Любовь Николаевна.— Но я бы очень хотела, чтобы дом или дача, опять же без роскошеств, были выбраны по Савеловской дороге. Там много ольхи и бузины. Трудовая, Некрасовская, Морозки — вот эти платформы, в крайнем случае Турист, а Яхрома — уже город...» Брошенный чьей-то злонамеренной или просто озорной рукой крепко смятый снежок ударил в плечо Шубникова, но не развалился, а отлетел к Любви Николаевне, проскользил по серому меху ее шубки, оставив на ней след и как бы соединив Шубникова и Любовь Николаевну. Шубников нервно рассмеялся, а она внимательно поглядела на него и, не сказав ни слова, ушла в общежитие.

Шубникову бы ликовать в те мгновения, а он думал о том, что зря медлил, Любовь Николаевна давно была обязана во всем подчиниться ему, не перестарался ли он теперь с поклонами ей и с предоставлением ей резиденции? Нет, решил Шубников, не перестарался. Желание угодить Любви Николаевне не прошло и было, как выяснилось, уместным.

«„Космос“? — задумался директор Голушкин.— Это можно. Но паспорт-то у нее хороший?» «Думаю, что хороший»,— сказал Шубников. «А какая у нее фамилия?» — спросил Голушкин. «Не знаю!» «Вот тебе раз! Это легкомысленно,— укоризненно произнес директор.— Ну ладно. А что касается Савеловского направления... У кого-то там есть дача. У Дробного, на Трудовой». «Крыша у него не протекает?» — спросил Шубников. «Вы шутите! — рассмеялся Голушкин.— У Дробного-то!»

На Трудовую для осмотра дачи Дробного был послан Самсон Ладошин, сорока четырех лет, бывший вагоновожатый, любимец Голушкина и его родственник. Про таких родственников говорят: был отдаленный, но приблизился. Работал в Палате Ладошин недавно, старался, покорила всех умением пользоваться словом «минусово». Возвратившись из Трудовой, он и произнес: «Минусово». Но это по поводу возможности снять дачу Дробного. Сама же дача, по мнению Ладошина, была не минусовая. Участками, и богатыми, после войны наделяли в Трудовой отставных боевых офицеров; дети одного из героических летчиков разорились, Дробный купил у них землю. Поначалу Ладошин подумал, что попал в музей-заповедник. Метрах в тридцати от замка Дробного взлетала ввысь в соперничестве с елями псевдогогическая колокольня, вывезенная из запущенной усадьбы адмирала Апраксина. На бетонных плитах (по случаю зимы — под навесами) стояли колокол пудов в триста и пушка, уступавшая в размерах кремлевскому орудью, но тоже отлитая Маториным. Справа от замка в каких-то стриженных кустах («В боскетах!») устроили стеклянный павильон («И лазер не возьмет!»), в нем держали возок и барабан. Дробный разъяснил, что возок и барабан из тех, на которых сидел и куда ставил ногу в российском походе Бонапарт. Ладошин пожелал перейти к делу и многого не увидел. Понял только, что помимо недвижимостей у Дробного есть еще и птица, фазаны, наверное, попугаи, павлины, прочая дребедень, и рыбы в петергофских каскадах. Содержание дачи и садовника при ней обходилось Дробному дорого, этим отчасти и объяснялось его усердие на улице Цандера. Но Дробный к себе на постой ни при каких выгодах никого пустить не согласился. А привел к соседу через два от него забора. Участок тот наследовал хороший, строения же его выглядели живописными развалинами, в чем была своя прелесть. Сосед этот, клерк из министерства с приборами, читатель Сабанеева, раб мормышки и вентера, был готов сдать участок в аренду при условии, чтобы его завтра же освободили от служб и перенесли куда-нибудь под Весьгонск на воды и проруби, но с сохранением должности и стажа. Не

возражал он и против северных надбавок. А там делайте на даче что хотите, стройте Монплезир, копайте колодец в Америку, разводите свиней и кобр на продажу. «Не минусовый вариант, не минусовый», — заключил Ладошин. Он тут же подписал с читателем Сабанеева контракт. Директор Голушкин, предварив замечание Шубникова, сказал, что Любовь Николаевна станет жить отнюдь не в развалинах.

В назначенный полдень Шубников прибыл на Кашенкин луг на такси. За рулем сидел известный нам Тарабанько. Шубников с удовольствием покатали бы Любовь Николаевну на рысаках. Чтобы ахнула и взглянула на него с удивлением. Но еще лучше было бы захватить за ней в карете, запряженной четверней, — карету можно было бы взять в Эрмитаже или в каретных залах Дрездена. Однако происходило при этом как бы возведение Любви Николаевны в степень выдающейся особы, чуть ли не великой княжны, отъехавшей на встречу с Измайловским полком и тотчас ставшей императрицей. Кем же могла оказаться тогда Любовь Николаевна в Палате Останкинских Полей и кем он, Шубников? Да и просила она отказаться от роскошества и особых усилий, а потому Шубников прибегнул к обычным московским средствам и вызвал Тарабаньку.

Шубникову показалось, что Любовь Николаевна разочарована. Возможно, и она держала в уме тройки, рысаки или кареты. В «Космосе» Любовь Николаевну ждали. Шубников взволновался, норовил незаметно заглянуть в бумаги, заполняемые Любовью Николаевной, в ее паспорт. Нет, не Стрельцовой звалась Любовь Николаевна, а Кашинцевой!

Номер Любви Николаевне отвели казематный, но лучший, супер, люкс и для иностранцев. Любовь Николаевна не проявила неодобрения. «А загородная?» — спросила она. Шубников сообщил про Трудовую. «Меня вполне устроит, — сказала Любовь Николаевна. — Пусть и с развалинами. У вас есть план участка?» Вольный рисунок Ладошина ее, похоже, обрадовал. «В этом сарае я и размещусь! Вот здесь у него склад. Там есть бревна, доски. С деревом я все могу сделать сама. Дереву не будет больно». Любовь Николаевна не выказывала никакого интереса к продолжению беседы в номере «Космоса», и Шубников холодно, передав ей ключи от калитки и строений на участке, откланялся. Любовь Николаевна пообещала звонить ему. Она и звонила. Интересовалась, нет ли в ней необходимости, при этом как будто бы откусывала и жевала яблоко, и Шубников строго говорил, что нет, никаких обострений не случилось. «Вот и хорошо!» — заключала Любовь Николаевна и клала трубку. Шубников расстраивался: он опять докладывал ей, так она себя поставила. Откуда Любовь Николаевна звонила, он понять не мог. И это было досадно. Однажды, когда Шубников снова сидел в тоске и тоска его уже перетекала в тоску вселенскую, в кабинете без всякого предварительного звона зазвучал голос Любви Николаевны. Рука Шубникова сама собой потянулась к трубке, но тут же и остановилась. На этот раз Любовь Николаевна не грызла яблоко. «Шубников, — протянула она лениво, но, как ему показалось, с лаской и укором, — что же это вы? Вы даже не хотите узнать, как я обустроилась. Этак я заскучаю в своей светелке и обижусь на вас!»

Шубников поехал на Трудовую. Поехал на электричке обыкновенным пассажиром. Никто в вагоне не ощутил его присутствия, не понял, кто едет среди прочих. «Ну ладно! — рассердился Шубников. — Вы еще поймете!» Вечер был темный, мокрый, ветреный. На дачной просеке, ведущей к Любви Николаевне, Шубников вскоре остался один. Следовало надеть в Москве сапоги, хотя бы резиновые, ботинки Шубникова и брики внизу покрылись жидкой грязью. В темени за злыми черными лапами елок посыпшались противные наглые голоса загулявших подростков, местных ужарей и хозяев, каким доставило бы радость размять руки, избить, измордовать, а то и при-

резать одинокого путника. Шубникову стало тоскливо и страшно. Теперь он жалел, что не взял с собой сопровождения, хотя бы двух хладноглазых служителей, они бы шли за ним молча метрах в сорока сзади, сами по себе, и пусть бы тогда противно орали подростки, и были намокшие волки, и гнусные глупые вороны орали с макушек берез. Даже Мардарий был бы сейчас хорош. Впрочем, Мардарий мог закапризничать или повести себя гордецом и никуда не поехать. Шубникову стала противна жизнь, мерзкая станция Трудовая, на которую он отправился в мокрые вечерние часы, вся земля, где он существовал. Надо было бежать сейчас же, вернуться в Москву и все прекратить, уйти в частную жизнь со щенками и торговлей шампиньонами у Срегенских ворот, спрятаться ото всех, не губить себя. Зачем ему прозрение или озарение, если с ними ухнешь в бездну или утонешь в вонючей отхожей яме? Неприметным, послушным человеком надо жить в коммунальной башне и не дерзить... Однако бежать на станцию Шубников не смог, его будто подталкивали к Любви Николаевне. Где же юнцы с ножами и кастетами, откушавшие портвейна или пожевавшие травки, где они? Шубников сейчас уже хотел, чтобы они вышли, не пустили далее, избили бы до беспамятства или бы кончили вовсе, до того боязно было ему идти к Любви Николаевне. Но голоса подростков не приближались к нему, они отдалялись, они стали вдруг визгливыми и испуганными, затопали ноги, словно за подростками погнался бешеный человек или зверь. И Шубников побежал, а когда ударился грудью о доски забора, понял, что стоит у дачи любителя рыбной ловли.

«Шубников!» — позвали его из-за деревьев. И луч фонаря выстелил ему дорожку в черноте. Тут же и фонари на столбах вспомнили, что им положено гореть. «Шубников! Проходите! Проходите!» Любовь Николаевна приглашала его. И потом повела по сырым дорожкам мимо неживших руин. Шубников дрожал, плохо воспринимал то, что стояло или двигалось вблизи, слова спутницы не доходили до него. Она остановилась: «Вот и резиденция, тут и светелка!» — и впустила Шубникова в какой-то сарай. Внутри сарая было тепло и прибрано, но Шубников не успел рассмотреть, как обустроилась здесь хозяйка. Любовь Николаевна сказала: «Что же вы, Шубников, не спешили сюда?» И снова прозвучали слова лукавого трубадура: «Я, внешней свежестью дыша, на пыльную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне скрасил бы досуг...» «Ну! Что же, Шубников? — спросила Любовь Николаевна. — Или ваш досуг и так скрашен?» «Нет, — пробормотал Шубников, — не скрашен...» «Ну коли не скрашен...» — и Любовь Николаевна притянула к себе Шубникова.

Шубников тогда себя не уронил. Выходило, что дрожал он напрасно. Утомленный, но самоутвердившийся, он вернулся в Останкино. Однако ожидаемых повторных зовов на Трудовую не последовало. Любовь Николаевна звонила по делу, говорила сухо и ни о каких скрашиваниях досуга речь не вела. Шубников, имевший основания считать, что по крайней мере не вызвал у Любви Николаевны досады или усмешки, чувствовал себя обиженным. Но он помнил, что на даче глаза у Любви Николаевны были холодными. Он уверял себя, что это ему показалось от волнений, от освещения. Но нет, не показалось. Не потеплели ее глаза и когда Любовь Николаевна дважды являлась на улице Цандера, улыбаясь всем и показывая, что с ней в Останкине все будет к лучшему. «Неужели она играет со мной? — думал Шубников. — Или для чего-то, нужного ей, держит меня игрушкой? К чему эти ведьминские светелки в сараях, страхи на дачных просеках?»

Тогда-то Любовь Николаевна и уведомила его о желании присутствовать при оформлении услуги со «Стефаном Баторием». И вот когда толпа признала Шубникова, он и заметил, какими стали глаза Любви Николаевны. В них было обожание. А может быть, и вос-

торг. Наконец-то Любовь Николаевна была им покорена. Приручена! Завоевана! Укрощена! Разубеждать себя в этом Шубников не был намерен. Его флаг взвился над Джомолунгмой! Да что над Джомолунгмой! (Шубников и не собирался производить Любовь Николаевну в сопоставлении с собой в Джомолунгму, просто ему на мгновения нравились возникающие фразы.) Он ступил ногой на Луну. Нет, не на Луну. На Юпитер! И не на Юпитер! На Солнце. Он прогуливался по Солнцу, он мог теперь все. (Опять же под Солнцем не предполагалась Любовь Николаевна, лишь в сотой степени — она, она-то была покорена и осталась позади.)

Так или иначе, Любовь Николаевна принимала теперь Шубникова, была мила. Шубников поспешал к ней, но и не прочь был показать Любови Николаевне, что делает это как бы нехотя. А в своих пешеходных прогулках по Солнцу и внутри светила он мог позволить себе отставить подземельные мысли о Михаиле Никифоровиче.

47

Но ненадолго отставить, ненадолго!

В услугах Палаты Останкинских Польз обнаруживались, к сожалению, и дефекты. Претензии на них были вежливые. И заказчики понимали, с кем они имеют дело, и дефекты случались пустячные. Однако Бурлакин углядел в дефектах этих, даже в странных непредвиденностях их, систему или логику. «Аптека! — в возбуждении сказал он Шубникову. — Лекарства!»

Шубников сидел в узбекском халате, пошитом в Японии, был сыт и спокоен. Кабинет его преобразили мраморные колонны, приставленные к стенам, бронзовые амуры и колчаны со стрелами между колоннами, а на мраморных же подставках — хрустальные жирандолы и канделябры. Вчера обстановку в кабинете не спросив изменил воодушевленный Голушкин. Шубников хотел было отругать его и пристыдить, но смиловившись, оставил приобретения на день, на два на месте, чтобы испытать себя в свежем интерьере. «Какие лекарства?» — лениво спросил Шубников. Бурлакин разложил перед ним таблицы с цифрами, арабскими буквами и объяснил какие. Ключ к заключению Бурлакина дала сегодняшняя претензия старухи Пульчинелловой. Та три дня назад получила двустольный аппарат для одновременного извлечения из канцелярского клея араки и косметической туши. И третий день из обеих трубок у нее обильно тек лечебный раствор йода. Происходили и раньше всякие глупости. Скажем, в упаковках с теми или иными машинами либо ценностями обнаруживались совершенно не нужные заказчикам склянки или порошки — касторовое масло, например, или английская соль. Но теперь, после йода старухи Пульчинелловой, а в ее производстве не нашли технологических погрешностей, Бурлакина осенило, и все выстроилось. Выходило, что и прежде в нелепых трансформациях услуги срабатывал механизм, который мог бы иметь место при применении или при создании каких-нибудь лекарств. «Не совсем прямо, а по аналогии, по структуре или, напротив, по контрасту», — объяснил Бурлакин. Шубников не понимал техническую дребедень Бурлакина, но догадывался. «Пока это все мелочи, чепуха, — сказал Бурлакин. — Но такие номера можно будет ожидать и в важных делах. Они станут неуправляемыми. Аптека противится. Это предупреждение надо обдумать...» «Не аптека! — вскричал Шубников, вызвав нервный звон ампириного хрустала. — Аптекарь! Этот подлец Михаил Никифорович! Здесь стены пропитались аптекарем. Теперь же посмели мешать людскому благу! Надо объявить аптекарю, чтобы он прекратил мешать! Объяви ему! Я же ни встречаться, ни разговаривать с ним более не буду, и ты знаешь, какие для этого у меня основания».

Бурлакин в тот же день нашел Михаила Никифоровича, был серь-

езен, не ерничал и не гоготал (впрочем, уже давно не слышали его гогота), вопросы задавал ученые и как бы теоретические. «Нет,— сердито сказал Михаил Никифорович.— Это не ко мне». «Но, может быть, ты бессознательно,— осторожно высказал Бурлакин,— посылаешь импульсы, от несогласия, или от обиды, или из-за...» «Мелкого пакостника, что ли, ты во мне предполагаешь?» — спросил Михаил Никифорович. «Нет, не предполагаю», — быстро ответил Бурлакин. «Я отношусь к вам без симпатий,— сказал Михаил Никифорович.— Но эти ваши заботы — не по адресу». «Была просьба передать тебе,— вынуждая себя, произнес Бурлакин.— Хотелось, чтобы ты не мешал...»

Шубников был недоволен Бурлакиным, кричал: «И ты поверил ему на слово?!» «Да, я поверил его слову», — утрюмо сказал Бурлакин. Шубников взглянул на него резко, удивленно, кивнул: «Хорошо, поверим слову. Но необходимо, и немедленно, устроить противодействие стенам, пропитанным флюидами медикаментов и аптекаря. Перебираться отсюда на иное место было бы позорно».

Отправились к Михаилу Никифоровичу и другие представители с полномочиями по-приятельски потребовать от него: не душить, иначе найдется управа. В их числе Игорь Борисович Каштанов и Валентин Федорович Зотов. Как стало известно в автомате, Михаил Никифорович ответил им неучтиво. А ко мне, совершенно для меня неожиданно, обратился сам художественный руководитель. Он возник передо мной в сумерках Останкина, и я под фонарем у магазина бытовой химии на Звездном бульваре разглядел, что на нем долгопальный плащ из коричневого бархата с золотыми грифами-застежками и из бархата шапочка с тем же грифом. «Возрождение... шестнадцатый век», — пробормотал я и этим как будто бы смутил Шубникова. То ли иронию он уловил в моей нечаянной оценке, то ли не был уверен в своем костюме — словом, смутился, и разговор о Михаиле Никифоровиче был смят. Да я и дерзить стал Шубникову. «Хорошо. До свиданья,— сдержанно сказал Шубников.— Но прошу обратить внимание: лишних слов я не произнес». И прежде чем вернуться и уйти, он взглянул на меня, грифы на плаще и на шапочке вспыхнули, взгляд же Шубникова словно бы все опалил у меня внутри, он был великий и правильный человек, хозяин дум и душ, истинно знавший, что надо людям, а я, недостойный, ничтожество, в следы его ступать не имевший права, еще и дерзил ему, казнить следовало меня, колесовать или жечь на костре, но до этого я обязан был нести к Михаилу Никифоровичу, вразумить, а то и прибить негодяя. Тут меня что-то ударило в плечо, я отлетел, услышал и родимые слова, двое грузчиков, волокших диван по Звездному, посетовали вслух на то, что нельзя огреть мебелью олухов, не желающих посторониться. «Спасибо!» — крикнул я им, выбившим из меня дурь. Огня уже не было во мне. Но все слова Шубникова я запомнил.

Шубников нервничал. Его раздражало то, что он не может освободиться от мыслей о Михаиле Никифоровиче. И приходило ему в голову: а не шутит ли с медикаментами Любовь Николаевна? «Нет, нет,— тут же он говорил себе.— Зачем это ей?»

Но нередко Шубников о Михаиле Никифоровиче и забывал. В особенности, когда его захватывали замыслы и идеи Палаты Останкинских Польз, когда требовались моментальные постановочные или сюжетные решения. Тут Шубников был как Петр Великий на верфях Адмиралтейства. Или хотя бы как Бондарчук в Прикарпатье в окружении войск округа на баталии Ватерлоо (в минуты благодушия Шубников позволяла развлекать себя кинематографическими историями ставшего ручным дяди Вали). В последние дни Шубников увлекся идеей массового гулянья на улице Королева с фейерверками, балаганами, каруселями и триумфальными арками, благо нашлись заказчики. Со вниманием относился Шубников и к урокам Высшего

Света с погружением. Узбекский халат и бархатный костюм с плащом и шапочкой Шубников отверг. Голушкин их не сжег и не перепродал, а отправил в депозитарий имени Третьяковской галереи. Шубников носил теперь на службе сапоги, мушкетерские штаны, бязевую рубашку со свободными рукавами, завел трубку. С трубкой во рту он стоял над картой Останкина, где должно было развернуться массовое гулянье с потехами, тогда и возникло в его кабинете слово «пандейра».

Долго это слово, а тем более клиента, его произнесшего, хотя он и был человеком заслуженным, заведовал в пригороде свалкой, не пускали в кабинет Шубникова. Стыдно было не уважить заказ такого человека, тем более что он просил во временное пользование лишь одну пандейру, пусть и небольшую. «Все у меня есть,— говорил он,— но нет пандейры». Его успокаивали, заверяли, что, конечно, непременно, сейчас же и необязательно небольшую. Но никто не помнил, кто такие пандейры. Наконец один из наиболее бесстыжих спросил, а что это такое — пандейра. «Вот тебе раз! — удивился клиент. — Если бы я знал, она бы у меня была». Похоже, он стал разочаровываться в Палате Останкинских Польз. Призвали Ладошина, интенданта и любимца директора Голушкина. Ладошин, не отказавшись от слова «минусово», начал с толком пользоваться словом «ксерить». Однажды он похвастался: «Брат-то у меня отксерил дисер». И смутился, ожидая, что местные лингвисты его пристыдят. Но Ладошина поздравили. С той минуты Ладошину стало легче общаться. То и дело слышалось: «ксерить», «отксерить», «ксерик». «Жена ксерила мне пять котлет. Не минусово» — похвала жене. «Я вчера неминусово отксерил двух...» — похвала себе. И так далее. (А в журнале деловых идей Шубников сделал запись: «Ксерить. Ксерики. Отдел (?) ксериков. Вещи одноразового использования. Люди одноразового использования». Однако идея с ксериками пока не была осуществлена.) Призванный Ладошин развел руками. Тогда во избежание потери лица или даже позора слово «пандейра» и было допущено в кабинет художественного руководителя.

Шубников что-то слышал в студенчестве. Но не помнил. Забегали служители, напряглись компьютеры. Выяснилось, что справочный аппарат Палаты слаб и легкомыслен. «Любительство! — возмутился Шубников. — Самодеятельность!» Звонили в академические институты, в энциклопедическое издательство. Без толку. Шубников приказал сыскать Филимона Грачева. От Филимона пришла записка: «Самба должна иметь пандейро».

«Ну естественно! Как же забыли-то! — раздосадовался Шубников. — Ну конечно! Каждая самба должна иметь свое пандейро!» И другие, из взрослых, вспомнили, что четверть века назад была такая пластинка, на обороте — «Торрадо де Мадридо», скорость семьдесят восемь, еще для радиол. Теперь хотя бы стало известно направление поиска — следовало обращаться к хореографам-фольклористам, ученым-бразиловедам, в журнал «Латинская Америка». Клиенту предложили подождать два дня, но он чуть ли не захихикал, пандейра ему нужна была сейчас же, коли требовалось усилить плату, он был готов пожертвовать Палате сколько угодно. «У меня все есть,— повторял он. — А пандейры нет. Ради чего тогда жить и работать?» «Выдайте! Выдайте ему пандейру, и немедленно! — закричал Шубников. — Пусть платит!» «Какую?» — озаботились Голушкин и прочие исполнители. «Какую хотите! — кричал Шубников. — И чтоб через пять минут духу его здесь не было!»

Шубников не успокоился и через десять минут, после того как ему доложили, что пандейра выдана и услуга оформлена. «Что за работники! — распаялся он. — Ничтожества! Бездари! Неучи! Завтра же создадите отдел справок! Иначе разгоню всех и призову Филимона Грачева!» «Создадим! Создадим! — принялся было утихомиривать Шуб-

никова Бурлакин.— Не шуми...» Но с Шубниковым случился истерический приступ. Он метался по кабинету, швырял на пол бумаги, карты Останкина, малые электронные машины, не жалел канделябры и жирандоли, топтал шкиперскую трубку, кричал, что уйдет от всех, удалится, покинет сумасбродный город, пострижется в монахи, примет схиму, его здесь никто не понимает и никогда не поймет, какими-то идиотами с их пандейрами отвлекают от великих дел, и пусть все развеется прахом, пеплом, золой, он уйдет, уедет, удалится!

Тем временем Шубникова ожидал серьезный посетитель. Объявил, что ни с кем более разговаривать не станет, никаких предварительных объяснений не даст и что в беседе с ним должен быть заинтересован сам Шубников. Сказал, что посидит полчаса, а потом пусть пеняют на себя. Голушкин выяснил: посетителя привезла машина достаточно черная и ждет. Посетитель был, на взгляд Голушкина, тридцати восьми лет, грузный, но способный бегать кроссы в Сокольниках, ходить на стрельбище и применять изобретение Харлампиева. Он имел вид сановника, который хотя и блюдет, но и не брезгует, а подчиненных направляет, как недреманный сыч, проверяя по часам, не храпят ли они, правильно ли расставлены, присутствуют ли и не пьют ли чай. Такому посетителю Голушкину особенно хотелось досадить. А тот, выдержав свои полчаса и сверх них сорок минут, дал понять, что недоволен и скоро себя проявит. Голушкин попросил Бурлакина предупредить Шубникова, если тот, конечно, остыл («Хорошо бы карты не валялись или хотя бы хрусталь не был разбросан»), и сообщил посетителю, что его, видимо, примут.

— Перегонов,— представился посетитель Шубникову и энергично, как награду, протянул ему руку.

Шубников руки Перегонова не заметил, кивком предложил посетителю сесть. Перегонов не стал скрывать возмущения, хмыкнул обещающе, сел, сказал:

— Батюшка, оказывается, невоспитанный. Что же, воспитаем.

— Что? — спросил Шубников.

— Я говорю: воспитаем! — обрадовался Перегонов.

После удовольствий, вызванных пандейрой и глупостями ничтожеств, Шубникову захотелось приоткрыть силу и убедиться — при нем ли она. Он взглянул на наглеца коротко и зло. Перегонов задержался, стал проверять карманы пиджака и брюк, вынул зеленый шелковый носовой платок и положил его на стол.

— Уберите,— сказал Шубников.— Я не страдаю насморком.

— Извините. Я совсем не то! — поспешил Перегонов.

— Слушаю,— сказал Шубников, отпуская силу.

— Мы бы хотели вас послушать...

— Слушаю,— повторил Шубников.

— Меня направили к вам с требованием,— словно бы не веря самому себе, произнес Перегонов.

— С чем?

— Нет, извините, извините,— заторопился Перегонов.— Меня направили к вам с предложением.

— Обратитесь в отдел предложений.

— Нет.— Перегонов проявил твердость, какую почувствовал и Шубников.— Меня направили к вам, более ни к кому.

— О чем вас направили просить? — быстро сказал Шубников.

— О вертограде многоцветном.

— Что имеется в виду?

— Именно вертоград многоцветный. Вы должны понять. А поняв, обязаны способствовать нам.

— Не обязаны,— сказал Шубников.— И не должны. Но понять сможем. Кстати, те, что вас посылали, имеют представление о ценах на подобные услуги?

— Есть случаи,— улыбнулся Перегонов,— когда можно обойтись и без цен.

— У нас ни для кого нет привилегий и исключений. Для нас все население одинаковое.

— Вашу деятельность никто не изучал? — поинтересовался Перегонов.— Хотя бы с финансовой точки зрения. Есть ли соответствие правилам и установлениям? Возможны и другие ракурсы.

Шубников не счел необходимым отвечать.

— А то ведь можно вас вот эдак да и ногтем! — И Перегонов движением пальца показал, как можно поступить с Палатой Останкинских Польз.

— Не вы ли уполномочены быть ногтем? — спросил Шубников.

— Не ваше дело,— нахмурился Перегонов.

— Вы не фининспектор?

— Неужели я похож на фининспектора?

— Вы похожи на начальника футбольной команды первой лиги.

— Ну-ну! Шутить изволите, батюшка. А дерзите вы нам напрасно. Я ведь пришел к вам от Каленова.

— От Каленова. И что же?

Этот вопрос как будто бы смутил Перегонова.

— От Геннадия Павловича Каленова. Вы его могли знать. Он жил недалеко отсюда. Мы потому и решили обратиться к вам, что он тоже был останкинский.— Но тут Перегонову его интонации, видимо, показали излишне искательными, он добавил с усмешкой имеющего за спиной войско: — Вот так-то, батюшка!

Шубников действительно знал Геннадия Павловича Каленова. Тот жил когда-то через три дома от него. Белокурый, бледнощекий крепыш, ровесник Шубникова или года на два старше, иногда появлялся и в автомате на улице Королева. Там его Шубников и видел на расстоянии. В ту пору Каленов был ровня всем. Он внезапно развелся и, отвергая благоразумные советы приятелей, рискованно женился. Но города пали к ногам смельчака. Теперь вряд ли бы представилась возможность наблюдать Каленова на улице Королева среди тех благоразумных, но бывших приятелей. Он уже был ровня не всем. Из Останкина Каленов уехал. По останкинским улицам ходили лишь легенды о его удачах и увлекательной жизни.

— Хорошо. Я позвоню Каленову,— сухо сказал Шубников.

— Вас с ним не соединят. Не удостоят.

— Это не ваши заботы,— сказал Шубников.

— Я бы просил вас не звонить пока,— заерзал Перегонов.— Вышло бы преждевременно...

— Он вас ко мне не посылал?

— Видите ли, он, возможно, и не знает...

— Я так и понял,— сказал Шубников.

— Но я уполномочен на подобные акции и походы.

— С вашими полномочиями,— сказал Шубников,— вам следовало бы идти не к нам, а в магазин, где торгуют севрюгой горячего копчения.

— Оттуда сами прибегают,— сдерживая себя, произнес Перегонов.— А вы не то что прибежите. Вы приползете.

Шубников хотел было опять предъявить силу Перегонову, но раздумал, сам себе удивился: до того стал спокоен.

— С вами скучно разговаривать,— сказал Шубников.— Вы объявляете, что вы в команде известного мне человека и будто бы представляете его интересы, но ведь кроме угроз и усмешек вы ничего толком не можете произвести и, видимо, не знаете, зачем пришли. Если только припугнуть и заставить чем-то вам способствовать, это несерьезно. Будут у вас определенные заказы, без угроз и усмешек, приходите. Коли в наших возможностях — поможем, но на общих основаниях.

— Дурака из себя не стройте, батюшка! — посоветовал Перегонов. — Мы вас именно на общих основаниях упраздним!

— А если вы хотите знать, — Шубников будто и не слышал последних слов Перегонова, — чем мы занимаемся и что можем, пожалуйста, пришлите своих наблюдателей.

— Наши наблюдатели здесь есть, — сказал Перегонов.

— А вы не наблюдатель? — спросил Шубников.

— Я не наблюдатель! — хохотнул Перегонов. — Я силовой акробат!

— Пусть так! — сказал Шубников. — Пусть так. Оттого вы, наверное, и не знаете, чего вам следует хотеть.

— Я знаю, — сказал Перегонов. — И многое могу. И даю вам время подумать. Сейчас вы уверены в себе, а завтра нечто возьмет от вас и упорхнет. И запомните: вертоград многоцветный.

— Посоветуйте заглянуть вашим наблюдателям на уроки Высшего Света с погружением.

— Вы все никак не можете взять в толк, с кем имеете дело, — опечалился Перегонов. — Ваши уроки — для мещан, пожелавших перейти во дворянство. У нас свои погружения, какие им и вам недоступны. И вы будете нам способствовать...

— Все! — встал Шубников. — Разговор окончен.

— Не суетитесь, батюшка!

— Прошу убраться! И если у нас завтра нечто может упорхнуть, то ведь и у вас послезавтра все может рухнуть!

— Вы думаете, что говорите? — Кулаки Перегонова были сжаты.

— Думаю! Да, рухнуть. И без всякого нашего вмешательства, а подчиняясь обыкновенному ходу времени. И вон отсюда!

— Ну-ну! — Теперь встал и Перегонов. У двери он улыбнулся, и в улыбке его было сострадание к безрассудному человеку. — Придет-ся иметь дело с Михаилом Никифоровичем Стрельцовым.

— Вон отсюда! — кричал Шубников уже закрывавшейся двери.

Он немедленно запросил у директора Голушкина сведения о Каленове и его окружении. На улице Цандера могли упустить из виду пандейро, но о Каленове обязаны были знать. Справка, поданная Голушкиным, показалась Шубникову куцей и дрянной. «Тупицы! Тупицы! — повторял Шубников. — Бездари!» Он прочел: «Они сидят на золотых стульях, уселись на них случайно, но полагают, что по праву. Они живут настоящим в отличие от хлопобудов, суесящихся ради будущего. Да и что им будущее, свое или чужое? У них все есть в настоящем. Будущего у них может и не быть. Они об этом не думают. Инспекторы ГАИ за ними не гоняются, да и не угнались бы. У них сейчас хорошие номера. Они игроки и повесы. Зачем им лишние сердолики, они и сами не знают. Такой стиль. Удовольствие и роскошь. А потому им чего-то должно не хватать. Зарвались. Но как бы нечаянно. Под покровом же их существуют и беззастенчивые дельцы».

Эдак можно было бы написать о ком хочешь, подумал Шубников. Тоже захотели свою пандейру. Только для них это — вертоград многоцветный. Теперь Шубников отчасти жалел о том, что резко разговаривал с Перегоновым и выгнал его. Но кто они? Мелкие твари, усевшиеся и не в золотые, а в позолоченные кресла. Однако все же с драгоценными камнями в подлокотниках!

Беспокойство, вызванное разговором с Перегоновым, не исчезало. Оно скоро стало тревогой, чуть ли не боязнью. По всей вероятности, Перегонов и вправду не знал, чего бы он хотел от Палаты Останкинских Польз и что для них самих — вертоград многоцветный. Но они привыкли к тому, что вокруг все расступались, кланялись и выходили с подносами, они наверняка пожелали и Палату на всякий случай держать под своим крылом. И конечно, непочтительных и непонятливых грубиянов они имели возможность вразумить и проучить. А то и действительно придавить ногтем. «Нет, надо было с Перегоновым

говорить деликатнее,— думал Шубников.— Пообещать что-нибудь или прикинуться простаком... И не повредило бы сотрудничество с ними, не повредило бы...» Теперь же следовало ожидать самых непредсказуемых неприятностей, какие мог учинить Перегонов и Палате и ему, Шубникову. Шубников испугался. И несомненно Перегонов, говоря, что завтра нечто возьмет и упорхнет, имел в виду Любовь Николаевну. «А вдруг у них есть своя Любовь Николаевна?» — тут же подумал он. Нет, вряд ли тогда соизволил бы прийти к нему Перегонов и вряд ли стал бы пугать останкинским аптекарем как возможным союзником. Шубников возрадовался. У них нет Любви Николаевны и не будет! Возбужденный, он ходил по кабинету, презирал себя за страхи и уныние, презирал Перегонова и всяких попавших в случай Каленовых, а подлеца Михаила Никифоровича был готов изничтожить. «Нет, что я? — останавливал себя Шубников.— Он и не достоин, чтобы о нем думали...» Однако опять возникало подземельное: вот если бы да как бы само собой сдуло Михаила Никифоровича с Земли... Не так Каленов с Перегоновым были неприятны Шубникову, как Михаил Никифорович.

Бочком, бочком вдвинулся в кабинет директор Голушкин.

— Что еще? — грозно и чуть ли не обиженно спросил Шубников.

— Собственно, пустяк,— сказал Голушкин.— Предложения о новом роде услуг, неясно названные. Суть же одна. Она — в этих словах, сформулированных пока приблизительно.

Шубников взял протянутый ему листок и, будто ожегшись, чуть не выронил его из рук. Слова он прочел такие: «Ты этого хотел. Но сам делать не стал бы». Глазами провидца он долго смотрел на Голушкина. Потом сказал:

— Хорошо. Это возможное направление работ. В случае частых просьб создадим отдел.

— Эти просьбы в каждом из нас,— печально склонил голову Голушкин.

Глазами Шубников вывел, выбросил директора Голушкина из кабинета.

48

Сведения о том, встречался ли Перегонов или кто-то из его знакомых с Михаилом Никифоровичем, получены не были. Предупредить аптекаря о нежелательности его союза с Перегоновым Шубников не считал нужным.

Бурлакин о визите Перегонова молчал. Голушкин ходил не то чтобы налуганный, но чрезвычайно предупредительный и со всеми сотрудниками был ласков, предполагая в каждом из них наблюдателя. Шубникову он не давал советов, лишь маленькими, почти незаметными словами наводил на мысль. «Ладошин — чудаки. Но говорит о Каленове...» «Что говорит о Каленове?» — спросил Шубников уже нервно. «Он говорит: «Не минусовые люди. И руки у них не минусовые». Далеко, надо полагать,— перевел слова Ладошина Голушкин,— могут дотянуться. И у кого захотят, пошарят за пазухой». «Не дрейфить! — сказал Шубников.— Никто не сможет посягнуть на нашу независимость. А к Каленову и Перегонову я не питаю зла. Если выйдет выгода, на сносных для нас условиях возможно и сотрудничество с ними...» «Конечно, выйдет выгода! — обрадовался Голушкин.— Конечно!»

А приносил Голушкин бумаги с подробностями массового гулянья. Шубникову не понравились эскизы качелей с кабинами, он велел директору надраить уши самонадеянным художникам, уже потому бездарным, что имели дипломы института, возможно, Строгановского. «Надраим, нарвем вместе с бухгалтером,— пообещал Голушкин.— А вас очень просят оказать любезность прийти на уроки Высшего Света». «Хорошо,— поморщился Шубников.— Зайду».

Перегонов высказался об уроках Высшего Света пренебрежительно. Оно и понятно. Владетельные персоны, скороспелые продвиженцы пронеслись сквозь суету горожан и оказались над ними, в положении, в каком пребывают соколы над дождевыми червями. Шубников опять испытал неприязнь к Перегонову, а следовательно, и к Каленону, который в самом деле мог и не знать о визите Перегонова. Неприязнь эта была многослойная. Наглые здоровяки как явление жизни сами по себе раздражали Шубникова. Вызывало у него желание дерзить пренебрежение Перегонова к делам Палаты. И не мог простить Шубников Перегонову собственные испуги и страхи. Шубников стыдил себя: подобные страхи мог бы испытывать Шубников, торговавший помидорами и грибами шампиньонами у Сретенских ворот, а не он, утвердивший себя сущностного. Это ведь они пришли к нему на Цандера, а не он принялся разыскивать Каленона. Если же он задумает позвонить Каленону, его моментально соединят. Но не позвонит. А если они бросятся на него в атаку, если станут принуждать к унижению, он не вскинет руки и не уползет огородами в заросли камыша. Азарт разжигал Шубникова. Сейчас они удачливы. Но кем и где они будут завтра? Нет, на сотрудничество с ними, пообещал себе Шубников, он пойдет лишь при крайней нужде. Да и что иметь дело с людьми, оказавшимися в случае? Каждому из них определен срок.

Но сам он, подумал Шубников, не в случае у Любови Николаевны? А хоть бы сейчас и в случае. Шубников был убежден: не произойдет изменений и если случай рассеется. Однако ради спокойствия позвонил в гостиницу «Космос». Просто так. Любовь Николаевна не подняла трубку. Долгие гудки услышал Шубников и после звонка в светелку Любови Николаевны на станции Трудовой.

Шубников не видел Любовь Николаевну два дня.

Пожелав удач экспедиции на пароходе «Стефан Баторий», Любовь Николаевна Палату более не посещала. На Трудовую Шубников возил таксист Тарабанько. В случае весеннего непролазя Шубникову подали бы и вездеход. Любовь Николаевна была с ним ласковая, иногда даже горячая, ненасытная, в иные же вечера она казалась будто бы исследовательницей. Тогда Шубникову становилось не по себе. «Вот возьмет,— приходило ему в голову,— закончит исследования и в доме откажет. Или сама пропадет». Но эти мысли Шубников гнал, он знал теперь цену себе. Любовь Николаевна выслушивала все, что Шубников рассказывал ей о делах в Останкине, о своих замыслах и сложностях, сама же говорила мало. Однажды, посчитав ее дремлющей в кресле возле горячей печи, Шубников еще раз повторил какую-то останкинскую новость. Любовь Николаевна вскинула веки. «Я слышала, я поняла,— как бы в удивлении сказала она.— Я все знаю». Более Шубников производственные разговоры для того, чтобы поддерживать общение, не вел. А о чем беседовать с ней или рассуждать, Шубников не знал. Был случай, как-то Шубников причался на Трудовую страстным любовником, однако Любовь Николаевна, испытав его пылкости, мягко дала ему понять, что более бенгальских огней не надо, у них не медовый месяц, а нечто совсем иное. Шубников обиделся, но потом был благодарен Любви Николаевне. Страстному-то любовнику полагалось колено преклонить перед возлюбленной и так стоять век, быть в ее власти и царстве,— смог ли бы тогда Шубников исполнить свое предназначение? Оттого позже он приезжал на Трудовую достаточным кавалером, но утомленным трудами и ходом судьбы, чтобы доставить удовольствие, предписанное природой, именно сподвижнице и компаньону.

Не откликнулась Любовь Николаевна и на третий день звонков Шубникова. Не ночевала Любовь Николаевна в отеле. Шубников поехал на Трудовую электричкой, он бы и металлические крики подrostков вытерпел, лишь бы Любовь Николаевна ждала в светелке. Он

представил, как она в костюме танцовщицы на уроке — в вольном толстом свитере, в темных рейтузах и поверх рейтуз в шерстяных длинных носках, небрежно опущенных, — ходит по светелке или сидит в кресле и грызет орехи из дмитровских лесов, разволновался и чуть ли не побежал. Но светелка была пуста.

«Где она и с кем? — негодовал Шубников. — Какое имела право, не объявив и не испросив позволения?» Вблизи Михаила Никифоровича она не показывалась, было доложено Шубникову. Попытки вызнать, не выкрали ли ее Перегонов и прочие силовые акробаты, ни к чему не привели. Да и с какой целью ее стоило красть? Если только по дурости или из ухарства. Шубникову сейчас более хотелось видеть себя обиженным и обманутым, нежели Любовь Николаевну жертвой. Она-то сразу бы нашла управу вора и насильникам, а если бы затаилась в их остроге из интереса, все равно бы скоро изничтожила любые цепи и препоны. А потому за нее как за уворованную нечего было беспокоиться. Но скорее всего ее не уворовали, а она загуляла. То обстоятельство, что и при ее отсутствии в делах изменений к худшему не произошло, напротив, все процветало, укрепляло Шубникова в мнении, что причиной всему его собственная самоценность, его огонь и сила. Можно было обойтись и без Любви Николаевны. Но обидно было Шубникову, обидно. Он ревновал. При этом сознавал, что не истреблена ревность к Михаилу Никифоровичу, а теперь возникла ревность и еще неизвестно к кому. Однажды Любовь Николаевна согласилась называть то, что между ними возникло, независимой любовью... ну, не любовью... чувством... связью... отношениями... чем-то. Независимым чем-то. И вот сейчас, когда Любовь Николаевна, подтверждая уговор, беспечно загуляла, Шубникову открылось в этом оскорбление. «И ведь она знала, — мрачно думал Шубников, — что я могу ревновать! Значит, и не беспечно. Значит, нарочно!» Ревность его была не чувственная, объяснял себе Шубников, а совсем иного рода, здесь он без предрассудков. Легкомыслием своим Любовь Николаевна оскорбляла его единственность и избранность! А уж если она поступила нарочно, то и он учинит что-либо нарочно. И в противоречии с соображениями о собственной единственности и избранности Шубников принимался рассуждать, как огорченный семиклассник. И являлся на ум верный школьный способ воздействия на обидчицу или заблудшую: сейчас же завести новую подругу и предъявить ее обидчице, чтобы кусала локти.

Впрочем, дела отвлекли Шубникова от принятия мер воздействия. Заказчики массового гулянья, ознакомившись с постановочными решениями Шубникова и сметой, стали мямлить и словно были готовы пойти на попятную. «Не от Перегонова ли идет эта растерянность?» — задумался Шубников. Директор Голушкин нудил: «Вы обещали посетить уроки Высшего Света, а так и не пришли. А они просят...» «Ах, отстаньте вы с этими уроками! Потом когда-нибудь!» — хмурился Шубников. Хмурился еще и потому, что был намерен появиться на занятиях, хоть бы на балу, вместе с Любовью Николаевной. Люди действительно пробились на уроки примечательные и глазастые, и им надо было видеть его, Шубникова, под руку с Любовью Николаевной. «Ну хорошо, — не отставал Голушкин. — Вы бы хоть выбрали минутку и принесли Тамару Семеновну. «Какую еще Тамару Семеновну?» «Ну как же, Тамара Семеновна Каретникова — староста всего потока, — сказал Голушкин. — Она первая пришла с заказом на уроки Высшего Света. По вашему интересу я наводил о ней справки, она...» «Вспомнил! — оживился Шубников. — Ее приму!» «Почему бы и не Тамара Семеновна?» — воодушевляясь, подумал Шубников.

А Голушкин сумел просунуть в его заботы слова об Институте хвостов. «Это вы сами, сами!» — махнул рукой Шубников. «У них претензии... аптечного характера», — сказал Голушкин. «Ну вот и са-

ми, сами решите!» — покривился Шубников. «И они, — продолжил Голушкин, — могли бы заказчиками участвовать в массовом гулянье. У них юбилей или что-то вроде...» «Институт хвостов?» — удивился Шубников. «Да, тот самый институт...» «Это любопытно. Это ценно!» — сказал Шубников. — Это неожиданно. Но ведь придется изменять программу...» И сейчас же мысли художественного руководителя приняли новое направление.

Научно-исследовательское учреждение, упомянутое Голушкиным, называлось Институтом хвостов¹ только в просторечье. Причем называлось так без ехидства, без незаслуженных намеков, а для удобства общения: академическое наименование института, произнеси кто его, долго бы висело в воздухе. Да и какие могли родиться ехидства и намеки, если институт занимался переселением наружного органа и частей тела, которыми располагали люди и животные. В институте, в клетках, имелись и грызуны, и обезьяны, и особи кошачьих, и даже завезенные из лесов Амазонки мраморные броненосцы, но движение научных идей привело к убеждению, что целесообразнее всего привлекать для опытов телят. Выбор животных, и сам по себе удачный, вызвал и побочные результаты. В науке, как известно, эксперименты, и при заблуждениях ученых умов, ведут к прогрессу. И, естественно, опыты промежуточные, опыты ошибочные и просто безалаберные предусматриваются как необходимые, и их должно быть куда больше, нежели опытов, в коих на глазах у теоретика срывается с ветки яблоко. Таких, может быть, и вовсе не бывает. Но если в других институтах материалы неудачных работ недальновидно списывались в отходы, то здесь они справедливо распределялись между сотрудниками. А потому в их домах всегда предлагали гостям нежные котлеты и отбивные, не лишним оказывались и пальто из телячьих шкур, пошитые кому — мехом наружу, кому — мехом внутрь. Менее интересными получались из тех же шкур головные уборы. Но в конце концов институтские модники обзавелись чрезвычайно эффективными косматыми шапками, хоть им и пришлось ждать — не сразу удалось выбить волков из республики Коми для охраны подопытных животных в вольерах. Что же касается обиходного, но отнюдь не фамильярного названия учреждения, то и тут были свои резоны. Научной программой предписывалось пересаживать всякое, и программа не отменялась, но пока счастливее всего удавались в институте переселения хвостов. Чудеса тут какие-то творились! Прижившиеся хвосты будто расцветали, удлинялись, обрастали шерстью яков или хотя бы покрывались голубым пухом. Иронисты-завистники ухмылялись: к чему все труды? Институт создан для человека, а хвоста у человека нет. Ну и что, и что, горячились в ответ патриоты, сейчас нет, а завтра вдруг будет. Так или иначе, хвосты стали профильными для института. Ему и в планы вписывали прежде всего хвосты: хоть это пересаживается, глядишь, начнет прирастать и другое. К тому же, имея в виду этику и общественные науки, пересадка хвостов выглядела наиболее пристойной; если бы начались приращения наружных органов и частей тела, могли бы возникнуть нравственные и прочие неловкости. И уж совсем подкупало то, что ни в одной развитой стране, даже в Японии, так далеко с хвостами не заехали.

«Да, да! — сказал Шубников. — Будем менять сюжеты балаганов, фейерверков, ледяных гор». «Каких ледяных гор? — засомневался Голушкин. — Все ведь растает...» «Будут ледяные горы и дворцы похлепце, чем в Сапноро, — уверил его Шубников. — Но какие претензии у института?» «Претензии...» — вздохнул Голушкин. К телятам в этом году решили прибавить овец и тихоокеанских каланов. Овец выдели-

¹ Автор просит не путать тружеников Института хвостов (которого, может, и вовсе нет в Москве) с уважаемыми врачами, об операциях которых по пересадке сердца, почек и печени все слышаны. Да и саму важную идею трансплантации жизненно необходимых органов автор, естественно, не ставит под сомнение, напротив...

ли, шерстяных, бурдючных и мясных, а каланов — нет. Четырех каланов попросили напрокат в Палате Останкинских Поляз. Их доставили в институт, устроили им ванны с бульжной галькой у бортов и с водой от берегов Камчатки, но на пятый день вместо морских бобров в ваннах плавали медицинские эластичные пояса и корсеты для поврежденных позвоночников. «Аптека! — разъярился Шубников. — Аптека! И этот!.. Доставьте им новых каланов. Извинитесь и доставьте! Но они всерьез намерены стать заказчиками гулянья?» «Всерьез. Однако у них странные пожелания...» «Пожелания оформите и положите мне на стол. Чем страннее, тем увлекательнее! Но каков негодяй аптекарь!» «Вряд ли это он... — деликатно возразил Голушкин. — Если бы он. А то как бы не вышло что серьезнее и опаснее. Надо искать глубже, чтобы дать отпор...» «Ищите! Ищите! — нетерпеливо сказал Шубников. — Если даже не он, все равно негодяй!» Явственно привиделась Шубникову картина: по улице Королева идут Любовь Николаевна и аптекарь, лица их — веселые, они несут сумки с провизией и вот сворачивают к подъезду Михаила Никифоровича. Шубников в ярости сломал стек, неизвестно как оказавшийся в его руках. «Относительно отдела «Ты этого хотел. Но сам делать не стал бы», — напомнил о себе Голушкин. — Люди подобраны. Положение выработано. Вот оно». Шубников настороженно взглянул на Голушкина — не в чтецы ли мыслей преобразовывался бывший судебный эксперт и гардеробщик? «Ваш... — Голушкин замялся, — э-э... Мардарий проявил внимание к практике нового отдела. Он хотел бы сотрудничать». «Он заходит сюда? — удивился Шубников, сказал холодно: — Я подумаю».

Вот ведь стервец оказался Мардарий!

Сейчас же сквозь стены было сообщено: прибыла староста потока Тамара Семеновна Каретникова, ожидает приема. И Голушкин поспешил встретить гостью.

Тамара Семеновна вошла. «Она мила», — подумал Шубников. На ней была короткая, выше колен, шубка в белых и рыжих разводах жесткого меха. «Из телят, что ли?» — мелькнуло у Шубникова. Пребывание на разных ступенях останкинской лестницы не позволило ему подойти к старосте потока и принять ее шубку. Когда же шубка и шляпа повисли на крючке, Шубников увидел, что Тамара Семеновна пришла к нему в забытом нынче костюме. Она пришла в матроске! В детстве Шубников был влюблен в девочку, носившую матроску. И тонкий запах духов, названия которых Шубников не помнил, Тамара Семеновна принесла из его детства. Теми же духами упоительно пахло от мамы девочки в матроске, красивой загорелой женщины с бирюзой в серьгах и на браслетах у благородных запястий. Та женщина однажды приласкала маленького Шубникова, сказала: «Какие живые у него глаза. Он себя еще проявит». И две намеренные соломенные кочки Тамары Семеновны напомнили о девочке из сладкой поры Шубникова. Он разволновался. И радость, и синяя тоска по детству, и жалость к самому себе пришли к Шубникову.

Просьбы или пожелания Тамары Семеновны касались исключительно уроков Высшего Света с погружением. Преподавание иных дисциплин требовало совершенствования. Учитель фехтования, мастер шпаги, был хорош: из олимпийской сборной, — а вот рапирист попался им никудышный, всего лишь со вторым разрядом. Учитель танцев сносно показывал брейк на линолеуме. А на паркете, под колоннами, забывал фигуры сарабанды. Неплохо было бы иметь двух преподавателей и ввести раздельное обучение — нынешних и исторических танцев. Вызвали уважение педагоги латыни, древнегреческого и древнееврейского языков, французенка же досталась им досадно шепелявая. Профессор Чернуха-Стрижовский увлекательно вел в салоне уроки карточных игр, пасьянсов, фокусов, гаданий и умственных развлечений, но как человек азартный порой забывал обо всем

объеме предмета и часами занимался игрой в очко или буру лишь с самыми способными учениками в ущерб другим. Тут Тамара Семеновна запнулась, смутилась, посмотрела на художественного руководителя — не посчитал ли он ее ябедой? Однако Шубников кивнул одобрительно, давая понять, что староста, тем более всего потока, и должна быть строгой и ответственной. Тогда Тамара Семеновна сообщила, что учеников одолевают желающие проникнуть на уроки Высшего Света, москвичи и провинциалы, с предложениями перекупить их ученичество. И есть соблазненные, продавшие свой места на занятиях и даже в очереди на занятия. «Разберемся со строгостью!» — нахмурился Шубников. Тамара Семеновна встала. Замечу, что в беседе с Шубниковым она нет-нет, а изящно и, надо думать, к месту вставляла словечки и выражения по-французски, вряд ли существенные для сути беседы, но несомненно украсившие ее. Шубников их смысла не понял, в школах и в институте его пытались научить дойче шпрахе, но не научили, теперь же лингвистические изящества Тамары Семеновны не получили его видимого отклика. Тамара Семеновна почтительно напомнила Шубникову об обещанном посещении уроков, это было бы не так скучно и самому художественному руководителю, а уж какими полезными оказались бы его творческие указания. «Хорошо, хорошо, завтра», — пообещал Шубников.

Тамара Семеновна сама сняла с крюка шубку, сама надела ее, мило, но отчасти и кокетливо улыбнулась на прощание Шубникову, ее несколько не удручало, что он опять не поспешил ей услуживать, не лакеем же назначено было ему пребывать на улице Цандера. А Шубников просто не нашел сил двинуться к ней. Он был покорен нынче Тамарой Семеновной. В матроске и в духах блаженной поры случилась лишь подсказка судьбы. Тамара Семеновна была ему нужна. Такая женщина должна была состоять при нем в грядущем. В его отношениях с Любовью Николаевной при всех удовольствиях не исчезало напряжение, оглядка на нее сковывала Шубникова, зависимость от нее вызывала даже порой ощущение какой-то своей мелко-сти. Рано или поздно Любовь Николаевну как подругу ожидала отставка, она, конечно, осталась бы сподвижницей Шубникова (до поры до времени), но должна была вернуться на определенное ей место рабы и берегини. Да, именно так! А Тамара Семеновна (или такая, как Тамара Семеновна) не переставала бы глядеть на него как на героя, творца и благодетеля.

Но не отправила ли его самого в отставку Любовь Николаевна? Не глумилась ли над ним теперь, в отдалении или высях? Пусть попробует, пусть осмелится! Недолго продлятся ее шутки и дерзости! При нем его сила.

Шубников распорядился доставить ему учетное дело Тамары Семеновны. И увидел в нем то, чего хотел бы не помнить. Нынешний муж Тамары Семеновны, районный архитектор, Шубникова не волновал. Но первым мужем Тамары Семеновны навечно оставался Михаил Никифорович Стрельцов.

Отменять Тамару Семеновну Шубников не был намерен. В ней сейчас проступали смысл, благодать и успокоение.

А Михаилу Никифоровичу требовалось воздать.

Любовь Николаевна не объявилась ни вечером, ни разумным утром, и Шубников решил посетить уроки Высшего Света один. Да пусть бы Любовь Николаевна теперь и вовсе не существовала.

Шубников почувствовал, что на уроках он появится в форме черного гардемарина. Отчего именно черного гардемарина и что это

за форма, Шубников не знал. В голове как нечто влекущее засело однажды — черный гардемарин. Костюма черного гардемарина не было в Палате Останкинских Польз, ни тем более в гардеробе самого Шубникова, и, чтобы удовлетворить свой каприз, он вытребовал костюм (без примет императорского флота) личным пожеланием. Вскоре, вытянув шею, гардемарином стоял Шубников перед зеркалом в своей прихожей и сознавал, что как мужчина, как воин он грозен, ослепителен и неотразим. Из-за угла коридорного выступа смотрел на него, открыв в удивлении пасть, Мардарий, и в наглых глазах его виделось: «И мне!» «Перетерпишь!» — грубо сказал ему Шубников и проследовал на улицу Цандера. Уже у Палаты Шубников вспомнил о драме вселенной, о своем предназначении, стал хмур. Мальчишка-первоклассник, что ли, он, налепивший на курточку бумажные погоны и ожидающий, что его сейчас же во дворе признают Рокоссовским? Да и зачем ему это? Какой он гардемарин! Неужели эдак подействовала на него матроска?

Начальственным энергичным шагом, скупой кивая кому-то на ходу, Шубников прибыл к парадному подъезду Высшего Света. Там в вестибюле у нижней площадки лестницы, протекающей в гранитах и мраморах двумя рукавами, напоминая о Посольской, или Иорданской, лестнице Растрелли, восстановленной Стасовым и ведущей к Невской и Большой анфиладам, его ожидали директор Голушкин, всяческие служилые лица, среди них жизнелюб Ладошин и скучный нынче Бурлакин. И им Шубников жестко кивнул. Поклонился лишь Тамаре Семеновне. Та встречала его вовсе не в матроске, а была с обнаженными плечами, в длинном белом платье из тончайшего шелка, сквозь который виднелся плотный чехол, жена моя нашла бы в этом платье увлечение античностью, высокое положение талии, малый объем лифа и прочие тонкости стилия ампира. И вчерашние косички отсутствовали у Тамары Семеновны, прическа ее была теперь высока и сложна. Не соответствовали платью бумаги и тетради, которые держала Тамара Семеновна, но как без них могла обойтись староста потока?

Шубников быстро, чуть ли не перескакивая через ступени, стал подниматься по лестнице, уже наверху, у развода анфилад, выразил директору Голушкину недоумение, указав на золоченую лепнину, барельефы с копыями и шлемами римских легионеров, на голого и сытого Зевса, прямившего перины облаков плафона: «Зачем эти излишества?» «Но ведь с погружением...» — сказал Голушкин и замолк обиженно. «Ученики хотят, чтобы было роскошно. И готовы платить», — мило улыбнулась Тамара Семеновна и добавила французские слова, какие не могли объяснить Шубникову, осуждает ли она стремление к роскошному или согласна с ним. «Мы ведь можем все ксерить», — выступил из свиты вперед Ладошин. «Ладно, — махнул рукой Шубников. — Обсудим потом». И продолжил движение.

Уж кто-кто, а он, естественно, сам знал, что помещения Палаты и их обстановка разорительных затрат не требуют. Двухэтажному строению на улице Цандера можно было обойтись и без видимых останкинским пешеходам пространственных приобретений. Когда следовало что-либо в Палате раздвинуть, углубить или возвысить, это происходило сейчас же по волевому заказу, утвержденному им, Шубниковым. При благонадежии в делах Шубников стал доверять подробности заказов директору Голушкину и его помощникам. Был оборудован в Палате и пульт Метаморфоз. Все возникало — веди искусствоведов и ювелиров! — как подлинное, не то что в сиротских павильонах жалкого «Мосфильма». Излишествами же сейчас казались Шубникову два рукава дворцовой лестницы, золоченые копы и шлемы, плафоны размером со скаковое поле. Достойны ли были этих лестниц и плафонов ученики, всякая шваль? Поддай им чего-нибудь роскошного! «И что это Голушкина тянет к классициз-

му? — думал, раздражаясь, Шубников.— И мне подсунул мебель с канделябрами и жирандолями! Может быть, он в душе просветитель? Но ожидает Бонапарта?» Голушкину, Ладошину, а заодно и ходячему процессору Бурлакину довелось бы сейчас услышать, возможно, и обидные слова, но Тамара Семеновна в ларинском платье и с бумагами в руках грохоту мешала. Шубников понимал, что раздражение его вызвано не лестницей из Зимнего дворца (хотя и ею: таких лестниц ему пока не выкатывали), а ожиданием каких-то неприятностей, может быть, и скандала. Отнюдь не безболезненной оказалась пропажа или отлучка Любови Николаевны.

— Ладно, показывайте мне классы,— приказал Шубников.— Но без церемоний и без остановки уроков. Будто нас и нет:

— Но ученики хотели бы и поговорить с вами...

— Что? — недовольно обернулся Шубников в сторону Тамары Семеновны и замолк. Справа в свите, но и несколько поодаль от нее и сам по себе шел Перегонов.

Шубников чуть было не поинтересовался у Голушкина, отчего возникли посторонние, но посчитал, что пусть Перегонов походит, ему тоже требовалось роскошное, может, Растреллиева лестница заставит его расстроиться, может, и был в ней резон.

— Ученики имеют претензии? — спросил Шубников.

— Наверное, они хотят о портретах...— поспешил Голушкин.

Тамара Семеновна сообщила, что все ученики желают иметь по окончании занятий портреты, маслом на холсте или же на доске темперой, для фамильных галерей, персональные и групповые. «Групповые,— усмехнулся Шубников,— это как «Ночной дозор», что ли?» «Они хотят,— сказал Голушкин,— чтобы мы предоставили им живописцев». «Напрокат, что ли?» «Некоторым и скульпторов для мраморных бюстов». Шубников, сузив глаза, посмотрел на Перегонова, каково тому-то, но наткнулся на взгляд ехидный и будто бы обещающий конфузы не далее чем через полчаса.

— Хорошо,— помрачнев, сказал Шубников. «Нет, свинья какая! — подумал он о Перегонове.— Издевается!» Но, может быть, на самом деле Любовь Николаевна была у них, в лапах у Перегонова и его подельников, заложницей, а то и мученицей, или, может быть, она сама перекинулась в их стан, в стан игроков, удачливых и ей понятных? Мерзкие ощущения и обиды испытывал сейчас Шубников. Но пока он не был намерен опять показывать Перегонову силу; коли лестница и анфилады присутствовали, то и сила была при нем. Его сила, его свет, его жар и ничьи другие.

Заметив, что Шубников взглянул на часы, Тамара Семеновна с некоей укоризной улыбнулась гардемарину и сказала, что много времени у него не отнимут, он сейчас увидит занятия в классах, а затем, после перемены, ученики всех групп сойдутся на пятидесятипятиминутный бал. Тамара Семеновна протянула Шубникову картонный лист с расписанием и предложила самому определить порядок похода по классам. «Все-таки она трогательна и без матроски,— ощутив опять запах духов из детства, подумал Шубников.— И прелестна». Ему захотелось, чтобы мысль эта донеслась до Любови Николаевны. «Заглянем сюда,— выбрал Шубников урок «Сочинение стихов в альбом. Группа семнадцатая».— По каким принципам формировались группы?» — мягко спросил он. «По кругам...» — сказала Тамара Семеновна. Люди пришли сюда разные, принялась она объяснять, то, что они в зрелые годы отважились учиться, достойно похвалы, но все они со своим норовом, амбициями, предрасположениями и привычками, гордецы и упрямцы, и это мешало тишине на занятиях, проще всего оказалось объединить в группы людей своего круга. «Группа семнадцатая?» — спросил Шубников. «Сфера обслуживания,— сказала Тамара Семеновна.— Главным образом продукты питания. Ими довольны почти все преподаватели. Лучше многих готовят домашние

задания». Движением руки Шубников указал Голушкину и свите остаться в коридоре. И Перегонову было отказано в посещении этого занятия. Войдя в класс, Шубников с Тamarой Семеновной уселись за стол у стены с наглядными плакатами и диаграммами. По неловкости Шубников наткнулся на Тамару Семеновну, тут же, извинившись, отодвинулся от нее, но соприкосновение тел, похоже, оказалось приятным и для него и для Тамары Семеновны.

Если бы вошел в класс Михаил Никифорович, он тотчас бы углядел здесь некоторых своих знакомых. В частности, мастеров, рубивших бумажные деньги в мясницкой Петра Ивановича Дробного. Не было самого Петра Ивановича, не было физика-расстриги с молочной фамилией, а вот толстый мясник по прозвищу Росинант, мясники Николай Ефимович и Фахрутдинов пополняли образование. На табло светились слова: «В альбом одной московской барышни: «Нет прошедшего, но его воображает тщетное воспоминание. Нет будущего — его рисует необузданная надежда. Есть одно настоящее, но в одно мгновение оно переходит в лоно небытия. Итак, поистине жизнь есть воспоминание, надежда, мгновение». Сальваторе (Николай Иванович) Тончи». Кто такой Тончи, Шубников вспомнить не мог, пожалуй, судьба никогда и не сводила его с этим Сальваторе, или Николаем Ивановичем. «Тончи...» — глубокомысленно прошептал он на всякий случай. «Вторая половина восемнадцатого века — начало девятнадцатого, — сразу же шепотом откликнулась Тамара Семеновна, — поэт, философ, певец, живописец, автор портрета Державина в собольей шубе и шапке от иркутского купца Сибирякова, авантюрный человек, считавший, что все в мире призрачно, все грезится и мерещится». «Да, да», — согласился с ней Шубников. «Она понимает, она чувствует меня!» — подумал он с умилением.

Ученики и ученицы семнадцатой группы (а сидели они во фрачных костюмах и в бальных платьях) выглядели чрезвычайно старательными. Иные, в их числе Росинант, писали, в усердии высунув языки. Писали кто чем, но четверо — глухариными перьями. Возможно, имели отношение к «Лесной были» или «Дарам природы». Тему записи Тончи ученикам следовало разработать и создать стихотворный экспромт в альбомном жанре. Трое преподавателей, одним из которых оказался Игорь Борисович Каштанов, занятие проводили также во фраках. Шубников отчасти удивился: неужели Каштанов не был накормлен нынешним его местом, неужели не довольствовался составлением направленных текстов? Да и совместно ли было его положение с ролью учителя? Шубников решил не горячиться, в особенности вблизи Тамары Семеновны, может, Каштанову и полагалось быть в классах... Один из преподавателей, по словам Тамары Семеновны, был историк быта и нравов Прикрытьев, другой, большой, грудастый, бритый наголо (фрак и манишка с черным бантом его тяготили, теснили, заставляли дергаться и поводить шеей), считался лирическим поэтом, песню его исполнил по «Маяку» сам Виктор Шпортько. Историк похаживал по классу благодушный, он привык ко всяким нравам. Да и чем страннее выходили быт и нравы, ему как исследователю, надо полагать, было приятнее. Игорь Борисович Каштанов при явлении Шубникова притих. А вот лирический поэт Сухостоев шумел, страдал, знакомясь с упражнениями учеников, видел повсюду влияние Евтушенко и Юнны Мориц: «Да что же это! Да как же так! Да у нас в литобъединении «Борец» за такие слова...» Румяный белоголовый историк его снисходительно успокаивал, уверял, что экспромты и буриме не падают нынче августовскими звездами, да и прежде иные признанные чародеи месяцами загодя мусолили дома свои импровизации. «Я не про это! — не унимался лирический поэт. — Я про раскрытие темы пусть и грубыми, но своими понятиями!» «Давайте еще посмотрим, — предложил румяный историк и взял листы у тихого Росинанта. — Вы кто по профессии? Да,

знаю, помню. Вы-то что написали? Давайте. Ага. «В альбом тов. Т. Р. Б.». Это хорошо. Дальше: «Что наша жизнь? Игра! Под стук кровавый топора. Так будь же, ангел мой, добра, не бей подушкой комара!» И это все?» «Все», — выдохнул взволнованный Росинант. Сухостоев был, похоже, обескуражен. «Ни у кого не списали?» — покоился он на Росинанта. «Н-нет...» — с хрипом произнес Росинант. Сухостоев стал дергаться, лист бумажный вертел и осматривал и все повторял слова «Под стук кровавый топора», но по-разному, то ставя их на один бок, то на другой. «Нет, в литобъединении „Борец“...» — сказал он наконец. Шубникову надоел Сухостоев, он поднялся, давая понять Тамаре Семеновне, что здесь ему все открылось. Игорь Борисович Каштанов принялся говорить об особенностях стихосложения середины семидесятых годов в условиях умеренно континентального климата, но его не слушали. Ученики, прежде не замечавшие Шубникова, смотрели теперь в его сторону, да так, будто прыгнуть на него хотели. В их взглядах Шубников увидел просьбы, требования, жажду. В классе возникло энергетическое поле, и черный бант наконец отлетел от адамова яблока поэта Сухостоева.

— Дальше! — приказал Шубников в коридоре Голушкину.

Теперь движение Шубникова по классам было быстрым, будто бы объезд позиций на боевом коне. Впрочем, гардемаринам кони вряд ли полагались. Из класса в класс Шубников переходил хмурый, улыбался редко и лишь одной Тамаре Семеновне. Не могли удержать Шубникова и в фехтовальных залах. Ему были противны победные и прощальные крики «а-а-а-а!» при уколах шпагой или рапирой, особенно если кричали, скидывая железные маски, какие-нибудь педикюрши или бездельницы из Минприцепа, и были ему противны ароматы их мушкетерского пота. Недолгим вышло и пребывание Шубникова в тире, где двадцать третья группа совершенствовалась в стрельбе по-македонски. А Перегонов на тех стрельбах застрял и этим сделал Шубникову одолжение. Сразу же Шубников попал на урок изящного образа жизни. Девятнадцатая группа знакомилась с обстановкой и гигиеной будуаров. Нынче погружались в будуар, устроенный Л. Бакстом в третьем году. Занятия проводила Клавдия Петровна Войнова. Шубников остался недоволен. Белое сукно, закрывшее пол, с орнаментом из черных и серебристых прошивок показалось ему лишним, стулья же, пусть и с бархатной обивкой, и кровати были болезненного модерна, в таком будуаре, да еще и без алькова, не хотелось ни сидеть, ни спать. «Изыски какие-то! — постановил Шубников. — Хоть и Бакст!» Затем его провели в кабинет политической экономии. Сорок первую группу, корпешую над ошибочными соображениями Давида Рикардо, целиком собрали из апельсиновых женщин полуденных лет. «Кто такие?» — спросил Шубников. «Девушки из бассейна Христа Спасителя», — сообщил Голушкин. «С Кропоткинской набережной, — подтвердила Тамара Семеновна. — Они ходят туда плавать, загорать, исходить истомой в парной». Сказала она это пренебрежительно и, может быть, с допустимой старосте иронией. Девушки из бассейна Христа Спасителя были актрисы, киноведки, вязальщицы и чьи-то жены. Давид Рикардо давался им легко. И опять на пути Шубникова возник спортивный зал, где под портретами Брюса Ли и Чака Норриса грузно-степенные, но и задорные дамы и мужчины из министерств земных и надземных сообщений овладевали приемами каратэ и боевой пластикой шаолиньских монахов. Рядом расположился манеж, и в нем гарцевали всадники восемнадцатой группы. Следом находилась псарня, ее запахи взволновали Шубникова, но он лишь заглянул в помещение, где носились милые его сердцу Каратаи и Бушмены, где звучали охотничьи рожки и пролетали не тронутые дробью вальдшнепы. Шубников бежал дальше, воспоминание о постыдной поре сотрудничества со скорняками ухудшило его настроение, и без того невеселое. Зачем, зачем ему его пред-

назначение, зачем ему его свет и жар! Жил бы просто, служил бы егерем или хотя бы псарем — как было бы хорошо! А тут еще и Любовь Николаевна покинула его. Шубников нервно взглянул на Тамару Семеновну, а потом искал Перегонова, но не было Перегонова рядом.

«До перемены осталось двадцать пять минут», — сообщила Тамара Семеновна. Теперь в некоторые классы они лишь заглядывали. Совершенно не захватили Шубникова уроки музыки. Вполне пригодный в светские львы архитектор-улучшатель Москвы, с медалью лауреата, автор стакана-постаменты кому-то, дурно играл на фаготе, врал. А вот специалист, об азартных увлечениях которого Тамара Семеновна рассказывала накануне, профессор Чернуха-Стрижовский, дылда с очками рассеянного учителя сороковых годов, Шубникову понравился. Не то чтобы понравился — вызвал любопытство и понимание. Это был очевидный пройдоха, возможно, шулерствовавший при случаях в поездах дальнего следования где-нибудь между Читой и Могочей, с картами он общался как артист. К тому же Шубникову пришлось в голову, что именно такими были боевики-анархисты и что этот лукавый пройдоха еще ему понадобится. Нынче профессор показывал ученикам кампи, игру, особо любимую голштинским выходцем, недолгим и нелепым российским императором, в ней вместе с картами действовали фишки. «Не велика ли группа?» — спросил Шубников. Выяснилось, что к профессору прибились и ученики с других уроков. «Наказать! — рассердился Шубников. — Вплоть до отчисления!» «Но красиво общается с картами, мерзавец, красиво, — думал Шубников, шагая далее. — Такой и бомбу бы бросил где надо!» Будто вызванный этой мыслью, впереди, в далеком сгибе коридора, возник Мардарий. «Да что это он! — возмутился Шубников. — Обнагел, негодяй!» Ему показалось даже, что Мардарий возник в костюме черного гардемарина и дразнит его, так ли это, он разглядеть не успел, Мардарий пропал. Тамара Семеновна пыталась обратить на что-то внимание Шубникова, но он грубо оборвал ее, губы Тамары Семеновны задрожали. «Ба-ба-ба! — услышал Шубников противный ему голос Перегонова. — А инспектор-то сердится! Неужели так плохи уроки? Совсем не плохи. Особенно в тире». Шубников ему не ответил.

Были на лету еще представлены уроки: публичного и частного права (по расписанию — одиннадцатая группа, мастера кудрей), тонкой словесности (седьмая группа, шахматные стратеги и тактики, титаны защиты Нимцовича, а также администраторы со студии Горького и банщики из Астраханского переулка), спиритических сеансов в неосвещенной гостиной с вопросами осведомленным духам (двенадцатая группа, дамские угодники; нынче на связи были духи — девственницы и почитательницы искусств Христины Шведской, Ваньки Каина и Отто Скорцени, этого спрашивали о Янтарной комнате), каретной географии (тридцать первая группа, бойцы охраны и вертуны речных течений), вышивания бисером, крестом и мережкой (шестнадцатая группа, девушки вечерней воды бассейна Христа Спасителя), дипломатического церемониала и протокола (десятая группа, другие мастера кудрей), разговоров о погоде (двадцать седьмая группа, средние чины из аппаратов и лица, попросившие не разглашать их должностей и профессий, преподаватели достались им весьма приятные, два блондина, с усами и без усов, призыванием которых были теплые и без осадков прогнозы), правил контактов с инопланетянами (четвертая группа, труженики ГАИ). И вот уже Шубникова проводили мимо класса, где зрелые мужи и дамы, взявшиеся наконец за ум, должны были изучать латынь. Урок латыни давали тринадцатой группе. «В ней спортивные комментаторы, — сообщила Тамара Семеновна. — Вы их знаете в лицо и по звуку...» «А не Михаил ли Никифорович у них преподаватель латыни?» — подумал вдруг Шубников. Сама мысль об этом была глупая, однако Шубников, буд-

то ему встретилась баба с порожними ведрами, готов был бежать от класса с латынью. «Да что же это я?» — недоумевал Шубников. И он рванул дверь класса. Преподавателем был сорокалетний язвенного вида мужчина, пребывавший в осеннем, возможно, дедовском пальто, потертой шапке-пирожке и в валенках. «Недоросли! — кричал он ученикам. — Недоросли! Простейшее римское выражение, его знали не только патриции, его знала толпа! А вы не можете его усвоить! Семнадцатая группа куда способнее вас. Недоросли!» Семнадцатая группа дописывала сейчас стихотворения в альбомы, не подзревая о комплиментах латиниста.

Прозвенел звонок. Шубникову было не по себе. Не забывалось ощущение, испытанное при уходе из класса с альбомами. Но семнадцатая группа казалась теперь Шубникову деликатной. Мгновенные взгляды в его сторону на других уроках были агрессивнее, там ученики не то чтобы могли на него прыгнуть — могли и растерзать. Всем им что-то было необходимо от него. Вот-вот, ожидал Шубников, должен был случиться конфуз или скандал. Душно стало Шубникову, находила гроза. Душно, но и знобко.

Шубников полагал теперь, что исполнителем воли громовержца станет Перегонов.

Для порядка появились в коридоре хладноглазые молодцы и женщины в кимоно. Но шум в коридоре стоял, ученики не бегали и не озорничали, а, похоже, выясняли какие-то отношения. То и дело Шубников слышал выкрики: «Пандейро!», «Скачки!», «Шляпы!», «Трибуны!», «Сектор!». Шубников захотел узнать, в чем суть коридорных бесед учеников. Тамара Семеновна стала объяснять как бы с неохотой. Кроме портретов, все желают получить и пандейро, каждый свое. «Какие пандейро?» «Вы знаете какие», — сказала Тамара Семеновна. А в ближайшие дни предстоит погружение на трибуны Королевских скачек, какие ежегодно устраиваются в пригороде Лондона. И вот, к сожалению, возникли споры и даже конфликты из-за мест на трибунах с предьявлением прав, привилегий, житейских значений, традиций и связей тех или иных кругов. «Где же хотят сидеть?» «Естественно, ближе к главной ложе. Почетнее по правую сторону. Дамы спорят и из-за шляп, какие кто получит. На скачках в обычае смотр шляп...» «Думаю, что самая завидная и дорогая шляпа достанется вам», — сказал Шубников. — Я вас обидел давеча. Прошу прощения. Мне нынче что-то нездоровится». Он чуть не добавил: «Видно, гроза будет».

— Ну вот и звонок, — сказал Перегонов. — Теперь нам следовать на бал.

— А вас приглашали? — зло повернулся к нему Шубников.

Перегонов рассмеялся. «Если сейчас он скажет «батюшка», — подумал Шубников, — я его истреблю».

— А разве не приглашали? — спросил Перегонов.

— Ладно, — хмуро сказал Шубников. — Посчитаем, что приглашали.

— Вы, видимо, не помните, о чем мы с вами беседовали. Ваша недалекость приведет лишь к бедам. Кто и что за вами? Цветы одуванчики. Сейчас цветут, а потом стоит раз дунуть... Можно ведь только распорядиться — и все разлетится и рассыплется. И не будет никаких балов. А вы дерзите. Вы ведь только гардемарин. А у нас есть — о-хо-хо! Вот так-то, батюшка.

Ни слова не мог произнести Шубников.

— Не знаю, кто вы, — обратилась к Перегонову Тамара Семеновна, — но то, что вы грубиян и хам, это очевидно. Не знаю, кому вы еще угрожаете, но то, что вы угрожаете и мне как старшей на занятиях, с балами в частности, тоже очевидно. За вами какие-то «о-хо-хо». Однако мы вас на занятия не звали, и, если вы сами не потру-

дитесь уйти, вас выведут. Есть кому.— Тамара Семеновна добавила два слова по-французски, возможно, выругалась.

Перегонов откинул голову, ухмыльнулся, подкинул металлический рубль, поймал его и, наверное, согнул, смял в ладони. Тамару Семеновну он увидел впервые, женщин он не принимал всерьез, таких дамочек он щелкал на счетах собственной судьбы сотнями, а эту мог сейчас и размазать. Тамара Семеновна стояла гордая, готовая дать отпор. Но Перегонов склонил перед ней голову, сказал:

— Извините. Я пошутил. Я нескладный человек. Всегда завидовал Печорину. Я прошу: впустите меня посмотреть. Я тихонько посижу в углу.

— Если только тихонько,— смилостивилась Тамара Семеновна.— И если только в углу.

«Дурака валяет,— думал растерянно Шубников.— Неужели Любовь Николаевна у них или с ними?»

А Тамара Семеновна ввела Шубникова в зал собраний и балов. Зал с колоннами и зеркалами был празднично освещен, три оркестра расселись наверху: на балконе — скрипачи с Бессарабки, на хорах слева — музыка полковая, на хорах справа — бесшабашный ансамбль, способный поднять на ноги едоков самого степенного ресторана. Зал был пока почти пуст, распорядитель бала и еще какие-то люди, возможно, представители групп, суетились у закрытых парадных дверей. Шубникову по-прежнему было душно и знобко. «Скорей бы все это началось и кончилось...» Подлетел распорядитель будто из тех, что с шашкой наголо встречают во Внукове премьер-министров, сказал о том, что нынче бал не показательный и тем более не выпускной, а учебный, учебный, учебный, а потому в нем, к сожалению, будет происходить заминки, неловкости, нелепости, может быть, с точки зрения высокой эстетики, и безобразия. Однако какое может быть ученичество без неловкостей и безобразий? После этого распорядитель поинтересовался, не соизволит ли Шубников вместе с Тамарой Семеновной открыть бал, стать первой парой в торжественном полонезе. «Нет, ни в коем случае!» — в испуге сказал Шубников. Танцевать он любил и считал себя отменным танцором, но разве мог он теперь предстать танцором перед толпой? Тамара Семеновна, похоже, была разочарована. «Но только не тяните,— сказал Шубников распорядителю.— И в учебном должны быть ритмы и темп».

Распорядитель кивнул, взмахнул рукой, духовой оркестр взгрел полонезом, парадные двери царственно отворились, шествие черных кавалеров и белых дам началось. Пусть и не участвовал в нем кордебалет Большого, пусть кавалеры и дамы были самых разнообразных степеней совершенства, стройности и полноты, шествие не получилось ни неуклюжим, ни ущербным, ни смешным. Распорядителю, как выяснилось, доводилось устраивать зрелища и в Лужниках. Дамы и кавалеры были именно не кордебалетом, во всем кордебалете не нашлось бы столько драгоценностей, какие украшали иных дам и взблескивали на пальцах иных кавалеров, они ощущали и выказывали свою важность, двигались с достоинством, с просветленными лицами значительных людей, им было хорошо. Кончился полонез, и был объявлен менуэт, и менуэт удался. Ученики танцевали с охотой, а кто и с вдохновением. И забылись коридорные споры с выяснением прав и привилегий. Протанцевали пасодобль и начали темно-вишневое танго, томили душу скрипки, возможно, из «Гамбринуса».

При звуках скрипок и вошла в зал с колоннами пропащая Любовь Николаевна.

Скрипки не успокоились, и не прекратилось танго, но музыканты и танцоры, несомненно, смотрели теперь в сторону Любви Николаевны. Она явилась на бал в костюме олимпийской наездницы — во фраке с блестящими отворотами, в черных брюках, в сапожках и с

хлыстом, шляпку швырнула на ходу служителю, волосы ее, светлые нынче, падали на плечи. Участники бала могли предположить, что Любовь Николаевна выезжала на место грядущих Королевских скачек, неурядицы задержали ее, этим и объясняется и ее опоздание и ее костюм.

Любовь Николаевна встала рядом с Шубниковым и Тамарой Семеновной, не одарив их ни словом. Шубников не удержался и отыскал глазами Перегонова. Тот дремал недалеко за мраморной колонной и впрямь смиренный. Любовь Николаевна, на взгляд Шубникова, была сегодня чертовски хороша. Но и Тамара Семеновна была хороша. Причем если Любовь Николаевна была именно чертовски, дьявольски, ведьмински хороша, то Тамара Семеновна была ангельски хороша, серафимски хороша, как еще... «Ну и пусть,— решил Шубников,— значит, так и должно быть».

Шубников успокаивался. Синие, серые и лиловые тучи собирались в битву, но одумались и разбрелись. После «ча-ча-ча», экосеза и рока был объявлен перерыв для бесед, желательно на иностранных языках, в их числе и древних. И для десертов. Неугомонные танцоры наседали на распорядителя, упрощая его включить во вторую часть бала брейк. «Измажете мастикой фраки и платье»,— был неумолим распорядитель. Но большинство учеников расхаживали у зеркал с неспешными разговорами. Многие же сидели в креслах на подиумах перед колоннами и между ними. К наиболее примечательным личностям подводили людей заинтересованных для представлений, выстраивались и очереди, кого-то освежали перламутровыми веерами с китайскими пейзажами, кому-то целовали ручки. Служители в белых чулках и коротких штанах с застегжками под коленом разносили напитки, прохладительные и светские. Среди них Шубников увидел и Валентина Федоровича Зотова. «Зачем его-то? — подумал Шубников. — Вот уж не надо бы... Впрочем, пусть знает свое место».

Шубников будто бы не помнил, что он не только не истребил Перегонова, унизившего его, но и попросту сник перед наглецом (впрочем, помнил, как помнил и о заступничестве Тамары Семеновны). Он стоял, с терпением и высокопревосходительностью смотрел на забавы взрослых людей. Впрочем, сюда они ездили и ходили не ради развлечений. Тамара Семеновна не отходила от него, словно бы уравнивая себя с Любовью Николаевной или даже бросая ей вызов. Любовь Николаевна постукивала хлыстом по голенищу сапога, иногда и улыбалась сдержанно (или иронически?). Шубников прикрыл глаза. Какая суета, какие ожидания от него подачек, помощи, осуществления надежд, грез, ночных видений! От него, и ни от кого больше. Он, Шубников, объял покровом не одно лишь Останкино, но и весь взбаламученный желаниями, не достойный его город.

— Коньяк... Шампанское... Апельсиновый напиток...

Шубников открыл глаза. С подносом в руках стоял перед ним Валентин Федорович Зотов. Маленький, лысый, с оттопыренными ушами, в зеленом камзоле, в коротких штанах, белых чулках и лакейских туфлях с пряжками, он был точно шут гороховый. Точно Фарнос со сретенского лубка. Шубников рассмеялся.

— Валентин Федорович, у вас две пуговицы камзола не застегнуты. Нехорошо на балу-то! И парик стоило вам надеть.

— Ах ты паскуда! — вскричал дядя Валя, рванулся, роняя посуду с подноса, к Шубникову, успел подхватить хрустальный бокал и плеснул шампанское в лицо Шубникову. — Паскуда! — кричал он. — Фальшивомонетчик! Возьми бункер себе! Верни мне душу!

Женщины в кимоно, сейчас же оказавшиеся рядом, бережно, но и мужественно взяли Валентина Федоровича под руки и повлекли к запасному выходу, никто не бросился ему на помощь, не залаяла собака, доносились лишь слова уводимого с почетом Валентина Федо-

ровича: «Выдворят тебя из Останкина, вышвырнут... И этих стерв!..» «Надо же, с цепи сорвался!» — вынырнул откуда-то с полотенцем в руке директор Голушкин. Но капли и струи шампанского с лица гардемарина уже нежно снимала батистовым платком Тамара Семеновна. А Любовь Николаевна постукивала хлыстом по сапогу и улыбалась уголками рта.

Ученики уже выстраивались для фигур краковяка, выходка дяди Вали, возможно, удивила танцоров, но не настолько, чтобы отвлечь от их интересов: мало ли в нашем городе отыскивается дурно воспитанных людей и смутьянов. К тому же шампанское плеснули в лицо не им. Но за колоннами у парадных дверей возникло какое-то движение и шум. «Места, что ли, на скачках объявляют?» — сообразил Голушкин и поспешил к дверям. Распорядитель дал знак. Черед полковой музыки, и она заглушила все в зале. Краковяк понесся буйный и неистовый, но в развитии его вдруг вышла заминка, а потом, после истошного возгласа или воинственного кровожадного клича, красота и гармония танца были разрушены, патрицианское собрание стало бушующей толпой. Начался и рукопашный бой. «Круги поссо-рились из-за мест...» — сказала побледневшая Тамара Семеновна. Распорядитель взмахивал руками, полагая, что воспоминание о краковяке или хотя бы о менуэте облагоразумит драчунов, возвратит им поэтическое состояние душ, возродит в них артистов, но взмахи его были лишь ложно истолкованы музыкантами, а потому зазвучали сначала скрипки, а затем и промышленный ансамбль с электрической аппаратурой. Не было понимания на паркете, не было понимания на хорах и на балконе. Духовой оркестр дул краковяк, бессарабские скрипки взвились мольбой, пересыпанной, впрочем, дерibasовскими шутками о ниспослании дождя выгоревшим буджакским степям, а электрические музыканты опрокинули на толпу веселье заказываемой им по средам за двадцать пять рублей песни «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела». Однако внизу была своя музыка и свои слова, безрассудство, опьянение амбициями правило там бал. «Стыд-то какой! — шептала Тамара Семеновна. — Безумие какое!» Трещали фалды и рюши, сыпались на пол жемчуга, серебряные браслеты сингапурских часов, заколки слоновой кости из растрепанных вражьими когтями волос, кусочки коралла с золотых цепочек, выскакивали пластины паркета, выбитые тяжелыми ногами, на мраморе колонн виднелись царапины будто бы от сабель, опадали граненые подвески люстр, апельсиновые женщины из бассейна Христа Спасителя, уж на что добродушные, и те с туфлями в руках каблучками вперед наступали на растрепавшегося Росинанта и учеников семнадцатой группы, супруги Лошаки, только теперь замеченные Шубниковым, схватив по стулу, громили предсказателей погоды, столбовой толкователь на экране заморских оскалов и гримас совал головой в зеркала селезневского банщика и орал: «Твои места в секторах «У», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», а ты дачу рядом со мной строишь!» У иных на лицах были кровь и ссадины, иные волочили ноги, в чих-то руках увиделись Шубникову ножи, кастеты, разводные ключи. А сверху по-прежнему падали звуки — буханье тубы, удары медных тарелок, ехидные укоры скрипок, издевательские электрические искажения трепака. И вдруг, к ужасу Шубникова, из толчеи стали выскакивать тугие кислородные подушки, растянутые бандажные пояса, протезы ног и рук, согнутые в металлических суставах, надутые эластичные чулки для страдающих тромбозом. Они плясали, дергались над толпой, их становилось все больше и больше.

Оставаться в зале Шубников уже не мог. «Мерзость какая! — думал он. — Какие ничтожества! И ради них я был готов вырвать сердце!» В коридоре его догнал Перегонов. Он не был похож на только что дремавшего человека.

— Ну-ну, — сказал Перегонов. — Ну-ну.

Ночью Шубникову снились угрюмые сны.

Будто в зале с колоннами его терзала толпа, требовавшая: «Пандейру!» Нет, это были и не сны. Заснуть Шубников, казалось, не мог. Он боялся гасить свет, лежал на диване, не сняв костюм гардемарина, но все же проваливался в дремоты, и тогда в пустом и отчего-то сыром зале изо всех щелей, из потаенных мест, из царяпин на колоннах, из-под пластин паркета начинали вылезать ученики благонаправленных занятий и бросались на Шубникова. Требование пандейры оказывалось для них лишь поводом, им был нужен он, Шубников, весь и по частям, его тело, его внутренности, его легкие и его кишки, его сосуды, его сухожилия... Шубников вздрагивал, стонал, открывал глаза в ужасе, сердце его колотилось. Ему казалось, что жизнь его вот-вот прекратится. Мардария или не было в доме, или он затаился где-то, напуганный возвратившимся со службы гардемаринном.

Утром к Шубникову пришло желание жить аскетом, и он постановил: спать отныне на солдатской постели, укрываясь одной лишь шинелью. Он посмотрелся на фраки, манишки, ожерелья, кулоны, браслеты и хлысты. Нога его более не ступит на камни дворцовых лестниц. Все женщины — интриганки с беличьими мозгами, Любовь Николаевна и Тамара Семеновна в их числе. Он подумал даже о том, чтобы спать на досках с гвоздями, но посчитал, что это излишне, что Рахметову они понадобятся не для аскезы и страданий, а для житейского спора, ради приключений, собственных времени. К досаде своей, Шубников вспомнил, что кровать с металлической сеткой Мардарий, проголодавшись, может и изжевать, а диван он не трогал, и Шубников решил ночевать и думать лежа на диване, однако имея одну лишь солдатскую шинель. Собравшись же уходить из дома, Шубников понял, что носить теперь будет ватник. Однако ватника в доме не было, и его пришлось востребовать известным способом. «В последний раз», — уверил себя Шубников.

О своем намерении удалиться от дел он полагал объявить Голушкину сразу же. Но, приняв его, неожиданно отдал распоряжение, не совпадающее с гордым решением: «Уберите все эти ампиры, все эти канделябры и жирандоли. Кабинет должен быть строгим и соответствовать времени». Директор Голушкин, не дождаввшись выговоров и укоров, стал каяться. Да, он совершил ошибку, согласившись разрешить подсобному рабочему Зотову прислуживать на балу, уж больно тот упрашивал об этом, и вот такой скандал. «А-а-а... — протянул Шубников равнодушно. — Он что, и теперь буянит?» «Нет, — сказал Голушкин. — Не буянит. Ходит тихий. Убрать его?» «Ни в коем случае, — сказал Шубников. — Пусть ходит тихий». «О том, как закончились вчера занятия с погружением, вам доложит староста. Но она сейчас на Королевских скачках». «Хорошо», — кивнул Шубников.

Голушкин разъярил себе и ватник, и удаление жирандолей, и утреннюю апатию Шубникова, а потому незамедлительно разложил на столе документы, эскизы, сметы, имеющие отношение к народному гулянию на улице Королева. Шубников сначала встал как бы нехотя, потом тоже как бы с ленцой снял ватник, а через три минуты преобразился. Он не мог удалиться в частную жизнь, не устроив грандиозное для Останкина зрелище с балаганами, каруселями и фейерверками. Заказчики с водонапорной башни прекратили сомневаться, в особенности когда узнали об интересах Института хвостов, их даже обидело намерение Института хвостов отменить их. «Средства они уже внесли», — сообщил Голушкин и стал рассказывать о проблемах депозитария имени Третьяковской галереи, а Шубников все любовался эскизом двухэтажной карусели — самоката с вертящимся фонарем-чебуречной. «Что, что?» — переспросил Шубников. «Такое стали в депозитарий закладывать, что не

по себе бывает», — сказал Голушкин. «И что же такое?» «Души предлагают, я советую этим острякам обращаться по иному адресу, хотя бы на Лысую гору или в Лейпциг, в известный кабачок...» «Напрасно, — серьезно сказал Шубников. — Души принимайте в заклад». «Да?» — обеспокоенно взглянул на него Голушкин. «Безо' всяких сомнений. Еще что предлагают?» — «Все чрезвычайно невещественное. Скажем, муки совести. Или воздушный поцелуй актрисы Неёловой. И такое, о чем неприятно говорить. Память о матери. Или — любовь к отечеству». — «Воздушный поцелуй оставьте поклоннику актрисы. А все остальное берите, но при строжайшем соблюдении документации». «Есть заявки на переселение душ. Просьбы интимных свойств», — подал новую бумагу Голушкин. «Это ваша компетенция», — сказал Шубников. — Переселите несколько штук для пробы. Свалим гулянье и займемся проблемами переселения душ». Шубников взял панорамный эскиз, на котором от башни и до станции метро бродили толпы. «Вот смотрите: гуляют, кушают бублики и поют». «Народ, который поет и пляшет, зла не думает», — сказал Голушкин. «Это вы к чему?» — удивился Шубников. «Это не я, — объяснил Голушкин. — Это Екатерина, которая Вторая». «Полагаю, что женщина заблуждалась», — покачал головой Шубников. «Вас поджидает помощник по текстам», — уходя, сообщил Голушкин.

Вот уж Игорь Борисович Каштанов вовсе не нужен был нынче Шубникову! Каштанов вошел чистый, новенький, расплатившийся недавно с досадными долгами, частными и государственными, пахнущий детским мылом. Сказал:

— Я хотел поговорить с тобой по-дружески...

— По-дружески — в другие часы и при других обстоятельствах. Но что-то я не помню, чтобы мы с вами были когда-то особенными друзьями.

— Но я... Все-таки я не самый последний человек здесь... Я ведь при... вас... министр словесности, что ли. И не одной лишь словесности. Я и пропагандирую дело...

— Ладно, говорите. Но я ценю ваше время.

— Тогда я обращусь к вам в другие часы и при других обстоятельствах.

— Не устраивайте сцен. Если у вас есть соображения по службе, выкладывайте их теперь.

— Вестник с приложением.

— Как понимать?

Понимать следовало так. Пришла пора Палате Останкинских Польз иметь собственное издание. Предположим, вестник. Издание серьезное, с информацией, литературными и критическими материалами, с останкинскими детективами, с выкройками и кроссвордами, но и с иллюстрациями. Он, Каштанов, знаком с практикой подобных изданий, сам возглавлял журнал с картинками после выпуска из института, который, кстати, как всем известно, кончал художественный руководитель Палаты. «Мне, к счастью, не дали закончить этот ваш Оксфорд», — надменно напомнил Шубников. Каштанов было замаялся, но продолжил излагать соображения. Так вот, без сомнения Палата будет располагать куда более богатыми полиграфическими возможностями, нежели не только какие-то задрипанные «Футболы — хоккеи», «Экраны», «Штерны», «Плейбой», но даже и само «Здоровье». Вестнику Палаты не помешало бы и приложение, лучше — еженедельное. Скажем, в вестнике можно было бы из номера в номер давать репортажи о ходе экспедиции парохода «Стефан Баторий». «Еще не началась навигация», — заметил Шубников. Но ведь начнется, пообещал ему Каштанов, и тогда репортажи с должданым концом объединятся в документальную повесть, ей и будет отведен специальный выпуск. Или вот в Останкине, а также на Мещанских улицах, на Сретенке, в Марьиной роще и в Ростокине ходят легенды о «Записке»

художественного руководителя Палаты, но народ не имеет возможности ее прочесть, слухи же о ней и отрывочные сведения из «Записки», передаваемые из уст в уста, могут привести к недоразумениям, искажениям реальности, а потому и к недостатку общественной пользы. «Записку» несомненно надо опубликовать в вестнике, а потом или даже одновременно издать приложением на мелованой бумаге и в телячьей коже, Институт хвостов вряд ли откажет в содействии. И конечно, в вестнике найдется место для биографии художественного руководителя или — лучше! — для обширного автобиографического документа, для хроникальных и портретных фотографий, для публикации речей, посланий и творческих распоряжений с видеоприложением в кассетах. «Ну уж это слишком...» — неуверенно произнес Шубников. Усмотрев упрек в этих словах, Каштанов стал говорить о жанровой широте вестника. В частности, на его взгляд, можно было публиковать в вестнике исповеди привидений, заложенных в депозитарий душ или душ переселенных, записки наемного кота доктора Шполянова или, скажем, жизнеописание Валентина Федоровича Зотова с его отважными фантазиями.

Шубников нахмурился, сказал:

— Все материалы по вестнику и приложению передайте машинам Бурлакина для расчетов.

— Надо бы дать название, — сказал Каштанов. — «Останкинские куранты» или «От Останкина до Марьиной рощи»...

— К названию вернемся позже, — заключил Шубников.

— Вы недовольны тем, что я сижу на уроках погрусветов? — помолчав, спросил Каштанов.

— На уроках кого?

— Погрусветов. Термин экспедитора Ладошина. Но привился. Погружение в Свет. Нас же зовут пользунами.

— Ваше дело, где вам сидеть. Может, и там ваше место.

— Я пытаюсь противопоставить истинную культуру напору Сухостоева, этого вурдалака с замашками лирического поэта. Он сокрушает ужасами литобъединения «Борец» хрупкие и незрелые натуры учеников, — сказал Каштанов, как бы оправдываясь.

— Высказывание Тончи вы предложили как тему?

— Историк Прикрытьев. Но Тончи, хоть и писал всякую чушь, личность занятая. И хороший художник. Судя по репродукции державинского портрета. В его истории более всего меня тронули шуба и шапка Гаврилы Романовича на портрете. Даже не шуба и шапка сами по себе, а тот факт, что богачей Сибиряков прислал из Иркутска поэту соболью шубу и шапку как благодарность за тексты. Где нынче подобные читатели? Сейчас если и пришлют тебе что, так это просьбу одолжить пять рублей.

Не об отсутствии ли собственной собольей шубы и шапки грустил теперь Игорь Борисович Каштанов? Впрочем, взгляд его наткнулся на ватник Шубникова, и Каштанов зашепел:

— Все. Вестник с приложением, думаю, сразу станет дефицитом. Спасибо за разговор и понимание.

«Пользуны, — пробормотал Шубников, — погрусветы...» А кто, по терминологии Ладошина, люди, в чьем стане силовой акробат Перегонов?.. Свежие сведения о погрусветах Шубников узнал лишь на следующий день, когда его посетила Тамара Семеновна. Слово «погрусветы» ее не обидело, она его знала, неологизм Ладошина применялся уже и в опорных бумагах занятий, заметно облегчая делопроизводство. Тамара Семеновна опять пришла к Шубникову в матроске и с синими бантами в кошечках. Не раз ее речь украшало слово «пардон». Ученикам стыдно, и они передавали Шубникову свои извинения. Вчера состоялись Королевские скачки, на трибунах ученики вели себя удивительно благородно. Все сидели на предложенных им местах, не роптали. Дамы же, за редким исключением, радовались доставшимся

им шляпам. «Надеюсь,— осторожно поинтересовался Шубников,— у прелестной старосты потока не было причин недовольства своей шляпой?» «Да, не было,— смутилась Тамара Семеновна.— Мне преподнесли шляпу в виде трехмачтового фрегата. Она получила первый приз». Потом Тамара Семеновна добавила, взглянув на Шубникова: «А Любовь Николаевна была без шляпы...» То ли недоумение, то ли сожаление о чем-то прозвучало в ее словах. «Ученики хоть знают, какие им нужны пандейро?» — спросил Шубников. «Каждому свое,— уклончиво ответила Тамара Семеновна.— Они объяснят...» Раз объяснят, кивнул Шубников, им, что надо, и выдадут. А вот о каких портретах возмечтали ученики, Тамара Семеновна рассказала: для них, пожалуй, важна была не точная передача всех подробностей их лиц и фигур, а нечто другое. Лицо-то и фигуру могут запечатлеть и фотоаппараты. Конечно, многие не отказались бы иметь дома собственные образы, как бы предназначенные вечности и более возвышенные, что ли, нежели те, какие они, ученики, могли явить натурой в будние дни. Но, главное, имелось у них — не у всех, далеко не у всех — и нечто дорогое, милое душе, что они в силу разнообразных причин не могли каждый день открывать обществу. А на портретах открыть это дорогое (или попросту заставить ахнуть приятельницу с Маросейки) было вполне можно. И тут уж потребовалось от мастеров кисти лактионовское умение передать каждую ворсинку аукционных мехов на белых плечах, каждый отблик гранатового ожерелья на драгоценной шее, блеск золотого с бриллиантами медальона меж пламенных грудей, переливы полосок на муаровых лентах. «И что все эти разночинцы поперли на занятия с погружением?» — подумал Шубников не в первый раз. Тамара Семеновна не бралась говорить о всех, она не знала, что у каждого в тайниках и погребках, но, наверное, цели и причины тут разные: кого подтолкнули к занятиям собственные несовершенства, кто не захотел отстать от знакомых, кому занятия припрогнозировали в очереди хлопобудов. Впрочем, она не знает, и не ее это дело. Шубников решил не лезть ей в душу и тем более не спрашивать, отчего она сама затеяла занятия с погружением. Бурлакинские устройства и игрушки с электронными мозгами на все ему могли ответить. Шубников лишь заметил, что его вопросы или недоумения связаны с односторонним, на его взгляд, направлением занятий, чуть ли не мемориальным, чуть ли не музейным. Отчего в учебной программе нет связей с житейской практикой и нравами конца столетия: наш век кое-что изменил и придумал в светских отношениях, а уж наползает третье тысячелетие. Тамара Семеновна разволновалась и вступила в полемику с Шубниковым. Основой образования для погрусветов, считала она, должно стать фундаментальное классическое наследие. К тому же пока ведь идет первый семестр, и, конечно, далее поводов говорить об отрыве учебы от задач живой действительности не будет. «Ну хорошо,— миролюбиво сказал Шубников.— Я ведь к тому: не затоптали бы потом наших выпускников другие светские львы и буйволы». «Наших не затопчут»,— уверила его Тамара Семеновна.

Тамаре Семеновне бы уйти, а она сидела и молчала. И Шубников молчал.

— Какой вы одинокий,— сказала Тамара Семеновна.— И как вы устали и озябли.

Шубников вскинул голову, посмотрел на Тамару Семеновну. «У нее домашние, уютные, сладкие щеки,— подумал Шубников,— от них будет тепло...» Он знал, что удивления: «Какой вы одинокий» и «Как вы устали» — высказывались еще в пору кремневых наконецников копий, знал и к чему они приводили. Однако теперь он был убежден, что слова эти прозвучали впервые и единственно ради него. Тамара Семеновна поднялась, подошла к Шубникову, стала гладить его волосы, смотрела на одинокого и уставшего с жалостью старшей сестры или

матери, она понимала его и сострадала ему. Она верила ему. Шубников обнял синюю юбку матроски, прижался к ногам Тамары Семеновны, чувствовал ее жар и ее стремление к нему. Ничто его не страшило, ничто не могло остановить.

Раздался звонок. Любовь Николаевна приглашала Шубникова к себе в светелку. Шубников хотел было выругаться в трубку, но обернулся. Тамары Семеновны не было в кабинете. Пришлось вызывать извозчика Тарабанько и ехать на станцию Трудовую.

Ехал Шубников воинственный, был готов устроить скандал в светелке или учинить допрос, и уж во всяком случае выразить презрение к загульной даме. Но ни скандала, ни допроса не произошло. Любовь Николаевна поставила себя так, что Шубников тут же ощутил ее превосходство и свою заинтересованность в ней. Забитым мужиком при властной, своевольной бабе показался Шубников сам себе. В подполье его, в сыром, заплесневелом углу его тотчас завозилось возмущение, заерзало мечтание поставить Любовь Николаевну на место, да еще и унижить ее именно как бабу. Впрочем, Любовь Николаевна дала понять Шубникову, что ни на какое превосходство она не претендует, что она по-прежнему раба и берегиня, а уж потом подруга, сподвижница и компаньон. В нечаянном же отсутствии ее Шубников не должен видеть обиды, по правилам ее поведения она обязана в любой миг чутя желания и состояния пайщиков кашинской бутылки, но вовсе не обязательно ее присутствие вблизи их. Она и прежде по необходимости пропадала, но никто на нее не ворчал и не дулся (для Шубникова этим «никто» был, конечно, гадкий аптекарь Михаил Никифорович, до сих пор не сгинувший), и в будущем ей, несомненно, придется пропадать. О бале она знала, но опоздала и не успела переодеться, здесь она виновата, но, впрочем, как она поняла, было кому пройти в первой паре под руку с гардемаринном. «Ох и шалун!», — лукаво улыбнулась Любовь Николаевна и погрозила Шубникову пальцем. Напрягшийся было Шубников стал уверять ее, что она заблуждается, что он прост и прямодушен и весь здесь — в светелке. «Шалун! Шалун! — укоризненно улыбалась Любовь Николаевна. — Но я-то ведь не собственница с острогом, я не держу...» Волновался он, переживал, рассказывал ей Шубников, скучал без нее и боялся за нее, боялся, как бы не полонили ее лихие разбойники, как бы не стали ее пытать и мучать с намерением сломить и прибрать в свой стан. «Успокойтесь, — посерьезнев, сказала Любовь Николаевна. — Здесь полонить и сломить меня никто не может. Если только...» «Что — если только?» «Нет, ничего, забудьте».

Шубникову казалось: Любовь Николаевна как женщина должна в нем нуждаться, тем более что начался апрель, но пылости Шубников не ощущал в Любви Николаевне. Она была с ним — и в отдалении от него. Это Шубникова сердило. Потребовать же установить какую-либо определенность в их с ней вечерних отношениях Шубников не желал из опаски увязнуть в них, потерять себя или даже попасть в капкан. Да и вдруг Любви Николаевне предстояло на его глазах превратиться в лягушку, или в склизкую медузу, или в жидкость, схожую по свойствам с серной кислотой, или в металлическую рухлядь с электронной начинкой. Шубников посчитал, что при поездках в светелку для него главное — держать ситуацию в руках. В ситуации эту, приоткрыв дверь и перешагнув порог, уже вступала Тамара Семеновна. Но женщины, пусть и две, постановил Шубников, в грядущих его делах должны были находиться в обозе. Зная об этом, Шубникову бы не нервничать и не раздражаться в светелке. А он порой все же раздражался. В особенности когда Любовь Николаевна (молчание ее он переносил, привык, ладно) глазами и мыслями уходила куда-то в дали дальние, недоступные ему, а он сидел рядом дурак дураком. О чем-то она грустила все чаще и чаще, из-за чего-то маялась, изводила себя, но ему ничего не открывала. Шубников готов был бегать

по светелке и кричать что-то. Однажды он вскочил и именно закричал. Кричал о том, что ему мешает аптека или всякие аптекари, что не только рукопашная на балу расстроила его, пусть бы и дрались эти идиоты, их дело, его оскорбило издевательство аптеки, пляски и колыхания над толпой непрошенных кислородных подушек, бандажных поясов, чулок для тромбозов ног, и если это допустит Любовь Николаевна, он устроит такое, что все Останкино, все Останкино, все Останкино!.. «Успокойтесь,— холодно сказала Любовь Николаевна.— Я приняла ваши слова к сведению».

А как тем временем поживал Михаил Никифорович, не забытый Шубниковым, но забытый нами? Утренний полив цветов на подоконниках стал для Михаила Никифоровича ритуальным действием. Он и желал бы отторгнуть от себя Любовь Николаевну (или себя от нее), но не получалось. Выходило, что в своей жизни Михаил Никифорович привязался к женщине эдак впервые. То, что Любовь Николаевна его покинула, было справедливо. Тоску же, считал Михаил Никифорович, возбуждали дурные стороны его натуры. Умный человек назвал любовь возвышенной формой собственности, ревность же и страдание покинутого любовника, по его мнению, вызывались уворованной собственностью. Раз ты такой дурной, говорил себе Михаил Никифорович, то и терпи.

Ему рассказывали про Палату Останкинских Польз, а он не хотел про нее слушать. Многие из его знакомых ринулись туда (иные по приказу жен) и были там при интересах и при деле. Однако подходили к Михаилу Никифоровичу и люди, возмущенные Шубниковым и Палатой, летчик Герман Молодцов в их числе. Они требовали от Михаила Никифоровича прекратить безобразия. Михаил Никифорович хмурился, противодействие его Шубникову теперь могло быть понято и истолковано в одном смысле. Но, может быть, Любови Николаевне понадобился поединок у подножья трона? Да и отчего же поединок, отчего же не турнир? Нет, так думать о ней Михаил Никифорович не хотел. И он все же по-прежнему считал Шубникова человеком-пустяковиной, пустозвоном и безобидным арапом, а потому полагал, что бед и досад Останкину он не причинит. На его памяти Шубников не был постоянен в увлечениях, все ему быстро наскучивало, должна была скоро наскучить и Палата Останкинских Польз. Что же пока происходит в Палате и как, Михаил Никифорович знать не желал. Лишь об одном он бы спросил осведомленного человека: а напевает ли сейчас при случаях Любовь Николаевна и что напевает? Как будто бы нечто зависело от того, напевает она или нет...

В апрельский день Михаил Никифорович поехал в Сокольники на выставку «Фармацевтика Югославии». Там в чистом, как коробка для шприцев, павильоне, переходя от стенда фирмы «Пливо» (антибиотики) к стенду фирмы «Галеника» (сердце, сосуды), он наткнулся на харьковского однокашника Сергея Батурина. Прошлым летом посидели они в шашлычной, повздорили из-за слов, разошлись каждый со своими правдами и с тех пор не встречались. «Не надумал к нам в лабораторию?»— шумно спросил Батурина. «Нет,— сказал Михаил Никифорович.— Пока не надумал». «Все еще намерен спорить с утверждением мудрецов: «В саду от смерти нет трав?»» «Что толку с ним спорить»,— вздохнул Михаил Никифорович. «В саду от смерти нет трав»,— повторял он потом. И вспоминал Любовь Николаевну, призывавшую их к подвигам. Горько было Михаилу Никифоровичу. Он долго еще бездумно бродил аллеями Сокольников. А дома его ждало письмо от матери. Матушка писала, что надумала поехать погостить к Павлу, среднему сыну, в Ленинград, давно обещала и Павлу, и невестке, и внукам и вот поедет. Под май она вернется в Ельховку, чтобы все посадить в огороде, и надеется, что по дороге домой на день-два сможет заглянуть к нему в Москву. Обрадованный

Михаил Никифорович вспоминал свой дом, представлял, как хлопотала мать, собирая гостинцы внукам, думал, как принять ее и что бы устроить ей в Москве ладное и хорошее...

51

Гулянья предстояли через пять дней, а Шубников ходил злой. Как было на улице Королева Поле Дураков, так оно и осталось. Ветры здесь гуляли и волки выли. Шубников утешал себя: так всегда перед премьерой, ничего нет, актеры бездари и спились, но занавес в семь часов раздвигается. И нельзя сказать, что на улице Королева и на прочих выбранных Шубниковым площадках вовсе ничего не делалось, нет, здесь стучали молотки и визжали электропилы, вертолеты опускали фермы, мачты, ячейки покрытий, желтые искры рассыпали сварщики, но все шло не так, как бы хотелось метавшемуся по Останкину художественному руководителю. Метался он в ватнике, метался в упоении устройством и режиссурой праздника и проклинал всех, при случаях и себя. В конце концов все декорации, строения и аттракционы, все, все могло бы явиться и ночью в канун гулянья в единое мгновение по его, Шубникова, запросу, но тогда бы вышло, что сам он — лодырь, лежебока, несостоятельный мастер, способный лишь на веление. Нет, он должен был все устраивать сам, тем более что люди и силы в городе были, их только следовало взъерошить и впрячь в дело.

Но с кем взъерошивать и запрягать, если его окружали идиоты? Худо выходило с пожарниками. Тем, на которых надеялись, предстояло в горячие на улице Королева дни быть на вахте или на учениях. «А какие тут могут быть льды? — сказал Голушкин. — Жара стоит июльская. Я парюсь в тенниске. Льдов теперь никаких быть не может». «Что?! — грозно, с актерским преувеличением грозности спросил Шубников. — Льды будут! Ледяные горы и дворцы есть в контракте, и они должны быть, даже если завтра здесь начнет протекать река Лимпопо. Иначе мы позорные люди! Взались делать — извольте делать!» Представитель водонапорной башни, два месяца назад заказавший гулянье сотрудииков на природе, был скромнен в запросах и ни о каких ледяных дворцах речи не вел. Единственно он просил о том, чтобы гулянье хоть немногим напомнило известные по литературе весенние чаепития в Марьиной роще. Теперь в Марьиной роще все застроено, порабощено кирпичом, там не только что пить чай, там и шпроту негде съесть с дамой на природе. «А народ у нас хороший, — сказал представитель, — отзывчивый на все мероприятия». Шубников тогда мгновенно вспыхнул, размечтался, бегал по кабинету, взмахивал руками, приводил представителя водонапорной башни в восторги и ужасы картинами народного гулянья. А вспомнив о сотворенных в Саппоро пожарниками ледяных дворцах, уговорил представителя вставить в контракт ледяные горы и дворцы.

«Можно найти людей взамен пожарников», — предположил Голушкин. «Взамен пожарников найти никого нельзя», — сказал Шубников. «Ну если не взамен, то помимо... А то вот просятся». «Кто просится?» Уважительно просилась витаминная, вкусная и солидная фирма, ближняя овощная база. Она бы хотела стать участником праздника на правах третьего триумфатора. База предлагала и помощь в подготовительных работах, ей ничего не стоило вызвать на перетруску чеснока сколько хочешь и каких хочешь специалистов, можно кандидатов, можно докторов, можно академиков, можно скрипачей, и направить их на улицу Королева. Имелись на базе ледники и холодильные установки.

«Это ценно, — согласился Шубников. — Но три триумфа для одного вечера много. А что же они раньше терпели?» «Только теперь сняты путы с поводов для триумфа». «В следующий раз. Заявку от них при-

мите. А на гулянье мы их допустим. Пусть себе гуляют в первых рядах». «Значит, если согласятся на простое гулянье,— сказал Голушкин,— мы потребуем работников с перетруски чеснока. И попросим фрукты для гуляющих». «И семечки». «Семечек у них может не быть»,— обеспокоился Голушкин. «Пусть достают!— решительно сказал Шубников.— И побольше! Жареных и каленых!» «Жареных и каленых...— записал Голушкин.— Ну вот, отыскались работники на льды. Если уж вам так любезны льды». «Но руководить этими работниками должны пожарники. Не трудитесь противоречить. В контракте записаны пожарники, а не перетрусчики чеснока, хоть бы и скрипачи».

Непоколебимая вера в то, что наши пожарники ничем не хуже японских, тем более из их японского, северного, захоластья, сладостно и ревниво существовала в Шубникове независимо от контракта с водонапорной башней. «Такой каприз!— сказал Шубников.— Уважьте. А что же, и Васька Пугач пропал?» Стараниями экспедитора Ладошина пожарный водитель Василий Пугач был найден. На три дня он мог предоставить себя в начальники ледяного строительства. На вопрос, не может ли он наскрести еще хотя бы пяток пожарников для руководства, Васька, заготовав, ответил, что может. Однако сказал, что пожарники-то они пожарники, но бывшие, один теперь водит ассенизационную машину, другой грузит на комбинате красную рыбу и копченых лещей. И так далее. Но в душе все они остались пожарниками.

— Выбраковали их, что ли? — спросил Голушкин.

— Ну выбраковали,— процедил сквозь зубы Васька и взглянул на Голушкина с интересом: а хочешь, и тебя выбракуем?

— Василий,— сказал Шубников,— ты читал эпитафию на могиле пожарника?

— Ну?! — удивился Васька Пугач.— Какую эпитафию?

— Известную. «Сорок лет стоял на башне, так и умер не едавши». У тебя эпитафия будет хуже.

— Вот дурень! — рассмеялся Васька.— Я же не на башне, я в кабине!

Постановили: Васька Пугач и пятеро его приятелей, все с несгораемыми усами, станут ледовыми зодчими безвозмездно, их лишь предстоит кормить и поить, чтобы не схватили в жаркие дни у льдов расстройство желудка. И ни в коем случае эти пятеро приятелей никому не должны, даже и за понюшку табаку, открывать, что пожарники они бывшие. Мало ли ведь какие агенты будут шнырять в эти дни в Останкине. «Все путем!— заготовал Васька Пугач.— Череп ты мой горелый! Да мы такие дворцы наворочаем, что эти самураи запрыгают!» «И ледяные горы»,— хмуро добавил Шубников.

После ухода Васьки Пугача Шубников раскричался на Ладошина и Голушкина. Что за разгильдяйство! Что за легкомыслие! Ведь сто раз говорил о льдах и пожарниках — и эдакий провал. И все так! И всегда так! Обиженный Голушкин стал говорить, что пока он не давал поводов для крика, исполнял свою службу с усердием и толком и, если им недовольны, готов подать в отставку. Шубников выгнал Голушкина и Ладошина на площадки, но досада не была исчерпана, требовалось разрядиться на ком-либо, и Шубников вызвал Бурлакина.

— И у тебя такой же бардак, как у всех?

— Я кричать тоже умею,— сказал Бурлакин.— А голос у меня от природы громче. Другое дело, ты более актер.

— Хорошо,— утих Шубников.— Докладывай.

— Возьми вместо меня пиротехника-исполнителя. Пусть он к тебе и бегает с докладами и за распоряжениями. А как я исполню задачу — мое дело. Я не подведу.

— Но и не доверишь мне свои сюрпризы и тайны?

— Чепуха,— нахмурился Бурлакин.— Никаких тайн нет.

— Однако о них уже идет молва.

— Глупая, стало быть, молва. Решения у нас заурядные. При Петре Великом мастера были куда изобретательнее. Мы забыли их ремесло и дерзость. Кстати, для триумфа водонапорной башни мне нужны уточнения. Там два пункта. Сто двенадцать лет башне. Так? И рекорд в напоре воды. Какой именно рекорд?

— Я не помню,— поморщился Шубников.— Рекорд и есть рекорд, не важно какой.

— Мне важно,— сказал Бурлакин.— Дай мне точные данные, какой объем башни, какой напор, давление, сколько пролито воды за сто двенадцать лет, сколько...

— Дадут тебе, дадут! Не зуди!

— Какой у башни вид? Где стоит она?

— Откуда я знаю, где она стоит! — возмутился Шубников.— Стоит и стоит. У какого-то моста. Или путепровода.

— Ты неконкретный человек,— покачал головой Бурлакин.

— Для конкретностей есть мелкие, бескрылые служащие!

— Ты вообще неконкретный человек,— сказал Бурлакин.— И это плохо. И для меня. И для тебя. И для всех. Тебя увлекает лишь сам ход дела, процесс, игра, авантюра, лепка ситуации, мечтание о чем-то, что получится и сотворится, а что именно получится и сотворится — об этом ты не имеешь никакого представления да и не хочешь иметь, чтобы не заскучать или не разочароваться раньше времени, а между тем выходят глупости либо гадости, какие можно было бы предугадать или вычислить.

— Я — творец! — высокомерно воскликнул Шубников.— Пусть вычисляет ваша наука.

— Какой ты творец! Ты недоучка и игрок, которому долго не везло по мелочам. Но вырастет у тебя седая полынть.

— Какая же полынть вырастет в день с фейерверками?

— В этот день — не самая горькая. Этот-то день промежуточный. Но драки, перебранки и скандалы ожидать можно.

— Только-то? — усмехнулся Шубников.— Это не причина для печалей. И полагаю, что драк и перебранок не случится. Есть кому постеречь спокойствие. А не хватает сторожей — наксерим. Иногда необходимы и персонажи одноразового использования.

— Их надо отменить вовсе, молодцев и девушек в киноно.

— Ба! — чуть ли не обрадовался Шубников.— А кто же это придумал и завел, не напомнишь?

— Я,— сказал Бурлакин.— Но был беззаботен или безрассуден. Придумал их ради шутки, как пародию. Теперь вижу, что они способны принести лишь пагубы и порчи. Они саморазвиваются и еще возьмут Палату в зависимость. Их необходимо отменить. Но это придется сделать тебе.

— А ты что же, устраняешь себя?

— Фейерверк — мое последнее дело на улице Цандера. Я уйду отсюда.

— Измена? Отступление? Или позорное бегство? — с издевкой спросил Шубников.

— Я не хочу более играть чужими игрушками,— сказал Бурлакин.— Или по-другому — играть на чужих инструментах.

— Моими, что ли? Или — на моих?

— В том-то и дело, что и не твоими. И не на твоих.

— Хорошо,— сказал Шубников.— Договорим после.

— Договорим. Каштанова ты ко мне присылал?

— С чем?

— С указанием, прозвучавшим, впрочем, просьбой. Восславить в небе тебя. Водонапорную башню, Институт хвостов и тебя. Выдан был даже текст бегущей в небе строки.

— Я его не присылал.

— Не присылал, значит, не присылал. Я пойду. И вот тебе смета на фейерверк. А с ней и список необходимого.

Смета и список озадачили Шубникова. В примечании Бурлакина утверждалось, что фейерверк и иллюминация на улице Королева должны превзойти огненные и световые эффекты триумфа Ништадтского мира. Но то празднование, успокаивал Бурлакин, было небогатым, а вот однажды только на храм Януса в небе Петербурга пошло двадцать тысяч огней, в небе же двигались и огненные воины, затворявшие дверь храма и подававшие друг другу руки. «Этак он нас разорит»,— подумал Шубников. Впрочем, средства он мог не жалеть, к тому же теперь его Палата соединилась делами со множеством контор и фирм, имевших деньги, какие неизвестно на что надо было тратить, деньги эти директор Голушкин научился, к удовольствию многих сторон, пускать в ход. Шубников умел на время забывать неприятности либо использовать их выгодно для себя, и он сразу как бы выпустил из памяти измену или отступление Бурлакина, а вот мысли об украшении неба похлестче, чем после Ништадтского мира, его возбудили.

С той минуты Шубников почти не сидел в кабинете, за пять дней он и домой забежал редко, не беседовал с Мардарием, совсем не спал, если и задремывал, то на сухих досках где-нибудь на площадке, положив под голову чужой ватник, пахнувший соляжкой или креозотом, ничего не ел, кроме яблок джонатан из рук Тамары Семеновны. Тамара Семеновна то и дело оказывалась вблизи Шубникова преданной сестрой добросердия, укладывала ватник под голову Шубникова, сидела рядом с тружеником, отгоняя от него шумы. В глазах ее Шубников заставлял умиление и был благодарен ей за то, что она не вступала с ним в разговоры, а быстро уходила куда-то, стараясь не быть навязчивой. Впрочем, когда Тамара Семеновна исчезала, он забывал о ней.

Шубникову нравились дни азарта. Да, он много бранился на площадках, кричал, называл виноватых и безвинных разгильдяями, барчуками, бездарями, которые все провалят, все пропьют и все разворуют, грозил, что сейчас же все бросит, но не бросал, а хватал пилу, молоток, рубанок, кисть, чтобы показать разгильдяям, барчукам, бездарям, как и что нужно делать, вставал под стрелу крана и под вертолетные стропы и указывал, куда опускать перекрытия, а куда насаживать карусельный круг с фигурами полицейских и грабителей. В те пять дней мелькали вблизи Шубникова знакомые лица, некоторые смутно ему известные, другие же — известные хорошо. Нашел Шубникова у костров Игорь Борисович Каштанов с макетом, а потом и с оттисками первого, но сразу же экстренного выпуска вестника «Останкинские триумфы». Шубников глядел на свои цветные портреты, читал, отчего-то без волнения, сигнальный экземпляр ожидаемой публички «Записки», листал составленный Игорем Борисовичем рекламный проспект «Переселенье душ не терпит суесть» и снова бросался к каруселям и балаганам. Перегонов был неоднократно замечен Шубниковым. В глазах Перегонова Шубников обнаруживал любопытство, будто бы тот нынче приценивался и соображал, а не поставить ли на него, Шубникова. Перегонов его не задира и не заставлял нервничать. Хитрил, возможно, и прикидывался простаком. Как бы не были им устроены взрывы в разгар гуляний. «Будем блюсти! — откликнулся на опасения Шубникова директор Голушкин. — Неприятных людей вообще можно будет не допустить». «Зачем же такие строгости?» — позволил себе быть просвещенным либералом Шубников. * Возле игровых аттракционов, игротек, кегельбана, полей для гольфа и крокета уже шастал хозяином патлатый верзила в очках тихого учителя профессор Чернуха-Стрижовский, привлеченный Шубниковым. Несколько удивило Шубникова присутствие при профессоре грудастого вурдалака Сухостоева с замашками лириче-

ского поэта и сорокалетних подростков, чьи зрачки в масленных глазах были странно расширены. «Наркоманы, что ли?— обеспокоился Шубников.— Ладно, разберемся».

Увеселительный городок вырос удивительно быстро. Директор Голушкин не мог не заметить, что на этот раз чаще обходились без известного рода запросов. Строительство происходило доступными и другим москвичам способами, до того, стало быть, Палата Останкинских Польз выросла в систему городских производственных отношений. Впрочем, она из нее и выросла. Другое дело, что всех возбудил, взвинтил, завел Шубников; именно его энергия, беготня, фантазии у костров, удачные распоряжения, порой и истерика дали предприятию счастливый ход. Мотором и заводилой проявил себя Шубников. Ай да он!

Но вот с капризом Шубникова удачи не было. Теплынь из заволжских степей, от миражей Павла Кузнецова, ворвалась в останкинскую реальность и впрямь июльская, ночами можно было спать во дворах, скверы улицы Королева зарастали травой, отцветали одуванчики. Лед ослушивался Шубникова и таял. В отчаянии пребывали юноши из МАРХИ, чьи проекты ледяных строений были утверждены художественным руководителем. Расстраивались и перетрусчики чеснока, предоставленные овощной базой, среди них кандидаты, доктора и члены-корреспонденты, а также артисты оркестров трех театров — скрипачи, альтисты, деревянные и медные духовики. Один лишь Васька Пугач оставался бодряком и уверял, что раз горы и дворцы нужны, значит, они и встанут.

Произошло так, как и предполагал Васька Пугач. Ледяные горы, дворцы, хижинки и монументы со студеными цветами вокруг встали на улице Королева. В гремящей суеде кануна гулянья, когда Шубникову опять пришлось швырять ватник на асфальт и топтать его ногами, он, изнуренный творческим беспокойством и всеобщей бездарностью, был вынужден пойти на крайний шаг — вытребовать горы и дворцы мысленным повелением. Увидев, как стал нарастать лед и принимать ожидаемые формы, Шубников рухнул у одного из костров и заснул. Когда же он проснулся при свете утра, саппорским зодчим был утерт нос. Возникли на льдах и скульптурные изображения, какие в эскизах не встречались и накануне Шубниковым заказаны не были. Скажем, здание, ставшее ледяной реконструкцией Парфенона, украсила скульптурная группа, несомненно отражавшая борение титанов античности (числом трех) с силами зла или коварными духами природы. Группа была трагически динамична и напомнила Шубникову об экспрессии «Лаокоона». Шубников увидел довольных юношей из МАРХИ с папками в руках и перетрусчиков чеснока, готовых вернуться на базу, но и те и другие казались отчего-то растерянными.

— А где Васька Пугач с ребятами?— спросил Шубников.

Директор Голушкин начал мычать что-то, в глаза Шубникову не глядя.

— Где Васька Пугач с ребятами? — переспросил Шубников.

— Да вон они!— выдохнул Голушкин и показал на скульптурную группу, украсившую Парфенон.— Сами хороши! Полезли куда не надо. Пытались вырваться, но мороз уже взял их.

— А где еще трое?

— Где-то в других дворцах.

— Надо их изъять и разморозить.

— Поздно,— сказал Голушкин.

— Что значит поздно?

— А то значит, что приемная комиссия все осмотрела, ощукала, приняла и подписала. Скульптура над Парфеноном одобрена, акт на руках у Ладошина.

— Какая приемная комиссия?

— Из Управления культуры. И еще откуда-то.

Приемная комиссия, которую никто не приглашал, явилась сама, пришла в восторг, намаявшегося художественного руководителя великодушно не стала будить и удалилась.

— Они пили что-нибудь?— мрачно спросил Шубников.

— Кто?

— Васька Пугач с работниками.

— Мадеру!— безнадежно махнул рукой Голушкин.— Мадера, видите ли, им понравилась.

Это известие не принесло Шубникову радости. Если бы он узнал, что Васька с приятелями для способствования работы употребили хотя бы антифриз, он бы несколько успокоился. А то ведь ледовые зодчие увлеклись мадерой, какая хороша для людей в белых панاماх на ялтинской набережной. Шубников рассердился и пригрозил кулаком центральной фигуре самозванной скульптурной группы. Сами виноваты, негодяи! Тотчас Шубников вспомнил средневековые легенды, по которым выходило, что для крепости, благолепия и удачливой судьбы зданий в их камнях полагалось замуровывать живьем пленников или городских красавиц. Пусть Васька Пугач хоть чему-нибудь послужит. А ледяные горы и дворцы в солнечных лучах, в нежной юной зелени стояли прекрасные. Массовое гулянье проводить вблизи них было не стыдно. Шубникову уже не терпелось начинать представление...

Я попал на гулянье, когда там уже все гудело и бурлило. Настроение у меня было скверное. Накануне я узнал, что Михаила Никифоровича телефонным звонком, а потом и телеграммой вызвали в Ленинград. Случилось несчастье. На ходу, на бегу, в гостях у среднего сына умерла мать Михаила Никифоровича. Я пошел к нему, застал в сборах. Спросил, какая нужна помощь. «Какая уж тут помощь,— сказал Михаил Никифорович.— От смерти нет в саду трав». Уход матери ошеломил его. Никаких предчувствий не предшествовало этому, никаких знаков судьба ему не подала. Мать жила семьдесят пять лет работницей на земле, считала себя здоровой и крепкой или старалась выглядеть такой для людей, в города к детям и внукам не переезжала. И вот в Ленинграде произошел у нее разрыв аорты. Теперь Михаил Никифорович казнил себя, будто бы он был виноват, что матери не стало. Но я знал, что его никак нельзя было отнести к черствым и бессовестным сыновьям. Кроме меня в его квартире были и другие люди, кто-то заметил, видимо в утешение Михаилу Никифоровичу, что смерть его матери в одночасье — счастливая и такую смерть можно пожелать. «Счастливых смертей не бывает»,— тихо сказал Михаил Никифорович. Я вызвался проводить его на вокзал, но Михаил Никифорович ушел из дому один. Может быть, ему хотелось, чтобы к вагону провожаемым явился (или скорее явилась) некто, видеть кого сейчас возле Михаила Никифоровича было бы нам странно. Может быть...

Я сидел дома, пообещав себе на улице Королева не ходить. Но любопытство подзуживало, я уговаривал себя не пропустить зрелище, какое, может, и не повторится, тем более что я был бы на нем не участником, а сторонним ротозеем. И я отправился на улицу Королева. Было уже десять часов.

Зрелище на самом деле открылось мне удивительное. Мне приходилось и прежде попадать на массовые гулянья. Но те гулянья были вялые, полусонные, двигались на них люди, чающие чего-то необыкновенного, что оправдало бы их приход в толпу, что подчинило бы всех, завертело и понесло куда-то в веселье и удали. Но плясали и пели лишь на концертных эстрадах, явно отбывая за плату номер, кого-то (и неумело) пытались рассмешить затейники, бранились пьяные, оживление возникало лишь в очереди за шашлыками, и не происходило ничего необыкновенного, что завертело и по-

несло бы всех куда-то. Нынче же в гвалте, в шуме, в волнах музыки публику именно вертело и несло. В глазах многих я наблюдал волнение и жажду что-нибудь добыть или урвать. А добыть или урвать было что. На великаньих вертелех, вращаясь, жарились телята, всюду били доступные гулявшим цветные фонтаны самых разных напитков. Ритмы движения людей (их, наверное, не вместили бы и Лужники) были карнавальными. Знакомые, не только из Останкина, но и из московских дальних западов и дальних востоков, попадались мне часто. А какое удовольствие получали, видно, любители ледяных гор! Раскрасневшиеся, шумные, забывшие о дневных заботах, слетали они из поднебесья по взблескивающим желобам — кто на санках, кто в бобах, кто на алюминиевых тазках. Впрочем, и вокруг были смех, игра электрических лучей, движение людей, разряженных и увлеченных преобразованиями останкинских ландшафтов. Вокруг все было живописно, пестро, голосисто. И вкусно пахло. Вращались карусели, взлетали на длинных балках кабины перекидных качелей, толпились зрители у входов в балаганы, в паноптикумы с показами землетрясений, пожаров, крушений кораблей, с похищениями премьер-министров, гремели металлические машины аттракционов из привозных луна-парков, пищали дурашливые и едкие петрушки, представлявшие комедь в разных углах, цыгане и сергачские укротители водили ученых топтыгиных, иных воспитанных и по правилам Сморгонской медвежьей академии, одинокий бродил верблюд, шарманщики исполняли шлягеры рок-ансамблей, их звуки не гибли от музыки десятка оркестров и хоров, усаженных в парковых раковинах, сбитенщики зазывали испить сбитень из медных баклаг, запахи горячего хлеба притягивали к столам с калачами, лавашем и чебуреками. Невдалеке от царьградского Ипподрома, выложенного из глыб льда, происходило конное ристалище, туда верхом на своей лошади проследовал Игорь Борисович Каштанов. Внимание публики привлекали силачи, канатоходцы и каскадеры. Среди каскадеров я увидел Петра Ивановича Дробного. Он рискованно лазал по ледяным уступам и скалам, срывался с крыш ледяных же пармских обителей, спасаясь от преследования ревнивцев, вот-вот должен был разбиться вдребезги, но в последний гибельный момент, совершив тройное сальто, попал в седло мотоцикла, приготовленного сообщниками, на мотоцикле же уезжал в безопасную для него жизнь. Позже я видел Дробного на новой площадке, там он, перепрыгивая через сталкивавшиеся автомобили, стрелял на лету в мессинских мафиози, троих укладывал, автомобили же немедленно взрывались. Совершенно неожиданно для меня выступал на подмостках доктор Шполянов. Он предстал перед публикой силачом, держал зубами пудовые гири, поднимал зубами же за ноги лилипутов, а потом, наглотавшись игральных карт, печени налимов, плакатов с изображениями троллейбусных билетов, выпускал изо рта зеленое пламя. Стало быть, и такие причуды и способности были открыты в докторе Шполянове.

Очереди выстраивались к шатрам звездочетов, от них за терпимую, как утверждали, плату можно было получить пророчества, гороскопы и денежные советы. Я был уверен, что обнаружу среди звездочетов знакомых, а может, и сокурсников по университету, но к шатрам я не пробился. К тому же мне показалось, что невдалеке мелькнула Любовь Николаевна. Мне захотелось сейчас же догнать ее, сказать о несчастье Михаила Никифоровича и посмотреть ей в глаза. Я мог наговорить ей и грубости. Но что бы дал теперь разговор с ней? Ничего бы не дал, кроме досад и глупостей. Да и Любовь ли Николаевна мелькнула впереди? Я все же бросился за ней, подлинной или мнимой, однако беготня моя превратилась в погоню Мизгирия за Снегурочкой. Лешим же, дразнившим меня, мог оказаться и воспитанник Шубникова ротан Мардарий, чью голову в мохнатой мохе-

ровой кепке вокзального носильщика я несколько раз видел в толпе. Но и к Мардарию я не смог пробиться. Приблизился наконец к нему, а он нырнул в круглое строение «Всемирной косморамы». Но зачем мне понадобился сам Мардарий? Я не знал и отстал от него...

Прогулки Мардария были замечены и Шубниковым. Шубников хотел было одернуть его и отправить домой, потом подумал: гуляет и гуляет, но завтра — посмотрим. В грохоте, в сутолоке веселья к Шубникову порой приходила усталость, тогда он желал снова придремать у костра и чтобы Тамара Семеновна отгоняла от него шумы и летучих насекомых. В эти минуты ему было все равно, как настроена нынче Любовь Николаевна, отчего она мечется, мелькает всюду, и на улице Королева и на Ракетном бульваре, будто ищет кого-то, отчего она озабоченная и хмурая. И был ему безразличен силовой акробат Перегонов, посерьезневший и оттого по временам зловещий. Ему хотелось прекратить гулянье или ускорить его ход, отняв, скажем, у ночи два часа. Но потом усталость и безразличие пропадали, возвращались азарт и воодушевление, огонь, Шубников в ватнике носился от павильона к павильону, от каруселей к вертепам, кричал, негодовал, распекал женщину-паука, не дотянувшуюся гибкой ногой до серебряной спицы, хвалил бородатую турецкую кибер-девицу Фатиму, засматривался на представленное в балагане прибытие Наполеона на остров Святой Елены, справлялся у Бурлакина о готовности ракет, зарядов и запалов. Директор Голушкин выслушивал нарекания Шубникова, вызванные сонным состоянием некоторых ученых медведей. Голушкин предполагал, что сонные медведи — либо оборотни, либо экземпляры с переселившимися в них душами, возможно, не привыкшими к ночным разгулам. Иногда пробивались к Шубникову представители водонапорной башни и Института частей тела и наружного органа. Представитель башни был чувствительный и восторженный, все ему нравилось. «Добрый напор! — говорил он о гулянье Шубникову. — Напор добрый!» Представитель же Института хвостов надоел Шубникову, ему чудилось, что их недооценивают и обижают. К ночи поспежело, около ледяных гор воздух вовсе стал прохладный, дальновидные люди не зря захватили из дома пальто из телячьих шкур. Но было заметно, что научные труженики мехом внутрь держатся на гулянье поодаль от работников мехом наружу, возможно, они представляли два творческих подхода к проблеме и разногласия их мыслей мешали единению в часы веселий и забав. Представитель, занудивший Шубникова, ходил мехом наружу. На ватник он смотрел с подозрением, не подшит ли к нему мех, не свойствами ли верхней одежды художественного руководителя вызвана его неприязнь к нему. «И что же? — интересовался представитель. — И фейерверк наш дадите во вторую очередь?» «Как оговорено в контракте, так и дадим!» — раздражался Шубников.

Увидеть фейерверки ему уже не терпелось самому. Бурлакин не подпускал его к наземным устройствам огненного представления, кричал в ответ на крики Шубникова. Шубников чувствовал, что Бурлакин непривычно для него волнуется, может быть, и не верит в удачу, как еще пять дней назад он, Шубников, не верил в удачу всего гулянья. Волнение Бурлакина передалось Шубникову, он заметался по улице Королева. Ему казалось теперь, что все происходит на гулянье уныло, вымученно, бездарно, что необходимо сейчас же устроить здесь гром с молниями, оргию, брейгелевское беспутство на площади, шабаш, ночь на Лысой или Брокеновой горах. Прибежав снова к Бурлакину, он закричал: «Начнешь через пять минут! Приказываю!» Но Бурлакин и без его приказа знал, что через пять минут начнет.

Шубников же понесся сам не понимая куда, но в ожидании провала и того, что за провалом неизбежно последует. Опять, как во

снах после учебного бала, ему стало мерещиться, что руки десятков, сотен, тьмы людей с железными когтями вот-вот потянутся к нему, к его горлу, к его груди, растерзают, растреплют, задушат его. Через две минуты он уже стоял на верхней открытой галерее ледяного колосса, чей проект был вызван воспоминанием автора, не обремененного точным знанием, о циклопическом вавилонском зиккурате. Здание это тарачилось в небо, не уступая в росте монументу космонавтики в титановых листах, к вершине его можно было взлететь на лифте, но Шубников туда взбежал. «Зачем я это все затеял? — думал Шубников. — К чему все это?»

А по ледяным лестницам будто вдогонку за ним взбирались, карабкались, неслись какие-то люди, с ними, похоже, и ротан Мардарий. «Броситься, что ли, вниз?» — родилось в Шубникове. Нет, этого сделать он не мог. Не мог, не мог, не мог! Он мог только жить. Да и люди, подымавшиеся за ним на галерею ледяного колосса, не преследовали его, не собирались его терзать, они привыкли считать себя окружением и свитой художественного руководителя и полагали, что им по их земному положению необходимо быть теперь по обе стороны Шубникова или хотя бы сразу же под ним на ближних обходных галереях.

И завенело, завывало, застонало, объявляя огневое зрелище.

Черно-синее небо растрескалось, и тут же его будто разодрали белые, режущие глаза линии и вертящиеся малиновые круги. Но быстро линии и круги стихли и пропали, качающиеся кисельные сполохи наполнили на небо с ярославской, вологодской, архангельской стороны, удивили Останкино невиданным здесь прежде северным сиянием. И сияние скоро было убрано, запалили пушки, начиная триумф водонапорной башни. Бурлакин с командой напомнил гуляющим о том, что у неба четыре угла, разместив в них переливающиеся сиреневые числа: 112, 112, 112, 112. Прямо же над головами зрителей загорелась сама водонапорная башня с баком, исполненная как бы в разрезе, с показом циркуляции воды. Взревели все оркестры на эстрадах и на балконах ледяных дворцов, приветствуя стодевятнадцатилетний безостановочный, безудержный и безупречный напор воды вердиевским победным маршем из «Аиды». Было представлено в небе действие башни со сливным и грязевым устройством, уравнивавшей работу насосных станций и подававшей жидкость в водопроводную сеть в момент максимального потребления гражданами и перерыва в трудах насосов. Сейчас же по бокам башни запрыгали радостные слова: «Даем рекордный напор воды!» и «Заставим покраснеть Ниагарский водопад!». Позже вокруг начали бить желтые, бирюзовые, фиолетовые, голубые фонтаны, родники, гейзеры, принялись подсказывать водяные личности, русалки и рыбы, рядом ездили на бочках водовозы, витийствовали отечественные водолеи, из их ртов охотно текла вода. Зрители и аплодировали, и подбрасывали вверх головные уборы, и кричали: «Виват!» Представитель башни стоял недалеко от Шубникова и плакал. Представитель же Института хвостов имел вид отчаявшегося неудачника, зудил: «А мы? А животные? А где же наш триумф?» «Сейчас, сейчас», — успокаивал его Голушкин, но представитель зудил, что они все равно не будут первыми, а сумма ими внесена такая, что именно их следовало чествовать первыми. Шубников обернулся и увидел Любовь Николаевну. Любовь Николаевна стояла в синей бекеше, хлыст в руке не держала, смотрела насмешливо, дерзко.

Бурлакин же словно услышал сетования представителя института, сдвинул башню, фонтаны, родники к южному краю небесного полотна, над улицей Королева теперь появилось стадо жизнерадостных телят. Телята, поддержанные снизу музыкой Бизе, паслись, резвились, бодали друг друга, а их, к улавлению устроителей массового гулянья, обегали торжественные слова: «Каждому теляти —

не меньше четырех хвостов!» Триумф института и был вызван долгожданным приращением нежному существу трех чужих хвостов в компанию к одному своему, природному. Телят на небе принялись кусать огромные оводы, слепни, злые пчелы, городские исполинские клопы и тараканы, телята дергались от боли, падали, теряли сознание. Грустно стало в Останкине. Но вот вынырнул откуда-то бойкий, отважный триумфальный теленок, своими четырьмя длиннющими хвостами перебил, перекалечил не только бесстыжих насекомых, напавших на него, но истребил и обидчиков своих примитивно защищенных родственников. Во второй раз стали палить пушки, снова взлетали в воздух головные уборы, снова слышались возгласы: «Виват!» Запрыгал, торжествуя, представитель института. Шубников отметил, что все четыре хвоста триумфального животного были мохнатые, в меху, видимо, к удаче пришли сторонники направления мехом наружу. Однако и сторонники направления мехом внутрь радовались достижению института.

А в небе началось подлинное игрище. Сооружения, устройства, персонажи водонапорной части фейерверка сдвинулись к стаду телят, совместились с животными, зажили общей радостью. Опять били фонтаны, изливались потоки из башни-юбилея, прыгали и плавали водяные личности, русалки, рыбы, ездили на бочках водовозы, ораторствовали водолеи, телята, некоторые и с букетами хвостов, носились по небу, оркестры гремели, хоры (академические, акапельные, народные из Омска и Воронежа), рок-группы (хардовые, панковые, металлические) пели всякий по-своему, вздымали здравицы в честь триумфаторов. Люди кричали в упоении, указывали пальцами в небо: «Чудо-то какое! Какое искусство! Какие здесь пиротехники!» Последнее восклицание охладило Шубникова. Несносный Бурлакин выбирался, выкарабкивался теперь в кумиры, в идолы толпы, в ее первые любовники, не так ли? О нем, Шубникове, истинном творце и хозяине всего, словно бы забыли. Вспомнилось тут же Шубникову и то, как Каштанов упрашивал Бурлакина устроить и третий триумф, носил Бурлакину и одические тексты. Если бы сейчас и впрямь Бурлакин восславил в небе его, Шубникова, заслуги, он бы протянул ему благодарную руку. Но нет, огненная вода все изливалась, ее становилось все больше, она теснила телят, отчасти растерявшихся, казалось, телятам вот-вот предстояло быть утопленными или же превратиться в подданных морских царей. Вода, обычная, дождевая, закапала и на земных участников гулянья, не остудив, правда, их веселья или разгула. «Нет, это надо немедленно прекратить! — подумал Шубников. — Все. Хватит. Все!» Но он не смог сделать и движения, не смог и звука произнести, усталость, снова давшая о себе знать, была уже и не усталостью, а бессилием, погильелью всех его клеток и атомов. В глазах его все расплзлось, растекалось, в полуобморочном состоянии он стал падать, но ухватился за холодный стержень, устоял, однако ничего не видел и не слышал. Он погибал...

— ...речь! Речь! Все ждут речь!

Шубникова повели куда-то, поддерживая с боков и сзади, ноги его скользили, сопротивлялись, но Шубников сейчас был — один страх, он думал, что его ведут к краю ледяной площадки, чтобы сбросить вниз, совершить обряд жертвоприношения толпе.

— Нет! Нет! Не могу! Не хочу! Не надо! Нет!

— Вас просят, — шептал ему Голушкин. — Все просят. Как милости. И триумфаторы просят. В контракте упомянута речь.

— Нет... Я устал... я потом... — Страх не ушел из Шубникова, и ни к какой речи он не чувствовал себя расположенным.

Указующая рука опустилась на плечо Шубникова, рука Любви Николаевны.

Шубников, озираясь испуганно по сторонам, шагнул в световое пятно, к возникшим там микрофонам. Сначала он говорил, ничего не видя ни вокруг себя, ни в небесах, ни на земле, и говорил, трудно дыша, будто долго бежал за троллейбусом и теперь вскочил на подножку. Но очень скоро дыхание его улучшилось, голос стал громок, как разрывы снарядов, а зрение обострилось так, что Шубников видел каждого человека в толпе — и на улице Королева, и на сквере Космонавтов, и у главного входа Выставке, и на Ракетном бульваре, видел и в самых черных углах, будто его снабдили приборами ночного наблюдения. Минут пять Шубников прославлял, впрочем, довольно сдержанно, водонапорную башню, затем перешел к достоинствам и дерзаниям Института частей тела и наружного органа. Он призывал к новым рекордным напорам и изливам воды, тем более что она ничего не стоит и лить ее можно сколько хочешь и куда хочешь. «Всю воду прольем до единой капли и в мировом масштабе!» — взволнованно поддержал его энтузиаст с крыши застывшей карусели. А уже лило с неба, доставляя публике неудобства. Шубников, увлекаясь, стал говорить о хвосте, этом обособленном подвижном заднем отделе тела животных, нынче используемом чрезвычайно бесхозяйственно. Конечно, сейчас хвост как полезное приспособление утоплен, но не водой, а долговременной игрой природы, но мы обязаны думать о нем как о богатейшем резерве живых организмов. Далее пошли слова уже о резервах человеческой души и совести, удивительно легко Шубникову явившиеся и с нарастаемой энергией им произносимые. Опять он переполнялся, как считал Шубников, собственной силой, собственным огнем и жаром и мог повести за собой людей, внимающих ему у подножий ледяных дворцов.

Я стоял в толпе метрах в трехстах от Шубникова, полагая, что не забыл, с какими чувствами и зачем я пришел на улицу Королева. Но снова начиналось наваждение. Снова, как при подписании условий экспедиции на «Стефане Батории» или как при встрече с Шубниковым на Звездном бульваре, меня прожигала чужая энергия, мною не званная, выламывала, выметывала из меня мою самостоятельность, мою сущность, уменьшала меня, сводила в какую-то цифру или знак, склеивала с месивом чего-то безличного, бессмысленного, что остывало бурой эластичной гуттаперчей, гуттаперчу эту можно было растягивать или рубить. И вскоре я уже верил тому, что Шубников прав и велик, что следует преклоняться перед его жертвенной, пылающей душой, следует идти за ним, истребляя в себе и в других всяческие слабости, мерзости, гнуси, и делать то, что он сегодня же назначит Останкину. Лил дождь, но это был дождь очищения. И все вокруг меня стояли с горящими — от огней останкинской ночи, от слов и силы Шубникова, от костров собственных несовершенств — глазами.

Шубников и впрямь мог повести куда-то тысячи людей, но куда — он не знал, озарение не являлось, а ему было мало сейчас одного лишь поклонения и подчинения, его томила эта малость. И было обидно. Не случилось апофеоза, не раздалось тутти, не слилось все в катарсисе, не закрутил, не понес всех и все ураган, повелителем которого стал бы он, Шубников. Что-то немедленно надо было предпринять, что-то сказать единственное, гениальное, вздорное, но — на века, раздуть ураган. Рука Шубникова, нервно дергавшаяся в кармане ватника, наткнулась на семечки, врученные ему на пробу охотниками за триумфом из овощной базы, и Шубников неожиданно для себя, явив людям на вскинутой ладони каленые плоды подсолнечника, оставив слова об общем благе, но не забыв их совсем, заговорил о семечках. Что именно он говорил, он позже не помнил, как не помнил этого никто из гулявших, видеоаппаратура, несмотря на гарантии островных фирм, не смогла записать речь

Шубникова. Но все (естественно, и я) запомнили, как толпы от Останкинской башни и до Оленьих прудов в Сокольниках захватила стихия и мощь Слова о семечках, и вот-вот могли возникнуть то ли общее рыдание, то ли вой, несомненно удививший бы ночную Москву, то ли громогласный клич, то ли тысячеустый смех, притом вовсе не беззаботный и не счастливый, а, наверное, глумливый и сырой...

Запомнилось и другое. Запомнилось, как Шубников стал великаном, вознесшимся над Останкином, существом, какому были дарованы особая судьба, преимущества и полномочия. И когда Шубников призвал толпу пожирать семечки, требование его было воспринято с возгласами благодарности, с ревом голодных, кому милосердно дозволили ворваться наконец в провиантские склады. И дальше все ели, жевали, кусали, грызли, перемалывали семечки, подсолнечные, арбузные, грушевые, кабачковые, огуречные семенные, тыквенные, жареные, каленые, высушенные, соленые, сплевывали в траву, на асфальт шелуху, лушпеюшку; ели, грызли, жевали, выплевывали в едином порыве и ритме, руки, подносявшие семечки ко рту, двигались одновременно, согласно, с выверенными, будто на тренировках фигурного катания, сгибами в локтях, создавая динамическое устремление всех в сторону ледяной вершины с Шубниковым на ней. Никого не занимало, откуда вдруг взялись семечки, откуда они прибывали, заваливая траву, асфальт, доходя иным уже до колен, все словно бы вместе пели сейчас, правда кто — с ожесточением, с напором, кто — с покорностью судьбе, но вместе, и готовы были взлететь в невиданные пределы. И моя рука двигалась, и я сплевывал шелуху под ноги, а оркестры ревели, по толпе, по дворцам, по ледяным горам металась лучи прожекторов, сталкиваясь друг с другом, в мокром небе моментально менялись фигуры и краски, но главными усилиями света по-прежнему выделялся на ледовом уступе вдохновенный Шубников...

Шубников устал. Но об этом внизу не знал никто. Его рука перестала доставать из кармана семечки. Ему надоело творить действие и зрелище. Он все это мог, и следовало опускать занавес. Он презирал останкинских гуляк, всю никчемную шваль, недостойную просветления и нравственных улучшений, продолжавшую жрать и выплевывать по его воле бессмысленные семечки. Он бы разогнал сейчас всю эту шваль, он бы разнес дворцы и балаганы Останкина, но он устал. Он не ответил растерянному Голушкину, а директор его неверно понял, и снова под скалой Шубникова ожили балаганы, карусели, ледяные горы, игорные заведения профессора Чернухи-Стрижовского, забили фонтаны пахучих и бесплатных жидкостей, новые телячьи туши были насажены на вертелы, шарманщики напомнили о походе Мальбука. Шубников утомленно смотрел на суету, копошение пустых вертопрахов и вяло думал о том, чем же их еще унижить, чем еще им досадить, а может, и указать на их будущее. Прожектора с Ракетного бульвара высвечивали алексеевскую Церковную горку с известным Шубникову кладбищем. Усмехнувшись зло, Шубников вызвал на Ракетном бульваре, а потом и на улице Королева меж балаганами, каруселями, горами движение склепов, памятников и гробов. На Церковной горке покоились многие строители и работники городского водопровода, это в особенности показалось существенным Шубникову, оттого по его велению камни склепов, решетки оград, надгробия и гробы проползали, пролетали теперь всюду, расталкивая порой и гуляющих, не вызывая, однако, к досаде Шубникова, никаких чувств, не нарушив очереди ни к фонтану апельсинового ликера, ни к мороженщикам. «Впрочем, так и должно быть! — чуть ли не обрадовался Шубников. — Так и должно быть. Кто они и кто я!» То, что он стоял над гулявшими на ледяном утесе, не отвечало уже его положению в мироздании. «Я выше их, — пов-

торял про себя Шубников.— Я выше их. Я больше их». Он чувствовал, что стал расти. Скоро он уже не мог находиться на выступе циклопического ледового сооружения. Но и в Останкине негде стало ему разместить ноги. Шубников перерос Останкинскую башню, и возвеличивание его не прекратилось. Шубников и не желал его прекращать. За ходом времени он не следил, но, видимо, песка в горловину стеклянных часов просыпалось немного. Останкино, еще различаемое Шубниковым, было по-прежнему залито светом, там ползали и шуршали насекомые. Но ни они, ни Останкино ничто не значили для Шубникова. Просыпались еще четыре песчинки, а Шубников висел над планетой в черноте вселенной, сам куда крупнее планеты, называемой насекомыми-эстетамы голубой и зеленой. Она вскоре для него стала как глобус, тыква, страусиное яйцо, мяч (и его ничего не стоило пнуть ногой) или как плавающая в безвоздушье мина, для чьего взрыва хватило бы и секунды. «Это мы еще успеем»,— пришло вдруг в голову Шубникову. Но он тут же ужаснулся этой мысли. И более не желал расти. Ему стало страшно. Не далеко ли он зашел в своей дерзости? Но не захотел он сразу же и уменьшиться. Так и висел неким монументом, прижав к ватнику скрещенные на груди руки. Однако не смог находиться долго в бездействии, требовалось удовлетворить некое желание. Коли пока он не отважился выйти боярином, сеньором во вселенную, убоаясь, ему захотелось показать хотя бы самому себе (но, наверное, и еще кому-то), что на тыкве, на глобусе, на мяче, на страусином яйце с газовой оболочкой он может сотворить все, на что укажет его воля и каприз. Подробности Земли он был способен разглядеть сейчас, и когда возжелал увидеть отсутствовавший ранее финиковый оазис в песках пустыни Намиб, он его тотчас и увидел. И увидел при этом, как финиковые пальмы росли. Ему захотелось столкнуть два самолета над Северным морем, они столкнулись, один транспортный, тяжелый, другой — частный, с тремя пассажирами, и Шубников наблюдал, как падали обломки в серые волны. Озеро, блестящее в сосновых берегах, он взбаламутил, сделал вонючим, а потом и вовсе спустил его воды неизвестно куда. Ему стало интересно: как поведет себя взорвавшийся вдруг котел, или турбина, или что там еще стояло в каком-то сооружении, греющем дома, этом иллюзорном утешении ученых недоумков, полагающих, что они что-либо знают и умеют. Комодский ящер попался на глаза Шубникову, он приделал ему крылья и заставил лететь к мазурским болотам. «Все,— повелел себе Шубников.— На сегодня хватит». Со скукой властелина он оглядел черные просторы вокруг, и ближние звезды, и страусиное яйцо, покрытое кое-где буро-зеленым мхом. И тогда разрешил уменьшить себя и вернуть в Останкино.

Директор Голушкин, будто Шубников никуда и не отбывал, бережно дотронулся до рукава ватника, прошептал с уверенностью, что обрадует: «Сейчас! Сейчас будет третий триумф! Если разрешите». Шубников важно кивнул. Небо снова разодрало над Останкином, но теперь оно стало багровым. Предчувствие неприятного тотчас явилось к Шубникову. Пожары полыхали над улицей Королева, куда-то в черноту уносились пылающие балки, резные наличники, хлопья смятой бумаги, пепел (мне в те мгновения пришли мысли о босховском небе в створке «Воза сена»), какие-то фигуры неслись ввысь, то ли саранча с лестницами и ведрами, то ли загубленный Василий Пугач с горемычными приятелями. Небо трещало. Обещанием перемен или, напротив, катастрофы поплыла по небу от Крестовского моста пламенеющая буква «Ш», увеличивалась, уплотнялась, шипела; волной огня на глазах ожидающих неизбежности людей к ней стал вздыматься Мардарий.

И Шубников не выдержал, закричал:

— Прекратить! Залить водой! Прекратить!

Утром Шубников вызвал Любовь Николаевну. Планета, одним из отделений милиции которой он был милостиво прописан, оставалась страусиным яйцом, миной якорной под его ногами, и Любовь Николаевна была обязана об этом знать. Шубников лежал на койке, заменившей диван, на солдатской шинели. Он собирался иметь в доме одну шинель, но ему прислали две. Отменив распекай Голушкину, Шубников с ними согласился, накрыл одной из шинелей металлическую сетку корабельной койки. Лежа на шинели, согнув левую ногу и возвысив острым коленом вторую шинель, хмурый Шубников ожидал Любовь Николаевну.

Я бродил по Останкину и ругал себя. Надо было иметь в себе неприятие чужой силы и неприятие это вчера употребить. «Маяком» было объявлено, что движение троллейбусов и автомобилей по улице Королева временно закрыто, но жертв и разрушений старых построек практически нет. Теперь на Королева работали бульдозеры, снегопогрузчики и транспортные дирижабли. Никакие дворцы, балаганы, карусели на Королева и на Ракетном бульваре уже не стояли, а завалы семечковой шелухи виднелись повсюду, кое-где высота досадных холмов достигала одиннадцати с половиной метров. Трудились и пожарники. С чувством удивления и объяснимой радости я обнаружил на работах Василия Пугача и пятерых его приятелей с усами. А ведь все слышали вчера об их утрате.

— Так ты живой, что ли? — спросил я.

— А то не живой? — загоготал Васька Пугач. — Череп ты мой горельи!

— И что же, ввали, что ты стоял в скульптурной группе?

— Может, и стоял. Хрен в сумку! Разморозили нас сегодня и отогрели. Да если бы мы кушали не мадеру, а это, нас бы никакой мороз не взял.

— Он и так не взял, вы и так посрамили Саппоро.

— А то не посрамили! — опять загоготал Васька Пугач. — Сорок лет стоим на башне!

Поклонившись, Мардарий доложил Шубникову, что к нему пришли. В улыбке Мардария была оскорбительная многозначительность. Шубников хотел было отчитать его, но лишь сказал:

— Поставь ей табуретку. Не здесь. Вон там, у ног.

Перед рассветом Шубников в мыслях определил Любви Николаевне служебное место, промежуточное или связное, в его отношениях с судьбой. Мысль Шубникова была не произнесенная, но отчетливо выраженная, и не узнать о ней Любовь Николаевна не могла. Шубников ощутил к тому же, что сейчас ему не нужна женщина-тело, в крайнем случае он мог востребовать Тамару Семеновну для житейских потребностей, и ни в какие светелки ездить он более не желал.

— Садитесь, — указал Шубников Любви Николаевне.

— Я могу и постоять, — улыбнулась Любовь Николаевна.

— Садитесь, — строго сказал Шубников.

Любовь Николаевна присела на табуретку, оглядела стены: в доме Шубникова она была впервые.

— Я вас слушаю, — произнесла Любовь Николаевна.

— Бессмертие, — сказал Шубников.

Любовь Николаевна не ответила.

— Бессмертие! — нетерпеливо повторил Шубников. — Мне!

— Я услышала. Но правильно ли я вас понимаю...

— Полагаю, что правильно. Бесконечность жизни.

— Вам может стать скучно. Не многие желали бессмертия. Напротив, оно было наказанием. Вам должно быть известно о страданиях Агасфера. Или Картафила.

— Бесконечно большой величине не бывает скучно,— сухо сказал Шубников.

— А бесконечно малая стекает в нуль,— сказала Любовь Николаевна.

— Это вы к чему? — раздраженно взглянул на нее Шубников.— Я требую от вас вовсе не нуль.

— Да,— согласилась Любовь Николаевна.— Но, по вашим понятиям, бесконечное несотворимо и неуничтожаемо. Вы к несотворимому и неуничтожаемому не принадлежите. .

— Не вам судить об этом! — закричал Шубников.— Я вам приказываю, и будьте любезны!

— Выполнить ваше приказание не в моих возможностях.

— Свяжитесь с теми, у кого возможности есть. Немедленно.

— Увы, ничего не изменится.

— Но как же! Как же! — воскликнул Шубников.— Это ведь несправедливо!

Слезы были на его глазах. Шубников искренне считал теперь, что назначение ему жизненного предела — несправедливо, обидно и приведет к несчастью всего человечества. Отчасти он жалел, что избрал в разговоре неверный тон, возможно, надо было не кричать на женщину, а разжалобить ее, вызвать в ней сострадание матери или хотя бы любовницы. Впрочем, заискивания перед Любовью Николаевной могли привести и к унижительному положению, и это после вчерашнего возвышения!

— Если мне не дадут вечно служить совершенствованию людей,— мрачно сказал Шубников,— я обзлюсь и натворю бед.

Любовь Николаевна молчала.

— Больше вы мне ничего не скажете? — спросил Шубников.

— Я при вас,— сказала Любовь Николаевна.— Но наградить или наказать вас бессмертием я не могу.

— Вон! — закричал Шубников, приподнимаясь на локтях.— Вон! И чтобы быть теперь в отдалении от меня!

— Как прикажете,— встала Любовь Николаевна.

— Вон! — кричал Шубников. Он и кроссовку схватил с пола, швырнул ее в Любовь Николаевну, но той в комнате уже не было.

Шубников рыдал, укрывшись с головой солдатской шинелью. Какая досада, какая несправедливость, какая трагедия, думал он. Ему ничего не нужно, кроме этой кровати с металлической сеткой, кроме шинели и ватника, он может обладать всем, но это все ему не нужно, ему нужно одно — быть, быть, быть вечно. Но слепцы и безумцы приговорили его, он умрет, умрет, и, наверное, скоро. Шубникову стало страшно. Он чувствовал себя отрывком сухаря, упавшим в крысиную нору. И прежде случались в его жизни грустные дни, но никогда так не сжимала его вонючими лапами безнадежность отчаяния. Мерзкие люди, некоторые из тех, кого он вчера заставил пожирать семечки, возможно, будут жить и когда его не станет. Ну нет, откинув шинель, решил Шубников, ну нет, он отыграется. Ему отказано в бесконечной жизни, но он отыграется. На ком-то. И на Любви Николаевне. И на ком-то! Шубников ожил. Отчаяние его перестало быть безнадежным. Оно было теперь злым. Оно требовало мести и установления его, Шубникова, справедливости. Отныне Останкино не должно было знать покоя.

Приоткрыв дверь, Мардарий сказал:

— Директор Голушкин.

— Сними ватник! — закричал Шубников.— Не дразни меня! Я не в духе. И куда ты собрался?

— На прогулку,— жестко сказал Мардарий.— И по делам.

И исчез.

Директору Голушкину Шубников объявил, что он устал, что в ближайшие дни в Палату Останкинских Польз ходить не желает и

пусть устанавливает с ним связь через экраны, компьютеры и прочее. Шубников не мог более пребывать на улицах, в магазинах, в автобусах среди останкинских жителей — до того они стали ему противны. Голушкин же сообщил, что гулянье произвело чрезвычайное впечатление, овощная база рвется в триумфаторы. И примечательно, что аптека не безобразничала на этот раз, не портила общую картину триумфов. «И более никогда не испортит!» — голосом пророка произнес Шубников. Завалы семечковой шелухи вряд ли уберут и к вечеру, но это уже заботы коммунальных служб. Отдел «Ты этого хотел. Но сам делать не стал бы», сказал директор Голушкин, он предлагает назвать отделом Тайнственных случаев. Или — Тайных просьб. Или — Устранения препятствий. «У вас какой-то особенный интерес к этому отделу», — сказал Шубников, будто бы осуждал Голушкина или подозревал его в пороках, о которых ему, Шубникову, не следует знать. «У многих есть этот интерес», — скромно сказал Голушкин и поглядел на Шубникова со значением. Шубников вскричал: «Хорошо! Хорошо! Если у вас такой интерес к отделу, то и занимайтесь им!» «Я бы хотел, — добавил Голушкин, — чтобы занятия были и у Мардария и чтобы занятия эти отвлекли его от безрассудных походов, какие могут принести лишь вред и Палате и вам как личности... Обязан заметить, что Мардарий избалован, мнит о себе нечто несурзатное и что-то замышляет...» «Займите и Мардария! — заспешил Шубников. — Займите! Что еще?» Ожидал разговора Перегонов. Беспokoил Голушкина Бурлакин, он будто бы заявил, что закончил все свои дела в Палате и более там не появится.

— Перегонову, — нахмурился Шубников, — отведите пять минут видеосвязи. Не более. Бурлакин же обязан явиться ко мне для беседы. Хотя бы и по принуждению.

Лицо Перегонова на экране Шубников наблюдал без радости, услышал от него то, что хотел бы услышать днями раньше, но это услышанное не принесло ему теперь ни удовлетворения, ни тем более удовольствия. Перегонов просил, и видно, что без ехидства, извинения за недавние дерзости и колкости. Он недооценил Шубникова, догадавшись же о его сути, полагает, что разговоры он вел преждевременные и необоснованные. Без отношений с Шубниковым, Любовью Николаевной и Палатой ему, Перегонову, и людям, которых он представляет, жить будет спокойнее. У них есть все, и они все добудут. Думали взять и Палату в свой кошель на всякий случай, про запас, «навырост» и так далее и желали показать, что любому сомнительному предприятию можно найти управу. Но нынче ясно, что лучше жить без чужих добыч.

— Вы испугались? — усмехнулся Шубников.

— Меня не отнесешь к людям осторожным, — сказал Перегонов. — Но все же во мне есть нечто от моей старой мамы. А она при всяких переменах обстоятельств прежде всего задумывается: «Только бы не стало хуже!» Это благоразумие. С вашими добычами и увлечениями может стать хуже. А потому мы пока с вами раскланиваемся.

— Пока?

— Ну кто же знает, что с нами будет завтра?

— Я знаю, что завтра будет с вами, — сказал Шубников. — И вам станет хуже, если будете пугаться у нас в ногах.

— Вот это вы зря, — надулся Перегонов. — Я говорил с вами откровенно. И мы обидчивы, запомните это.

«Раскланяться решили! — думал Шубников. — А наблюдателей-то наверняка оставили. Мы еще раскланяемся! Мы еще со всеми раскланяемся! С истреблением света!»

— Напрасно меня веди сюда сопровождающие, — сказал доставленный к Шубникову Бурлакин. — Я бы и сам сегодня пришел. Но беседовать, полагаю, мы будем без свидетелей.

Сопровождающие удалились.

— Все,— сказал Бурлакин.— Надо прекращать. Сушить весла. Снимать червей с крючков. И ты это понимаешь.

— Я не понимаю,— суетливо заговорил Шубников.— Не понимаю! Рано. Не понимаю!

— Твое дело. Я уйду.

— Это измена! — вскинул руки Шубников.— Ты — предатель!

— Не юродствуй,— сказал Бурлакин.

— Да, ты — предатель! Это постыдное бегство! Измена!

— Считай как хочешь. Я сыт игрой и развлечением.

— Тебе не было интересно? Ты лжешь!

— Поначалу, по безрассудству, было,— сказал Бурлакин.— Но я повзрослел и посерьезнел. И увидел, что для меня здесь все чужое. Увидел, к чему все может привести. Понял, что мне лишь дозволили тешить себя чужими игрушками. Ты казывал, я придумывал, но все это было не мое, не мной сотворенное, а мне лишь поданное неизвестно зачем. Стало быть, и я был устройством при чужих игрушках и устройствах. А это не по мне. Опыт следует прекратить. Он не удался. Он может принести лишь вред. Он и сейчас приносит вред.

— Мы же мечтали,— с пафосом произнес Шубников,— исправить и улучшить нравы!

— Ты об этом говорил. Но не я.

— Да, я говорил об этом! Я! И была ли у меня тогда и сейчас корысть? Вот эта кровать и вот эта шинель — и вся моя награда. Стали бы люди лучше и жили бы лучше!

— Твоя Палата лучше их не сделает. Напротив.

— Это спорно! Это спорно! Хотя, предположим, пока не делает. Но они сами таковы, что сразу не могут истинно понять, что им нужно. И пусть, пусть их заблуждения дойдут до крайности, пусть загнивают их души, пусть созреет и станет багровым нарыв, тогда-то и наступит раскаяние, а потом и обновление.

— И это ты поведешь останкинских жителей сквозь искушения, сквозь раскаяние к обновлению?

— Я. Мне так назначено. Моей натуре и моей воле! — гордо произнес Шубников.

— Ничто и никем тебе не назначено,— сказал Бурлакин.— А твоя воля — просто похоть.

— Не оскорбляй меня! Не дерзи судьбе! Я все отдам людям!

— Эти люди для тебя — цифры, знаки, спички, окурки. Семена и торф для опытов. Помнишь, что пели подданные Додону у Римского-Корсакова: «Без тебя мы и не знали, для чего существовали. Для тебя мы родились и детьми обзавелись». Тебе ведь нужны такие люди. Взмахнешь рукой — и они станут пожирать семечки. А потом еще что-либо, что придет тебе в голову. Угомонись, сдай пай, заживи человеком, а не избранником и пророком, тебе же будет легче и всем в Останкине, хотя многого уже и не исправишь.

— Ты не только постарел, но и поглупел! — рассерженно заключил Шубников.— Если бы ты захотел, я бы произвел тебя в академики, в те, что заправляют институтами и ездят в Стокгольм за премиями, и предоставил бы тебе открытия, какие другим в этом веке не снились!

— Это опять же были бы чужие игрушки. Да и неплохо бы научиться пользоваться открытиями, какие уже сделаны.

Шубникову вдруг захотелось разжалобить Бурлакина, ощутить снова его дружеское расположение и понимание, он и слезу сострадания к себе, к Бурлакину, к человечеству готов был пролить сейчас, обхватил Бурлакина за плечи, предложил пойти на кухню, поставить на стол бутылку коньяка, стаканы...

— Нет,— сказал Бурлакин.— Я прошел сквозь искушения и раскаяние. Ничего отменять не буду. И ты верни пай.

— Я не могу! Нет! Не тот день. Не тот час... Сегодня мне... нам... нам! — отказано в бессмертии!

— Мне не нужно бессмертия, — сказал Бурлакин.

— А мне нужно! Нужно! — закричал Шубников. — Но мне в нем отказано!

— Теперь ты станешь совсем опасен, — покачал головой Бурлакин. — Но оставь хоть в покое дядю Валу. Облегчи ему жизнь. Иначе он погибнет.

— Он не погибнет, — холодно сказал Шубников. — Это не в моих интересах.

— Я знаю, что это не в твоих интересах. Однако в увлечении ты можешь совершить и то, что не в твоих интересах.

— Не ты ли вместе со мной начинал затею с дядей Валеи?

— Я, — сказал Бурлакин, — я за все отвечаю вместе с тобой. И если ты не прекратишь забавы, я стану тебе мешать.

— Помешать мне ты вряд ли сможешь, — высокомерно сказал Шубников.

— Смогу. И знаю как. И не вбивай в голову, что ты особенный. Ты вполне заурядный. Но это-то и опасно.

— Мешай мне! Топчи меня! — Шубников вскинул руки и словно бы готов был рвать на груди рубаху. — Унижай меня! Обижай меня, заурядного, сирого и босого!

— Я тебе все объяснил, — сказал Бурлакин. — Прощай!

Он пошел в прихожую.

— погоди! — погнался за ним Шубников. — Никогда не говори «прощай»! Не накликай на себя бед! погоди, брат!

Но дверь за Бурлакиным закрылась.

Шубников бродил по квартире, как зверь бешеный. Бурлакин был для него уже не брат, не друг и не приятель. Шубников и прежде испытывал желания, какие гнал от себя, а для Любви Николаевны объявлял их недействительными. Желал он не видеть людей, знавших его в прошлом и бывших когда-то с ним на равных. Его нередко уже раздражало присутствие вблизи него и Бурлакина, и Каштанова, и других, да, они были ему пособники, но им в деле, наверное, нашлась бы и замена. Пожалуй, Шубников не возражал бы, если бы сменили всех жителей в Останкине, скажем, свезли бы их всех в какой-нибудь Нижний Ломов Пензенской области, а нижнеломовцев переселили бы в Останкино. Но работники ему несомненно были нужны. Они и выныривали сами из пучин обыденности. Обрадовал Шубникова патлатый верзила профессор Чернуха-Стрижовский, его Шубников со временем полагал держать по правую руку. Нашлись бы деятели и по левую руку. Пригодился бы и мрачный водитель Лапшин с его гильотиной. А всяких извозчиков Тарабанько, сеятелей информации Каштановых, ходячих процессоров Бурлакиных следовало потихоньку, пусть и с почестями, но удалить, чтобы не мозолили глаза и не вызывали неоправданных чувств и надежд у толпы. Но так полагал Шубников совсем недавно. Теперь же он знал, что ему ненадолго понадобится и новое окружение. Теперь он знал, что скоро и впрямь прекратит дело. Но прекратит совершенно не так, как бы хотелось этому ничтожеству Бурлакину!

«Ах мразь! Ах сволочь! Ах тварь!» — повторял то мысленно, то вслух Шубников. Какое уж теперь он мог назначить удаление с почестями этой мрази, этой сволочи, этой твари! Не бегство, не предательство, не вчерашнее отвратительное багровое небо с шипящей, будто недогоревшее полено, брошенное в воду, буквой «Ш», не это неразъясненное предзнаменование оскорбило и разозлило Шубникова в особенности, а тихое утверждение, что он, Шубников, не избранный, а заурядный останкинский житель! Одно это нельзя было оставлять без возмездия.

Потом Шубников снова лежал на кровати. Его била дрожь. Он был зол на всех. Он должен был расквитаться со всеми. Он был обречен. Как, впрочем, были обречены все! Но какое ему дело до изначаль-

ной обреченности всех! Смерть — благо, утверждал больной, слабый, напуганный человек, она — закономерное прекращение случайного сновидения, являющегося издевкой или ошибкой. Он, Шубников, не больной и не слабый человек. Назначенный ему предел — преступление, и оно не останется без наказания. Этот назначенный ему предел — свидетельство просто безрассудства и упрямства природы или кого там, кто взял на себя право распоряжаться его жизнью. Именно скудостью средств, несовершенством устройства, безрассудством можно было объяснить нежелание или боязнь хоть бы в единственном случае устроить испытание бесконечной жизни. А бессильному, скудному, безрассудному в природе Шубников был готов бросить вызов. Пусть его прикуют к скале, пусть натравят на него орла, но и тогда он не смирится с несовершенством мироздания.

Так он лежал под шинелью, не думая о ходе времени, злясь на всех и укрепляясь в гордыне. Однажды шинель с него будто сорвали. Шубников открыл глаза. Над ним стоял Мардарий. «Я понял,— сказал Мардарий.— Я тебя понял». «Сними ватник, мерзавец!» — хотел было выкрикнуть Шубников, но губы его не разжались. Мерзавец же Мардарий растворился в воздухе, шинель накрыла лицо Шубникова, и через минуту Шубников уже не знал, привиделся ли ему Мардарий или залетал на мгновение с прогулки. Шубникову пришли на ум слова авантюрного человека Сальваторе Тончи, облегчавшего свое предельное проживание на земле мыслями о том, что в жизни нет ничего существенно действительного, что и сам он призрак и что все ему грезится и мерещится. Нет, ему, Шубникову, ничто не грезится и не мерещится, разве только мерзавец Мардарий. И все то, что не грезится и не мерещится, останется и после него. Он, Шубников, сгниет, сторит, рассыплется, погрузится в небытие, а оно останется. Нет, пообещал Шубников, не останется. И оно пропадет и сгинет!

В мозгу Шубникова, будто на экране компьютера, побежали телеграфные слова: «Бурлакина нет... нет... Между двумя электричками... Исполнено... Платформа Болшево Северной железной дороги...» Шубников откинул шинель, вскочил. «Нет! — кричал он в испуге.— Нет!»

Одно дело было грозить кому-то неведомому, укрывшись с головой шинелью, или выпускать воды из озера, вблизи которого он никогда не бывал, другое... Бурлакин ведь действительно ездил на работу за город электричкой с Ярославского вокзала...

— Мардарий! — закричал Шубников.— Мардарий!

Мардарий явился незамедлительно, словно ждал где-то за углом в нетерпении быть спрошенным и вознагражденным. Шубников чуть было не впился в его ватник, но с брезгливостью отвел руки, от Мардария разило вонючим прудом.

— Что? Что? Что? Говори! — метался по комнате Шубников, стараясь не глядеть на Мардария.

— Ты этого хотел! — с удовольствием выпалил Мардарий.— Но сам делать не стал бы.

— Я не хотел! Ты врешь! Мерзавец! — со сжатыми кулаками пошел на Мардария Шубников.— Я ничего не хотел! Ничего!

— Ты хотел,— повторил Мардарий.— Но сам делать не стал бы.

Шубникову показалось, что Мардарий улыбается с издевкой. Над кем он издевался? Над ним, Шубниковым, над родом ли людским, над собой? Впрочем, толковать выражения, знаки глаз и пасти этой подлой рыбы было занятием пустым и сомнительным. Но была в мерзкой обрешине злая радость, была!

— Уйди отсюда! — закричал Шубников.— Более не попадайся мне на глаза! Ничего не говори мне! Ничего! Ни о чем не рассказывай! Я ничего не хотел! Ты врешь! Пропади пропадом!

Теперь уж точно Мардарий откровенно насмеялся над ним и глядел на него, как на зарывшегося в ил карася. Мардарий и движение сделал ртом, словно желал втянуть, всосать в себя карася. «Уж не

стал ли он вампиром? — явилось Шубникову.— Не электричкой небось, не электричкой...»

— Пропади пропадом! — заорал Шубников.— И сейчас же! Пропал Мардарий.

В новые дни Шубников не выходил из квартиры уже не потому, что не желал быть среди останкинских жителей, одинаковым с ними, а из-за страха. Страх его вызывало все, что было в мире, что было в нем самом. Шубников прекратил отношения с Палатой Останкинских Польз, не смотрел в окна, ничего не ел и не пил, не подходил к водопроводным кранам, опасаясь, как бы из них не выплыл Мардарий и не загрыз его. Надо сказать, что страхи Шубникову даже нравились, они гасили мысли о Бурлакине, создавали ощущение вины перед ним мира. Постепенно он укрепился в мнении, что все перед ним виноваты. Или необязательно перед ним, а просто виноваты вообще. Если действительно с Бурлакиным случилось нечто неприятное, то, конечно, виноват был сам Бурлакин, пытался же он, Шубников, остановить его, воззвать к разуму, наконец, просил не говорить «прощай» и тем не притягивать беду. Определение вины разным личностям, сообществам, явлениям стало для Шубникова увлекательным и важным занятием. Несомненно, виноваты были теперь все люди и существа, какие могли жить и после его кончины. И те, кто мог прожить «после» более лет, были и более виноваты. И выходило, что самыми виноватыми оказывались дети. На ум Шубникову все чаще являлся детский сад во дворе дома номер пять по улице Королева и посетители этого сада. Шубников уже знал, что с ними-то он непременно что-то учинит, на них-то обязательно отыграется, может быть, с них и начнет... В конце концов Шубников успокоился, мысли о Бурлакине, об ошалевшем от злой радости Мардарии утихли, отлетели далеко-далеко, уравнились с мыслями о неведомом лесном озере, о самолетах, какие он столкнул над Северным морем. Но пришло беспокойство иного рода. А не строят ли ему каверзы? Не затеяли ли все эти Бурлакины, Каштановы, Голушкины, Любови Николаевны в коварном союзе с аптекарем или даже с Перегоновым заговоры и бунты с намерением устранить его от дел? Ну уж нет, не устранят! Жажда действовать возродилась в Шубникове. Предел ему, надо полагать, должен был наступить не завтра и не послезавтра, и требовалось напомнить, кто в Останкине велик, а кто ничтожество.

Шубников решил немедленно восстановить связь с улицей Цандера. Однако экраны не зажглись, что-то затрещало, чей-то писк был сразу задавлен, прекращен треском. Не заговорил и трехпрограммный приемник, включенный в сеть. До Шубникова дошло, что и лампочки в комнате горят чуть ли не в треть накала. И вода из кранов еле текла. Взволнованный Шубников послал повеление — системами Любови Николаевны — директору Голушкину: выйти с ним на связь. Вскоре экран посветлел и ожил, однако изображение оказалось безобразным, лицо Голушкина искажали помехи. «Что происходит?» — спросил Шубников. «...результате походов Мардария... — забормотал искаженный Голушкин, — после несчастья с Бурлакиным ведет себя рискованно... нас не слушает... самонадеян и упрям... не могу умолчать об этом...» «Какого несчастья? Каких походов?» — актерски удивился Шубников. Голушкин принялся рассказывать о подробностях несчастья, о погребении Бурлакина, но Шубников перебил его, закричал: «Мардария ко мне! Немедленно!» Слова о несчастье с Бурлакиным более не ужасали Шубникова, он привык к ним, но подробности знать не хотел.

Похождения Мардария состояли вот в чем. После дела с Бурлакиным и других дел он то ли возгордился, то ли увидел в себе нечто необыкновенное, в отношениях с работниками Палаты стал несносен, высокомерен, грубил, пускался же в затеи, для самой Палаты вредные. К тому же он оголодал. И вот за два последних дня Мар-

дарий выпил всю энергию Останкинской башни, все ее волны и импульсы, все звуковые и световые сигналы, отчего граждане не имеют возможности видеть даже программу «Время», а потом посетил Останкинский мясной комбинат и пивоваренный завод и их лишил энергии и многого из материальных фондов. Останавливать же его не решались, полагая, что действует и живет Мардарий с ведома художественного руководителя Палаты. «Ах Мардарий! Ах негодай!» — думал Шубников. Но он и завидовал Мардарию.

Но когда Мардарий явился, в ватнике, перепачканном опилками, машинным маслом, ржавым железом, принес запах болотной тины, он снова стал мерзок Шубникову.

— Ну что, брат? — сказал Мардарий, не дожидаясь слов Шубникова и улыбаясь нагло. — Скучаешь, брат?

— Как ты смеешь так называть меня! — возмутился Шубников. — Какой ты мне брат?

— А кто же я есть? — спросил Мардарий. — Я — твой. Я — это ты, но другой. Я — твоё дитя. Я — твой выкормыш.

«Не только мой!» — хотел было выкрикнуть Шубников, но сразу же понял, куда его может привести восклицание, и сжег мысли о Мардарии и Бурлакине.

— Твой, твой, — сказал Мардарий. — Из-за тебя я столько вытерпел, из-за тебя столько увидел и узнал, столько прочитал, Дхармакирти, Шопенгауэра, Ницше, Гартмана, Бергсона среди прочего, этих на языках подлинников.

Шубников не читал никаких Шопенгауэров, Ницше и Бергсонов, о Дхармакирти же и Гартмане слышал впервые и был несколько удивлен признанием Мардария.

— Да, — сказал Мардарий, — я многое прочитал, увидел и узнал из того, что должен был прочитать, увидеть и узнать. А теперь я многое решил и не без твоих подсказок и желаний понял, что надо делать. А потому я тебе больше чем брат. Ты же киснешь и собираешься киснуть. Тебе и обе женщины сейчас не нужны. А мне они необходимы. Хотя бы на время. Отдай мне их, брат!

Рассвирепевший Шубников чуть было не выразил сомнений по поводу мужской силы Мардария, но не отважился. Мардарий более не улыбался, смотрел на него серьезно. «Ба, да ведь он сожрет меня!» — осенило Шубникова. Часами раньше Шубников холодно думал о Любви Николаевне и Тамаре Семеновне, но теперь покушение, посягательство на его, Шубникова, достояние возмутило, словно бы подожгло изнутри. И догадка о том, что Мардарий проглотит и сожрет его, требовала мгновенного решения.

Мардарий все понял, угадал судьбу, вид у него был страдальческий, он еще надеялся на что-то, затрясся, задрожал, хотел было убежать, улететь, уползти, но не смог сдвинуться с места, желал ухватиться за что-либо в воздухе, но и этого ему не позволили. Мардария повлекло к Шубникову, корчась в судорогах, с хрипами и стонами отчаяния он был вдавлен, вмещен в Шубникова. Теперь стал дрожать и Шубников. Жар, только что подымавшийся в нем, исчез, ледяные иглы кололи Шубникова изнутри. Но дрожал Шубников и оттого, что ему сейчас открылось. Дрожал из-за тех бездн, которые он ощутил. «Зачем я? — думал Шубников. — Ведь этого нельзя было делать...»

Холода приползли в Останкино.

А ведь шел май, и уже осыпались лепестки черемухи. Бывая в других краях Москвы, я не ощущал там останкинской стужености. Люди в Замоскворечье, на Покровке, в Чертанове сняли свитеры и пиджаки, мы же являлись к ним в ушанках и куртках на меху. «Да вы небось из Останкина», — говорили они. Как раз в ту пору стало

известно из телевизионного остроумия метеорологов, что если Африка в Москве — Балчуг, то Антарктида — Останкино. К тому же батареи в домах у нас не грели и горячая вода в квартиры не допускалась. Ну ладно бы прекратили топить на Балчуге...

Впрочем, приходили в голову мысли, что не географическое положение Останкина, не открытость нашей местности всем ветрам, северным в особенности, не ремонтные работы в котельных с думами о зиме должны были нас тревожить. Ну холод. Ну мороз и мороз. Ну нет горячей воды. Неужели это новости для останкинского жителя? Однако уныние захватило многих. Морозец, пусть и без снега, с прижатыми к окаменевшей земле травинками, со стеклышками льдинок там и тут, должен был при ясном небе бодрить и призывать к действиям. Но нет, не призывал и не бодрил. Трусаки и те прекратили бегать в скверах и парке. Слабость, будто после воспаления легких, ощущалась не мной одним. Слабость и апатия. И несомненное беспокойство, предощущение скверного, чему следовало бы помешать, но как и какими силами — неизвестно. Холод был в душе Останкина.

Неприятно было возвращаться с работ или выходить из домов вечерами. Останкино стояло черное, выстуженное или простывшее, мрачно, устроенное словно бы и не для жизни людей, а неведомо для чего, пустынное, одни лишь охранители уличных приличий и попадались навстречу. В магазинных залах у прилавков и касс поубавилось жизнелюбивой толкотни — многие останкинские жители утратили аппетит.

Да что аппетит! В жизни каждого случаются минуты тоски, усталости и отчаяния, когда кажется, что ничего светлого более для тебя не будет. Но, однако ж, опять вскоре бежишь куда-то, и о чем-то хлопчешь, и чего-то ждешь. Сейчас же уныние ощущалось как вечное и единственное состояние жизни. Звезды, о каких в городе не думаешь, высвечивались во всем их пугающем множестве, с ледяной очевидностью открывались при этом втягивающие в себя глубины и пропасти не наверху (да и где был верх?), не в небе, а в сути мироздания, напоминая о краткости и беспощадности жизни. И приходили испуги, как в детстве, когда усыхал фитиль керосиновой лампы, а ты, шестилетний, лежал один в зашторенной из-за вражьих самолетов комнате, и думалось, что мать не вернется никогда. Теперь я пытался успокаивать себя соображениями о том, что эсхатологические настроения неизбежны для людей, но что даже и при всех несовершенствах человека сама материя, мироздание, природа (или что там еще) не запрограммированы на самоубийство, не имеют его целью, потому и не следует ожидать конца света. Но уныние в Останкине порой было словно бы предощущением именно скорой гибели мира. И возникало осознание вины, нет, и не вины, а причины этой предощущаемой гибели в самом себе, но не личностное (хотя я признавал в те мгновения и малость, глупость, ошибочность своей жизни), а словно бы всеобъемлющее; я, как и другие люди, твари, насекомые, звери, камни, осока болотная, был составным малости, глупости, ошибки... О люди, люди! Откуда мы? Зачем мы? Куда идем? Куда гоним себя?

У остывших батарей я жалел о том, что сейчас в Москве не затопишь печь. Я уж и забыл, как грелся у печей в Напрудном, в Юрине, в Яхроме, будто этого и не было никогда. Воспоминания уводили меня из Останкина в места, в каких мне жилось хорошо и покойно. А ведь были и война, и несытые годы, и стечения грустных обстоятельств в жизни взрослых, отца с матерью. Но для меня в очаге дома горел огонь.

Из Напрудного переулда я переехал в Останкино лет семь назад. Останкино не было для меня чужим. Первая Мещанская, на которой стояла моя школа, перетекала через Крестовский мост в Ярослав-

ское шоссе, а оно километра через два прибывало в Останкино, куда мы ездили в парк и на Выставку. Напрудный же переулок лежал в Мещанских улицах, между Второй и Третьей, и был, как и белая церковь Трифона, вблизи которой охотился Грозный Иван, памятью о селе Напрудном, известном с двенадцатого века. Или, по другим источникам, Напрудском. Теперь из четырех Мещанских осталась одна, последняя. Усовершенствователей разных лет раздражали огорчительные для них названия. К тому же, видно, им казалось, что как только благородное слово заколотит слово сомнительное, сейчас же изменится суть населения и его жизни. По той причине, наверное, в Тульской области поселок Лаптево произвели в город Ясногорск. Или втекающий в нашу Первую Мещанскую Протопопов переулок назначили быть Безбожным. И Мещанские улицы еще до войны улучшали именем Гражданские. При этом не принимали в расчет память города и то обстоятельство, что лишь по неведению «мещанин» можно было отнести к словам оскорбительным, срамным для нового быта. Мещанские улицы, известно всем, возникли в семнадцатом веке, когда из возвращенных Россией западных земель были переселены Алексеем Михайловичем в Москву мещане, жители белорусских городов — мест. Названия Гражданские заменой не вышли и не прижились. Однако усовершенствователи не унялись и возвели Первую Мещанскую в ранг проспектов, отчего она, гнутая историей и ходом дороги в северные земли, проспектом все же не стала. Но дело было начато, и вскоре на Второй и Третьей Мещанских улицах снимали на время таблички и фонари с домов, а улицам дали новые метки с именами Щепкина и Гиляровского. Именами, что и говорить, уважаемыми, но для наших улиц необязательными, важные свои годы и Щепкин и Гиляровский провели не здесь. При этом ни о чем не спрашивали у жителей улиц. Да и о чем же спрашивать-то у них, коли их облагораживали? Но все же мы оставались мещанскими, а не щепкинскими и гиляровскими, как оставались москвичи к востоку от нас — переяславскими, а к северу — трифоновскими и марьинороцинскими. Нет памяти у людей, сквозь Москву пролетающих, но у Москвы есть память, и ее ничем не истребить.

Напрудный переулок и был одним из самых мещанских. После войны Центр находился от нас чрезвычайно далеко — километрах в четырех к югу: мы жили почти у Рижского вокзала, у Крестовской заставы. Останкино же и Ростокино представлялись нам загородными, дачными местностями. А нынче Рижский вокзал для жителей Бескудника или Бибирева — чуть ли не Центр. От моего же переулочка остались лишь мостовая да три дома. Но он не исчез, он — во мне. Несколькими годами назад, взрослым человеком, я забрел в Напрудный. Стоял еще наш дом. Людей в нем жило мало. Поводов для межсемейных столкновений на кухнях более не существовало. Сыростью, неустройством, болезнью тянуло из лестничного колодца, желтые, из известняка, знакомые мне ступени были совсем стерты. Не узнавшая мною старуха высунула голову из крикливой когда-то квартиры сапожника Минералова, тут же захлопнула за собой дверь. Дом был не жалец. Но мог ли Напрудный остаться в городе, а не превратиться в проезжую часть при унылых новых строениях, какие из-за несоответствия ценностям города будут рано или поздно снесены? Думаю, мог бы. Три века с лишним был он в городе одним из ручьев жизни, не портил Москву, мог бы существовать в ней обновленным, с участием крепких старых домов, если бы решали его судьбу люди, смыслящие в красоте, а не те, что нерадивость, отсутствие таланта, безразличие или нелюбовь к Москве оправдывают нуждой человека в утепленном пространстве. Но это разговор другой...

А в прежний, живой Напрудный возвратили меня воспоминания об огне в печи. Напрудный моего детства был обычным московским переулком с домами в два и три этажа, деревянными и кирпичными,

с судьбою в столетия, с флигелями в зелени во дворах, с земляными, позже — асфальтовыми тротуарами, с травой и пылью летом, с сугробами — зимой, горластый, радостный, со множеством кое-как одетых детей, с их играми в войну, в дочки-матери, в штандор повсюду — на лестничных клетках, на чердаках и крышах, на тротуарах, с одним футбольным мячом на всю ребятню, с патриотизмом дворов, с соседством легендарно-разбойных Солодовок, с звоном трамваев в отдалении. Здесь все знали друг про друга. Здесь бранились, дрались, но и не оставляли одних в горестях. Напрудный переулок, населенный людьми разных дел и судеб, был из тех, что и делали Москву «большой деревней». Такие переулки я встречал в Дмитрове, в Угличе, в Ярославле, на енисейском берегу и в Кашине. При всех бедах и несогласиях нашей земли это были переулки общего житья и даже несуетного уюта. Отчего им не быть больше? Пусть бы стояли и жили со всеми приобретенными столетием удобствами...

У каждой квартиры на задних дворах Напрудного были дровяные сараи. Хранилась там всякая всячина, чаще и вовсе ненужная и необъяснимого происхождения. Летом в сараях спали. Для жильцов второго и третьего этажей сараи служили и подполами. Но все же они были дровяными сараями. Дрова по ордерам выдавали в Самарском переулке. Дважды в год с матерью мы сопровождали свои кубометры, доверенные возчику, по Самарскому и по Третьей Мещанской. Случалось, нанимали пильщиков. Но чаще пилили и кололи сами. Отец со своими костылями в пильщики не годился. Да и приезжал он с работы под утро. Пилить и колоть я никогда не отказывался, а вот когда посылали в сарай за охапками дров, ворчал. Именно из-за пустячности занятия. Оно всегда чему-то мешало — то играм, то книгам, то урокам. Но усаживался у открытой печи следить за огнем и забывал о ворчаньях, вчерашних и завтрашних.

Я и теперь вижу тот огонь и себя у печи зимой, возможно, пятидесятого года. Я сижу на низенькой скамье, вместившейся в узость между печью и сундуком от бабки с дедом. В руке у меня малая кочерга, загнутый стальной стержень, похожая на крюк, какими мы цеплялись за полуторки и трехтонки. Я постукиваю кочергой по поленью, следя за тем, чтобы они горели ровно, а угли от них утерля голубые огни одновременно. Рядом стоит таз для головешек, но головешек не должно быть. Иначе ты плохой хозяин и плохой кочегар, скверно подбирал поленья в сарае и в один глаз, зевая, следил за огнем. Стыдно было бы перед матерью, которая все умела и успевала. Случалось, конечно, хватал дрова в спешке и в темноте, попадались поленья с несоответствиями — сухие и сырые, от разных пород, плотные и трухлявые. Но и тогда можно было топить так, чтобы не осталось головешек и тепло не вылетало в трубу. Каждой спичке в доме в ту пору вели счет. Но вот поленья потрескивали, в трубе гудело весело и с удалью, и тогда можно было, перемещая кочергой поленья или просто переворачивая их с боку на бок, смотря по тому, какие у них были кривизна, кора, сучки, вызывать в печи огненные картины и действия с перетеканиями, а то и с борьбою языков огня, со вспыхиваниями, с разлетами искр, со сменами мелодий печного гуда. Было хорошо, от доброго жара краснело лицо, мороз за стеклами в крещенских узорах прогревался августовским солнцем, а в печи перед тобой происходили сражения людей или стихий, борение волшебных сил, тебе неведомых, однако всегда одолевали силы, покровительствовавшие нашему дому, матери, отцу, мне. А может быть, и оберегавшие нас. Благие дни детства, спасибо им! Их фантазии, грезы, видения в рисунках печного огня зимней Москвы существуют во мне и теперь, противятся черному и серому, зябкости горьких туманов!..

А в Яхrome печи стали топить торфом. К дому моей тетки торф привозили на лошади, грузовику к нему подъехать было трудно. Дом стоял на горе. У жителей Кавказа, Хибин или даже волошинской

Киммерии утверждение о том, что под Москвой есть горы, могло бы вызвать и улыбку. Хотя горцы из Бакуриани и приезжали именно в Яхрому соревноваться в прыжках с трамплина у Парамоновского оврага. Путеводители, призывающие в Яхрому взглянуть на известный монумент защитникам Москвы, называют местные возвышенности высотами. Монумент стоит на Перемиловской высоте, откуда и началось памятное наступление зимой сорок первого. Сибиряки и уральцы прошли на запад и мимо дома моей тетки, на террасе его немцы на сутки устраивали командный пункт, на крыльце ставили пулемет, восточнее в Подмосковье они, пожалуй, не забирались. И хотя в историю войны вошли именно яхромские высоты, патриоты города, и я с ними, называют высоты горами. Перемиловская гора, Семешкинская гора, Красная гора, Андреевская гора. Горы эти, правда, лишь немногим превышают двести метров, оставлены они московским оледенением, состоявшимся в четвертичном периоде, и принадлежат Клино-Дмитровской гряде. (Замечательно, что гряда дотягивается до Останкина, здесь и обрывается, наша башня стоит на южном склоне гряды.) Гряде рассекает, обнажает долина реки Яхромы, во времена Ивана Калиты — судоходной. Ныне долина Яхромы стала долиной канала с мостами, шлюзами и пристанями, канал впустил в себя воду не только Волги, но и Яхромы, иссушив ее, — такая судьба. А с белых палуб особенно хороши яхромские высоты! Горы! Естественно, горы! Я в Яхроме не приезжий. Для меня Яхрома — город родной. На Перемиловской горе, возле церкви Вознесения упокоились мои предки. В Яхроме встретились и полюбили друг друга мать с отцом. Я рос в Москве и рос в Яхроме. Жил здесь летом, в зимние каникулы, и здесь был мой дом. На расспросы мальчишек во дворе в Напрудном я первым делом отвечал, что в Яхроме все просматривается на двадцать километров. На двадцать не на двадцать, но с Андреевской горы был виден Дмитров, а с наших, правобережных, гор, казалось, можно было осмотреть весь свет. И уж, конечно, не только Дмитров, но — что там было за ним? — и Вербилки, и Талдом, и Савелово, и Дубну, и Рыбинск, и Кашин, и Углич. Замкнутое пространство действует не только на людей, удрученных клаустрофобией. Даже если оно не угнетает, то несомненно что-то в тебе ограничивает и пресекает. В Яхроме, и особенно на ее высотах, являлось ощущение простора, открытости земли и жизни, подобное какому я в детстве редко где испытывал. И звезда мне открывалась здесь больше чем где-либо, парными августовскими ночами дядя, учитель математики, давал им ради меня названия. Местная ребятня знала, что Яхрома находится не где-то на отшибе и в тупике, а посреди всех земель и вод. В яхромский шлюз, по щедрости декораторов эпохи украшенный бронзовыми каравеллами и прославленный в «Волге-Волге», входили теплоходы, сухогрузы, буксиры, приписанные к портам речным и морским. В дни праздников военных моряков для столичных церемоний, на нашу радость, под мостом проносились к шлюзу катера, а мы качались на их волнах. Вся земля с континентами и океанами была видна из Яхромы, и здешний простор не мог не понуждать к желанию простора, свободы в душах и судьбах. Вижу себя в отроческие годы на земляничном подъеме горы Красного поселка, удивленного, очарованного миром, с ожиданием полета в дальние дали, с томлением души...

Эка меня повело! Вспомнил о том, что в Яхроме в пятидесятые годы развозили торф для печей, и пошли чуть ли не стариковские умиления по поводу отгоревших лет! Кстати, понятно, что если рядом росли леса, в дело шел не один торф. Летом мне не раз для кухонной печи приходилось быть заготовителем дров и хвороста. Хворостом чаще всего оказывались сухие сучья бузины. Гора Красного поселка была раскорчевана под огороды, под картошку, на самой спине ее пасли коз (и мне доводилось), лес начинался в километре от теткино-

го дома и уходил к Загорску, к местам Сергия Радонежского. Свободные же склоны Семешкинской горы и горы Красного поселка были в зарослях бузины. Бузина росла в Яхrome всюду. Для меня бузина соединена с Яхромой и детством. Однажды меня попросили написать для нравоучительного журнала нечто душевное о любимом растении или дереве. Я сказал, что напишу про бузину. Рассмеялись, заметив, что бузина будет иметь успех лишь при наличии в Киеве дядьки, а так растение — дрянь, имеет неприятный запах, недозревшими ягодами ее стреляют из зеленых трубочек, или, проще говоря, плюются, а потому напоминать о ней детям — лишь вводить их в грех. Я обиделся за бузину. Я всегда считал бузину красивым кустарником. Меня несколько не огорчало то, что ягоды бузины несъедобны, скорее устраивало, что вблизи нее можно было просто жить, не имея к ней никакой корысти, можно было играть в ее зарослях, строить шалаш в ее тайниках и смотреть на ее красные ягоды. Осенью пламенеющая в Яхrome бузина всегда была для меня образом, знаком стойкости и огня земной жизни.

Такое странное течение мыслей и картин происходило во мне в дни останкинского холода. Я искал успокоение и опору. Но разве верным было обращение именно к огню, причем не к истинному, который мог бы сегодня согреть промерзшего, а к огню давних лет? Да и так ли уж он согревал тогда? И потом, не смешно ли было возводить глубокомыслия, имея в виду такое пустячное занятие, как топка домашней печи? Да и что такое вообще огонь? Не в ином ли следовало искать успокоение и опору? Можно было бы вспомнить, как огонь сжигал, как им пытали и истребляли живое. Можно было вспомнить и те сомнения, что нет-нет, а являлись в детстве. Огонь в печи оттого был хорош, что он служил тебе. Но не сгорало ли при этом нечто, что имело право и необходимость быть само по себе, без всякой обязанности согревать человека, не сгорало ли, не погибало ли при этом живое, не исходила ли пламенем живая душа, скажем, спиленной березы или ольхи? При этих мыслях однажды увиделось мне лицо Любви Николаевны, будто бы предъявленное мне кем-то, возникало оно и позже. И вспомнились клен в сретенском переулке, желтые кувшинки-кубышки в тихой воде речки Кашинки, осенняя бузина между Семешками и Красным поселком, милые сердцу места земли, куда меня приводила жизнь. И снова я вспоминал, как мать посылала меня в сарай за дровами, как двигал я стальным крюком поленья, и будто бы опять в их огне печалилось, жило, улетало и не могло улететь лицо Любви Николаевны...

54

Вернувшись в Москву, Михаил Никифорович попросил в аптеке недельный отпуск за свой счет. С двумя братьями он должен был поехать в Ельховку, решить, как быть с хозяйством, добром и домом матери, родным своим домом. Скорее всего его предстояло продать. Никто из родственников в Ельховке теперь не жил.

Дважды я встречался в те дни с Михаилом Никифоровичем. Мы бродили по Останкину, заходили в парк, а оттуда в Ботанический сад. Михаил Никифорович молчал, курил сигарету за сигаретой, а я его ни о чем не спрашивал. Лишь однажды он вспомнил, как года два или три назад, осенью, уговорил было меня съездить с ним в Ельховку на полмесяца, я согласился, но так и не поехал из-за московской суеты, так и не узнал мать Михаила Никифоровича. «Какую картошку мог бы тогда привезти семье! Взвалил бы на спину два мешка!» — попробовал пошутить Михаил Никифорович, но тут же замолчал. Потом он признался, что хоть и прожил на свете сорок лет и всякое испытал, а вот после ухода матери понял, что он только теперь стал взрослый или даже старый. То есть не совсем так. А ощутил он, будто бы при

матери, пусть она и существовала вдалеке от него, ему было легче жить, будто бы она, мать, несла какую-то ценную, определяющую, земную ношу, важную для всей их семьи и вообще для людей, несла ношу и за него, младшего сына; со смертью матери ноша эта не исчезла, но она нынче — на его плечах.

Когда мы подходили к оранжерее, Михаил Никифорович сказал, что, наверное, нехорошо, что мать похоронили не в Ельховке, а в Ленинграде. Так постановили на семейном совете, посчитав, что в Ленинграде будет кому присмотреть за могилой. Однако теперь Михаил Никифорович был в сомнениях. Он вспоминал, как они ехали куда-то далеко в ритуальном автобусе, как трясло автобус, как гроб съезжал к самой дверце и крышка его сдвигалась, а он, Михаил Никифорович, оказавшийся ближе всех к гробу, удерживал его, подтягивал крышку, будто следил за какой-то путешествующей вещью, шкафом или сервантом, и теперь ему казалось, что матери лежать в чужой земле будет нехорошо, неуютно...

Я не стал рассказывать Михаилу Никифоровичу о гулянье с триумфами на улице Королева. Чувство неловкости или стыда при мыслях о всеобщем и всеогласном поедании семечек, о гипнотическом воздействии речей и жестов Шубникова возникало теперь не у одного меня. Гулянья в разговорах старались не касаться. Но я знал: Михаил Никифорович не мог не понять, что в Останкине неладно, что в Останкине душа мерзнет.

Вечером перед отъездом Михаила Никифоровича в Ельховку к нему пришла Любовь Николаевна.

— Впустите меня, Михаил Никифорович,— сказала она.— Я ненадолго.

Что было делать Михаилу Никифоровичу? Выругаться? Захлопнуть дверь? Он не смог.

— Проходите,— сказал Михаил Никифорович.

Любовь Николаевна пожелала пройти в комнату. Была Любовь Николаевна в коричневой замшевой куртке, светлом свитере и серой суконной юбке. В комнате сразу же взглянула на окна и на подоконники. На окнах оставались сшитые ею занавески и ламбрекены, а на подоконниках в черной влажной земле росли и цвели фиалки. Любовь Николаевна смутилась оттого, что проявила интерес к вещам, какие ее вовсе не должны были волновать.

— Михаил Никифорович,— начала наконец Любовь Николаевна,— я знаю о вашем горе. Примите слова сочувствия. Хотя они, наверное, вам не нужны и противны. Но для меня очень важно, чтобы вы не думали... То, что случилось с вашей матушкой, не связано с тем, что здесь... Не связано со мной... Меня тяготила мысль о том, что вы могли бы так подумать.

— Я знаю,— сказал Михаил Никифорович.— Так не могло быть.

— Вот и все,— сказала Любовь Николаевна.— Теперь я уйду.

Однако она не дошла до двери, остановилась, попросила робко:

— Можно, я посижу здесь немножко?

— Посидите,— разрешил Михаил Никифорович.

Любовь Николаевна присела на стул, закрыла глаза, сидела молча, вспоминала о чем-то, может быть, и о происходившем здесь, в ее комнате, или же она собиралась с мыслями и силами, готовясь к тому, что ей предстояло исполнить и свершить, губы ее лишь иногда шевелились или вздрагивали. «А не напевает ли она про себя?» — подумал, волнуясь, Михаил Никифорович.

— Я была у могилы вашей матушки.— Любовь Николаевна открыла глаза.— Я принесла ей цветы и травы из Ельховки.

Веки Любви Николаевны вновь опустились.

Что это было? Лицемерила ли она? Лицедействовала ли? Или его дразнили, задирали, вынуждали к безрассудным поступкам? Нет, по-

думал Михаил Никифорович, если бы она лицемерила и лицедействовала, она бы, наверное, явилась в трауре, в черном платье и черном платке. Конечно, отсутствие нарочито демонстрируемого черного цвета ничего не доказывало, однако Михаил Никифорович сумел подавить в себе подозрения. Он рассмотрел теперь на груди Любови Николаевны удерживаемую золотой цепочкой камею, сюжет которой показался ему легкомысленным, и это легкомыслие также успокоило Михаила Никифоровича. Три пухлых проказника малыша с крылышками то ли играли с прекрасной девушкой, почти обнаженной, то ли пытались уловить ее и связать. Позже он попытался описать мне происшествие камее, и я понял, что это Эроты мучали Психею. Я принес Михаилу Никифоровичу каталог эрмитажного собрания, и в нем одно изображение показалось ему знакомым. Только тут, на камее, резанной более чем две тысячи лет назад из сардоникса, два, а не три Эрота прижигали факелами крылья Души-Дыхания-Психеи, и без того воспылавшей страстью, и делали это в присутствии Диониса. А ведь были предупреждены поэтом: «Если ты душу, Эрот, будешь сжигать непрестанно, то берегись — улетит: и у нее два крыла». Я сказал Михаилу Никифоровичу, что сюжет камее Любови Николаевны вряд ли можно было назвать легкомысленным. Мне стало казаться, что лицо эрмитажной Психеи напоминает лицо известного нам с ним существа. Не желала ли Любовь Николаевна вызвать у наблюдателей мысли о том, что она, возможно, имела отношение и к миру Эллады, прошла сквозь него, сохранив в себе его отблески и струи? Но все эти соображения о камее Любови Николаевны пришли позже. Позже!

А тогда Михаил Никифорович недолго смотрел на камее. Он нервничал. Любовь Николаевна снова была рядом с ним. Ему и в голову не приходило, что она могла быть причастна к смерти матери, смерть матери назначила судьба. Но он желал бы вытравить в себе нежность, с какой он глядел сейчас на Любовь Николаевну, и не мог. Любовь Николаевна осунулась, казалась удрученной и отчаявшейся.

— Я устала, Михаил Никифорович,— сказала Любовь Николаевна.— Очень устала...

Она открыла глаза, в них стыла тоска.

Михаил Никифорович шагнул к ней. Но Любовь Николаевна движением руки остановила его порыв.

— Я не пришла просить вас, Михаил Никифорович, о чем-либо,— сказала Любовь Николаевна.— Не поймите так... Не поймите! Отчего пришла, я сказала. А теперь не найду сил, чтобы встать и уйти. Да еще и жалуясь вам. Простите. Но мне более некому здесь пожаловаться.

Михаил Никифорович подошел к окну, закурил, стоял спиной к Любови Николаевне. Как желал он в последние месяцы каждый день и каждое мгновение видеть ее, как скучал без нее, несмотря на все свои мысленные построения и клятвенные запреты, несмотря на гордость и ревность! Что же ему оставалось делать теперь? Умертвить плоть? Отрубить руку? Но разве это изменило бы что-либо? Нет. Он не знал, как ему жить дальше.

— «На нем защитна гимнастерка... она с ума меня сведет...» — услышал Михаил Никифорович. Любовь Николаевна не пропела, а прошептала эти слова.

Михаил Никифорович повернулся.

— Вот и все объяснение любви,— сказала Любовь Николаевна тихо.— Того, что есть между нею и им... Она с ума меня сведет... Отчего — разве важно?

— Любовь Николаевна...— начал Михаил Никифорович.

— Молчите, Михаил Никифорович,— сказала Любовь Николаевна.— Не говорите ничего...

Слезы были на глазах Любови Николаевны.

И опять Михаил Никифорович смотрел в синее Останкино, курил. Через час и десять минут он должен был ехать на Курский вокзал. Недвижно простоял этот час Михаил Никифорович у окна. Но происходило и собеседование его и Любови Николаевны. Порой нельзя было понять, говорит ли Любовь Николаевна или она думает, но чувства ее, названные словами или даже не названные, перетекали в Михаила Никифоровича, чаще не требуя ответов. Больше в их беседе случалось молчания, иногда же произносились или же беззвучно проникали в Михаила Никифоровича слова обрывочные, как бы случайные или внешние к чему-то невысказываемому, недоступному, истолковать иные из них Михаил Никифорович был не в состоянии. Среди прочего он услышал о том, что женское начало, или женственность, вечно ожидали от мужского подвигов, потому, видно, и кашинский сосуд достался именно останкинским мужчинам, но эти слова были мимолетные, ветреные, тут же распались. Из других же слов и сигналов Михаил Никифорович мог вывести, что Любовь Николаевна — накануне несчастья или обрыва. Да, да, перед ней обрыв, омут, пропасть, трещина бездонная. И ее ведут к обрыву, и сама она несется к нему. Вновь, как когда-то, он услышал слова о том, что она задумана совершенством, но она грешница, что в ней не может быть спокойствия, что она ищет себя воплощенную и никогда не найдет, что она не может совладать со своей стихией и свободой, азарт стихии и свободы бывает прекрасен и безрассуден, но сейчас в ней берут верх отчаяние, самоотрицание и даже желание прекратить все. Однако все прекратить никому не дано. Но теперь ей страшно! Страшно за всех. И за себя. То, что создалось в Останкине и лавой растекается в завтра, ей не по нраву! Она не к этому шла. Не к этому! Ей страшно. И это сейчас — не ее. Она бы хотела стать сиделкой, может быть, и в этом ее назначение, готова без сна быть при самых тяжелых больных, подставлять и выносить судна, тазы с кровью и желчью, снимать гнойные бинты, смазывать пролежни. Сиделкой она готова стать не ради того, чтобы отбелить грехи, и не из смиренной корысти с мыслями о балах позже. Она по сути своей сиделка. Но перед ней обрыв. А она желает и не желает обрыва. Она ведь почти и не жила, хотя и жила долго. Но она устала, утомилась, и ее терзают... Она грешна перед ним, Михаилом Никифоровичем, и не желает что-либо оправдывать или преуменьшать, но ведь все могло пойти и иначе. Однако не пошло иначе. И теперь в ее жизни много вынужденного... Нет, она ничего не выпрашивает ни у кого, у Михаила Никифоровича в особенности, просто она устала и отчаялась. Ей горько, а сказать об этом некому.

— Любовь Николаевна... — опять произнес Михаил Никифорович.

— Не надо, Михаил Никифорович. — Любовь Николаевна встала. — Это мне вас надо было бы сейчас приободрить. А не вам — меня. Вам ехать на вокзал.

Стояла перед ним истомившаяся, настрадавшаяся женщина, чьей жизни грозил омут, обрыв, единственная для него, Михаила Никифоровича, и ее нужно было сберечь или спасти.

— Все, — сказала Любовь Николаевна, — поезжай.

Она протянула руку, нежными своими пальцами, ладонью стала гладить его щеку, волосы... Никуда Михаил Никифорович не мог ехать, сомнения сгорели, он был обязан свершить все, свершить несвершенное, лишь бы быть всегда с ней.

— Нет, — сказала Любовь Николаевна. И отвела руку. — Поезжай. Прощай.

— Это не прощание, — сказал Михаил Никифорович. — У нас не должно быть прощания!

— Поезжай. И оставь тревоги, — улыбнулась впервые сегодня Любовь Николаевна. — Мне стало легче. А вот тебе хуже. Я виновата. Сама-то ожила, а тебя потратила. Но ты оставь тревоги. Плохого без тебя здесь не случится. Я обещаю.

«И с дядей Вале́й...» — хотел было сказать Михаил Никифорович. — И с ним, — кивнула Любовь Николаевна. — И со мной. Потому сейчас и не выйдет прощания. Я провожу тебя к поезду?

— Не надо. Спасибо, — сказал Михаил Никифорович. — Не обижайся. Я привык уезжать из дома один. Есть примета.

Они присели перед дорогой, помолчали, спустились лифтом, под липами на улице Королева расстались. Снова Любовь Николаевна гладила его щеку и волосы, снова Михаил Никифорович был готов забыть обо всем, лишь бы сберечь, спасти ее и быть с ней.

— Все, — сказала Любовь Николаевна. — Поезжай...

— Я вернусь, — выдохнул Михаил Никифорович. — И тогда...

— Поезжай... Твой троллейбус...

Шубников нигде не появлялся. Он растерялся. И был напуган. Вобрав в себя Мардария, он долго носился по квартире, то желая все изломать и изжевать, то намереваясь забиться в какую-нибудь клопину щель, чтобы о нем никто не помнил, не знал и не догадывался. Гнусные, невообразимые ощущения испытывал он. В нем проживало чужое, склонное к бунту, решившее разорвать, разнести его и выкарабкаться на свободу. Тошно, ледяно было Шубникову. Он выл, готов был вывернуть себя наизнанку, лишь бы пришло облегчение. И все же выпускать из себя Мардария он не захотел. Отчасти из упрямства, отчасти из-за боязни мести Мардария. Посчитал, что надо перетерпеть, привыкнуть к своему новому состоянию, добиться, чтобы Мардарий естественно, без болезненных сдвигов, без температур, воспалений, царапаний лапами, истерик растворился в нем, совпал с ним, тогда, полагал Шубников, он сможет легче и безобразнее исполнить то, что ему предназначено. И Мардарий утихомирился, то ли сдался искренне, то ли затаился в засаде. Но Шубников пока опасался предпринимать действия, к каким его вынуждали, отказав в бессмертии. Действия эти были отложены, но не отменены.

Воспоминания о Бурлакине Шубников запретил себе и Мардарию свинцовым приказом. Но всем известен комплекс больного зуба. И Шубников нет-нет, но возобновлял видения. Приближалось лицо Бурлакина, искаженное ужасом. Бурлакин убегал, но за ним гнались быстрее, лицо Бурлакина надвигалось, увеличивалось. И возвращался в сорок четвертый раз... в семидесятый... миг, когда горло Бурлакина перехватывала знакомая Шубникову пасть. Шубников дрожал, видение угасало, обмякшего Бурлакина волокни куда-то по шпалам, налетала электричка, и все пропадало... Разбираться в своих ощущениях Шубников себе не позволял, но видения возобновлял, полагая, что готовит себя к тому, что предстало... Ему было интересно думать, что вот Бурлакин был, а теперь его нет и он не мешает. И в будущем, считал Шубников, от него не дождутся слабостей и угрызений, свойственных мелким тварям. Он распорядился устроить в Палате Останкинских Польз мемориал Бурлакина — сподвижника, верного ученика, одного из основателей, чьими трудами и открытиями, страдальца и прочее. На могиле Бурлакина было решено поставить бронзовый монумент. Изготовленный голографами портрет сподвижника Шубников повесил на кухне, настенный Бурлакин глядел на Шубникова задорно, ободряюще и словно благодарил за все содеянное и для него и для вселенной. Принес портрет жизнелюб Ладосин. Директор Голушкин приболел, но Шубников знал, что Голушкин лишь сказывается больным, сам же надеется утечь со службы в Останкине, пока не поздно. А вот богатый словами Ладосин, понимавший все не хуже Голушкина, старался и был даже воодушевлен. Ладосина моментально перевели в исполняющего обязанности директора (до закрытия Голушкину больничного, раз надорвался и утратился) с доплатой денег. Во влиятельные фигуры был возведен патлатый профессор Чернуха-Стрижовский, тому еще предстояло набирать и вести за собой боевиков.

Игорь Борисович Каштанов, так и не расставшийся с заблуждениями о каких-то своих встречах и разговорах с Шубниковым в прошлом, о каком-то уступленном или проданном пае, о роли кинематографического института в судьбе художественного руководителя, не был еще устранен совсем, но и его провели мордой по столу. Каштановские материалы к биографии Шубникова вызвали неудовольствие, они были не о том Шубникове. Каштанова понизили в должности и назначили заведовать отделом «Совмещенные иллюзии добра и зла». В биографы же Шубникова по справедливости был произведен лирический поэт Сухостоев. Удивил Шубникова силовой акробат Перегонов. Порадумав и посоветовавшись, он решил: сотрудничать с Палатой Останкинских Польз имеет смысл. «Принимаю к сведению», — ответил Шубников. Сам же подумал злорадно, что и этим млеющим от удовольствий в саунах вертограда многоцветного он очень скоро учинит! Устроит! Учинит!

Было обидно, что Тамара Семеновна, похоже, растерялась и более не просилась к нему в собеседницы. Ну и пусть, думал Шубников, пусть! Еще день, еще два, еще неделя — и все в нем устроится, все совместится или, напротив, подойдет к критическому состоянию, какое может разрядиться лишь взрывом, и тогда он начнет, тогда он взъярится и разберется со всем и всеми!

Вскоре в мыслях Шубников произвел себя в одинокого ратоборца, рыцаря, противостоящего мирозданию, вселенскому порядку или вселенскому беспорядку. Такие рыцари являются раз в миллион лет. Но более миллионов лет для планеты Земля, не понявшей и не оценившей его, не будет. Ее со всеми ее тараканами, мокрицами, людишками, чудищами, камнями, водами, запахами помоек следует принести в жертву хотя бы для того, чтобы нечто, предположим, остающееся существовать и дальше во вселенных и галактиках, застонало, взревело, одумалось, поняло, как все в мире нелепо, скучно и подло. Шубников был горд и велик оттого, что бросал вызов, полагая при этом, что он невидимая противнику кусачая оса, а равносильна, равноумен, равножесток ему. И чтобы жертва вышла оправданной (хотя Шубников постановил не искать для себя никаких оправданий, он в них не нуждался, к тому же и жизнь человечья сама по себе не имела оправданий) или поучительней, ему хотелось, чтобы люди, пусть и те, что проживали в Останкине, становились все подлее и гаже. Шубников велел Палате принимать и самые мерзкие просьбы и пожелания. «Правильно! Так их! Дави! Грызи их! — слышал он в себе голос Мардария. — И поделом им!»

Мардарий растворялся в нем. Иногда, правда, хныкал, просил отпустить, обещал быть при нем, Шубникове, на побегушках и охранником тела. «Нет! — сердился Шубников. — Никогда!» Мардарий умолял разрешить ему хотя бы прогулки и посещения библиотек, приставал с просьбами провести ученые беседы, скажем, обсудить утверждение Ларошфуко: «Наши прихоти куда причудливее прихотей судьбы» — или устроить критический разбор «Карманного оракула» испанского болтуна Бальтасара Грасиана. Шубников знал теперь наизусть и Ларошфуко, и Грасиана, и Марка Аврелия, и Ницше, и Гартмана, и Чаадаева, кого только не знал, и всех именно на их языках. И всех их он презирал. Иногда Шубников все же снисходил и занимался разбором досужих писаний так называемых мыслителей. Чего они стоили, эти мыслители и говоруньи? Их нет. И листы их книг исчезнут. Или их некому будет читать. В библиотеку, а порой и погулять Шубников Мардарию, лишенному телесной формы, позволял. И дважды посылал во двор дома номер пять, к детскому саду, просто так побродить, посмотреть. О детском саде он думал все более и более. Он знал, что начнет с детского сада. И детям, визгливым и воющим, выйдет облегчение. Не придется им через пятнадцать лет мучаться в поисках анаши, героина или розовой воды. Как это он сдела-

ет, Шубников еще не решил. Главное, что они не будут жить после него. «Именно! Так!» — слышал он подстрекательское, и наплывало видение. Убегал Бурлакин, но и приближался. Открывалась, разверзалась пасть, что-то скрежетало, хрустело, и лилось теплое, густое. «Нет! Нет! Нет! — шептал Шубников, его начинала бить дрожь. — Нет! Нет! Никаких детских садов!»

Тошноты и слабости стал испытывать Шубников. Все, что Мардарий в последние дни его самостоятельности испил, пожрал в Останкине на мясном комбинате, на пивоваренном заводе и телевизионном центре, уже послужило Шубникову и отправилось своим путем в коловращении веществ. Требовалось подкрепиться энергией и пищей, тогда и тошноты, а главное, дрожь должны были пройти. Шубников разорил два завода и электростанцию в Конакове, но не стал сыт. «Пора брать энергию Каспийского моря, — подсказал Мардарий. — И приниматься за океаны».

А Михаил Никифорович думал о Любви Николаевне и в поезде с курскими соловьями на занавесках, отчего-то синими, и в Ельховке. В особенности когда разбирал травы матери. Опять до него будто бы доносились сигналы или даже слова Любви Николаевны, и запах трав был ее запахом. Он очень хотел увидеть на левой руке Любви Николаевны следы от детских прививок, какие и ему когда-то делали здесь, в Ельховке. «Она такая же, как мы, — рассуждал он. — Как я. Как моя матушка. Как мои братья. Мы долго смотрели на нее как на диковинку, как на пришлую и чужую. И никогда не ставили себя на ее место. А она от нас. Она такая же хрупкая, ломкая и ранимая, как мы. И у нее есть начало и есть конец. И ей грозит беда. Я чувствую, что ей грозит беда. Из-за нас, из-за нее самой, еще из-за чего-то...» Теперь Михаил Никифорович по-иному смотрел на свое устранение от дел с Любовью Николаевной, вызванное многим, в частности и его щепетильностью, его понятиями о достоинстве человека. Ничего в этих понятиях он не был намерен менять и не намерен был приспособлять их к случаю. Однако он не сделал вовремя того, что был обязан сделать. И сейчас ему было очевидно, что необходимо действовать. «Оставь тревоги, — услышал Михаил Никифорович. — Оставь... Плохого не случится...»

А хлопоты в Ельховке и в районе, грустные, обидные и несуразные, с оформлением бумаг, сами по себе потеснили тревоги Михаила Никифоровича...

55

Дня три или четыре в Останкине казалось, что — отпустило. Настроение у жителей было ровное, случалось, что они и улыбались. И вдруг опять — тоска, ожидание конца света. Поговаривали, что вот-вот будут высылать дипломатов. Нет, дипломатов не выслали. Но, возможно, оттого, что дипломаты в Останкине и не проживали. Небесные светила, дневное и ночное, вопреки всем астрономическим потребностям пропали в полных и безнадежных затмениях, от них исходил не свет, а копыт. На Балчуге же и в Мневниках видели и луну и солнце. И опустился на Останкино смрад, тяжелый, черный. Хотелось забить ноздри ватой, но желание это было вялое и неосуществимое, как и все желания тех дней в Останкине. И вроде бы следовало уехать куда-нибудь, в подмосковные сады-огороды или к родственникам на Шаболовку, но никто никуда не ехал. Что-то держало нас здесь. Доктор Шполянов уж на что, если помните, проживал в самом Орехове-Борисове, в Шипиловском проезде, а и тот каждый день приезжал в Останкино. К тому же мы быстро стали привыкать к полным затмениям светил, смраду, ознобам, ожиданию конца света. Естественным было предположение многих, что скоро над нами сно-

ва поднимется Шубников, укажет и направит. И мы пойдём. Воспоминания о пожирании семечек, хотя все еще и вызывали чувство неловкости, стыда, представлялись теперь и отрадными.

А Шубников, нами ожидаемый, спал. Спал на кровати с металлической сеткой, укрывшись шинелью, спал с храпом, со свистом при втягивании воздуха, со скрежетом зубов. Оголодавший было, он перенасытился. Сокрушил металлургический завод на Урале, стоявший с демидовских времен, а потом, по соблазну Мардария, повелел перенести себя в Бискайский залив. В часы приливов и отливов он с фырканьем перекачал в себя энергию Атлантического водоема и ощутил в себе крепость. Сразу же пошла и зевота. Но прежде чем улечься на кровать, Шубников позволил себе снова разрастись, подтянуться к звездам, вселенским исполином со сложенными на груди руками зависнуть над Землей. Над этим страусиным яйцом, над тыквой поганой, над футбольным мячом, требующим пинка. Над этим притонном разврата и кораблем дураков, с которым он был готов расстаться с одной лишь усталой усмешкой, презрительной и мудрой.. Шубников чувствовал уже не крепость, а дурную тяжесть обжоры. Эдак перебрал. Двигался будто пингвин на суше. Добравшись до Аргуновской, сразу же залег спать. Понимал, что заснет не на одну ночь. Но местные жители и Палата Останкинских Польз нуждались в присмотре и управлении. «Усилим гнет! — согласился Мардарий. — Усилим!» Тогда и опустился на Останкино смрад тяжелый, черный, заразный.

В один из дней шубниковского сна разлетелась по Останкину весть: дядя Валя удавился. Будто бы ремнем. Или шнурком. Или сухим мочалом. Будто бы в каком-то подполе, подвале или бункере. Будто бы подруга Валентина Федоровича Анна Трофимовна, из парковых лебедих, понесла в судах в подпол или бункер обед и нашла удушенника. Будто бы перед тем в доме дяди Вали завывала собака, а во дворе в гараже, рыдая, ржала лошадь Каштанова и била копытом. Будто бы Валентин Федорович оставил письмо и завещание. Письмо и завещание забрали милиционеры, прибывшие по вызову Анны Трофимовны из пятидесяти восьмого отделения.

Дядю Валу давно не видели. Слышали, что в каком-то людном собрании или на балу он устроил скандал с оскорблением Шубникова и битьем хрусталя, а потом куда-то исчез.

Узнав о гибели подсобного рабочего Зотова, жизнелюб Ладосин прервать сон художественного руководителя не отважился. За что Шубников позже был готов его растерзать.

Весть о Валентине Федоровиче Зотове будто бы вывела Останкино из оцепенения. Никто еще не знал, из-за чего дядя Валя удавился, плавало лишь в воздухе странное и неизвестно откуда взявшееся выражение «сухое мочало», но мы ходили виноватыми. «Что же мы-то? Кто мы теперь такие? — думали иные останкинские жители, не все, увы, не все. — В какой полон мы попали? И куда пригребли?» И полагали, что далее к туманным, ядовитым заливам грести не будут.

Анна Трофимовна плакала, слов почти не произносила, собака дяди Вали слезла, замолкла. Следователь посещал квартиру дяди Вали, Палату Останкинских Польз, осматривал бункер. И опять шелестело — «сухое мочало», «сухое мочало». Одним из первых — и была на это причина — ознакомили с письмом и завещанием дяди Вали Михаила Никифоровича, вернувшегося из Ельховки вечером накануне дяди Валиных похорон. Уже шумели в Останкине дочь и бывшая жена Валентина Федоровича, каждая — с мужем-таксистом, шли войной на Анну Трофимовну, жаждали прав, оскорбились, узнав, что завещание прежде показывают какому-то аптекарю, а не им. От Михаила Никифоровича мы узнали единственно, что и письмо и завещание Валентина Федоровича кончались одинаково: «Но беда-то небольшая? А?» Флидмону Грачеву, интересовавшемуся сухим мочалом, Михаил Никифорович сказал утрюмо: «Было и сухое мочало».

Позже, не через день и не через два, выяснилось, что произошло с дядей Валею и что это за сухое мочало. Рос дядя Валя в Лазаревском переулке, почти на углу с Трифоновской улицей, и потому относил себя к марьинорощинским. Было ему лет одиннадцать, в пыльный июльский день он играл с ребятней, когда в их двор зашел Китаец Ходя с двумя мешками в руках, большим и малым. (Были и другие Китайцы Ходи, со своими улицами и дворами.) В большой мешок Ходя укладывал бутылки и тряпье, из малого доставал «уйди-уйди» и мячики-прыгуны из опилок на резинке. Улыбался он виновато, будто соглашаясь с тем, что его надо терпеть. Валя Зотов вынес из дома две бутылки, получил свой мячик и с чайником в руке залез на крышу сарая. Чайник был смятый, со сломанным носом, вода в нем не держалась. На крыше сарая чайник стал бронепоездом. Но после двух бомбежек бронепоезда резинка оборвалась, а из лопнувшего мячика потекли опилки. Осердившийся на себя, на чайник, на опилки Валя Зотов выругался. Китаец Ходя еще надеялся девчонок последними «уйди-уйди». Валя закричал: «Ах ты, китаец!» — и с силой швырнул чайник в Ходю. Ходя стоял к нему спиной метрах в десяти от сарая, чайник угодил ему в ногу ниже колена, от боли и неожиданности Ходя осел на траву. Уходил он со двора волоча ногу, обернулся и сказал, все так же виновато улыбнувшись: «Нехороший мальчик. Никогда не будет у тебя сухого мочала».

Что за чушь сказал Китаец Ходя! Какое такое сухое мочало? Какие такие сухие мочала есть у китайцев? И сколько оно стоит? Не две, а три пустые бутылки? Или рваные сатиновые штаны, которые ни во что не перешьешь? Зачем ему, Вальке Зотову, сухое мочало? Перед ним — весь мир!

Он и позже вспоминал об этом сухом мочале смеясь. Он спросил бы о нем Ходю, но Китаец Ходя более в их двор не забредал. И столько ждало Вальку Зотова дел, игр, хлопот по дому, что о словах Ходя он думал редко. А потом их и забыл.

И вот год назад случилось странное. Когда Любовь Николаевна после долгих подходов и просьб наконец разжалобила пайщиков, вытянула, вымолила из них желания, он, Валентин Федорович, вызвавшись стать экстрасенсом, вспомнил и о сухом мочале. Он поднимал и переносил мусорные ящики, жилые дома, ларьки с квасом, оставив кровь, ставил диагнозы на расстоянии и через стены. Ему бы пожелать все автомобили мира, всех фирм и всех лет, и кататься на них, а он не забывал о сухом мочале. Что же это? Он не был жадным и завистливым, не считал себя неудачником, не был обделен житейскими приключениями, утехами и бедами, жизнь с войнами и прочими обстоятельствами не позволяла ему скучать, нетребовательность же его к условиям существования, шустрость и везучесть не давали поводов для уныния и ложных мечтаний. Столько он пережил, столько испытал, столько имел! А в своих разговорных фантазиях на публике он вообще мог обладать всем, и этого ему хватало. И вдруг такая нелепица с сухим мочалом!

Да попросить бы у Любви Николаевны сухое мочало. Эдак, как бы дурачась, с шутками. Подержать бы его в руках, успокоиться, плюнуть на него, да и выбросить на помойку. А не смог. Стыдно было! Стыдно! И с шутками бы не смог. Браня себя за блажь, за слабость, слово дал, что и никогда не попросит. А слово дядя Валя, если давал, умел держать.

Как помним, его горения на работе, у политической карты мира, донорство, рекорды не привели к удачам. Надо было побороть или уничтожить Любовь Николаевну. День капитуляции поначалу обнадежил дядю Валею. А потом пошло... Он ходил подавленный и будто потерявший голос. Смирал себя, словно затаиваясь, чтобы застать врага врасплох, но сам становился кроткий и покорный. И одолевала

хандра. Дядя Валя посчитал — от одиночества. Оттого, что, несмотря на все его приобретения, жена не захотела отвыкнуть от таксиста. Ну и пусть, решил дядя Валя, ну и таксист с ней! Он сыскал себе подругу, Анну Трофимовну, Ньюшу, взбодрился, жил человеком, о сухом мочале почти и не вспоминал, а если и вспоминал, то как о веселой глупости, о которой можно было и рассказать на потеху публике. И рассказал когда-то Шубникову и Бурлакину, тогда еще обычным останкинским горлопанам и баламутам. Рассказал на свою беду.

А Шубников с Бурлакиным позднее, уломав или обедев вокруг пальца Игоря Борисовича Каштанова, сказали как-то дяде Вале, что, конечно, волхвы нынче не те да и дяде Вале вряд ли предстоит поход к неразумным хозарам, но все же стоило бы ему, Валентину Федоровичу, освободиться от комплекса марьиноорощинского детства, поучить на руки сухое мочало и тем самым утереть нос Китайцу Ходу. Дядя Валя, пожалев о своей напрасной откровенности, сказал, что он дал себе слово не просить у Любви Николаевны сухое мочало. И вообще ничего не просить. «А вы ничего и не просите! — обрадовался Шубников. — Мы попросим! И вам принесем. Мы ведь теперь можем желать!» Дядя Валя сам был лукав, стоек, увертлив в случаях подвохов и ловушек, а тут задумался: «А может, и впрямь? Пусть они принесут, а я подержу его и выкину!» Шубников с Бурлакиным не забывали и о своей корысти. Коли дядя Валя не мог снять с себя слово, а они доставили бы ему сухое мочало, он обязан бы им дать нечто в залог на время, ну хотя бы пай, ему совершенно не нужный, с условием, что этим паем они смогут пользоваться на благо людей. Дядя Валя воскликнул: «А! Была не была!» Сразу же, как бы продолжая шутку, составили купчую, при этом договорились, что как только дядя Валя насладится сухим мочалом, как только выкинет его, залог ему будет немедленно возвращен. Вечером же Шубников и Бурлакин принесли честно заказанное Любви Николаевне сухое мочало. Валентин Федорович расписался в получении. Возбужденный, он хохотал, но был и разочарован. Все же он надеялся, что ему принесут нечто волшебное, чего по обещанию Ходи он не был в жизни достоин. А он держал в руках мочало, какое выделялось из липового луба, из липового подкорья, размоченного и разодранного на волокна. Впрочем, дяде Вале стало казаться, что в цвете, в крепости волокон есть нечто особенное и благородное. Может, и изготовляли доставленное ему мочало каким-то чудесным способом и единственный раз. Тайна, несомненно, была в нем... Но дядя Валя уверил себя, что — все, мочало у него есть, оно побудет у него, полежит, а через день, через два он его выкинет, ко всеобщей радости. Или сплетет лапоть.

Не выкинул, не изрубил, не развеял.

Уже ночью дядя Валя понял, что боится потерять сухое мочало. К удивлению Анны Трофимовны, он сунул его под подушку. Ушел утром на службу, но часа не провел на улице Цандера, прибежал домой со страхами: не выкрали ли мочало, не разгрызла ли, не заглотала ли его собака. Собака никогда не допускала злокозненных действий, а тут он и ее заподозрил в безобразии. С того дня дядя Валя стал носить мочало на себе, в сырые дни стараясь не выходить на улицу.

Он упрашивал Шубникова и Бурлакина забрать у него мочало и вернуть его Любви Николаевне. Те сказали, что нет, не могут, что если он будет привередничать, они откроют Останкину его тайную страсть, возможно, порочную, и пусть он пеняет на себя. Да он и сам, заметил Шубников, не отдаст им мочало. А Валентин Федорович уже знал, что не отдаст. Мочалу требовалось убежище не только от жулья, но и от катаклизмов. Не сразу, но выпросил дядя Валя у Шубникова бункер. Сначала под домом на улице Кондратюка, потом — глубокий, с лифтом. Устраивая бункер, Шубников старался.

Тайную страсть Валентина Федоровича следовало подогревать и раздувать.

Вскоре дядя Валя стал выходить из бункера, затворив бронированные двери, лишь ради служебных дел на улице Цандера. Подруга его Анна Трофимовна не слишком роптала. Не меньшей, нежели любовь к Валентину Федоровичу, была у нее любовь к огороду и к садовому домику на станции Шарапова Охота. Шубников дал понять Анне Трофимовне, что платить дяде Вале и ей в Палате — по заслугам — станут больше, денег хватит на то, чтобы садовый домик превратить в дом. Или в виллу. Но кормить Валентина Федоровича горячими блюдами Шубников рекомендовал. А дядя Валя сидел в бункере, думал, вставал, подходил к мочалу, теребил его пальцами, гладил, брал на руки, носил по помещению, баюкал. Мало было у него сухого мочала, мало! Шубников, дожидаясь, правда, просьб Валентина Федоровича, с охотой приносил в бункер охапки мочала. «Хорошо-то как у вас! — сказал он однажды. — Здесь бы еще устроить сауну!» «Нет! Никаких саун! — испугался Валентин Федорович. — Оно же будет мокрое!»

Бурлакин, просивший дать дяде Вале послабления, из жалости к нему и чтобы незаметно для Шубникова изменить интересы Валентина Федоровича, установил в бункере компьютер многоцелевого назначения. Не отлучаясь от сухого мочала, дядя Валя мог попасть, куда бы пожелал, и исполнит все, что ему взбрело бы в голову. Компьютер был и игровой. Валентин Федорович мог вызвать в бункер любых людей и животных, быть их повелителем, разыгрывать сражения, производить перестановки правительств, лепить историю по своему усмотрению. Дядю Валю электронное развлечение поначалу радовало. Он рассчитался с негодяем Уриэрте, кровавой досталью из Гондураса, кого год назад, если помните, он не мог достать и уязвить при попытках установить во всех регионах мира справедливое течение жизни. Вновь встречался дядя Валя с Эйзенштейном, еще Сережкой, еще лохматым, с Протазановым, с композиторами Лепиным и Будашкиным, сам видел себя среди мастеров кинематографа и легкой музыки, видел, с каким благоговением они выслушивали его замечания и советы, как, обрадовавшись его подсказке, Сережка Эйзенштейн гонял детскую коляску по одесской лестнице. Дядя Валя заново устраивал события последних войн — испанской, на какую он стремился, но не смог попасть, финской, Отечественной, — воскрешал убитых, искалеченных и умерших, сам под бомбами трясся по фронтовым дорогам на «эмке» и трехтонке, карал оккупантов, пробирался и в самое логово зверя. Озорничал дядя Валя мальчишкой в Лазаревском переулке, катал в лодке барышень на пруду Екатерининского парка, когда-то те барышни воротили нос от малорослого, щуплого Вальки Зотова, теперь же они гонялись за ним. Иные из них выходили чуть ли не живыми в глубину бункера.

Но лишь в первые дни общения с компьютером Валентин Федорович был спокоен или даже беспечен. Потом-то он всех раскусил! Потом-то он понял, что все, все, не только сволочи из логова зверя, не только бесстыжая бестолочь с лампасами Уриэрте, но и приветливые, хоть и легкомысленные барышни и даже честный горячий Сережка Эйзенштейн, косят глаза на сухое мочало. Ни разу не вызывал дядя Валя компьютером Китайца Ходю, но теперь ему стало казаться, что и Ходя притаился где-то внутри бурлакинской машины и вот-вот протянет желтую руку за мочалом. У дяди Вали уже не было сомнений, что все его знакомые, старые и вновь приобретенные, лишь прикидываются, что они снимают киноленты, воюют под Порховом или под Тильзитом, угнетают бесправных на банановых плантациях, катаются на лодках с воздушными шарами в руках, сами же только и думают о том, как бы отвлечь его и ухватить сухое мочало. Более дядя Валя в живых картинах никому не до-

верял, стал сердит и бдителен. Уловив его настроение, Шубников направил в бункер шкафы и сундуки с орденами, медалями, почетными знаками большинства честлюбивых государств мира. И опять дядя Валя увлекся новой возможностью на два или на три вечера, был в своих решениях справедлив, великодушен, издавал указы с именами людей, забытых в реляциях или незаслуженно обойденных недоброжелателями и трусами. Так Звезда получил из рук дяди Вали подводник Маринеско. Но потом награды стали присуждаться исключительно Валентину Федоровичу Зотову. Воевал, сначала с армиями за спиной, а позднее и в одиночку, против всех — он. Все рати земли, все императоры, все гении и герои, все мафии, все невольники шли теперь войной на него с низкой целью отнять сухое мочало. Они проигрывали сражения, погибали, попадали в чумные лагеря, но все равно шли. Двумя шкафами орденов были отмечены Валентином Федоровичем собственные удачи в оборонительных войнах и упреждающих ударах. Достойных орденов не хватало для оценки сокрушительных побойщ. Разгром армий Александра Македонского, коварно решившего подойти к Останкину со стороны Петрозаводска, дяде Вале пришлось отметить всего лишь попавшим под руку то ли либерийским, то ли сенегальским орденом Зеленой Ящеры. Были пошиты дяде Вале специальные френчи, кителя, сюртуки для ношения наград. А враги все лезли, обнаглели, и понеслись на звездных кораблях инопланетяне, прослышавшие о сухом мочале. Валентин Федорович страдал, становился все злее и однажды не выдержал, схватил лом и стал сокрушать им Тамерлановых лучников, и так уже без дыхания валявшихся в снежной степи.

Разбитый компьютер Бурлакин распорядился унести, полагая его починить, но дяде Вале не возвращать. Унесли и ордена. Бурлакин ходил по бункеру расстроенный, ничего Валентину Федоровичу не сказал, только качал головой. А дядя Валя, оставшись наедине с сухим мочалом, будто бы пришел в себя.

Да что это с ним? В кого он превратился? Ведь вся его жизнь противоречила тому, что в нем вдруг открылось. Или образовалось. Он, добрый человек, возненавидел всех. И из-за чего? Из-за какой-то глупой гнуса! Валентин Федорович был намерен бунтовать. Но против кого? Дважды набрасывался он на Шубникова, окруженного людьми, зная, что при зрителях Шубников может ради впечатления проявить себя и великодушным. Но получились лишь безобразные скандалы, не вышло освобождения. «Удавиться, что ли? — подумал тогда Валентин Федорович. — Все лучше, чем бункер с мочалом...» То есть в просветные свои часы он понимал, что произошло с ним нечто несуразное. Но недолгими выдавались такие часы у Валентина Федоровича. Тут же спохватывались и умирляли его. После скандала на учебном балу Шубников осерчал, в бункер ни разу не спустился. Лишь передал Валентину Федоровичу, что удавиться ему не дадут и пусть искореняет в себе малодушие. А то ведь его ославят и устроят в бункере музей останкинского идиота. «Посмотрим, — пообещал Шубникову и себе дядя Валя. — Посмотрим».

Но опять, руша все, обваливалась на него страсть к сухому мочалу, постыдная, подпольная, бункерная. В просветные минуты Валентин Федорович написал прощальное письмо и завещание. Завел в бункере тайник, туда упрятал завещание с письмом. В мгновения торжества сухого мочала — и не раз — сам хотел уничтожить бумаги, но не уничтожил, что-то удержало его... Валентин Федорович все чаще вступал в разговоры с сухим мочалом, и оно будто отвечало ему, оживало, вытягивалось к потолку, колыхалось, светило с оранжевыми, фиолетовыми, зелеными переливами в темноте, а то свивалось в какие-то клубки, ползало само по себе пауками, осьминогами, неведомыми тварями, менявшими формы, линии, глаза, рты, щупальца, гибкие хоботки. Движения, жизнь сухого мочала

увлекали, волокли куда-то дядю Ваю, душа его томилась, в минуты, когда казалось, что он на пределе любви к мочалу или ненависти к нему и сейчас произойдет взрыв, дядя Валя судорожно включал свет, слышал шуршание опадающих волокон, дышал тяжело. «Все,— думал он,— больше не могу. Я один, меня отъединили от всех. А я не бывал один... Ах, Михаил Никифорович, Михаил Никифорович... Но ведь и сам я... И сам... Нет, конец...» Однако снова приходило желание погасить свет, и выяснялось, что предел еще не вышел. В последние дни будто бы случилось усиление, ужесточение чувств, движений и странностей в бункере. Валентин Федорович желал унижить всех, кто мог посягнуть на сухое мочало. А это был весь мир. В погибельный свой час он почувствовал, что кольшашиеся лианы, сети, сплетения, твари на них стали наглее, напористей, все в бункере заволновалось, напряглось, будто бы желая вырваться, выплеснуться, вытечь куда-то, и он представил, как вскоре все Останкино будет захвачено, угнетено рожденным в бункере, и при этом его, ничье больше, мочало уйдет, убежит от него. Валентин Федорович с муками пробрался, проскребся, прополз к тайнику, открыл его, вытащил ремень. Стальной костыль был вбит им в стену бункера в пяти метрах от тайника...

Хоронили Валентина Федоровича Зотова на кладбище в Долгопрудном. День был ветреный, дождливый. Над нами, над мокрой бурой землей неслись низкие, угрюмые облака от Приполярного Урала. Люди стояли в плащах, с поднятыми воротниками, с зонтиками, укорявшими небо. Желавших проститься с дядей Валей привезли на кладбище три автобуса. Два выделили в автохозяйстве Валентина Федоровича, один был нанят в конторе ритуальных услуг. Дочь дяди Вали и ее мать, хотя и давали понять, что здесь они самые важные и необходимые покойнику, вынуждены были держаться особняком, к ним никто не подходил. Хотя что было сердиться на них... Говорили речи сослуживцы дяди Вали, водители и механики, снова благородной представлялась нам история жизни Валентина Федоровича Зотова. Назначенные распорядителями лица держали на бархатных подушках четыре медали и орден Отечественной войны второй степени. Дядя Валя лежал в гробу маленький, без очков, на застывшем лице его запечатлелась несомненная досада. Тарабанько пытался прикрыть дядю Ваю зонтом, но при толчках ветра капли попадали на его лицо. Забухала невдалеке музыкантская команда «Прощание славянки»: привезли старого офицера. Потом заступали молотки могильщиков, плакали женщины, комья рыхлой глины стали падать на крышку гроба. Хлюпала земля под ногами, приставала к ботинкам и сапогам. Прощай, дядя Валя! Прощай, Валентин Федорович Зотов! Прощай, работник и воин, станет беднее без тебя Останкино...

В автобусе, увозившем нас из мокрого, грустного северного Подмосковья, больше молчали и тяжело думали. И не пропадало ощущение собственной, пусть и необъяснимой, вины. Было известно, что в завещании дядя Валя просил помянуть его всем желающим останкинским и марьиноорощинским жителям. Завещались на поминки и деньги. Дочь дяди Вали и его бывшая жена эти деньги оспаривали. Указывали пальцами и на Анну Трофимовну. Без столкновения мнений было решено никаких завещанных денег не трогать, а устроить поминки в складчину.

Братья Ибрагимовы, известные умением договариваться с администраторами всех значений, вызвались уломать ресторан «Звездный», тем более что там Валентина Федоровича знали. Столы решили накрыть и в соседнем зале диетической столовой, по вечерам пустом. Отпустили оркестр, уплатив неустойку, поставили внизу у дверей двух доброхотов с поручением приглашать к столам всех прохожих и ни в коем случае не впускать Шубникова и верховных

служащих Палаты Останкинских Поляз. Было много тягостных пауз. Летчик Герман Молодцов предположил, что дядя Валя мог бы остаться недоволен такими поминками. Понятно, поводов для радостей нет, однако же Валентин Федорович запомнился всем и шутником, отчего же не говорить о нем и светлое? Молодцов попробовал даже подойти к оставленному дремать роялю и спеть «Гори, гори, моя звезда!», Валентин Федорович, случалось, прашивал когда-то Молодцова исполнить именно этот романс. Но и музыка сейчас же умерла в ресторанном зале. Многие сидели поникшие, думали о самих себе, о том, что произошло и с ними и с Останкином, если шутнику дяде Вале захотелось удавиться. Уговаривали сказать слова Михаила Никифоровича, но он молчал. Я заметил, что Михаил Никифорович не раз оглядывался, он сидел спиной ко входу в зал. Ожидал, видимо, кого-то. Но этот кто-то так и не пришел... Уже под конец поминок Михаил Никифорович поднялся. Говорил он нескладно, пожалуй, и не слишком внятно, но из слов его выходило, что Валентин Федорович совершил поступок отчасти и жертвенный.

56

Оглядывался Михаил Никифорович в ресторанном зале «Звездного» в ожидании Любви Николаевны. Он и на кладбище в Долгопрудном думал, что она вот-вот появится. Но, может быть, она была и на кладбище и на поминках, но не показывалась на глаза, имея для этого основания...

Отоседший от сна Шубников уже третий день пытался вырвать у пятьдесят восьмого отделения милиции бумаги с завещанием подсобного рабочего Зотова. Он клял себя. Ведь он знал, к чему может привести кончина и тем более самоустранение Валентина Федоровича, знал, но прошлепал, проморгал, проспал! В объяснительном письме дяди Вали дурного для Шубникова не было. Дядя Валя просил никого не винить. Он писал о своем одиночестве и о том, что сам искривил, измочалил конец жизни. «Прощайте,— заключал дядя Валя.— Но беда-то ведь небольшая? А?» Но вот завещание вышло для Шубникова неприятным. В шутейном якобы соглашении, составленном в Останкинском парке Шубниковым, Бурлакиным и Валентином Федоровичем, было оговорено (и записано), что в случае кончины В. Ф. Зотова привилегии, данные ему ради утоления страсти, как и сам предмет страсти, исчезают, а пай-заялг переходит к наследникам Валентина Федоровича. Тогда же дядя Валя пообещал всех пережить, устроить в своей квартире Абхазию, заверил при этом, что если все же судьба учинит вдруг над ним шутку, он, конечно, откажет пай-заялг милостивым государям Шубникову и Бурлакину. Любовь Николаевна чрезвычайно серьезно, как к законным документам, стала относиться ко всем бумагам, подписанным пайщиками, пусть составление этих бумаг и казалось авторам игрой. Завещение же Валентина Федоровича отказать пай-заялг милостивым государям растаяло в воздухе, на бумагу тогда оно не было занесено. Позднее, после скандалов дяди Вали на публике и опасений Шубникова, Бурлакин поручил электронным мозгам промерить дяди Валины перспективы, задача была поставлена некорректная, но ответ мозги выдали: дяде Вале предстояло жить долго, к безрассудствам он был не склонен и не готов; но в ответе все же рекомендовали ослабить на него давление. «Ослабим, ослабим»,— пообещал Шубников. И не ослабил. Наблюдать, как корежит, как сокрушает, как мучает дядю Валоу тайная страсть, стало для Шубникова удовольствием. «Какие низкие, какие мерзкие и грязные людишки!»— думал Шубников. Не образумило его и предостережение Бурлакина. Не отпустил он дядю Валоу, не облегчил ему долю, до того был уверен, что никакие мелочи уже не смогут помешать его жестокому, великому подвигу.

А Валентин Федорович Зотов объявил наследником Михаила Никифоровича Стрельцова.

Напомню. Пай Михаила Никифоровича составлял два рубля сорок копеек, пай дяди Вали — рубль сорок четыре копейки, пай Каштанова, добытый Шубниковым, — рубль тридцать шесть. Шесть и четыре копейки добавили соответственно Серов и я.

В Шубникове был теперь раздор идей и желаний. Мардарий выступал как радикал и экстремист, требовал тут же спалить пятьдесят восьмое отделение со всеми его бумагами, потрохами, португееми, устранить Михаила Никифоровича, воскресить подсобника Зотова, пусть и вопреки воле покойника, или хотя бы изготовить в мастерских Палаты Останкинских Польз двойника и предъявить его Останкину, следствию, собаке, родственникам как воскресшего и признавшего завещание подложным. Гордость и упрямство ратоборца отвергли пожелания Мардария. Пусть останется он с рублем тридцатью шестью копейками, но до воровства, подделок не опустится. Шубников проверил: ослаблений в делах Палаты Останкинских Польз не случилось и после изъятия пай-залога дяди Вали. Любовь Николаевна из послушания ему не вышла. Но теперь она окончательно была переведена Шубниковым в существа восьмистепенные. В нем были собственная сила, свет, жар, в нем! «В саду от смерти нет трав», — болтал останкинский аптекарь. Именно! Именно! И никогда ни для кого не будет спасительных трав, коли не сделано исключения для него! Скоро, скоро он начнет и устроит! Скоро! Возможно, и завтра!..

Ночью, после поминок дяди Вали, Михаил Никифорович заснуть не мог. Он думал о Валентине Федоровиче Зотове, думал о Любови Николаевне, об Останкине, о матери, но более всего он думал о себе. Не стал ли он в конце концов именно продавцом лекарственных препаратов? Всего лишь торговцем лечебными средствами? «Продавец! Продавец! — горячась, говорил ему на Сретенке Батурын. — Ты продавец! И никто более!» Если так, лучше бы он пек каравай или обжигал кирпичи. Но Михаил Никифорович знал, что ему необходимо быть аптекарем, что эта необходимость вызвана не записью в дипломе выпускника фармацевтического института, а состоянием или охотой его души. Да, с ходом времени дело во многих профессиях расслаивалось, дробилось, но не мог, не должен был стать аптекарь продавцом. Боль, страдания людей, их страхи, их надежды, силы их сопротивления грубому, жестокому в природе заставили человека узнать, какая ягода и какой листок остановят кровь, какая мазь заживит рану, от чего избавит железо и от чего — ртуть. Боль живого создала лекаря. Тысячелетия назад в беде, в стенаниях и плаче произносилось слово «фармаки», значившее — избавитель, защитник. Он, Михаил Никифорович Стрельцов, — фармацевт, и он — избавитель и защитник. То есть обязан быть избавителем и защитником. Находясь внутри замкнутых забот дня, внутри останкинского семьдесят шестого года, внутри очередного пролетающего столетия, Михаил Никифорович не забывал и о своем пребывании в вертикальном движении человечества во времени и пространстве. Вернее, случалось, и забывал, и нередко забывал, не думал об этом, но рано или поздно мысли о собственном местонахождении или состоянии в протяженно-бесконечной судьбе живого в нем возобновлялись. Как возобновились теперь. В том вертикальном движении человечества, или не вертикальном, а в спиралеобразном, или вовсе в другом, но в движении он был и Михаил Никифорович Стрельцов, останкинский аптекарь, и фессалийский врач и царь Асклепий, и суматрский знахарь, кулаками старавшийся выдавить злого духа из груди недужного, и инкский жрец, почуявший избавление в горечи хинного дерева, и увлеченный ученик исцелителя гладиаторов, а затем и придворного врача Клавдия Галена, корпевший в аптеке учи-

теля в Риме над составами пластырей, мыл, лепешек и пилюль, и енисейский шаман, желавший звоном нагретого бубна из ближнего чума облегчить мучения роженицы, и переписчик лечебника в келье на берегу Белого озера, и ведун-мельник, пастух заложных русалок, и сиделец зеленой лавки в Коломне, и счастливый алхимик, в неизбывных стремлениях к великому эликсиру добывший бензойную кислоту из розного ладана, и цирюльник в Севилье, в Гренобле или Дрездене, готовый отворять кровь и устраивать судьбы, проказник и отчасти шарлатан, но бескорыстный, от озорства, от желания отвести от сограждан печали, и почитатель Пастера, способный погибнуть, но испытать на себе спасительное для людей соединение веществ, и фельдшер, под пулями вблизи аула Салты помогавший Пирогову оперировать раненого, и фронтовой врач из тех, с кем сводили дороги войны его отца... И иные ряды выстраивались в воображении Михаила Никифоровича прежде в минуты его воодушевлений или, напротив, в минуты драматических беспокойств или самоедства. Иногда приходили на ум одни имена, иногда — другие. Но всегда вспоминались Михаилу Никифоровичу личности самоотверженные, подвижники, добровольцы, воители с болью людской, пусть часто и небудачливые, пусть и выросшие в заблуждениях, они были истинно избавителями и защитниками. Мысли о них, пребывание Михаила Никифоровича фантазией в их историях и в их сущностях, в их шкурах укрепляли его. Какое благородное дело, — быть на земле лекарем и подателем лекарств! Но был ли Михаил Никифорович в последний год в Останкине избавителем и защитником? Не устранился ли? Не отчаялся ли, посчитав, что он бессилен что-либо изменить в этом мире, и не отошел ли малодушно в сторону, представляя распухать недоброму? Да, в саду от смерти нет трав. Но сам-то сад должен быть! Сам-то сад должен цвести!

Утром Михаил Никифорович, вспомнив о правилах отношений с Любовью Николаевной, написал несколько фраз (чуть было не поставил над ними «Заявление»), в которых сообщал, что он отменяет отказ от услуг Любови Николаевны и объявляет свой пай действенным. Он подтверждал также, что готов исполнить волю покойного Валентина Федоровича Зотова и принять в пользование его пай. После этого Михаил Никифорович пригласил к себе Любовь Николаевну к десяти часам тридцати минутам.

В Останкине решительно потеплело. Шубников не мог сидеть более дома. Несмотря на тепло и, может быть, протестуя против него, Шубников надел ватник. Срок остатного существования планеты Земля им был определен малый. Начинать надо было сейчас же, и с детского сада. Но полчаса он решил уделить женщинам, не оценившим его в школьные и студенческие годы. К ним он посчитал необходимым присоединить преподавателей, оставлявших его без стипендии, а потом и не допустивших к диплому, в первую очередь доцента Кулебяко. Ах да, вспомнил Шубников, был ведь еще подлец Свеколкин, оператор на телевидении, добившийся перевода его, Шубникова, в помощники осветителя. Сразу же пришло на ум множество всяческих подлецов, так или иначе досадивших Шубникову или, что хуже для них, не заметивших его, не обративших на него хоть бы секундного внимания, а потому достойных дыбы, пыток огнем и водой, колесования. Шубников набросал список достойных дыбы на пяти листах для патлатого профессора Чернухи-Стрижовского, уже закрывшего левый глаз черной повязкой, для его боевиков и Лапшина. Сам же отправился во двор дома пять по улице Королева, к детскому саду. Пришлось пройти мимо музыкальной школы, и Шубников понял: после детского сада он прекратит мученические удары по клавишам и стоны смычков. Конечно, существовало противоречие между не подлежащим отмене решением Шубникова пнуть небесное

тело, названное Землей, согнать его с придуманной кем-то орбиты, разнести, раскурочить и желанием сейчас же покончить с юнцами, которые по несообразности природы могли жить долго и после него, Шубникова. Что с ними торопиться теперь, если он разнесет здешнее небесное тело? Однако тянуло Шубникова торопиться, тянуло...

Ровно в десять часов тридцать минут Любовь Николаевна позволила в квартиру Михаила Никифоровича.

Сели на стулья у письменного стола. Любовь Николаевна попросила разрешения курить, Михаил Никифорович курить ей позволил. Он старался не смотреть на Любовь Николаевну из боязни оживить запрещенные самому себе чувства, но, естественно, не мог не заметить, что Любовь Николаевна пришла в знакомом ему белом свитере с античной камеей на золотой цепочке, в узкой серой юбке. Красивы и крепки были ноги Любви Николаевны.

— Я полагаю,— сказал Михаил Никифорович,— вы знаете о кончине Валентина Федоровича Зотова.

— Да,— сказала Любовь Николаевна,— я была на похоронах и поминках.

Михаил Никифорович взглянул на Любовь Николаевну. Шутит она или говорит всерьез? Не сообщит ли следом, что приносила цветы на могилу Валентина Федоровича?

— Нет, я не приносила цветы,— сказала Любовь Николаевна.— Здесь совсем иной случай, нежели с вашей матушкой.

— Полагаю также,— сказал Михаил Никифорович после некоторого молчания,— вам известно, что Валентин Федорович завещал свой пай мне.

— Этот пай уже ваш,— кивнула Любовь Николаевна.— Завещание вступило в силу три дня назад.

Михаил Никифорович встал, подошел к окну, постоял, вернулся к письменному столу, сел.

— Вы ведь обещали,— сказал он,— что без меня в Останкине плохого не случится. Я вам поверил.

— Я виновата,— сказала Любовь Николаевна.— И не виновата.

— Вы могли предотвратить гибель Валентина Федоровича?

— Не знаю,— покачала головой Любовь Николаевна.— Наверное, и не смогла бы.

— Но вы и не пытались препятствовать его гибели?

— Да,— сказала Любовь Николаевна.— И не препятствовала.

— Какие на то были причины?

— Посчитайте причиной мою беспечность. Пусть это вас обрадует и успокоит. Или мою безалаберность. Или...

— А почему вы не смогли бы предотвратить гибель дяди Вали, если бы попытались предотвратить?

— Возникло многое,— сказала Любовь Николаевна,— чем я не могу управлять. И произошло стечение обстоятельств, созданных не мной... И не только мной. Предположим, и вами тоже.

— Любовь Николаевна,— сказал Михаил Никифорович,— вы были искренни и честны со мной, когда говорили, что находитесь на краю обрыва, что вам страшно? Или вы тогда желали с какой-то целью разжалобить меня?

— Михаил Никифорович,— надменно произнесла Любовь Николаевна,— вы теперь расплачиваете силой в три рубля восемьдесят четыре копейки, а потому я обязана выслушивать любые ваши выражения.

— Достаточно ли этой силы в три рубля восемьдесят четыре копейки,— сказал Михаил Никифорович, стараясь сдерживать себя,— чтобы вы навсегда исчезли из Останкина?

— Нет,— сказала Любовь Николаевна,— этой силы недостаточно.

— Но вы остались на краю обрыва или вам вышло облегчение?

— Сегодня я вам не скажу об этом.

— А новые разговоры между нами могут и не случиться.

— Воля ваша, коли так,— улыбнулась Любовь Николаевна, но с некой грустной загадочностью, будто приоткрывая дверь в дальние тайны. — Вы сами себе причините боль. Как знать, может, и не будет у вас иной суженой.

— Наверное, мне станет больно и плохо,— сказал Михаил Никифорович. — Однако сад должен быть. И сад должен цвести.

— Какой именно сад? — спросила Любовь Николаевна.

— Вы знаете какой!

— Да, я знаю, какой сад вы имеете в виду,— опять с грустной загадочностью улыбнулась Любовь Николаевна.— Но есть ли в действительности такой сад?

— Должен быть! И должен быть всегда!

— Вы зря кричите, Михаил Никифорович. Я вас слышу. И вы полагаете, что я в этом саду лишняя? И еще. Вы согласились с тем, что вам может стать плохо и больно, если я исчезну. А вы не думали о том, что и мне может быть плохо и больно?

— Я думал об этом,— сказал Михаил Никифорович.

— И к чему же вы пришли?

— Тому, что пожелает совершить Шубников, или похожий на него, или я, если я забуду о чести и меня захватит низкое, вы имеете возможность помешать?

— Нет,— сказала Любовь Николаевна. — Не имею. У Шубникова пай, обеспеченный рублем и тридцатью шестью копейками. Он обладает правом желать.

— Вы все же намерены сейчас разозлить меня. Или вы даже издеваетесь надо мной, зная, что избавиться от вас мы не можем.

— А вы хотите избавиться от меня? — рассмеялась Любовь Николаевна.

— Да! — воскликнул Михаил Никифорович. — Да!

— Эко вам не терпится избавиться-то! Ну вот и избавьтесь. Ведь сделать это проще простого.

— То есть как? — растерялся Михаил Никифорович.

— Раньше не возникало нужды говорить об этом. А теперь я скажу. Если вы, конечно, хотите знать. Вы не спешите. Вы подумайте, надо ли вам знать.

— Я хочу знать,— угрюмо произнес Михаил Никифорович.

— Коли хотите, то и знайте. Проще простого. Вон те цветы на подоконнике. Фиалки. Вами ухоженные и политые. Горшки разбейте, землю выбросьте, а растения с цветами, листьями, стеблями и корнями разрежьте, разрубите, сожгите над газовой плитой, пепел пустите по ветру с балкона, и меня в Останкине не будет. Проще простого. Все в мире хрупко и тоньше шелковой нити. Другое дело, что никто иной в Останкине, кроме вас, действие это произвести не может. А вы особенный и единственный. У вас и пай в три рубля семьдесят четыре копейки, и вы открывали бутылку. И вы... вы для меня... Но — неважно...

Михаил Никифорович сидел молча. Не лукавила ли, не смеялась ли над ним теперь Любовь Николаевна?

— Вы попробуйте, попробуйте, Михаил Никифорович! И горшки с цветами рядом. Две-три минуты — и все. Кровь не прольется, не бойтесь. Просто вы меня более не увидите. Только не думайте, что без меня вам будет легко.

— Вы совсем исчезнете? — волнуясь, спросил Михаил Никифорович.

— Хоть бы и совсем! — Любовь Николаевна смеялась. — Вам-то какая забота? Что вам моя жизнь и боль? А уж если вы на что-то оглядываетесь, то посчитайте себе в облегчение, что я лишь отсюда

исчезну, а где-то буду. Буду. Пусть и ощущу мелкие неприятности вроде разбитого корыта, испорченной карьеры и прочего. Посчитайте так.

— Вы не вводите меня в заблуждение? — спросил Михаил Никифорович. — Не дразните меня намеренно?

— А хоть бы и дразнила! Вас, выходит, надо раздражить, разозлить, чтобы вы решились на столь малое дело?

— Это дело не малое.

— Пусть будет для вас малым. Или мелким. А потом вы про все забудете.

— Вы будто готовы принести себя в жертву...

— Не держите это в голове. Чтобы меня извести совсем, надо не только наши с вами фиалки сжечь и развезть, но и истребить еще многое. Скажем, клен в переулке на Сретенке, бузину в низине у деревни Семешки, а вы о такой деревне и не знаете, желтые кушинки в речке Кашинке да и множество чего другого, зеленого, красного, белого, пахучего, живого, до чего вам и не дотянуться! А потому и посчитайте, что у вас есть оправдания и облегчения.

— Останкину сейчас не нужны оправдания и облегчения, — сказал Михаил Никифорович.

— Вот вы и заговорили не о своем, а об общем. И думайте об общем. А своего для вас будто и нет. И тем более моего.

Теперь Михаил Никифорович был убежден, что Любовь Николаевна куражится, в интонациях ее он угадывал уже знакомые ему бесстыжность и наглость, без сомнения накануне его отъезда в Ельховку она приходила к нему пусть и искренне опечаленная, подавленная усталостью (но усталость ее могла быть вызвана и тяжким или недостаточно стремительным ходом ее дел, возможно, именно карьерных, отсюда и ощущение обрыва), приходила, чтобы разжалобить, ослабить его, ей нужен был ослабленный, размягченный держатель наиболее основательного пая, сейчас же она смеялась над ним, наивным останкинским жителем, недотепой, возомнившим, что он обязан стать избавителем и защитником.

— А ведь я поверил вам, Любовь Николаевна, — горько сказал Михаил Никифорович. — Ведь я... — Он встал.

— Все, о чем стоило объявить, я вам объявила, — сказала Любовь Николаевна, из глаз ее исходило сияние, оно казалось Михаилу Никифоровичу зловещим. — И вы уж не тяните, а то ведь опять ничего не совершите.

— Действительно ли то, что вам раньше подчинялось, стало теперь не управляемым вами? — спросил Михаил Никифорович.

— Да, есть и такое, — сказала Любовь Николаевна. — Но оно — в вас, а не во мне.

«В нас, в нас, конечно, в нас! — подумал Михаил Никифорович. — Но чтобы разобраться во всем, прежде надо отогнать от нас подалее эту огненную коварную змею!»

Любовь Николаевна расхохоталась торжествующе, будто бы счастливо и так, что дом Михаила Никифоровича должен был рухнуть от ударов звуковых волн. Но дом устоял.

— Назовите меня еще и гулящей! — все еще с сиянием в глазах сказала Любовь Николаевна. — Или хотя бы вспомните снова Манон Леско. И вам будет легче принять решение.

— Я уже принял решение, — сказал Михаил Никифорович.

— Наконец-то, — стала серьезной Любовь Николаевна. — Впрочем, я сомневаюсь, выполните ли вы его.

— Я выполню его.

Любовь Николаевна пристально и долго смотрела на Михаила Никифоровича.

— Раз так, у меня к вам просьба, — сказала она. — Исполните свое решение через час. Дайте мне еще час побыть с Москвой.

— У вас есть час,— кивнул Михаил Никифорович.

— Ну вот и все,— сказала Любовь Николаевна. — И все.

И тогда она поднялась, шагнула к Михаилу Никифоровичу, протянула руку и опять, как десять дней назад, стала горячей ладонью гладить его щеку и волосы, ни оттолкнуть ее, ни отступить от нее Михаил Никифорович не мог, его втягивали в себя глаза прекрасной женщины, в них была боль, затравленность, пропасть, в них была нежность, была верность, была жалость, возможно, к нему, Михаилу Никифоровичу, и к самой себе, в них было прощание.

— Вот и все.

Любовь Николаевна повернулась и летяще пошла к двери. Застывший было Михаил Никифорович не сразу, но бросился за ней в коридор, кричал:

— Погодите, Любовь Николаевна, стойте!

— Оставьте меня, Михаил Никифорович,— властно сказала Любовь Николаевна.— У меня лишь час московского времени.

Уже переступив порог квартиры Михаила Никифоровича, она снова насмешницей остановила его словами:

— Спалите, спалите фиалки-то! Пустяшное дело! Но, может, у вас и не выйдет ничего! Может, я просто дурачила вас!

Захлопнулась, закрылась дверь за Любовью Николаевной.

Шубников ходил, ходил вдоль забора детского сада, а потом взял и ударил ребром ладони по серому шершавому столбу. Тут же повалилось бетонное прясло, уставившись железными костями арматуры в сметанно-белесое небо. Впрочем, мгновенное падение прясла не произвело никакого впечатления ни на наглецов детей, ни на их беспечных воспитателей, ни на прохожих. Мардарий заскрежетал в Шубникове, стал исходить слюной: «Давай же! Давай! Вон с той девки-воспитательницы начнем! Прыгай же через забор! Прыгай!» Деспотические указания Мардария рассердили Шубникова. Он и сам был готов начать и он присмотрел воспитательницу в красной куртке, крашеную блондинку, худущую, манившую длинной шеей, однако теперь ему захотелось Мардария томить и мучать. «Э нет, погоди, дай насладиться ожиданием, а пока мы с тобой сходим в сквер, посидим на лавочке и обсудим борение дионисийского и аполлонийского начал в живом». Мардарий застонал. Но не сам ли он днями раньше умолял Шубникова вести с ним глубокомысленные беседы, не сам ли он навязывал дискуссию со взаимными оскорблениями о ранней писанине соблазненного в кельном доме развлечений: о беззаконии жизни, о том, что жизнь терпима лишь как представление, о трагедии и музыке? Занятого назидательным разговором с Мардарием Шубникова уже на тротуаре улицы Королева толкнули два заезжих из провинции бездельника и грубо обругали. «Это что же!» — возмутился Шубников, а Мардарий в нем чуть ли не заплакал. Заезжие оскорбители моментально были отправлены Шубниковым — один в Ямполь Винницкой области, другой в Шумерлу — и там оба разжалованы в зрители ночных общественных туалетов. Шубников нахмурился. Неужели он для всех никто? Неужели каждый грохочащий мимо дурак может его толкнуть? Следовало сейчас же всех вокруг приструнить и припугнуть. И всерьез, Шубников распорядился перенести на Останкинский пруд грозный корабль, приказав объявить на нем по дороге боевую тревогу, расчехлить орудия, а боцманам высвистать всех наверх. Поначалу Шубников вытребовал авианосец «Саратогу», но выяснилось, что пруд тому будет тесен. и тогда доставили от причалов военно-морской базы Форталеза знаменитый линкор «Ду Насименту» под зелено-желтым бразильским флагом. Оказавшиеся вблизи Останкинской башни, по-прежнему недомагавшей, офицеры и матросы, все больше с кофейными лицами, смотрели на новые для них виды с удивлением и испугом, однако

были готовы выполнить боевую задачу. Орудия главного калибра по приказанию были наведены на дома номер пять и номер семь по улице Королева, за которыми и скрывался волновавший душу Шубникова детский сад. «Пусть жизнь и представление, пусть,— говорил Шубников с Мардарием.— Главное, кто в этом представлении зритель, и кто постановщик, и кто безымянный и обреченный статист!» В одном из домов, закрывших детский сад, проживал Михаил Никифорович Стрельцов, и это чрезвычайно устраивало Шубникова, впрочем, гнусный аптекарь мог сидеть и в своей аптеке за Садовым кольцом, километрах в пяти от линкора «Ду Насименту», и Шубников на всякий случай приказал навести орудие главного калибра и на дом с аптекой. «Нет, не так! Мы же не так их хотели!» — взвыл Мардарий, загремел, задрожал. «Погоди! Не вой! — осадил его Шубников.— Разнесут два дома. А детей мы и сами!» Но он все не мог забыть о двух заезжих подлецах, оскорбивших его, и ему снова хотелось вознестись, возвеличиться, зависнуть в черноте величия над мячом футбольным, тыквой поганой, яйцом страусиным, на котором были бы уже неразличимы ни Ямпольи, ни Шумерли, ни вонючее Останкино.

Обещанный Любови Николаевне час Михаил Никифорович провел в нетерпении. Откуда взялись в нем ярость и желание уничтожить все, связанное со случайной жительницей его квартиры? Будто бы внушили ему ярость и нетерпение. Сейчас же Михаилу Никифоровичу Любовь Николаевна без всяких сомнений представлялась во всем виноватой, именно ехидной, злокозненной, коварной змеей, бесстыжей, блудливой негодяйкой, всегда игравшей с ним ради своего или чужого удовольствия ли, опыта ли. Какую верность и какую нежность мог он угадать в ее глазах, какую боль, какую пропасть, какую горькую судьбу? Обман и игра стлыи в ее глазах! Она была чужая для Останкина, для Земли. И когда минутная и секундная стрелки доползли, добрались до определенной обещанием черты, Михаил Никифорович чуть ли не кинулся к подоконникам. Он в ярости, в иступлении громил горшки, сбрасывал с балкона красно-рыжие черепки, жирную черную землю, бил по балконной ограде зажатými в руке растениями, чтобы отрясти с корней последние прилипшие землинки. Но когда он отнес на кухню освобожденные от земли, смятые им растения, он словно бы опомнился. Что он делает? Какие глупости он творит! Не стал ли он орудием в чьих-то руках? И все же он положил фиалки на перевернутую на газовой плите сковородку, будто водворил их на эшафот, и взял коробку спичек. Но не бумага лежала перед ним и не картон. Перед ним лежало живое. Он ощутил, каким мучительным и долгим выйдет убийство и умирание живого, он как будто бы увидел растения, истекающие зелеными слезами и зеленой кровью. Он не мог убить их. Но три куста фиалок сами мгновенно высохли, уменьшились, замерли, будто бы десятилетия лежали придавленными в потайном гербарии. Жестко-сухие, они, казалось, могли рассыпаться от прикосновения. Превращение растений было истолковано Михаилом Никифоровичем как требование сдержать слово, исполнить принятое им решение. Он зажег спичку, высохшие цветы, вздрогнув, вспыхнули и быстро стали пеплом. Михаил Никифорович отнес сковороду на балкон и тихо сдунул пепел на яблоневые деревья.

«Пойдем! Пойдем к ним!» — торопил, тянул, нудил Мардарий. Шубников же, пожелавший возвеличиться и вознестись над Землей, почувствовал вдруг, что сила из него уходит. Похолодевший от испуга, от догадки, он приказал линкору немедленно открыть огонь по домам номер пять и номер семь. Возможно, его не расслышали. Шубников вскочил и, распахивая ватник, закричал, срывая голос: «Пли!» Однако орудия линкора «Ду Насименту» залп не произвели.

Михаил Никифорович сидел удрученный. Никаких изменений в Останкине не ощущал. И, возбуждая в себе надежду, он стал предполагать, что, возможно, Любовь Николаевна опять пошутила, провела его, заставила заняться глупым делом — погромом глиняных горшков и сжиганием комнатных растений, и сейчас она объявится и он услышит ее иронический смех. Михаил Никифорович был готов услышать ее смех. Он жаждал его.

Но в тот день в Останкине никто не смеялся.

Звук, услышанный всеми, возник, но это был не смех. Будто бы все птицы, какие обитали в европейской части России, не приняв к себе грачей и ворон, сбились над Останкином, собрались улететь куда-то и сообщили нам об этом секундным криком, или клекотом, или курлыканьем. И был стон, уже не птичий, томительный, от него многим стало тоскливо. Потом раздался треск, и на глазах у очевидцев в небе возникла брешь, недолго, правда, темневшая. Всюду, даже и на кухнях при жарении рыбы мерлузы, был ощутим в Останкине запах лесных трав и цветов. И встали над Останкином живые цветные полосы, это была не радуга, а нечто светоносное, мерцающее.

Оно быстро исчезло.

57

Долго шли дожди.

Их тягучесть и бесконечность объяснялись по-разному. Мнение старухи Гладышевой не совпадало с метеорологическим мнением башни, потихоньку оправившейся. Гладышева в очередях, имея в руках авоськи, утверждала, что летит из-за бреши в небе. Что временная жиличка их дома, надо признать, прописанная законно, была так здорова, и видно, сердита, что при отлете вышибла в небе дверь или окно или люк отверзла, починить никто не в силах, оттого и льет. Суждение старухи Гладышевой оспаривалось здесь же в очереди, при этом следовали ссылки на космические испытания, на загрязнение воздуха промышленными дымами, на слухи об углекислом лете, но Гладышева стояла на своем. А когда лить перестало, а потом и стекла с неба сметана, старуха Гладышева обрадованно заявила: «Заросло! Само заросло!» Впрочем, все это, казалось, мало кого уже волновало. Что было держать в памяти Любовь Николаевну Кашинцеву и какие-то события, хотя бы и удивительные, но уже состоявшиеся? Пусть этими событиями занимаются историки в грядущих столетиях, если захватят их в невода своих курсовых или даже аспирантских работ, а нам-то самим лишь бы поспеть за мелькающими днями! Тем более впереди светились очередные невиданные великие сражения гигантов новоиндийской защиты!

Неосведомленные люди из дальних московских захолуствий, расеянные провинциалы еще приезжали на улицу Цандера, имея в виду обнаружить здесь Палату Останкинских Польз. И, конечно, бывали чрезвычайно удивлены и раздосадованы, не найдя Палаты. Жалкие же вывески «Пункт проката» украшали и их края и земли. На улице Цандера за словами «Пункт проката» не скрывалось теперь никаких тайн и волшебств. Предлагались все те же детские коляски, туристские палатки, весла для байдарок, альпенштоки, пылесосы (но без взрывных устройств), ксилофоны с пластмассовым звуком. Директор пункта проката Ладошин, по-прежнему жизнелюб, но иногда заставлявший будто бы в философствованиях о чем-то, вынужден был объяснять, что с перечнем услуг у них минусово. По сведениям знатоков, отгремевший директор Голушкин утек, удалился снова то ли в судебные эксперты, то ли в гардеробщики, скис, запил, пил тяжело, запираясь на два замка и цепочку, но пил не в одиночестве, а с портретами. В пункте проката на Цандера было теперь тихо, шестеро работников скучали. Постройки так называемой Палаты, в част-

ности и на улице Кондратюка, не исчезли, остались подарком Москве, но прокату они теперь не принадлежали, были переданы кому положено. Так, знаменитый когда-то депозитарий имени Третьяковской галереи, угодивший в список архитектурных побед, стал складом турецких табаков. Но и сейчас иногда сухую тишину пункта проката взрывали скандалисты. Поначалу же к двухэтажному строению на улице Цандера являлось множество неуравновешенных спорщиков, можно сказать, что и неумных. Были среди них и иностранцы, эти — без понятия. Известно, из-за чего они скандалили и канючили. Требовали от Палаты исполнения услуг, трясли квитанциями об оплате. Когда же до них доходило (не до всех, нет, не до всех!), что Палаты нет, лопнула, сгинула, унеслась в тартарары или ее и вовсе не было, они из упрямства, из жадности, по глупости либо исходя из неправильного толкования отдельных статей конституции требовали возврата денег. Службе быта и райисполкому пришлось создать особую комиссию. Все претензии комиссией были признаны необоснованными. Не помогли ссылки на то, что останкинское движение подхвачено, что повсеместно создаются подобные Палаты Польз, а где-то якобы, то ли в Тюмени, то ли в Бобруйске, они уже созданы и оказывают еще более замечательные услуги. Ну и поезжайте, было сказано, то ли в Тюмень, то ли в Бобруйск. Не помогли и ссылки на якобы успешный ход экспедиции парохода «Стефан Баторий», о чем вот-вот должен был рассказать Сенкевич. Стало известно, что пароход «Стефан Баторий» затонул в первые же дни экспедиции при внезапных обстоятельствах и тотчас вместе с экипажем растворился в волжских водах. Спасшиеся же путешественники скотили плот из молевых шарьинских бревен, назвали плот «Стефаном Баторием» и нашли клад, но вовсе не в Жигулях и не персидскую казну, а на низменном берегу против Юрьевца, и открыли они, как выяснилось при археологических исследованиях, забытое хранилище минеральных удобрений. Посрамленные клиенты в хозяйстве Ладошина более не появлялись, некоторые из них и на самом деле бросились в Тюмень или в Бобруйск. А люди поумнее из имевших с Палатой Останкинских Польз дела помалкивали и на улице Цандера не лезли. Кому-то не было никакого резона объявлять вслух, о чем они Палату просили. Другие оказались довольны и тем, что успели попользоваться. Протекли, просочились сведения о том, что кое у кого приобретения периода Шубникова не были никем изъяты, то ли забыли о них, то ли посчитали их пустяками. У кого и что, сказать не берусь. Таксист Тарабанько однажды намекнул, улыбнувшись ласково, что как выдали ему пандейро, так оно при нем и есть. И другие давали понять, что и у них застряли приобретения, какие более не сыщешь, сдавать их в пункт проката они не намерены, тем более что хозяйство Ладошина отреклось от Палаты. Хотя полагали, что Ладошин дурил общество, выступив с отречением, сам же что-то припрятал либо ожидал возвращения сил Шубникову, потому и не уходил с улицы Цандера. Так или иначе остаточные явления недавнего прошлого давали о себе знать. То и дело возникал на останкинских улицах верблюд, ходил, жевал, сплевывал, растворялся в воздухе и снова осуществлялся. Возможно, тоже был брошенный, как чеховский Фирс. По сведениям наблюдательного Тарабанько, подкрепленным шепотом Игоря Борисовича Каштанова, некоторые из переселенных или подселенных душ не пожелали возвратиться в отведенные им естественным ходом бытия тела и теперь где-то гуляли в чужих шкафах или пребывали в неподвижных предметах, металлических, каменных или деревянных. Выявить их и водворить обратно вряд ли бы кто взялся, да и кому это было нужно? Покинутые душами тела, по всей вероятности, без забот носили пиджаки, мушкетеры, платья и брюки, ущербными не казались, аппетита не теряли, во всяком случае из остальных граждан они ничем не выделялись.

Но об этом в Останкине имели соображения лишь посвященные. Да и то забывая потихоньку о кашинских паях и о Любви Николаевне. Как, по выражению старухи Гладышевой, небо над Москвой само заросло, так заросла для большинства останкинских жителей и история с кашинской бутылкой, массовым гуляньем на улице Королева, Палатой Польз и прочим, прочим.

Впрочем, верны ли были мои предположения? Не знаю. Сам-то я не забывал о Любви Николаевне Кашинцевой. И не мог забыть. Года четыре назад в январе я шел как-то Крымским мостом, сгибаясь от ветра, стараясь уберечь кепку, спешил. Крымский мост был для меня продолжением улицы, но вдруг до меня дошло, что подо мной река и что она бело-серая. Я поразился. Но не тому, что увидел реку, а тому, что мне было совершенно безразлично, как живет в моем городе река, что до случайного прохода по Крымскому мосту мне и в голову не приходили мысли: замерзла Москва-река или по ней бродят пароходы? Камни, асфальты, интерьеры с мебелью, суета выбрали, выключили меня из природы. Я забыл имена многих растений и цветов. Или вообще в камнях города не знал их. Но это как не знать или забыть имена близких. Если помните, я сомневался в Большом Головине, клен передо мной или не клен. Оказываясь за городом, отходя под деревьями от машинно-служебного дрызга, часами лежа в траве, мог смотреть на лесные и полевые цветы. А потом листал книги, определяя, кто же были мои сегодняшние собеседники или сомолчальники. Выяснялось, что это бархатный спорыш, а это — серый икотник, а это — дубравная вероника, а этот верзила — коровяк холмовой или медвежье ухо... В присутствии Любви Николаевны, что особенно ясно стало теперь, я ощутил нечто, прежде мною не испытанное. Пришло чувство стыда перед всеми травинками оттого, что я отчужден от них. Или даже изменил им. И вдруг это отчуждение стало истаивать, зеленое, цветное, душистое, шелестящее словно бы втягивало меня в себя. Да и камни оживали для меня... И эти мои ощущения были лишь частицами того, что высекала во мне встреча с Любовью Николаевной.

А раз уж я вспомнил о клене... В Большой Головин снова я попал не сразу: А попав, остановился и молчал минут пять. Клен стоял зимний, с голыми ветвями, черный, будто опаленный. Земля под ним была покрыта не умершими еще листьями. Зеленели рядом три дерева. «Что с ним?» — спросил я у женщины, сидевшей на скамье. «Кто знает, — сказала она. — В несколько минут осыпались... Может, трава какая...» Месяца через полтора я гостил у родственников в Яхrome. За столом в разговоре упомянули огурцы. Жаловались, что огурцов нынче будет мало или их не будет вовсе. Не засалишь, не замаринуешь и так не поешь. Будто бы нашла вредная туча с градом, и листья огурцов, а вышел уже шестой лист, даже и под пленкой моментально пожелтели и скукожились. Нашлись удачники, Рябовы, у них туча не тронула огурцы. Рябовы говорили: ну и что, случается, что вредность из туч выбирает места, вон на склоне Семешкинской горы вся бузина засохла, а рядом растет орешник, ему хоть бы хны. Я отправился в низину между Красным поселком и Семешками и расстроился. Заросли бузины, государство счастливых игр детства, были черными. В кривых сплетениях измученных, будто бы сопротивлявшихся ветвей виделись обида и безнадежность. Съездить в Кашин в те дни я не мог, но думаю, что и там я бы застал речку Кашинку мрачной и уж, конечно, без желтых кувшинок. Я не стал рассказывать Михаилу Никифоровичу о зарослях на Семешкинской горе, Головин переулок он мог посетить и сам...

Перечитывая сочинение Вельтмана «Светославич, вражий питомец», написанное Александром Фомичом полтора столетия назад, я наткнулся на выражения о пришельцах и мимошельцах. А может, Любовь Николаевна была Мимошелицей? Нет, она не была Мимоше-

лицей. Впрочем, это уже шла игра в слова. Кто она? Что она? Откуда я знаю. Важнее для меня выходило то, что история с ней оставалась укором. Ведь на самом деле, она, явившись, приглашала нас если не к совершенству, то хотя бы к лучшему, призывала преодолеть в себе нечто, противоречащее званию человека. А мы старались избавиться от нее, от ее напряжений. Не напрасно ли? Порой казалось, что и напрасно. Желал ли я теперь ее возвращения? Не знаю. Могло бы все опять пойти сначала, и опять мы стали бы требовать избавления от Любви Николаевны Кашинцевой. Не раз я думал теперь о светоносности (или лучезарности?) Любви Николаевны, хотя как будто бы лучезарность эту я в особенности ощутил лишь в день исчезновения. «Лучезарность-то лучезарностью,— осаживал я себя,— а Бурлакина и дяди Вали нет». Да, Бурлакина и Валентина Федоровича Зотова нет... Но рядом с Бурлакиным и дядей Валей были мы, а не одна лишь Любовь Николаевна. И не заплатила ли она своим уходом, исчезновением, отлетом, кленом опаленным, замершими кустами бузины за все, что случилось в Останкине с нею и с нами? Не с горечью ли решила она на свой отлет? Но и об этом можно лишь гадать. В воспоминаниях моих Любовь Николаевна существовала только живой женщиной и никем другим, а женщина, какая бы она ни была, вызывала среди прочих чувств у меня и чувство вины перед ней, и сейчас я ощущал себя виноватым перед Любовью Николаевной. Но опять, опять приходило: а Бурлакина и дяди Вали нет...

С Михаилом Никифоровичем я виделся. Но не часто. Выглядел Михаил Никифорович удрученным, почти не улыбался. Я спросил однажды, как его гепатит. Гепатит Михаила Никифоровича беспокоил. Бумаги, в которых сталкивались мнения по поводу присуждения ему пенсии, осели где-то и затаились. Михаил Никифорович не побуждал их к жизни и к канцелярскому движению, но и не отзывал свои просьбы. Пусть лежат в чужих столах, вдруг возьмут и сами поплывут. К тому же он ощутил несомненное действие ельховских трав из сборов матери и уверил себя в том, что они совершенно излечат его. Стало быть, не боли и не тошноты удручали Михаила Никифоровича в первую очередь. Надо полагать, и не его аптечные дела. Особенности жизни и денежной оценки трудов медиков по-прежнему вынуждали его по совместительству работать в двух аптеках. Но это его не тяготило. Напротив, он был готов вовсе лишиться себя праздных времяпрепровождений. Увлекаясь, рассказывал мне о своих неближних поездках к одиноким, немощным ветеранам с лекарствами в руках, хотя порой хворым или увечным людям, опекаемым Михаилом Никифоровичем, требовались и не лекарства, а простой разговор. Иным своим собеседникам он завозил и продукты. «Не надоест ли тебе твоя благотворительная деятельность? — поинтересовался я. — Не принуждаешь ли ты себя к подвижничеству?» «Нет,— сказал Михаил Никифорович. — Жалко одиноких... И есть интересные мужики...» Не одиноким ли был теперь сам Михаил Никифорович? Не к одиночеству ли приговорила его Любовь Николаевна? Однажды он мне признался (а и поводов к тому в разговоре не было), что, видно, стал старым, скучает в компаниях с развлечениями и не может выбить клин клином. Сразу же он замолчал и тяжело закурил. Я хотел было выразить сомнения о старости в сорок лет, да и на вид Михаил Никифорович был вовсе не генерал Крутицкий, но не произнес слов.

Теперь Михаил Никифорович принимал Любовь Николаевну такой, какой она была, не выделяя в ней ни изъянов, ни совершенств. Просто она была женщиной, без которой он тосковал. И он помнил (убедив себя, что так и было) о том, что она сама будто бы коварством, лицедейством, бесстыжестью, в действительности же — истинно страдая, сама подтолкнула, подвела его к решению, а потом и освободила его от необходимости резать, толочь, сжигать живое! Ка-

ково при этом было ей? И ведь ждала, ждала она от него свершений, гордых, высоких, бесстрашных, одно лишь старосветское совместное проживание с любовью к супам харчо и цветной капусте, жаренной в сухарях, конечно, не могло удержать Любовь Николаевну в его доме. Однако, как и я, Михаил Никифорович помнил и о том, что нет Буракина и нет дяди Вали...

Как-то (мы держали тогда в руках кружки пива) мрачный водитель Коля Лапшин, рубивший теперь капусту тесаком, предложил скинуться на бутылку, вдруг опять выпадет кашинская. «Давай! — подтолкнул он локтем Михаила Никифоровича. — Ты везучий!» Мышца задергалась над правой ноздрей Михаила Никифоровича, он поставил кружку на стол, хмуро взглянул на Лапшина и вышел на улицу. «Дурак ты, Коля! — сказал легчик Герман Молодцов. — И даже хуже дурака!» Лапшин не понял, обратился с предложением к Каштанову. «Пошел вон!» — сказал Игорь Борисович Лапшину.

Игорь Борисович Каштанов вернулся к деятельности строительного рабочего. О том, что он был когда-то словесным помощником, чародеем рекламы, литератором, доверенным биографом, издателем, педагогом в классе альбомного стихосложения, он, похоже, не помнил. Да и зачем ему было помнить об этом? Он до того устал от букв и типографских знаков, что не читал более ни книг, ни газет. Старался Каштанов не думать о том, что с долгами-то он расплатился во времена кашинского пая и как бы те деньги не были признаны ложными. Снова видели его в обществе известной в Останкине покорительницы сердец Панякиной, случалось, что Игорь Борисович, как в былые дни, стоял перед дочерью саandomирского воеводы на коленях, пил из ее туфли либо «Акстафу» либо «Агдам» и потом по какой-то неустрашимой и роковой традиции получал пощечину. Инженер Лесков снова интересовался, не слишком ли стоптана и нечиста обувь дамы, на что Каштанов гордо отвечал: «Мужлань! Здесь высшая трагедия! Вам не понять! Этот узел ни развязать, ни разрубить!» А в общем, Игорь Борисович вел жизнь смиренную, благоправную и не вызывал нареканий административных органов.

Сентиментальные чувства пробуждала в Останкине открывшаяся в Каштанове любовь к лошади. У иных наблюдавших, как Игорь Борисович расчесывает лошади гриву или выковыривает из-под подков сезонную городскую грязь, влажнели глаза. Хозяин гаража, где квартировала лошадь, уехал на пять лет в Бангладеш, доверив Каштанову надзор за помещением. И гараж стоял удивительно чистый, здоровый. В нем поселилась и собака Валентина Федоровича Зотова. Все были убеждены, что собака не переживет дядю Вали. Но она пережила. Лошадь как могла опекала осиротевшее животное. Лошадь и собака словно бы не имели клочек, все их называли — лошадь Каштанова и собака дяди Вали. Умная собака часами сидела у гаража, смотрела на мир открытыми глазами, возможно, желала рассказать свою историю и историю дяди Вали, но не могла. О слиянии чувств лошади, собаки и Игоря Борисовича Каштанова узнали в городе, они втроем стали достопримечательностью Останкина (в особенности после воспитательных публикаций писателя Мысловатого), смотреть на Каштанова с животными привозили детей.

Не раз являлся на улицу Кондратюка созерцать лошадь и собаку Петр Иванович Дробный. Дробный ставил красную «тоёту» на Цандера у районной поликлиники и проходил во двор Каштанова. Во дворе под яблонями и вишнями стараниями дяди Вали когда-то были поставлены лавочки. Дробный созерцал иногда стоя, иногда сидя на лавочке, иногда и опустив веки, и куда дольше, чем на Сретенском бульваре. Будто бы Петр Иванович и не обращал теперь внимания на ход делового времени. Однажды Дробный, возвращаясь сознанием или духом в гвалт и спешку Москвы, стал говорить Михаилу Никифоровичу о непостижимости жизни и о том, что лишь

созерцанием можно совместить себя с великим и непостижимым, достичь — хоть в немногом — очищения, возвышения духа, сотворить — хоть ненадолго — в себе гармонию души, совершенно невозможную в мгновения, когда тебя обдаёт грязью трамвай или когда к тебе проявляет интерес автоинспекция. При этом Дробный полагал, что созерцание и надеяние и есть наилучшее состояние человека, действиями же своими он может лишь все испортить в мире. Однако Михаил Никифорович не мог не сказать, что житейская практика Петра Ивановича отчасти противоречит его положениям. «Да, да! — горестно согласился Дробный. — Да!» Это какому-нибудь Ван Вэю можно было удалиться к горам, водам и туманам и там лишь созерцать, а нам-то каково? Нам-то приходится крутиться! Крутиться! Крутиться! Впрочем, мясные ряды Дробный оставил, каскадером на студии Горького лишь прирабатывал, искал нового приложения сил. К тому же натура его еще не остыла, еще полностью не была готова к сплошному созерцанию. И было дано понять Михаилу Никифоровичу, отчего Дробный вдруг разоткровенничался перед ним: в надежде на откровенность Михаила Никифоровича. Не будет ли третьего пришествия известной особы? Не восстановится ли Палата Останкинских Польз? Устал Дробный в делах на улице Цандера, однако жалел, жалел, что дела эти оборвались. Но что мог сказать Дробному Михаил Никифорович? Ничего.

А вот доктор Шполянов нисколько не жалел о прекращении останкинских приключений. И вовсе о них ничего не помнил. Однажды я бестактно поинтересовался у Шполянова, отдохавшего после операций, весело ли было ему гулять наемным котом или утомительно. «Каким наемным котом? — удивился Шполянов. — Бред какой-то! С чего бы вдруг — наемным котом?» И он задремал в кресле.

Дважды гостьей побывала в квартире Михаила Никифоровича его бывшая жена Тамара Семеновна, произведенная теперь в заведующие учебной частью специальной, с юго-восточными языками, школы. Приезжала Тамара Семеновна и просто так и с какой-то целью, ей не совсем ясной. Но, чуткая женщина, она сразу поняла состояние Михаила Никифоровича и призывать его ни к чему не стала. Что-то в ней то ли перегорело, то ли остыло. Временами, когда она тихо задумывалась, Михаилу Никифоровичу казалось, что ей не в завучи предстоит идти, а в монахини. Однако шла она в завучи, и, по ее словам, с охотой. О чем-то желала спросить она, может, как и Дробный, узнать, не случится ли в Останкине возобновление... Но не спросила. Расстались Михаил Никифорович с Тамарой Семеновной дружелюбно, пообещав иногда звонить друг другу.

Из ответственного и долгого отсутствия вернулся в общество Анатолий Сергеевич Серов. Оказалось, что когда произошло преобразование пункта проката в Палату Останкинских Польз, Серов незамедлительно вызвался читать лекции на дальних приисках Колымы и Чукотки. Да и на Аляску и в фактории на берегу Гудзонова залива поехал бы Серов, если бы его командировочное удостоверение и суточные смогли произвести впечатление на Аляске и в Гудзоновом заливе. До того все, что происходило в Останкине, начало противоречить научным знаниям Серова, гранитам и базальтам его основ. Временами Серов звонил жене, выждал на всякий случай полгода после исчезновения Любви Николаевны и вот теперь смог прекратить чтения в долине Индигирки. Выглядел Серов полярником, доставленным со льдины Папанина, его радостно обнимали, хлопали по плечам, всем окончательно стало ясно, что раз Серов возвратился, колебать краеугольные камни в Останкине никто более не будет. А когда Серов остановился возле Филимона Грачева, тот ткнул в грудь Серова пальцем и радостно заявил: «Шиктрюмод!»

Филимон в последние месяцы никак не мог приостановить свое культурное развитие. А оно уже стало мешать его занятиям гире-

вым спортом, отчего возникали перекосы в общем движении гармонической личности. Филимон уговорил было себя отдохнуть от книг и умственных упражнений, но тут сначала в газетах, а потом и в телевизионных выпусках сообщили о замечательном турецком кроссворде. Кроссворд был разложен создателями на полу общественно-го здания в Анкаре и занял там шестьдесят квадратных метров паркета. Вопросы к кроссворду издали девястью предьявленными зрителям томами. Филимон Грачев не сомневался, что со своим багажом он одолеет и турецкий кроссворд, не подведет останкинских и в Анкаре. Он был уверен, что рано или поздно попадет в Турцию — либо туристом, либо в делегации работников инструментальной промышленности. Несколько смущало Филимона полное и глухое незнание им турецкого языка. Но каких бастионов не крушили со светочем науки в руках! И Филимон взялся за турецкий язык. Успехи его были блестящи. Однако произошла глупость. Как-то в автомате же на улице Королева у кого-то оказалась многотиражная газета «Московский железнодорожник». Вопросы кроссворда были там дрянные, но к ним прилагалась чужая картинка с клеточками. В типографии перепутали клише, только и всего. Разгадывали кроссворд люди случайные, необразованные, вписывали любые слова, лишь бы заполнить пустоты. Столица Сенегала стала у них Дакарша, балет Хачатуряна — «Трибунал», автор романа «Колеса» — Станюкович. И все равно некоторые клетки остались белыми. Протянули газету Филимону Грачеву. Филимон взглянул на бумагу как мастер, рассеянно, все еще находясь в турецком языке, не оценив Дакарш и Станюковичей, он быстро принял вписывать в клеточки буквы, но увидя возникшее слово «шиктрюмод», остолбенел. «Шиктрюмод» соответствовал вопросу о выборном или назначенном представителе. Ни на кого не глядя, повторяя: «Шиктрюмод! Шиктрюмод!» — Филимон удалился из автомата. Он перестал ходить на занятия турецкого языка. Не поднимал более гирь и штангу. Его ум был смущен. Филимон желал освободиться от Шиктрюмода, но не мог. Он хотел бы осознать, ощутить Шиктрюмода как понятие или даже как существо, выяснить с ним отношения, но удач не имел. Шиктрюмод снился Филимону, но и во снах он оказывался неуловимым. Мы уговаривали Филимона нарисовать Шиктрюмода, чтобы тем самым хотя бы поймать его, пригвоздить к бумаге, но всякий раз Шиктрюмод выходил у Филимона неясным и несбыточным, то мешком каким-то вздутым, то скрюченной лапой дракона, то смятым коллаком повара. Способов вызвать Филимона будто бы и не было. И вдруг теперь, ткнув пальцем в грудь Серова, он заявил совершенно осмысленно: «Шиктрюмод!» — и унесся куда-то в воодушевлении. Возможно, к гирям и штанге, возможно, к учебнику турецкого языка. Не важно. Он увидел Шиктрюмода и освободился от него. Услышав от нас об истории с Филимон Грачевым, о ее благополучном, как представлялось, исходе и о произведении его, Серова, в Шиктрюмоды, Серов не обиделся. Он смеялся. А вот о Шубникове Серов спрашивал с осторожностью.

Но что можно было рассказать о Шубникове? Шубников отдался от всех. Ходили слухи, что он затеял обмен, ездил в Банный проезд, был якобы согласен и на Лыткарино, но с обменом у него ничего не вышло. В росте Шубников не уменьшился, но согнулся, голову он теперь наклонял и устремлял вперед, будто собирался боднуть кого-то. В разговоры он мало с кем вступал. Порой забредал в автомат, молча выпивал кружку пива и уходил. И на него смотрели молча. Но на Сретенке возле Успения в Печатниках, где Шубников снова продавал на воздухе помидоры и карибские грейпфруты, он шумел. Он громко общался с людьми, делился с ними философскими соображениями, возможно, и не своими, а приобретенными в недавно прочитанных книгах. По необходимости торгового дела он вынужден был обращаться к покупателям, но совершенно отказал-

ся от привычных «мужчина» и «женщина», заменив их «братом» и «сестрой». Он произносил с искренним пафосом и так, чтобы его слышали в пиццерии на Рождественском бульваре: «Вот твои помидоры, брат!» Или: «Возьми свои полтора килограмма, сестра!» Хотя сестра годилась ему в прабабки. В Останкине Шубников жил незаметно. Но однажды я столкнулся с ним взглядом, в его глазах был вызов и неутоленная жажда действия. И будто бы огонь вспыхнул в них...

Июньским днем я договорился встретиться на Сухаревке по делам со своим приятелем Владимиром Алексеевичем Даниловым. Володя долго жил в Останкине, но три года назад переселился в Лужнецкий переулочек. Работа за столом сегодня меня не ждала, и, ставшись с приятелем, я стал бродить по Сретенке. Прошел Печатниковым переулочком, Колокольниковым, Сухаревской улицей, поднялся к Сретенке Большим Головиным. И опять был вынужден остановиться в известном мне дворе. Клен не вырубил, чего, по предположениям жильцов, следовало опасаться. А теперь его и не за что было вырубать. На трех ветвях его краснели и багровели листья. И всюду обещали жизнь дереву тугие почки. Клен возрождался в разгар лета. Троллейбусами я добрался до Савеловского вокзала, сел на дмитровскую электричку. Оживала бузина на склонах Семешкинской горы и горы Красного поселка! Вернувшись из Яхромы, на перроне Савеловского вокзала я увидел Михаила Никифоровича. Ожидал он не меня. Михаил Никифорович смутился. И я не знал, что сказать ему. И тут у меня вырвались слова, какие я не намерен был произносить. Я поинтересовался, не завел ли Михаил Никифорович цветы в горшках. Михаил Никифорович посмотрел на меня то ли с подозрением, то ли с испугом, потом улыбнулся растерянно и сказал: да, завел. Оказывается, горшки, землю и отводки Михаил Никифорович приобрел еще прошлой осенью. Но фиалки не жили. Михаил Никифорович менял землю, удобрял ее, покупал отводки на рынках, ездил за цветами в Ботанический сад, а цветы не принимались. И вот позавчера... «Что позавчера?» — перебил я Михаила Никифоровича. Позавчера в одном из трех горшков из черноты пробился зеленый росток. Я старался успокоить себя. О клене в Головине и семешкинских зарослях бузины я не стал говорить Михаилу Никифоровичу, чтобы не обострять в нем ожиданий. А он и сам будто бы тут же забыл о цветах. «Ты чаще меня бываешь в книжных магазинах, — сказал он. — Если тебя не затруднит, посмотри для меня книжки. Обещаны издательством «Медицина» «Фармакология и фармакотерапия». В двух томах. Авторы такие — Сатоскар и Бандарнар. Перевод с английского». «Индусы, что ли?» — предположил я. «Наверное», — сказал Михаил Никифорович. Я записал название книги и фамилии авторов. «Домой не едешь?» — спросил я. Нет, Михаил Никифорович ожидал прихода рыбинского поезда. Я отправился в Останкино.

Месяца через полтора, сойдя с яхромской электрички, я снова увидел Михаила Никифоровича. Шел дождь.

ЛЕОНАРД ЛАВЛИНСКИЙ



СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Гонит волну, раздувается ерик,
Ломится в заросли ивовых чащ.
Омуты лодку швыряют на берег.
Сорванный ветром, уносится плащ...
Бронзовый Киров. Затопленный скверик.
Занавес ливня сверкает, летящ.

Давняя пристань моих раздвоений —
Слезы небес и державный металл.
Я ли выламывал грозди сиреней,
«Хочется жить...» — на граните читал?
Признак беды или праздник весенний —
Кануло сердце в речной краснотал.

* * *

Что-то мои березы —
О Кракове да о Вроцлаве.
Как на подбор белесы —
И мелкота и взрослые.

Шепчут, неутомимы,
Чую, для сердца важное:
Может, письмо от Янины,
Может, поэму Анджея.

Холод прошел по веткам,
Или беда во Вроцлаве?
Или нагнало ветром
Воспоминанья росные?

Не было, не было рабства!
Гордым стыдиться нечего.
Лопнула «высшая раса» —
Мира не онемечила.

В черную ту годину
(Помню донские зарева!),
Тонкая, непобедимо
Ты по лесам партизанила.

Чьи сероглазые внучки
Лунно вокруг невестятся?
Мнимые белоручки
Мастью в тебя, ровесница!

Каменные львы

С той поры, как на свете живу,
Я их помню, друзей горделивых.
Голубеет пороша на гривах —
В шапке снега не холодно львүү...

Эти двое просторно легли
Охранять помещение банка.
Только что им червонцы, рубли?
Крепок сон — благородна осанка.

Уцелели на прошлой войне,
Содрогаясь от воющей стали.
Пережили с людьми наравне
Оккупацию... или проспали?

Нету в камне бессмертной души?
Докажите, а я не поверю.
С ними любят играть малыши —
Веет лето ребенку и зверю...

Снег ложится на пасмурный лоб.
Темной глыбе светло и туманно
Раскаленная снится саванна.
Травы. Пальмы. Стада антилоп.



Ю. ДАНИЭЛЬ



ДОМ

В окно я глянул и увидел дом.
Обычный дом — немислимое чудо:
Он был семи- или восьмиэтажный,
И в первом этаже был магазин,
А выше были окна без решеток,
И каждое окно освещено
Своим особым светом, непохожим
На свет соседних. Это оттого,
Что там на окнах были занавески
И были шторы — словом, было то,
Чем люди отгораживаться вправе
От посторонних взглядов. Я, однако,
Сумел глазами памяти увидеть,
Узнать лицо потерянного рая:
Там были стулья и цветы на окнах,
Когда-то презиравшиеся мною
Цветы в горшках, зеленые божки,
С которых пыль стирают по субботам;
Там лампы в потолки не уходили,
Не прятались за мутным плексигласом,
А рдели в кринолинах абажуров,
Собой венчали шаткие торшеры,
Со стен свисали... Там на книжных полках
Лежали неожиданные вещи:
Шнурки от туфель, бильярдный шарик,
Чуллок с иглой в штопке, позабытый
Из-за гостей, нагрывавших врасплох;
Еще рецепт — его уже с неделю
Никто никак не может отыскать...
Там были скатерти, на них ножи и вилки —
Орава режущих и колющих предметов...
Там, в этом доме, было много женщин —
Не медсестер и не стенографисток,
А просто женщин. В платыхах домашних
Они, сколовши волосы небрежно
И рукава по локоть засучив,
Купали в новых ванночках младенцев,
Со лба к затылку отгоняя воду,
Чтоб мыльной пене в глазки не попасть;
И отблеск розовых мелькающих локтей
Ложился сполохом на сердце, обещая
Округлое и теплое свершение
Потом, когда погаснет в доме свет...

Да, я забыл сказать, что по фасаду
 На доме было множество балконов
 Где стыли на ветру велосипеды
 И в сети гамаков шли косяками
 Проворные снежинки...

Дом трещал —
 Его неудержимо распирало,
 Давило изнутри избытком жизни!
 И алые частицы этой жизни
 Сквозь кладку стен, как запах, проходили,
 Летели сквозь зашторенные окна
 Ко мне, ко мне, к откинутой фрамуге
 Окна, перед которым я стоял,
 На стол взобравшись. Целых полминуты
 Я прикасался к человеческой жизни.
 Потом я спрыгнул на пол. Вот и все.
 ...Я знаю, что неловки эти строки,
 Что мой товарищ глянет неподкупно,
 Seriously покачает головой
 И скажет мне: «А что как это проза,
 Да и плохая?» «Да,— скажу я,— да!
 Плохая проза. Хуже не бывает...»

* * *

А вдруг вот так приходит зрелость,
 Когда впотымах спасенья ищем:
 «Мне автором прослыть хотелось...» —
 Твердит испуганный Радищев.

Когда на торную дорогу
 Впотымах бредем, себя жалея:
 «Земля недвижна... грешен Богу...» —
 Петляет голос Галилея.

А вдруг вот так приходит смелость —
 Хитрить, не труся непочета:
 Ведь то, что как-то раз пропелось,
 Уже не спишется со счета.

А вдруг разумна Божья милость:
 Мы все в ничто, в пустое канем,
 Но то, что как-то воплотилось,
 Не зачеркнется покаяньем!

...Но вспоминая в час вечерний,
 Про все про то, что днем сказали,—
 Как жить нам после отречений?
 Какими нам истечь слезами?

Что думать жесткими ночами
 О сбереженной нами жизни,
 Когда страницы за плечами
 В немой застыли укоризне?

ПУБЛИЦИСТИКА

АНДРЕЙ МОНИН,
член-корреспондент АН СССР



ЗАСТОЙНЫЕ ЗОНЫ

В 30-е годы мы увлекались романтическими книгами Константина Паустовского. Мне особенно запомнилась повесть «Кара-Бугаз» о заливе Каспийского моря, этом чуде земной природы, природной фабрике мирабилита — ценного минерального сырья для химической и стекольной промышленности. Мирабилит (от латинского *mirabilis* — удивительный) — это глауберова соль (сульфат натрия). Он выпадал из вод залива зимой, с ноября по март, когда температура воды опускается ниже восемнадцати градусов. Прибой выносил его на берега, и тогда его можно буквально грести лопатой (летом мирабилит растворяется в теплой воде).

В своей повести Паустовский пишет, что в 1847 году залив обследовал лейтенант Жеребцов на корвете «Волга». Он рассказывал: «По глупости своей я хотел предложить правительству перегородить узкий вход в залив дамбой, дабы отрезать его от моря. Зачем, спрашиваете? А затем, что я был убежден в глубокой вредности его вод, отравляющих несметные стаи каспийской рыбы. К тому же загадочное в те годы обмеление моря я толковал тем, что залив ненасытно поглощает каспийскую воду».

Но известный путешественник Карелин, отважившийся пересечь смертоносные области Азии, отговорил Жеребцова «от безумного этого проекта»: «Закупорка залива вызовет перемену свойств воды и прекратит образование глауберовой соли. Утверждение ваше, что залив вызывает обмеление Каспийского моря, равно как и сожаление о погибающей рыбе, преувеличено. Без особой натуги я могу вас тут же разбить по всем пунктам... А вы уж и проект приготовили! В Петербурге сидят дураки. Они размышлять не любят, а прямо брякнут — закрыть залив на веки вечные и удивить Европу. Ежели бы вы упомянули слово «открыть», то государственные мужи, может быть, призадумались бы, а раз закрыть — так закрыть. Закрывать — это для них святое дело...»

А позже геолог Шацкий дополнительно пояснил: «Если бы Кара-Бугазский залив превратился в озеро, то оно бы высохло в шесть лет. Вообще вы не можете представить себе, как быстро сохнет весь этот край!»

Минуло благополучно столетие и еще немного. И что же вы думаете? Совсем недавно, в застойные, так сказать, времена, в 1980 году, Кара-Богаз закрыли. Перегородили-таки дамбой! Залив, конечно, высох — всего за три года, — его стало заносить песком, природная фабрика мирабилита приказала долго жить. По оценке Института пустынь Академии наук Туркменской ССР, общий ущерб от дамбы (и так обошедшейся в копейчку!) составляет 72 миллиарда рублей. Обычно нелегко найти концы, обнаружить виновников подобных, вызывающих глубочайшее изумление вредоносных деяний. На сей раз было легче. По крайней мере со стороны науки ответственность несет подписавший экспертизу Госплана СССР академик Е. К. Федоров, представлявший Отделение океанологии, физики атмосферы и географии Академии наук СССР.

Это отделение, самое «экологическое» в Академии наук, ведает науками об атмосфере, водах и землях. Его нам придется вспоминать еще не раз, и мы для краткости обозначим его ООФАГ, по всем правилам академического бюрократизма. С

одной стороны, обвинять ООФАГ в целом в решениях по закрытию Кара-Богазы вроде бы не приходится: отделение об этом «проекте века» просто «не знало». С другой стороны, само это незнание можно рассматривать как тяжкую провинность. Оно не случайно. И сейчас выход из положения идет без всякой науки, ощупью. В 1984 году в кара-богазской дамбе прорубили дырку — «водопрпускное сооружение», — которая мало что дала. Не исключено, что эту дырку, способ признания в колоссальной дорогостоящей ошибке, придется расширять до размера истинного покаяния, то есть восстановить пролив в первоначальном виде.

В 1929 году уровень Каспийского моря, стоявший тогда на отметке 26 метров ниже уровня Мирового океана, начал понижаться. К 1977 году он упал на 3 метра. Море далеко отошло от своих старых берегов, особенно северных и северо-восточных. Почему это случилось? Ответ очевиден: приток воды в Каспий в эти годы (1929 — 1977) был меньше, чем потери на испарение. Причина — очередное колебание климата на всей площади водосбора. А после войны, думали некоторые, сюда отчасти добавился расход воды на хозяйственные нужды.

Падение уровня Каспия показалось настолько страшным, что в 1979 году Минводхоз СССР разработал технико-экономическое обоснование на первую очередь переброски в Волгу части стока северных рек (37,7 кубических километра в год). Экспертная подкомиссия Госплана СССР несколько откорректировала проект (19—20 кубокилометров плюс несколько кубокилометров за счет закрытия Кара-Богазы).

Отбор воды из рек на хозяйственные нужды можно, конечно, запланировать. А вот можно ли запланировать или предсказать сколько-нибудь надежно межвековые и даже внутривековые колебания климата?

Подведомственный ООФАГ Институт водных проблем (ИВП) Академии наук СССР разработал методику вероятностного прогнозирования уровня бессточных водоемов, и в том числе Каспийского моря. Она называется экстраполяцией случайных процессов. Даже чисто теоретически оправдываемость таких прогнозов имеет очень малую вероятность. Каспий же не раз обнаруживал полное нежелание считаться с подобными прогнозами.

Методика ИВП была рассмотрена тремя отделениями Академии наук СССР: во-первых — математики, во-вторых — механики и процессов управления, в-третьих — геологии, геофизики, геохимии и горных наук. Все три отделения отнесли к методике скептически. «Методика прогнозирования уровня Каспийского моря, — сказано в протоколе, подписанном академиками-математиками Л. С. Понтрягиным и Ю. В. Прохоровым, — неудовлетворительна и не может быть положена в основу крупных народнохозяйственных проектов, в частности таких, как проект перераспределения части стока северных рек в бассейн Волги».

В период застоя, бюрократического централизма, расцвета субъективных принципов управления отраслевой науке нередко отводилась роль прислужницы при тех или иных руководителях. Не таков ли, к примеру, Союзгипроводхоз, до недавнего времени называвшийся Всесоюзный государственный и так далее институт по переброске и распределению вод северных и сибирских рек Минводхоза СССР?

Именно Союзгипроводхоз принял на вооружение ненадежный метод экстраполяции. Предсказанное этим методом дальнейшее понижение уровня Каспия, собственно, и послужило единственным (!) обоснованием дорогостоящих проектов Минводхоза по переброске части стока северных рек в Волгу. Природа посмеялась над этим прогнозом, уровень Каспия сам собою стал расти — и гораздо быстрее, чем падал. С 1978 года он вырос на 1,24 метра, и Дагестан уже просит денег на борьбу с наступающим морем!

Ошиблись, значит. Это факт, удостоверенный постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Запомним, кто ошибся, и успокоимся? Увы, успокаиваться явно рано. По крайней мере одна — и очень существенная — часть «проекта века» не отменена, осталась в силе и небывало высокими темпами осуществляется.

Уже начато строительство второго Волго-Донского канала, который будет много больше первого. Это циклопическая выемка. В газете «Вечерний Волгоград» от 9 июня 1984 года канал был разрекламирован статьей сотрудников Союзгипроводхоза под заголовком «Новый канал Волго-Дон — составная часть грандиозного проекта переброски северных рек на юг страны». Канал должен был одним махом решить две задачи. Оросить дополнительно миллион гектаров в бассейнах Дона и Кубани,

предотвратив при этом осолонение Азовского моря. Море действительно одно время осолонялось, но с конца 70-х годов уровень солености снизился.

Раньше считалось, что канал заполнится водой северных рек. Теперь очевидно, что в гигантский канал хлынет значительная часть собственно волжских вод, которым полагается течь в Каспийское море. Вот теперь над Каспием нависла уже реальная угроза. Его ждет судьба Арала.

Обстановка в районе Аральского моря наглядно видна из космоса. Уровень моря начал падать с 1961 года и падал со скоростью 0,45 метра в год. Помните геолога Шацкого: «...вы не можете представить себе, как быстро сохнет весь этот край!» На космических снимках видно, что море уже на треть усохло, от старых берегов оно отступило на 40—50 километров, а в районе заливов — на 60—75. Сейчас Амударья доносит до Арала всего около 3 кубических километров воды в год, а Сырдарья уже давно в него не впадает. На дельты наступают пустыни: почвы засолились, тугайные леса, тростниковый покров погибли.

На космических снимках видны щупальца пылевых потоков протяженностью в 200—300, а иногда даже в 400—500 километров, наступающих из пустыни в сторону оазисов дельты Амударьи и пастбищ Устюрта.

До 75 миллионов тонн соленой пыли каждый год на огромной площади засолят почвы и угнетают растительность. Она, как и засоленные грунтовые воды, ядовита для людей и вызывает эпидемии. Здесь, например, много больше, чем где-либо, заболеваний раком пищевода.

Сточные воды с орошаемых полей, особенно из системы Тюя-Муюнского канала, насыщенные минеральными удобрениями и ядохимикатами (пестицидами), стекают в Сарыкамышскую впадину, через которую тысячи лет назад Амударья проходила в Каспийское море. Они образуют там «новый Арал» — Сарыкамышское и Арнасайское озера. Объем соленого Сарыкамышского озера растет со скоростью 5 кубикометров в год.

Да, это самая настоящая крупномасштабная экологическая катастрофа, которая была запланирована и осуществлена сознательно. В. Соколов («Литературная газета» от 18.11.87) напоминает, как отвечал в прошлом институт Гидропроект на газетные запросы: «Вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых площадей в бассейне Арала не прекратится и впредь. Общая площадь удвоится. На поля разольется свыше 70 кубических километров воды вместо нынешних 40. Прирост орошаемых земель обещает не только удвоить урожай хлопка, риса, но и учетверить производство мяса, увеличить сбор овощей, фруктов и винограда» (1962); «Неизбежность усыхания Аральского моря ясна всем» (1968).

Таким образом, они (кто они? надо бы назвать фамилии!) уже давно решили создать благоденствие в одном регионе за счет катастрофы в другом. Катастрофа получилась. А как насчет благоденствия? В. Соколов пишет:

«Общая площадь поливных земель в бассейне Арала не удвоилась, прибавившись наполовину, не удвоились также предположительные урожаи хлопка и риса. Что касается продовольствия, то в благодатнейшей Средней Азии его сейчас производится на душу населения: мяса — 26 процентов от медицинской нормы, молока — 42 процента, фруктов и винограда — 53 процента... Что возросло? Применение химии. Пестицидов на поля хлопчатника вышлескивают в десятки (!) раз больше, чем в среднем по Союзу или США. Что еще возросло? Расходы поливной воды... «На поля» разливается ее сейчас не семьдесят кубикометров, потребных для удвоенных площадей, а все девяносто! Даже расчетные нормы полива, щедро завышенные сами по себе, превышаются в Узбекистане в 1,6 раза, в Туркмении — в 1,7 раза, в Казахстане — вдвое!»

Добавим к этому, что возросло и использование детского труда в хлопкоуборочную страду... Нет, не принесло все это счастья советским людям!

Страшный быч поливного земледелия — заболачивание и засоление земель. Гордость Туркмении — Каракумский канал длиной 1266 километров (1983) Канал — это не бетонный желоб, он просто выкопан в земле, как арык. И на космических снимках отчетливо видны его окаймления из-за просачивания вод. Увы, это не веселая кайма зелени. Грунтовые воды (а они соленые) поднимаются к поверхности, в низинах образуют озера, от испарения они засоляются, возникают соленые болота,

перед которыми пасует все живое. Ашхабад, город, расположенный в пустыне, спасает от заболочивания 150 скважин откачки! Кто ответит за такой проект?

Еще хуже положение в северных Каракумах, к югу от Аральского моря Там много солоноватой воды — в грунтах, на небольших глубинах порядка 3—6 метров, а местами и менее. Но если такие земли орошать без дренажа, то есть без отвода солоноватых вод, то эти воды выходят на поверхность, из-за испарения их соленость увеличивается, и соль выпадает из раствора. Образуются солончаки. Они белые и хорошо видны на космических снимках. Они есть и в зоне Каракумского канала, а в северных Каракумах их уже очень много. На такой почве ничего расти не может.

А. М. Ходжамурадов («Проблемы освоения пустынь», 1984, № 5) в статье «Успехи мелиорации земель в Туркменской ССР за 60 лет» писал: «Туркменская ССР обладает огромным резервом земель, пригодных к орошению. Общая площадь их около 12 млн га. На 1 ноября 1983 г. из этого фонда используется только 1061,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий... 416 032 га требуют проведения мелиоративных мероприятий, то есть строительства дренажа, реконструкции коллекторно-дренажной сети, промывки, ремонта, очистки и др.»

Переведем эти «научные» фразы на обычный язык: в 1983 году 40 процентов орошаемых земель были уже засолены. Сейчас еще больше. В северных Каракумах рисовые поля — чеки — мелиораторы бросают по мере их засоления и переходят на соседние участки. Если проехать на автомобиле по маршруту Хива — Ташауз — Нукус, то вы увидите белую, как заснеженная степь, безжизненную равнину от горизонта до горизонта.

Нужно посмотреть правде в глаза: похоже, что это засоление — навечно.

Говорят об обеспечении хлопковой независимости нашей страны (еще больше хочется зерновой независимости). Но ясно, что обеспечивать ее следует рациональными способами. Об этом и говорит постановление ЦК КПСС от 20 июня 1987 года «О неудовлетворительном использовании природно-экономического потенциала агропромышленного комплекса в Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР».

Спросим наконец: а где же были ученые? И здесь следует признать, что ответственность за отсутствие должного руководства работами по использованию природно-экономического потенциала Средней Азии должно нести ООФАГ. В его подчинении ИВП и Институт географии АН СССР, в его составе — в качестве члена-корреспондента — директор Института пустынь АН Туркменской ССР А. Г. Бабаяев. ООФАГ достаточно информировано, но предпочитает уклоняться от рассмотрения остросоциальных научных проблем.

Читатель хорошо знает аргументы в споре сторонников и противников поворота в Среднюю Азию великой сибирской реки Оби (см «Новый мир», 1987, № 7). Главное впечатление от высказываний за — такое. Сторонники «проекта века» желают строить канал, какова бы ни была его цель: Тюмень, Кустанай, Урал, Арал, Средняя Азия, Сарыкамыш, кукуруза, кушмурунские угли, все что угодно, лишь бы — канал!

Хочется подчеркнуть, что среди выступавших против работ по переброске рек были и широкие круги ученых Академии наук СССР. Большую положительную роль сыграла Временная научно-техническая экспертная комиссия по проблемам повышения эффективности мелиорации (ВНТЭК) под председательством вице-президента АН СССР А. Л. Яншина. В том же номере «Нового мира» сторонники переброски рек пишут, что ВНТЭК была организована «без каких-либо указаний свыше и без каких-либо прав гражданства». Так ведь это-то и замечательно, что ученые из чувства гражданского долга по своей инициативе рассматривают государственную проблему и вносят предложения в правительство. А оно их принимает. Именно это и есть перестройка!

По материалам ВНТЭК совещание ученых-математиков АН СССР и МГУ 29 января 1986 года постановило: «Поддержать предложение академика Л. С. Понтрягина об исключении из VI раздела проекта Основных направлений экономического и социального развития СССР на XII пятилетку и на период до 2000 года абзаца: „Значительно повысить научную обоснованность регионального перераспределения водных ресурсов. Развернуть работы, связанные с переброской части стока северных рек в бассейн Волги и из Волги в Дон и Кубань, строительством Днепровско-Бутского гидроузла и первой очереди канала Дунай — Днепр“».

Это предложение и другие выводы ВНТЭК на своем заседании 3 июля 1986 года поддержало бюро Отделения геологии, геофизики, геохимии и горных наук

АН СССР. Их поддержали также бюро Отделения экономики АН СССР и бюро Отделения истории АН СССР. Деятельность ИВП в выступлении академика Г. И. Петрова на общем собрании АН СССР в октябре 1986 года была охарактеризована как чрезвычайное происшествие в Академии наук.

И лишь одно отделение в Академии наук пошло против всех остальных — ООФАГ. Точнее, не отделение (оно на своих общих собраниях вопроса о перебросках так и не обсудило ни тогда, ни позже), а его руководитель академик-секретарь Л. М. Бреховских. Сразу же после постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек он поставил на бюро ООФАГ доклад о работе ИВП и лично зачитал проект решения с одобрением деятельности ИВП в целом и с возражениями против критики ИВП в печати. Постановление о прекращении работ по переброске рек в этом проекте даже не упоминалось. Члены бюро заявляли, что решение без упоминания постановления принимать нельзя. Проект решения пришлось переделать. Упоминание было вписано. Была принята «решительная мера» — для комплексной проверки деятельности ИВП решили назначить комиссию, которая и без того должна была быть назначена по академическому плану (в связи с истечением пятилетнего срока деятельности директора).

Эта комиссия под председательством члена-корреспондента АН СССР В. М. Котлякова через год после указанного постановления выдала заключение о деятельности ИВП. В нем отмечалось, что наряду с достижениями в деятельности ИВП имелись и недостатки, но все же «по итогам 1983 года институт признан победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании и награжден переходящим Красным знаменем ВЦСПС и Президиума АН СССР. В 1984 году институт занял первое место в социалистическом соревновании московских научных учреждений АН СССР, а по итогам 1985 года — второе место». Заключение содержало умеренную критику и сдержанные рекомендации.

Шесть членов комиссии В. М. Котлякова — академики Б. Н. Ласкорин, А. Ф. Трешников и Г. С. Голицын, член-корреспондент АН СССР Т. М. Энеев и доктора наук И. С. Коплан-Дикс и М. М. Телитченко — признали заключение неудовлетворительным и составили свое. В нем говорится, что со своей основной задачей «институт не справился: комплексная оценка водных ресурсов отсутствует, и даже постановка этой задачи корректно не сформулирована; то же самое относится и к разработке научных основ оптимального использования водных ресурсов... Институт не получил результатов фундаментального характера и не разработал необходимую научную концепцию, которая могла бы послужить основой для развития водного хозяйства СССР... Главенствующее место в деятельности института заняла проблема так называемого научного обоснования переброски части стока северных и сибирских рек». В результате «институт все более утрачивал черты академического учреждения и стал, по существу, отраслевым институтом Минводхоза СССР в составе Академии наук СССР... Общественное неприятие результатов работы института отражено в многочисленных публикациях в газетах и журналах. В истории Академии наук СССР это явление беспрецедентное... В работах института и публикациях его руководства постоянно проводится мысль о неизбежном неуклонном равномерном росте забора свежей воды. Даже тогда, когда мировой и отечественной статистикой показано сокращение забора свежей воды в развитых странах (в том числе в СССР), ИВП АН СССР продолжает настаивать на сохранении тенденции увеличения забора свежей воды... Необоснованное увеличение забора свежей воды во всех отраслях народного хозяйства (особенно в орошаемом земледелии) создает искусственный дефицит водных ресурсов в южных районах страны и служит поводом для привлечения все новых и новых источников водоснабжения путем территориального перераспределения речного стока».

А вот и самое главное: «Отсутствие методики прогнозирования изменения уровня грунтовых вод привело к непредвиденно широкому развитию процессов подтопления, заболачивания, засоления и осолонцевания почв. За годы крупномасштабного развития орошения (1966—1985), по данным ЦСУ СССР, из оборота выбыло более 3,5 млн га орошаемых земель». И еще: «К числу лиц, виновных в загрязнении уникальных водоемов (озеро Байкал, Ладожское озеро) и поименованных в постановлениях ЦК КПСС от 16 мая и 29 мая 1987 года, безусловно следует отнести руководство Института водных проблем... Отсутствие научно обоснованной концепции воспроизводства и ис-

пользования водных ресурсов, которую призван был разработать Институт водных проблем АН СССР, является главной причиной их неудовлетворительного состояния, использования, воспроизводства и охраны. Водное хозяйство страны расстроено, оказывает разрушительное воздействие на природу и экономику, служит объектом острых дискуссий и причиной социальной напряженности. Принципиально ошибочная водохозяйственная политика, архаичные системы водопользования, отсутствие должного научно-технического прогресса в водном хозяйстве привели к резкому ухудшению качества вод (и как следствие — к резкому ухудшению санитарно-эпидемической ситуации), к потере и снижению продуктивности (затоплению, подтоплению, засолению, усыханию, эрозии) миллионов гектаров плодородных земель, к подтоплению городов и других застроенных территорий (что уже привело к многочисленным аварийным ситуациям), а также к созданию искусственных трудностей в водообеспечении ряда районов страны».

И наконец: «Директор института член-корреспондент АН СССР Г. В. Воропаев не обеспечил научного и организационного руководства в выполнении задач, поставленных институту, не сформировал концепции развития перспективных научных исследований института. Руководство института следует укрепить».

По нашему мнению, последний абзац было бы несправедливо применять только к одному директору ИВП. Не следует забывать и тех, кто им непосредственно руководил за все десять лет его работы в Академии наук. Об этом же говорят, этого требуют авторы многочисленных выступлений в газетах и журналах («Новый мир», «Наш современник», «Крокодил», «Огонек» и другие), но.. Реакция АН СССР оказалась более чем странной: товарищ Воропаев специальным решением Президиума АН СССР и Минводхоза СССР назначен постоянным представителем академии при Минводхозе! Щуку бросили в реку...

Уже многие, многие годы товарищ Воропаев верой и правдой служит Минводхозу, вместе с ним несет ответственность за катастрофу в Каракалпакской АССР, в результате чего там созданы невероятно тяжелые условия для жизни, сравнимые разве что с последствиями черныбыльской аварии, вместе с Минводхозом он несет ответственность и за Кара-Богаз, и за проект переброски, и т. д. и т. д. И вот теперь АН СССР (и ООФАГ прежде всего) официально благословляет и закрепляет этот почочный союз.

Стратегия и пути решения проблемы водообеспечения страны на основе широкого освоения эффективных ресурсосберегающих и природоохранных технологий сформулированы в недавнем постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 января 1988 года «О первоочередных мерах по улучшению использования водных ресурсов в стране». В нем, в частности, вновь поручается ГКНТ, АН СССР и ВАСХНИЛ продолжить изучение соответствующих научных проблем. Не скрою, мне хотелось бы, чтобы изложенные здесь материалы смогли помочь в правильном решении этой задачи.

Кара-Богаз и Арал губили сознательно. Многие другие водоемы, не уничтожая, губят фактически, постепенно отравляя в них воду.

Есть один вид загрязнения — долго незаметный и неосознаваемый, но такой, от которого практически нет защиты. Это минеральные удобрения, соединения фосфора, азота и калия, смываемые дождями и искусственным орошением с сельскохозяйственных полей и выносимые в водоемы реками, ручьями и подземными стоками. Перехватить весь этот сток почти невозможно, да и очистка вод от растворенных удобрений и дорога и малоэффективна.

Насыщение вод удобрениями вызывает эвтрофикацию. В эвтрофных водах, как и на удобренных полях, бурно развивается растительность, которую в этом случае никак не назовешь зеленым другом. Многие сельскохозяйственные растения можно выращивать вообще без почвы, опуская их корни в удобряемую воду. Этот метод называется гидропоникой. А в природе в эвтрофицированных водоемах разрастаются водоросли, прежде всего микроскопические — так называемый фитопланктон. В периоды их наибольшего развития («цветение» фитопланктона) вода становится положей на зеленый суп. А потом они отмирают, падают на дно, гниют, отбирая из воды кислород, выделяют сероводород. От сероводородного заражения водоем умирает.

Сероводородом насыщены глубины Черного моря, кроме его верхнего двухсот-

метрового слоя. А в последние годы уровень сероводородного заражения стал подниматься до ста метров, пятидесяти, а местами и до поверхности моря. Стал гибнуть болгарский курорт Золотые пески. Вероятно, слишком уж много удобрений выносит теперь в Черное море Дунай (нет, не следует перебрасывать воды Дуная к нам). Институт океанологии АН СССР доложил об этом правительству. Приняты организационные меры. ООФАГ, как всегда, осталось в стороне.

В нашем столетии сероводородное заражение стало возникать в глубинах Балтийского моря в периоды, когда ветер не нагоняет туда атлантическую воду. Балтийское море уже изрядно эвтрофицировано: очень много удобрений смывается с полей Швеции. Среди микроводорослей, которые цветут в эвтрофицированных водах, имеются так называемые сине-зеленые. Они ядовиты. От такой воды люди заболевают. Эту болезнь называют гаффовой: гафтами финны именуют узкие заливы — фьорды, на их берегах у людей и было замечено это заболевание.

Последний, незаконченный фильм Александра Довженко был посвящен драме людей, выселяемых из родных деревень, которые затоплялись Каховским водохранилищем. Само водохранилище стало первым актом другой драмы — там мы впервые столкнулись с проблемой эвтрофикации. А затем оказалось, что это судьба всех водохранилищ. И даже больших озер, таких, как Ладога, из которой Нева несет уже эвтрофные воды в Ленинград и в Финский залив.

Беда усугубляется тем, что вместе с удобрениями с сельскохозяйственных полей смываются и ядохимикаты — инсектициды, пестициды, гербициды, дефолианты и т. п. Это яды, их не используешь. В печати сообщалось об отравлении ядохимикатами полей, овощей, фруктов и вин Молдавии. Яблоки и персики там не бывают червивыми — для червей их мякоть ядовита. Но только ли для червей? Печально памятен препарат ДДТ. Он уже не применяется, но забыть его долго не удастся. Этот яд очень устойчив — достигая Мирового океана, сохраняется в нем столетиями. Он обнаруживается в недопустимых дозах в молоке кормящих матерей и даже в яйцах антарктических пингвинов. Еще много более ядовиты и устойчивы диоксины, такие, как дефолиант «оранжевый агент», применявшийся американцами для уничтожения растительности во Вьетнаме. Дефолианты до самого последнего времени в колоссальных масштабах применялись у нас на хлопке. Трудно исчислить все последствия многолетнего применения этих ядов на огромных пространствах. Диоксины — канцерогены и мутагены, они в течение нескольких поколений будут давать возрастающий процент врожденных уродств у детей.

Необходимо, чтобы сельскохозяйственные химикаты были безвредными и для людей и для водоемов. И вообще для борьбы с вредителями в агрокультуре предпочтительны биологические методы. Здесь опять же слово за наукой. За делающейся наукой, а не за наукообразным бюрократическим лицемерием.

Однажды мне показали карту рек европейской территории Союза, где синим цветом были изображены реки, из которых можно пить воду, а красным — из которых нельзя. Это была кровеносная система больного организма: красного цвета оказалось много больше, чем синего. В Большой Советской Энциклопедии (издание 3-е) в статье «Сточные воды» говорится: «Надзор за спуском С. в. и их очисткой или обезвреживанием осуществляется органами сан.-эпидемиологич. службы Мин-ва здравоохранения СССР, а также Бассейновыми инспекциями Мин-ва мелиорации и водного хозяйства СССР». Что же, товарищи Минздрав и Минводхоз, вы бесправны или вы безответственны?

История целлюлозно-бумажного комбината на Байкале — это, вероятно, одна из самых ярких иллюстраций антинародной сущности бюрократизма. Вот американцы загадили свои Великие озера — Эри, Онтарио, Гурон, Мичиган, Верхнее. Частные компании делали там бизнес. Но теперь и там приняты решительные меры, загрязненность снижается. Но у нас-то кто делает бизнес? Госплан? Кому нужен такой профит? Минлесбумпрому? Писатели писали, академик-математик С. Л. Соболев выступал, кинофильм в двух сериях обошел все экраны, член-корреспондент АН СССР Г. И. Галазий рисковал всем, что имел; отмолчалось только ООФАГ. И комбинат был построен.

Я был тогда на Байкале. Мы опускались на его дно в подводных обитаемых аппаратах, которые называются «Рыбами» в честь одного из созвездий — знаков зодиака,

по-латыни piscis, американцы читают это слово как английское — «Пайсис», это название, смесь латинского с массачусетским, привилось и у нас. И первый же взгляд на эту территорию, на дно Байкала, обнаружил наличие цивилизации: мы сразу увидели там пивную бутылку.

На комбинат мы тогда не попали, только проплыли мимо на судне «Профессор Верецагин». Был ясный, солнечный день. Над комбинатом стояло большое пылевое облако. Значит, он выбрасывает что-то и в атмосферу. А сотрудники Лимнологического (озероведческого) института АН СССР на Байкале рассказывали, что очистные сооружения комбинат включает только на время визитов иностранцев, а непрерывно эксплуатировать их слишком дорого.

Началась перестройка. Виновные в появлении на Байкале целлюлозно-бумажного комбината названы. Правительственная комиссия постановила перепрофилировать комбинат в мебельный. Только почему-то в пятилетний срок, а надо бы быстрее. Но успокаиваться рано. Кто-то (фамилию бы!) придумал комбинат сохранить, а его сточные воды увести от Байкала трубопроводом. Но ведь нельзя! Район сейсмичный, землетрясения частые, сильные, трубопровод не устоит — куда пойдут сточные воды? А некий Ленгипрогор разработал проект превращения в большой промышленный город поселка Северобайкальск в прибрежной защитной полосе озера. Нельзя! Байкал надо сохранять. «Литературная газета» 2 марта сего года сообщила об организации в нашей стране Байкальского движения — этой статьёй я подаю заявление о вступлении в него.

На Ладожском озере, из которого получает воду Ленинград, предприятий целлюлозно-бумажной промышленности целых пять да еще десятки других загрязняющих воду объектов — новгородское объединение «Азот» и Ленсельхозхимия, Киришский и Бокситогорский биохимические заводы, Лесогорский завод искусственного волокна и так далее. Подходящее окружение для главного источника водоснабжения Ленинграда, ничего не скажешь...

Сильнее других загрязняет для ленинградцев воду целлюлозный завод в Приозерске (сейчас вроде бы временно закрытый). Его сточные воды с ядовитыми фенолами и увеличивающей эвтрофикацию органикой сбрасываются в Ладожское озеро без сколько-нибудь серьезной очистки. Ежегодно десятки миллионов тонн. Завод уже забирать для себя воду из озера почти что не может: даже для него она слишком грязна. Из-за этого вышли из строя два его водозабора, под угрозой третий, последний. Так мы рубим суки, на которых сидим. Фантастика!

Но и она не предел. Двадцать лет назад по идее института Гипробум от Ладоги было отгорожено озеро Дроздово — им решили пожертвовать как отстойником сточных вод, конечно, «временно», до постройки очистных сооружений. Но ведь известно, что для бюрократа нет ничего более постоянного, чем временные сооружения. Раз отстойник есть, очистные сооружения строить вообще не стали. За двадцать лет, даже меньше, Дроздово протухло в буквальном смысле слова, и когда ветер дует в сторону Приозерска, людям там трудно дышать. А сточные воды, проходящие в Ладогу через Дроздово, выходят из него в 200 раз более ядовитыми, чем до Дроздова. Ай да Гипробум!

Ладога к тому же стремительно эвтрофицируется, за последнее двадцатипятилетие поступление фосфора в нее выросло втрое и сейчас составляет 7 тысяч тонн в год. Уже развились те самые вредные сине-зеленые водоросли, и воду из прибрежной части озера пить стало опасно. И все это идет в Неву, к Ленинграду. А там тоже не дремлют «преобразователи природы»...

В апреле 1978 года Госкомитет СССР по науке и технике назначил меня председателем Экспертной комиссии по технологической части технического проекта защиты Ленинграда от наводнений, представленного Советом Министров РСФСР и исполкомом Ленгорсовета народных депутатов. В состав Экспертной комиссии были включены 28 специалистов.

Защитить Ленинград от наводнений! Сразу же вспоминается А. С. Пушкин, его «Медный всадник», наводнение 1824 года, рекордное по подъему уровня воды в Неве — на 421 сантиметр выше нуля Кронштадтского футштока. Через год после этого директор Института путей сообщения Базен предложил оградить Петербург от наводнений дамбой длиной в 21 версту — от Лисьего Носа на северном берегу Финского залива до Ораниенбаума на южном берегу. Теперь, полтора века спустя, к этому и пришли.

Казалось бы, так и надо. Вот только почему знаменитый наш ученый академик

А. Н. Крылов заявил, что «восточная часть Финского залива, Невская губа и дельта — это легкие Петербурга, и нельзя затыкать их пробкой»? Так или иначе, технический проект дамбы был разработан Ленинградским отделением института Гидропроект имени С. Я. Жука Минэнерго СССР. Экспертная комиссия ознакомилась с докладом главного инженера проекта С. Агалакова. В проекте был избран так называемый западный вариант — дамба длиной 25,4 километра (в том числе по воде 22,2 километра), от железнодорожной станции Горская на северном берегу Финского залива (чуть западнее мыса Лисий Нос) до острова Котлин и от этого острова до города Ломоносов на южном берегу.

Нельзя сказать, что авторы проекта совсем не видели, чем он грозит. В материалах проекта отмечена сильная загрязненность вод в Невской губе и тяжелая санитарно-гигиеническая обстановка в целом. Во-первых, это эвтрофикация, начинающаяся с Ладоги: в юго-восточной части губы наблюдалось цветение азотолюбивых хлорококковых водорослей. Из-за эвтрофикации биохимическая потребность в кислороде (БПК) в Невской губе зимой подо льдом и в штилевые летние месяцы без всякой дамбы весьма превышала норму. Из-за недостатка кислорода рыба уходила из Невской губы спасаться в Финский залив. Правда, весной и осенью штормы нагоняли из залива в губу насыщенные кислородом воды, и БПК приближалась к норме. Так что дамба в буквальном смысле окончательно и бесповоротно перекрывает кислород для Невской губы. Именно об этом и говорил Алексей Николаевич Крылов.

Во-вторых, из-за канализационного сброса Невская губа заражена микроорганизмами. Коли-индекс, то есть количество клеток кишечной палочки — эшерихия коли, достигал миллионов на литр, так называемое микробное число — сотен тысяч колоний на миллилитр, яйца глистов обнаруживались в 15 процентах проб воды и более чем в 80 процентах проб донных осадков. На южном берегу Невской губы было запрещено купаться. Дайте всему этому еще и еще отстаиваться и накапливаться — и...

В-третьих, Невская губа сильно загрязнена нефтепродуктами и другими ядовитыми веществами. Нефтяная пленка покрывала до 20 процентов поверхности воды, концентрация нефтепродуктов превышала ПДК в 1,5—2 раза, слой мазута на дне в районе порта местами достигал 8 метров. Из-за ядовитости вод у половины рыб, выловленных в Маркизовой луже, были заболевания покровов и внутренних органов.

В целом «западный вариант» большинством членов Экспертной комиссии рассматривался как крайне опасный. Все имевшиеся в «западном» проекте экономические расчеты также не были убедительными и создавали впечатление подгонки аргументов под заранее заданное решение.

Проектировщиками был рассмотрен также «восточный вариант» с дамбами на береговой линии, закрывающимися на время наводнения воротами в устьях всех рек и плотин-регулятором в верхнем течении Невы. Его стоимость оценивалась в 896,7 миллиона рублей, почти во столько же, как и «западного варианта». «Восточный вариант» выглядел как экологически безопасный. Но его отверг Ленгидропроект под предлогом нежелательности строительства плотины в верхнем течении Невы. Говорили, что дамбы на береговой линии испортят вид Ленинграда с моря!

А между тем в точности для таких же целей защиты от морских нагонных наводнений в Нидерландах после детального всенародного обсуждения, посвященного главным образом экологическим проблемам, был принят (и в 1987 году завершен) проект «Дельта». В устьях всех протоков в дельте рек Маас и Шельда строились плотины, на всем протяжении состоящие из поднятых над уровнем воды ворот, опускаемых до дна при угрозе наводнения. Там, кстати, все еще продолжается дискуссия о возможном экологическом ущербе, который может быть при опускании ворот даже на несколько часов во время наводнения.

В Экспертную комиссию были переданы письма с возражениями против «западного варианта» от ленинградских институтов Академии наук СССР — зоологического, ботанического, озероведческого, от Ленинградского общества охраны природы и от многих специалистов. Когда же моя позиция как председателя Экспертной комиссии о неприемлемости «западного варианта» определилась и я, выдержав давление извне, от своей позиции не отказался, то член комиссии, сотрудник ГКНТ, В. В. Бритчук, выполняя, очевидно, чье-то поручение, написал вместе с С. Агалаковым положительное заключение по проекту, собрал какими-то способами подписи большинства членов комиссии, а заместитель председателя ГКНТ Л. Н. Ефремов направил это заключение в вышестоящие

инстанций. Фамилии эти я называю для сведения будущих историков. Тогда же я написал протест в Госстрой СССР, Совет Министров РСФСР и Ленгорисполком. В протесте было написано:

«Я не согласен с этим заключением и считаю, что проект утверждать не следует, так как он экологически вреден, гидродинамически необоснован и экономически нерентабелен. Экологическая вредность заключается в уменьшении водообмена между Невской губой и Финским заливом после отгораживания губы от залива дамбой. Это приведет к экологической катастрофе в Невской губе (на грани которой она уже находится) — эвтрофикации, в результате губа зарастет сине-зелеными водорослями, ряской и тростником и превратится в гниющее болото. Губу придется осушать (а Неву — канализировать), на что потребуются миллиарды рублей».

Мое мнение поддержала письмом в Госстрой СССР от 18 октября 1978 года Секция наук о Земле Президиума АН СССР (ООФАГ опять, как легко догадаться, осталось в стороне). Но ведь решение-то, как мы знаем, было задано заранее. И очередная «стройка века» началась.

Строительство форсировали, в канун 1985 года северная половина дамбы была замкнута. «Нетрудно догадаться, что на севере образовалась застойная зона. Невская вода, несущая в себе отходы большого города, закружилась на месте, стала гнить, цвести, появилось большое количество сине-зеленых водорослей. В результате закрыли пляжи Лахты и Лисьего Носа» (статья С. Цветкова в журнале «Знание — сила», 1987, № 8).

А вот подборка М. Подгородникова от 25 февраля 1987 года из писем в «Литературную газету»: «В этом году в районе курортной зоны (Репино, Комарово, Солнечное) купаться было невозможно» (А. Гусев); «Если раньше рыболовецкий колхоз «Балтика» половину своего плана выполнял в Невской губе и жители Ленинграда весной получали свежую корюшку, то после постройки дамбы ни о какой рыбе и разговоров быть не может» (Ю. Селезнев)...

Преждевременное замыкание дамбы — тяжелая вина ленинградских строительных руководителей, в том числе и главного гидротехника управления Ленморзащита Н. Власова (который позволил себе адресовать научной общественности заголовок своей статьи «Некомпетентность» в «Литературной газете» от 25 февраля 1987 года).

Все материалы по водному хозяйству Ленинграда показывают, что в круге экологических проблем города самую первую очередность имеет стопроцентная очистка всех сточных вод, с дамбой или без дамбы. Более долгосрочной, но не менее важной, как уже было сказано, можно считать задачу полного прекращения загрязнения Ладожского озера — первого звена в цепи водообеспечения города. Надо бы просить городских руководителей осмотреть озеро Дроздово, а еще лучше поселить их хоть на недельку на его берегу — так они лучше прочувствуют состояние Ладоги и увидят, что ждет Ленинград.

Цитированный выше С. Цветков пишет: «Директор ГТИ профессор И. А. Шикломанов на встрече с писателями, проходившей в Ленинграде в июне 1986 года, засыпанный вопросами, воскликнул: „Не останавливать же стройку, на которую уже затрачено 600 миллионов рублей!“ На что Даниил Гранин едко бросил: „Так что же теперь, пистолет куплен — нужно застрелиться?“».

Я же припоминаю, что И. А. Шикломанов еще в 1978 году был одним из главных лиц, участвовавших в подгонке аргументов под заранее заданное решение; кстати сказать, аналогичными были его позиции и по Каспийскому морю, и по переброскам стока северных рек.

А что же все-таки делать дальше? С. Цветков напоминает, что аналогичная дамба для защиты от наводнений Сан-Франциско, как только обнаружилось созданное ею явление эвтрофикации, была взорвана.

В газете «Правда» от 17 января 1988 года изложено постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О коренной перестройке дела охраны природы в стране». В нем отмечается всенародная поддержка конкретных мер по защите от загрязнения бассейнов озер Ладожское и Байкал, прекращению работ по переброске части стока северных и сибирских рек, охране уникальных памятников природы и культуры. Для совершенствования системы управления охраной природы и регулирования использования природных ресурсов образован и наделен широкими полномочиями Госкомитет СССР по охране природы с системой госкомитетов в республиках и их органов на местах. При Госкомприроде СССР образуется общественный совет из числа ученых, обществен-

рых деятелей, представителей Советов депутатов и руководителей предприятий для обсуждения крупных проблем природопользования и охраны окружающей среды и выработки рекомендаций по их решению.

Пора к соответствующей перестройке, очевидно, приступить и в Академии наук СССР, академиях наук союзных республик... В первую очередь «свежие воды» необходимы ООФАГ — самому «экологическому», по замыслу, из всех отделений Академии наук СССР и самому застою фактически.

ООФАГ — маленькое и слабое (десять академиков) отделение. А вред от его слабости, действия и бездействия огромен. Крупные социально-экологические задачи общенационального значения ему не по плечу. Нужна чрезвычайная комиссия — с обширными полномочиями — из самых крупных специалистов страны для глубокого анализа такого рода проблем, для подготовки докладов правительству и информирования общественности с конкретными предупреждениями, прогнозами, рекомендациями.

Как сказано в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР, борьба за экологическую безопасность на Земле должна рассматриваться как одна из самых ответственных и благородных задач советских людей

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЕВГЕНИЙ ГНЕДИН

★

СЕБЯ НЕ ПОТЕРЯТЬ...

Евгений Александрович Гнедин (1898—1983) — сын известного деятеля российской и германской социал-демократии А. Л. Гельфанда (Парвуса). Родился в Дрездене, где его родители жили как политические эмигранты. Мать в 1902 году ушла от мужа и уехала с сыном в Одессу, где работала библиотекарем и занималась переводами марксистской литературы. Она сохранила друзей среди видных деятелей международного социал-демократического движения и в течение многих лет переписывалась с Кларой Цеткин, Луизой Каутской, семьей Юлиана Мархлевского.

Евгений расстался с отцом в возрасте пяти лет и больше его не видел. В 1920 году он принял фамилию Гнедин. Окончив в Одессе реальное училище, он поступил в университет, рано проявив глубокий интерес к поэзии, его юношеские стихи заметил В. Брюсов. По своим политическим убеждениям он был революционным идеалистом, романтиком, принял активное участие в первых боях гражданской войны под Одессой. Свое образование продолжил на экономическом факультете Петроградского политехнического института. В 1922 году познакомился с Юлианом Мархлевским. Способности юноши, его блестящее знание немецкого языка позволили Ю. Мархлевскому рекомендовать Гнедина сотрудником в Народный комиссариат иностранных дел, где он стал работать старшим референтом по Германии. Одновременно он сотрудничал в «Известиях», где опубликовал более трехсот статей. Позже Гнедин перешел из НКВД в аппарат «Известий» заместителем заведующего иностранным отделом.

В 1935 году Е. А. Гнедин был направлен первым секретарем советского посольства в Германию, исполнял обязанности и пресс-атташе. В 1937 году Е. А. Гнедин вызван в Москву и назначен заведующим отделом печати Наркоминдела. В мае 1939 года был арестован и осужден на десять лет заключения в лагерях. По истечении этого срока оставлен в Казахстане в ссылке «навечно». В августе 1955 года по решению Верховного суда СССР Е. А. Гнедин был реабилитирован «за отсутствием состава преступления». Вернувшись в Москву в октябре 1955 года, он продолжает публицистическую деятельность, печатает ряд статей в «Новом мире».

Е. А. Гнедин скончался в Москве в 1983 году.

В качестве заведующего отделом печати НКВД СССР я должен был присутствовать на различных дипломатических приемах, но происходило это довольно редко. Я не искал этих встреч и даже уклонялся от них порой вопреки моим служебным обязанностям. Случилось, однако, так, что 2 мая 1939 года я был на обеде у японского поверенного в делах Ниси в бывшем морозовском особняке на улице Коминтерна (теперь Дом дружбы с народами зарубежных стран на проспекте Калинина, а в 20-х годах в этом здании помещался театр Пролеткульта, руководимый Эйзенштейном).

В разгар обеда слуга доложил тихо хозяину, что меня просят подойти к телефону. Оказалось, что меня срочно вызывают в секретариат наркома. Я сказал, что приеду, как только окончится обед. Такой вызов был совершенно необычным явлением.

Я приехал в НКВД, вероятно, уже после десяти часов вечера. В большом доме на Лубянке (теперь улица Дзержинского), расположенном против НКВД, окна на всех этажах, как всегда, ярко горели. В НКВД кипела работа. Но и в здании НКВД, где обычно вечером светились только лампы дежурных секретарей, в частности в отделе печати, в этот поздний час был полностью освещен этаж, где находились кабинеты и приемные наркома, а между темными окнами других этажей сверкали огни в окнах кабинетов ответственных работников. Но внутри здания в коридорах было темно и пустынно, так как большинство сотрудников отсутствовали. В секретариате наркома я застал кое-кого из заведующих отделами, управляющего делами Корженко и нескольких сотрудников спецотдела (кажется, он тогда так назывался). Мне стало известно, что в здании НКВД заседает комиссия ЦК, которая намерена с нами беседовать.

Я пошел к себе в отдел и, просматривая вечерние телеграммы, мысленно готовился к беседе. Хорошо помню, что я был доволен, что предстоит встреча с комиссией ЦК; я надеялся лично изложить те проблемы работы с иностранной печатью, проблемы пропаганды и контрпропаганды, относительно которых мною были написаны докладные записки не только М. М. Литвинову, но и непосредственно в ЦК. О снятии Максима Максимовича с поста наркома я не знал; подобные предположения и не могли возникнуть именно в этот день, так как все видели Литвинова во время Первомайского парада. Он находился на трибуне Мавзолея и сидел в задумчивой и свободной позе чуть ниже той трибуны, на которой расположились Сталин и другие члены правительства, в том числе Берия, щеголявший, кажется, и на этом параде в военной форме НКВД.

Приближалась моя очередь вызова в комиссию, и я отправился в предбанник — так государственные чиновники именовали помещение, из которого двери вели прямо в кабинет высокого начальства. Все находившиеся в предбаннике были напряжены и угрюмо молчали.

Не знаю, объясняется ли это чертами моего характера, или в самом деле еще не прошло действие напитков, которыми меня потчевали на дипломатическом обеде, но я был настроен именно так, как бывает настроен человек, который, выпив вина, готовится принять участие в интересном приключении. Но, конечно, я отнюдь не был склонен к шуткам, когда, войдя в большой кабинет наркома, я оказался перед столом, за длинной стороной которого восседали: в середине — Молотов, справа от него — начальник ИНО НКВД пресловутый Деканозов, назначенный заместителем наркома иностранных дел, слева от Молотова сидели Берия и Маленков. По правую сторону от Молотова, но значительно ниже Деканозова, у самого торца стола, сидел М. М. Литвинов. Когда я оказался лицом к лицу с правительственной комиссией в таком составе, мне окончательно стало ясно, что комиссия прибыла в наркомат в связи со сменой руководства НКВД. Я, конечно, не был в состоянии тут же на месте оценить смысл происходящих событий и их возможные последствия. Правда, я и не намерен был, узнав об отставке М. М. Литвинова, менять линию своего поведения и держаться при встрече с комиссией ЦК иначе, чем я первоначально предполагал.

Мне было предложено рассказать о работе моего отдела. Такой вопрос, очевидно, задавался каждому заведующему отделом. Я говорил довольно подробно, старался поставить все те вопросы, разрешение которых я считал назревшим. У меня в памяти остались только проблемы, которые вызвали реакцию присутствовавших, вернее Берия. Насколько я помню, при этой встрече Молотов был молчалив и все время что-то записывал. Я запомнил его реплики при второй встрече в тот же вечер. Максим Максимович слушал, сидя вполоборота и только один раз метнул в мою сторону взгляд, когда я, объясняя, по какому кругу проблем я получал указания лично от наркома, сказал, что директивы порою бывали очень краткими, но мне кажется, я их правильно понимал и поступал соответственно. Когда я заканчивал эту фразу, Максим Максимович уже снова отвернулся. Видимо, ему сначала показалось, что я хочу сказать что-то направленное против него и его руководства, но он быстро понял, что я вовсе не имею таких намерений.

Маленков, тогда еще молодой государственный деятель, не произнес ни слова, но по мере того как я говорил, его лицо приобретало удивленное, чуть смешливое выражение, он, казалось бы, думал: «Какие, однако, еще бывают чудачки в государственном аппарате».

Когда я характеризовал иностранных корреспондентов, Берия, поблескивая стеклами пенсне, воскликнул, как мне сначала показалось, раздраженно, а в действительности угрожающе: «Об этом мы с вами еще поговорим!» Я развивал свою излюбленную мысль, что у нас плохо поставлена и не организована контрпропаганда и даже простая пропаганда за границей наших достижений и что иностранные журналисты, писатели и ученые лишены возможности получать сведения о наших успехах, в распространении которых мы заинтересованы. В качестве одной из иллюстраций я упомянул о том, что иностранные корреспонденты приходили в отдел печати за сведениями, относящимися к области обычной экономической статистики. Берия меня вновь атаковал: «Так вы и этим занимались!»

Самая острая проблема, поднятая мною в докладе комиссии ЦК, ранее еще не была затронута в моих докладных записках. Я считал, что, получив возможность выступать перед комиссией ЦК, должен договорить все до конца. Я высказал и мотивировал мысль, что цензура телеграмм иностранных корреспондентов не имеет смысла и практического значения, более того, она вредна. Благодаря прогрессу в технике связи и постоянному контакту с дипмиссиями иностранные корреспонденты имеют возможность самыми различными путями посылать свою информацию помимо цензуры. Я предложил отменить цензуру телеграмм иностранных корреспондентов.

Молотов явно старался держаться надменно и недружелюбно, но у меня тогда создалось определенное впечатление, что брюзгливая гримаса, застывшая на его лице, прикрывает растерянность. Когда я высказал «крамольные» мысли о цензуре, он придал своему лицу еще более недовольное выражение, одновременно делая пометки на бумаге. Маленков тогда, очевидно, взглянул с усмешкой и изумлением, между тем как Берия, видимо, выразил общие чувства комиссии, воскликнув с искренним возмущением: «Вы говорите вещи, которые не решится сказать даже член Политбюро!» Этот своеобразный комплимент я запомнил на всю жизнь.

Когда я после встречи с комиссией ЦК вернулся в отдел печати, мне стало известно, что дежурного цензора атакуют иностранные корреспонденты с сенсационными телеграммами об отставке наркома иностранных дел СССР. Некоторые из корреспондентов добивались, чтобы я их принял. Я решил этого не делать, хотя обычно в дни больших событий всегда беседовал с наиболее видными журналистами и помогал цензорам. Однако вместе с тем я считал, что не должен вовсе прятаться от корреспондентов именно в этот вечер. При отсутствии каких-либо директив цензор не пропустил бы ни одной телеграммы с комментариями по поводу отставки Литвинова, а это, полагал я, имело бы вредные последствия: широкая печать сразу же подняла бы шум, заговорила бы «о растерянности в Москве» и даже о кризисе.

Все же я выбрал форму, наименее меня обязывающую. В пальто и шляпе я зашел в помещенье цензуры, находившееся на первом этаже с входом прямо с улицы. Обступившие стол взволнованного цензора взбудораженные корреспонденты сразу забросали меня вопросами. Я предупредил, что не имею никаких полномочий комментировать отставку Литвинова и зашел лишь для того, чтобы помочь цензору и облегчить отправку информации. Тем не менее мне задавались вопросы, и я на них отвечал, каждый раз оговариваясь, что выражаю свое личное мнение. Корреспонденты не были назойливы и удовлетворились моими ответами на несколько вопросов, суть которых, сколько помню, свелась к двум.

Один вопрос имел, конечно, кардинальное значение: означает ли отставка Литвинова изменение внешней политики СССР? Я ответил, что в СССР политику определяют не отдельные наркомы, а ЦК и высшее руководство партии, поэтому смена лиц сама по себе у нас не означает перемены политики. Это был в принципе правильный ответ, и подобного рода разъяснения, вероятно, не раз давали наши дипломаты.

Второй вопрос, заданный ими, от ответа на который я не мог уклониться, был несколько бестактным. Они спрашивали, является ли Молотов знатоком международной политики и знает ли он иностранные языки. Я ответил, что Молотов крупнейший государственный деятель и, естественно, он знаток всех важнейших проблем, в том числе и внешней политики.

Завизировав телеграммы, я поднялся обратно в отдел печати и тут же продиктовал точный ответ о содержании телеграмм иностранных корреспондентов, их вопросов

и моих ответов. Я переслал мою справку через дежурного в кабинет, где еще заседа- ла комиссия ЦК.

Через несколько минут после передачи моей справки меня вызвали в кабинет комиссии ЦК. М. М. Литвинова уже не было в кабинете. Члены комиссии, очевидно, только что оживленно и шумно беседовали между собой и замолчали при моем появлении. Берия глядел на меня в упор сквозь стекла пенсне еще более недружелюбно и даже с некоторым злорадством. Тогда я не подозревал, но теперь понимаю, что он уже мысленно видел меня распростертым на полу своего кабинета.

Молотов стоял у стола явно взволнованный. Если бы иностранные корреспонденты его видели в эту минуту, они все же сообщили бы в своих телеграммах, что «Москва растерялась». Потрясая моей справкой, Молотов яростно обрушился на меня. «Мы не нуждаемся в ваших рекомендациях!» — кричал Молотов.

Сцена, разыгравшаяся в кабинете комиссии ЦК, конечно, произвела на меня сильное впечатление. Я не мог тогда сохранить уверенность в том, что действительно не совершил ошибки, и во всяком случае понял, что сразу впал в немилость.

Через два дня после моего доклада комиссии ЦК я проводил какое-то совещание со своими референтами в обстановке довольно мрачной, потому что мои молодые сотрудники считали меня полутрупом или затравленным зверем, на которого они наконец набросятся по первому сигналу. Внезапно зазвонил прямой правительственный телефон, и присутствовавшие были ошарашены, поняв, что со мной беседует сам Молотов, и притом благожелательно. Действительно, Молотов, назвав меня по имени-отчеству, сказал примерно так: «Мы здесь решили принять ваше предложение и отменить цензуру. Ну что — вы довольны?» В трубку доносились голоса беседующих людей, и я подумал, что Молотов говорит из кабинета самого Сталина. «Мы здесь решили...» Я был действительно доволен.

Молотов продиктовал мне по телефону заявление, которое я должен был сделать иностранным корреспондентам. Разумеется, надо было дать понять, что сенсационное мероприятие проводится по личному распоряжению нового наркома иностранных дел и что это одно из его первых распоряжений.

Отмена цензуры, проведенная в мае 1939 года впервые за все время существования Советского государства, была недолговечным мероприятием. Через несколько месяцев, кажется, сразу после начала войны в Европе, цензура была восстановлена. В 1961 году цензура телеграмм иностранных корреспондентов была отменена, но, видимо, никто не вспомнил, что такое мероприятие уже было однажды осуществлено накануне второй мировой войны.

После того, как я встретился с иностранными корреспондентами, я передал Молотову через секретаря проект шифрованных телеграмм нашим послам с информацией об отмене цензуры и с некоторыми разъяснениями. Молотов меня пригласил в кабинет и как ни в чем не бывало поздоровался за руку. (Меня поразило, что у такого жесткого политика столь вялое рукопожатие слабохарактерного человека.) Телеграммы были подписаны без малейших поправок. Нарком беседовал со мной, соблюдая дистанцию, но приветливо. Мне показалось, что скверный сон миновал, возобновляется нормальная деятельность. Но страшный сон лишь начинался.

Стало известно, что арестован Назаров, личный секретарь М. М. Литвинова, очень хороший, дельный, скромный молодой человек. Через несколько дней после 2 мая мне позвонил из дому по правительственному телефону М. М. Литвинов. Не помню, какой вопрос он мне задал, я же рассказал ему о том, что бывший его секретарь не является на работу, исчез. Это был мой единственный разговор с Максимом Максимовичем после его отставки, последний наш разговор, последнее проявление его личного доверия ко мне при отсутствии каких бы то ни было личных отношений.

Вскоре Деканозов сказал мне, что мой заместитель будет снят с работы. Конечно, мне оставалось только принять к сведению это сообщение нового начальства. Однако, указав на положительные качества Г. Н. Шмидта, я просил дать мне в помощники работника, обладающего подобными же достоинствами, в частности административными способностями. «Я плохой администратор», — добавил я, потому что никогда не хотел заниматься административной деятельностью. Деканозов ответил: «Не знаю, какой вы администратор, но я слышал, что организатор вы хороший». Знакомая в тюрьме со справкой о моей мнимой преступной деятельности, которую,

быть может, сочинял именно Деканозов, я мог догадаться, что, говоря мне о том, что я хороший организатор, Деканозов, по его мнению, тонко намекал, будто знает о моей «причастности к антисоветской организации».

Еще через несколько дней мне сказали, что Молотов, совершая обход наркомата, оказавшись у дверей отдела печати, прошел мимо в другой отдел. Это было признано знаменательным сигналом. Вакуум вокруг меня замкнулся.

10 мая 1939 года Деканозов попросил меня явиться к нему в 10⁰⁰ часов вечера. Днем я зашел к секретарю наркома (там почему-то не было ни души) и попросил выяснить, какова резолюция наркома по какой-то моей записке. Секретарь, вернувшись от Молотова, с нескрываемым удивлением сообщил, что нарком хочет меня видеть. В маленьком кабинете, где меня раньше принимал Литвинов, стоял позади письменного стола у стены Молотов, заложив руки за спину. На этот раз рукопожатия были отменены. Он глядел на меня внимательно и, как мне показалось, с непонятным любопытством. Задав несколько вопросов по служебным делам, он задумчиво повторил вслух один из моих ответов, все еще как бы приглядываясь ко мне. После того как я упомянул, что вечером буду с докладом у его заместителя, Молотов меня отпустил.

В начале вечера я отправился на Центральный телеграф. В самых недрах этого правительственного учреждения, в зале, где, как мне помнится, на возвышении сидел человек в наушниках, видимо, контролируя какую-то радиопередачу или линию связи, я в уголке за маленьким столиком просматривал принесенные мне телеграфные бланки с сообщениями иностранных корреспондентов, которые теперь в результате моей собственной инициативы давали информацию помимо отдела печати. Вдруг в это помещение, где соблюдалась полная тишина, запыхавшись вошли три человека. «Ах, вы здесь!» — бессмысленно воскликнул один из них. Он тут же снял телефонную трубку, позвонил Деканозову и доложил: «Гнедин здесь, на телеграфе», — и передал мне трубку. Деканозов выразил удивление, что я к нему не явился. Я сослался на то, что еще нет десяти часов, и сказал, что немедленно приеду.

Я направился к выходу, сопровождаемый тремя субъектами. Пока я говорил по телефону, эти «подоспевшие сотрудники» нетерпеливо переминались с ноги на ногу, а теперь, с трудом прикрывая назойливость деланной любезностью, они предложили мне поехать в их машине. Я ответил, что меня ждет моя машина.

Был настоящий майский вечер, вечер надежд и обещаний. На улицах было оживленно. Сидя в быстро мчавшейся машине, я глядел на Москву, и мне было хорошо. Я был готов к тому, что меня ждут какие-то важные и, возможно, неприятные впечатления, но жить было интересно, и я радовался этому. Мой органический оптимизм на этот раз обманывал меня, а вернее, спасал.

В здании НКВД в тот вечер было темно, тихо, но вовсе не пусто. Обычная жизнь замерла, но какие-то едва уловимые признаки свидетельствовали о том, что в доме беспокойно. Навстречу мне по лестнице спускался явно озабоченный заведующий финансовым отделом НКВД, рядом с ним шел незнакомый человек. Трудно было догадаться, что я встретил арестованного работника НКВД, которого агент НКВД сопровождал в тюрьму.

Незнакомый мне дежурный секретарь подтвердил, что заместитель наркома иностранных дел меня ждет. Я отворил знакомую дверь. На пороге передо мной встал неизвестный в штатском, направляя мне прямо в грудь револьвер. «Вы арестованы», — сказал он и быстрыми профессиональными движениями свободной руки похлопал меня по карманам моего пиджака и брюк. Впервые я испытал, что практически значит «потемнело в глазах». Я сделал несколько шагов в глубь комнаты. За большим столом восседал Деканозов все с тем же глупо-равнодушным и скучно-угрожающим лицом. Неожиданно для самого себя я сказал, отстраняя агента: «Нельзя ли без такой лихорадочной нервозности?» Деканозов потребовал от меня ключи от сейфа в моем кабинете (этот сейф, как правило, был пуст). Я стал бросать на стол нового замнаркома иностранных дел все, что было в карманах: бумажник, ключи, кошелек, листки с заметками, которые я делал при чтении телеграмм. Бумажки Деканозов поспешно схватил, коробку с папиросами вернул, кажется, я кинул ее обратно на стол.

Засим Деканозов дал мне чистый конверт и предложил написать на нем мой адрес. В этот конверт он вложил ключи от моей квартиры. Позднее жена мне рассказывала, как, увидев в руках агента, явившегося с обыском, конверт, надписанный моей рукой, она рванулась к нему, воскликнув: «Мне записка! Дайте!» Тот невозмути-

мо вынул из конверта ключи и показал пустой конверт: «Записки нет». Но конверт жена сохранила до настоящего времени.

От Деканозова в сопровождении уже успокоившегося агента, понявшего, что сопротивления я не окажу, я отправился в свой кабинет, взял плащ и, уходя, сказал секретарше: «Сегодня я уже не приду». Она опустила голову, стараясь скрыть слезы.

Совсемно так же, как встретившийся мне на лестнице заведующий финансовым отделом, я свободной походкой делового человека вместе с сопровождающим вышел на улицу. Напротив, как всегда, сияли окна большого дома на Лубянке. Там, как всегда, кипела работа. Мы пересекли улицу и, пройдя по переулку, свернули по направлению к площади Дзержинского в узкую Малую Лубянку.

Прямо с улицы мы зашли в небольшое помещение, напоминавшее экспедицию по сдаче и приемке почты. Но здесь принимали не пакеты, а людей при пакетах. Получив расписку, агент удалился. Он сдал меня на тюремный конвейер. Моя первая жизнь кончилась.

Когда я переступил порог тюрьмы, меня поразила какая-то неестественность открывшегося мне зрелища. По плохо освещенному, на первый взгляд пустому помещению расхаживали люди в военной форме, но в домашних войлочных туфлях. Господствовала полная, но странная тишина, странная, потому что где-то в самой глубине этой тишины таились чуть уловимые звуки и шорохи, источник которых был незрим. По временам раздавалось звонкое щелканье. Я впервые услышал, как щелкают языком или пальцами либо стучат ключом по пряжке пояса охранники, подающие сигнал «веду заключенного». Так предотвращалась встреча арестантов. Тот конвоир, который первым дал сигнал, двигался по своему маршруту, другие останавливались за углом или прятали своего подопечного в один из шкафов, устроенных для этой цели на всех путях прохождения конвоиров.

Меня доставили в камеру, расположенную в нижней части корпуса. Лампа, ввинченная над дверью так, чтобы лучи были направлены в глубь помещения, бросала тусклый свет на довольно узкую камеру с тремя койками; две были заняты, третья меня ожидала. Как только щелкнул замок, мне навстречу поднялись два призрака, два бледных человека в нижнем белье. Первый вопрос: «С воли?» Второй вопрос: «Это правда, что издан новый Уголовный кодекс?» Так я в первые же минуты моего тюремного заключения услышал вопрос, который потом в течение полутора десятков лет не раз задавался и дебатировался в моем присутствии. Сколь многих людей не оставляла надежда, что беззаконно будет положен конец, и притом простым путем — благодаря новому Уголовному кодексу...

Я отвечал, что не интересовался этими проблемами, кажется, была какая-то статья в «Известиях» о подготовке кодекса, кроме того, после прихода Берия в НКВД сообщалось о пересмотре ряда дел. «Впрочем,— добавлял я не без достоинства,— я не знаю, с кем говорю». На сей раз не агенты палачей, как это было при моем аресте, а жертвы палачей поняли, что имеют дело с простаком. Мои соседи прекратили разговор и улеглись по койкам. Тем временем я стал читать висевшие на стене в рамке «Правила внутреннего распорядка в тюрьмах»... Теленок до последнего мгновения не знает, что его привели на бойню... Слово «тюрьма» меня больно ранило. Итак, я действительно в тюрьме! Но привычный охранительный рефлекс направил реакцию по более спокойному руслу: «Я никогда не бывал еще в тюрьме. Это все же интересно». Я стал укладываться на койке, стараясь себя успокоить такой гипотезой: меня поставили в самые худшие, самые тяжелые условия, ошибочно предполагая, что я знаю какие-то такие подробности о работе НКВД, до смены руководства, которых я в обычных условиях не рассказал бы. Словом, меня проверяют. Я выдержу испытание и буду освобожден...

Засим произошло нечто неправдоподобное. Я даже не решился бы об этом говорить, если бы не свидетельства других людей. Улегшись на моей первой тюремной койке, я тотчас же крепко заснул.

Примерно часа в три ночи меня разбудил тюремщик: «На допрос, быстро!» Два конвоира, держа меня за обе руки, сведенные вместе на спине, повели вниз по лестнице, затем по тюремному коридору. У решетчатой двери оформили какие-то документы и вывели меня в один из коридоров главного здания. Меня доставили в какую-то канцелярию, там, несмотря на поздний час, было оживленно, стучала машинка, чиновники говорили по телефону, никто не обратил внимания на появление заспан-

ного и взволнованного человека под охраной. Открыв обитую кожей типичную дверь сановного кабинета, конвоиры ввели меня в большую комнату с завешанными окнами. Меня посадили на стул в середине комнаты.

Передо мной за солидным письменным столом восседал тучный брюнет в мундире комиссара первого ранга — крупная голова, полное лицо человека, любящего поест и выпить, глаза навывкате, большие волосатые руки и, как я позже заметил, короткие кривые ноги. Таким я запомнил тогдашнего начальника Особой следственной части НКВД СССР Кобулова, который, как и арестовавший меня Деканозов, был расстрелян вместе с Берией в 1953 году.

Кобулов заканчивал разговор по телефону. Заключительная реплика звучала примерно так: «Уже сидит и пишет, да-да, уже пишет, а то как же!» Кобулов весело и самодовольно хохотал, речь шла, очевидно, о недавно арестованном человеке, дававшем показания.

Обернувшись ко мне, Кобулов придал своему лицу угрожающее выражение. Не отводя глаз, он стал набивать трубку табаком из высокой фирменной коробки «принц Альберт». Я сам курил трубку и очень ценил этот превосходный американский табак, который в Москве нельзя было достать.

Сразу после вступительных формально-анкетных вопросов Кобулов провозгласил: «Вы арестованы как шпион...» Помнится, он добавил: «Крупный шпион». Хорошо запомнил свой ответ: «Клячка «шпион» ко мне не пристанет!» Эта задорная фраза не была чистой импровизацией, так как я уже раньше мысленно готовился к тому, как я в парткоме или другом месте дам отпор клеветническим обвинениям в шпионаже. Ведь на протяжении двух лет мне часто приходилось на собраниях быть свидетелем того, как исключаемым из партии и обреченным на арест сотрудникам НКВД предъявляли обвинение в связях со шпионами. Да и газеты пестрели такими обвинениями.

Грозным тоном Кобулов заявил мне, что я разоблачен и вскоре буду расстрелян.

Полагая, что он меня достаточно запугал, Кобулов потребовал, чтобы я ему рассказал о моих «связях с врагами народа». Я отверг и это обвинение, но, стремясь подтвердить свою невиновность и продемонстрировать уверенность в себе, я сделал ошибку (если угодно, глупость), которая могла бы причинить вред и мне и другим людям. Уверенный в своей правоте и в чистоте моих друзей и товарищей, я заносчиво заявил, что охотно назову фамилии всех моих арестованных приятелей и сослуживцев. Кобулов с нескрываемым удовольствием схватил авторучку и стал записывать называемые мною фамилии.

Моя ошибка заключалась в следующем. Во-первых, среди названных мною товарищей мог быть какой-либо вынужденный дать показания против меня (один такой был), таким образом, получалось, что я сразу «признал связи» с тем человеком, который, в свою очередь, уже в специфическом, продиктованном палачами контексте говорил о «связях» со мной. Во-вторых, мое чистосердечие было неосторожным и опасным потому, что если бы кто-нибудь из названных мною арестованных ранее товарищей не давал показаний или против него не набрали достаточно показаний, то мое упоминание о нем, хотя бы и в невинной формулировке, могло быть использовано против него.

Однако моя неосторожность не имела последствий. (Слово «к счастью» здесь неуместно.) Во-первых, я сумел остаться и в дальнейшем на позиции, занятой мною с самого начала, и не чернил моих друзей, фамилии которых я продиктовал Кобулову, во-вторых, мои друзья, как я себе представляю, не давали против меня показаний, в-третьих, почти все они уже были уничтожены ко дню моего ареста, чего я не знал.

К концу первого допроса Кобулов спросил меня довольно неуклюже: «Это верно, что вы спали в камере?» Очевидно, за мною было установлено специальное наблюдение. Я ответил, словно извиняясь за допущенную бестактность, что последние дни у меня было много работы и я не выспался. Кобулов посмотрел на меня внимательно и сказал: «Вы, видно, все еще не понимаете, что с вами произошло. Ваша прежняя жизнь не возвратится. Ее отделяет пропасть от вашей дальнейшей жизни». Приблизительно так он сказал.

Я отметил про себя, что вначале Кобулов мне грозил скорым, чуть ли не немедленным расстрелом, а теперь как бы проговорился, что я еще буду жить.

На рассвете в камеру вернулся после допроса не простак, предполагавший, что сумеет рассеять подозрительность, проявив честность и откровенность, а человек, окончательно понявший, что ему предстоит защищать свое честное имя и самую жизнь в труднейших условиях. На этот раз я уже не заснул, тем более что в 6 часов в тюрьме был подъем.

Одним из соседей по моей первой тюремной камере был пожилой полковник Генерального штаба, насколько я понял, офицер царской армии, в начале революции перешедший на сторону советской власти. Он держался с большим достоинством и сдержанностью, пытался скрыть свою тревогу. Когда мы однажды остались вдвоем, полковник постарался дать мне понять, что надо держаться осторожно с нашим третьим соседом. Этот сосед, как он сам хвастался, был до ареста секретарем, или порученцем, у какого-то видного работника НКВД.

Не успел я освоиться с тюремным бытом и собраться с мыслями, как меня примерно в 9 часов утра, то есть часа через четыре после окончания первого ночного допроса, снова вызвали на допрос. На сей раз меня конвоировали три человека.

Через площадку парадной лестницы, через приемную и обширный секретариат меня провели в кабинет кандидата в члены Политбюро, наркома внутренних дел Л. П. Берия. Пол в кабинете был устлан ковром, в чем мне вскоре пришлось непосредственно убедиться. На длинном столе для заседаний стояла ваза с апельсинами. Много позднее мне рассказывали истории о том, как Берия угощал апельсинами тех, кем он был доволен. Мне не довелось отведать этих апельсинов.

В глубине комнаты находился письменный стол, за которым уже сидел Берия и беседовал с расположившимся против него Кобуловым. Меня поместили на стул рядом с Кобуловым, а слева рядом со мной, чего я сначала в волнении не заметил, уселся какой-то лейтенант. Эту мизансцену я точно описал в моем заявлении в правительственные инстанции... после ареста Берии.

Кобулов и Берия при мне обменялись репликами, как я полагаю, на грузинском языке. Затем, хотя было очевидно, что Берия только что выслушала сообщение Кобулова, тот разыграл комедию, официальным тоном он доложил: «Товарищ народный комиссар, последственный Гнедин на первом допросе вел себя дерзко, но он признал свои связи с врагами народа». Я прервал Кобулова, сказав, что я не признавал никаких связей с врагами народа, а лишь назвал фамилии арестованных друзей. Помнится, я тут же добавил, что преступником себя не признаю.

Кобулов подготовился к тому, что я снова «поведу себя дерзко». Как только я подал свою реплику, Кобулов со всей силой ударил меня кулаком в скулу, я качнулся влево и получил от сидевшего рядом лейтенанта удар в левую скулу. Удары следовали быстро один за другим. Кобулов и его помощник довольно долго вдвоем обрабатывали мою голову, как боксеры работают с подвешенным кожаным мячом. Берия сидел напротив и со спокойным любопытством наблюдал, ожидая, когда знакомый ему эксперимент даст должные результаты. Возможно, он рассчитывал, что примененный «силовой прием» сразу приведет к моей капитуляции, во всяком случае он был убежден, что я потеряю самообладание и перестану владеть своими мыслями и чувствами. Но, очевидно, он не знал, что человек может потерять ориентацию в пространстве и не потерять ориентации в собственном внутреннем мире. Правда, до поры до времени...

Не помню точно, что именно на этой стадии «допроса» говорил Берия и как я формулировал свои ответы, но суть была все та же: меня обвиняли в государственной измене, а я решительно отрицал свою виновность в каких бы то ни было преступлениях.

Убедившись, что у меня замедленная реакция на примененные ко мне «возбудители», Берия поднялся с места и приказал мне лечь на пол. Уже плохо понимая, что со мной происходит, я опустился на пол. В этом выразилась двойственность моего состояния, о которой я уже упомянул: внутреннюю стойкость я сохранил, но в поведении появился автоматизм. Я лег на спину. «Не так!» — сказал нетерпеливо кандидат в члены Политбюро Л. П. Берия. Я лег ногами к письменному столу наркома. «Не так!» — повторил Берия. Я лег головой к столу. Моя непонятливость раздражала, а может быть, и смутила Берию. Он приказал своим подручным меня перевернуть и вообще подготовить для следующего номера задуманной программы. Когда палачи (их уже было несколько) принялись за дело, Берия сказал: «Следов не оставляйте!» Если

это был действительно приказ подручным, то можно высказать предположение, что у Берия были далеко идущие планы в отношении меня.

Они избивали меня дубинками по обнаженному телу. Мне почему-то казалось, что дубинки резиновые, во всяком случае когда меня били по пяткам, что было особенно болезненно, я повторял про себя, может быть, чтобы сохранить ясность мыслей: «Меня бьют резиновыми дубинками по пяткам». Я кричал, и не только от боли, но наивно предполагая, что мои громкие вопли в кабинете наркома близ приемной могут побудить палачей сократить операцию. Но они остановились, только когда устали.

То ли сразу, как меня оглушили с помощью «боксерских приемов», то ли во время последующих избиений Берия и Кобулов дали мне понять, чего именно они от меня хотят. Один из намеков звучал примерно так: «Учтите, что вы уже не находитесь в кабинете обер-шпиона, вашего бывшего начальника. Там вам уже не бывать!» Оба глядели на меня с максимальной выразительностью, повторяя аналогичные недвусмысленные фразы, но, кажется, в тот раз они еще не называли М. М. Литвинова по фамилии.

Не получив от меня не то что показаний, но вообще какого-либо положительного ответа, Берия приказал меня увести. Вероятно, тотчас же на смену мне была приведена другая жертва. Берия торопился получить материал, порочащий М. М. Литвинова.

Тем временем ко мне применили новый прием, очевидно, в соответствии с разработанной методикой. Избитого, с пылающей головой и словно обожженным телом, меня, раздев догола, поместили в холодном карцере.

Не могу утверждать, что карцер специально охлаждали, но мне представлялось, что это так. Мне даже казалось, что я уловил, откуда поступает холодный воздух. Пол был каменный. Я забрался в угол и встал на скамью, правда, тоже каменную. Размышлять в моем положении и состоянии было невозможно; да и задача, стоявшая передо мной, была ясна без размышлений: надлежало выдержать пытки, не оговорить ни себя, ни других. Дабы успокоиться и восстановить душевное равновесие, я стал читать стихи.

Через некоторое время меня снова доставили в кабинет наркома. И снова два человека обрабатывали меня дубинками под личным наблюдением Берия. Я запомнил одну реплику Берия во время второго сеанса. Наклонившись надо мной, он сказал: «Волевой человек, вот такого бы перевербовать». Прекрасно зная, что я не шпион, не преступник, он подсказывал мне удобную форму самоговора — готовность «завербоваться» на работу в НКВД. Грязная выходка циничного субъекта!

Не могу сказать, сколько длилась вторая экзекуция в кабинете наркома. Во всяком случае, убедившись, что я по-прежнему отказываюсь признать себя преступником и выполнить требование оклеветать Литвинова, палачи опять поместили меня в карцер. Я снова стоял раздетый на каменной скамейке и читал наизусть стихи. Читал Пушкина, много стихов Блока, большую поэму Гумилева «Открытие Америки» и его же «Шестое чувство». Вероятно, я читал и собственные стихи. Особенно благотворное влияние оказало на меня чтение одного сонета Вячеслава Иванова, который я запомнил со студенческих лет.

Приблизительно тогда, когда меня вторично отправили в холодную, я потерял представление о времени. Ни непосредственно после окончания серии пыток, ни позднее, спокойно размышляя, я не мог определить, как долго длилась эта первая серия: трое, четверо, пятеро суток? Я помню, что, впервые возвращенный ненадолго в камеру, я удивился, узнав, что миновали сутки. Кажется, был утренний туалет заключенных. Бывший полковник, оглядев меня (а программа еще далеко не была завершена), сказал: «Я бы и половины не выдержал!» Боюсь, что знакомство с моим опытом подорвало его стойкость. Но внешне он держался по-прежнему с большим достоинством; когда я рассказал ему о первой сцене у Берия, полковник заметил не без высокомерия: «Они, кажется, имеретинцы». В его устах это звучало так: обыкновенные разбойники...

Самым жестоким и длительным избиением я подвергался в кабинете Кобулова. В памяти запечатлелись только отдельные сцены, ночное освещение, несколько склоненных надо мною лиц, шум голосов. Однажды в комнату вошел какой-то человек и, как мне показалось, хохоча, крикнул: «А, это Гнедин! Да его надо трижды расстрелять за его преступления, завтра же!» Был и такой момент: мне в бреду помешалось, что Сталин на портрете, висевшем над столом Кобулова, зашевелился, я

обратился к нему с пылкой речью. Сильным ударом меня оглушили. Другой раз, когда Кобулов, дабы я не мог оказывать сопротивление, особенно сильно прижал сапогом мой затылок, я потерял сознание.

К концу третьих или четвертых суток следователь Воронков, основываясь на своем опыте, уже рассчитывал, что близится минута роковой для меня слабости. Конечно, тупым палачам был чужд психологический анализ. Это были, как говорят на заводах, мастера-практики. На основании моего опыта — опыта жертвы палачей (меня пытали снова через год) — я убежден, что реакция человека на пытки поддается научному анализу и возможен точный прогноз. Я подумал об этом снова, когда познакомился с высказываниями известного физиолога Селье (да и с работами по психоанализу). Установлено, что при длительном воздействии одного и того же стрессорного агента организм вначале адаптируется (стадия резистенции), но затем рано или поздно достигнутая адаптация теряется (стадия истощения) и в итоге наступает гибель.

Помню, как на рассвете в той же комнате с окнами во двор мы со следователем сидели друг против друга, я в полуобмороке на кончике стула, он, полусонный, на другом стуле, лениво поколачивая меня дубинкой по коленям. Когда я приоткрыл глаза, мне вдруг померещилось, что он хочет мне нанести особенно болезненный удар. И тут я испугался. Острый страх, испытанный мною в этот момент, был столь же неуместен и объективно немотивирован, как и ранее проявленная готовность подвергнуться дальнейшим избиениям. И в том и в другом случае мое поведение отражало потерю самоконтроля.

Итак, в предрассветный час я неожиданно для себя, а возможно, и для следователя попросил дать мне лист бумаги. На поспешно поданном мне листе я написал несколько слов о том, что я допускал ошибки в моей работе, приносящие вред, понимаю это и готов об этом рассказать. Прочитав написанное мною, следователь тотчас же на моих глазах порвал бумагу. Затрудняюсь объяснить его поступок; возможно, что он не был полномочен принимать от меня такие собственноручные заявления, которые не подтверждали преподанную свыше версию обвинения и даже ее опровергали; возможно, что он ждал, что я все же сам напишу то, что требуется.

К счастью, ответ на этот мучивший меня вопрос не имел никакого практического значения. Час, когда следователь порвал мое заявление о «совершенных ошибках», остался у меня в памяти как момент шока, который способствовал тому, что я преодолел мгновенную губительную слабость. Именно мысль о том, что я на рассвете в кабинете следователя «закачался», придавала мне стойкость при третьем свидании с Берией, которым завершилась серия пыток. Очевидно, Берии доложили, что я наконец теряю самообладание, и Берия возомнил, что он сумеет лично зафиксировать факт моей капитуляции и получить от меня продиктованные им же показания. Он просчитался.

Когда меня ввели, Берия стоя беседовал с Кобуловым. Меня поставили по другую сторону стола невдалеке от знакомой мне вазы с апельсинами.

Авантюрист с поверхностной культурой не в состоянии до конца понять идейного человека, живущего интеллектуальной жизнью. Он чувствует это и, стремясь приспособиться, придает своим манерам и речам интеллигентное обличье. Примерно так держался Берия на третьем допросе в его кабинете. Спокойно он справился у меня, понял ли я наконец, что должен рассказать о своих преступлениях. Я дал ответ, который потом повторял в моих заявлениях, в первую очередь на имя самого Берии. Я сказал, что обязан ему говорить только правду, я утверждаю, что преступником не являюсь, никаких преступлений не совершал, я желал бы понять, чего от меня хотят, я не понимаю происходящего.

Выражая готовность понять происходящее, я, видимо, надеялся ослабить реакцию палачей на мой новый отказ выполнить их требования. Ведь в этот момент два человека меня поддерживали в стоячем положении на том самом месте, где меня впервые бросили наземь. Хорошо еще, что в моем омраченном сознании суматошные процессы мною спасительного торможения воли были слабее, нежели подлинно спасительный четкий и ясный сигнал: живых показаний не давать!

Все же этот эпизод — пример того, как я чуть-чуть не оступился. Проявление готовности понять, чего от меня хотят, — иллюстрация того, как подследственные попадали в расставленные им капканы. Замученные люди легко делали роковой шаг от готовности понять к готовности помочь, подтвердить ложные обвинения. Но, к моему счастью и, пожалуй, к моей чести, мои слова о желании понять, что здесь проис-

ходит, звучали для следователей неубедительно. Берия считал, что мое стремление понять ему ничего не дает. Он потерял ко мне интерес и собирался иным способом «оформить» мое дело и решить мою судьбу.

Последние слова, услышанные мною от Л. П. Берия, были: «Такой философией (голос авантюриста, говорящего с интеллигентом) и провокациями (голос палача) вы только ухудшаете свое положение». Эта, по сути, стандартная фраза была и верна и верна. Не дав лживых показаний, я улучшил свое положение, так как меня не удалось включить в крупное дело о государственной измене. Вместе с тем угроза Берии ухудшить мое положение оправдалась в том отношении, что на протяжении всех лет моего пребывания в тюрьме, в лагерях и ссылке я ощущал, что в моем деле есть некая авторитетная и неблагоприятная для меня резолюция.

После «напустивия» Берия я был отправлен в камеру. По дороге меня отнесли в амбулаторию, где мое распухшее и кровоточащее тело смазали вазелином. Ни до того, ни после того я никакой медицинской помощи не получал.

В камере я никого не застал. Обоих соседей увели; одному моя участь должна была послужить уроком, другой получил новое задание.

Через еутки или двое меня разбудили на рассвете: «На допрос!» К тому времени спина, ноги, пятки представляли собой сплошную лоснящуюся и очень болезненную опухоль. Ни сидеть, ни стоять я не мог. В таком состоянии я был доставлен в тот самый маленький кабинет с окном во двор, где я, тоже на рассвете, чуть-чуть не капитулировал.

Воронков сидел за письменным столом: его одутловатое серое лицо выражало озабоченность, пожалуй, даже неуверенность. Следователь положил передо мной на маленький столик канцелярскую папку, в которую был вложен длинейший, на многих страницах «Протокол допроса Гнедина-Гельфанда Е. А., сына Парвуса, от 15—16 мая 1939 г.» (дата была совершенно произвольной). На высококачественной гляцевитой (наркомовской!) бумаге без единой поправки или помарки четким шрифтом были отпечатаны вопросы, которых мне не задавали, и ответы, которых я не давал. Ни один протокол допроса, каких мне позже пришлось видеть немало, не имел такого аккуратного, законченного вида, как эта фальшивка. Я понял, что передо мной документ, предназначенный для представления в высшую инстанцию.

Стоя на одной ноге либо на носках и опираясь рукой о столик, я читал фальшивку, столь же лживую, сколь и бездарную.

В особом разделе «протокола от 15—16 мая» содержались измышления о М. М. Литвинове, имя которого я безусловно не называл. Думаю, что его имя не фигурировало и в старых делах. Но теперь задача палачей заключалась именно в том, чтобы собрать материал против Литвинова, и ради этого и была составлена фальшивка. В ответ на «тонко поставленные» вопросы я будто бы постепенно признавался в том, что «знал об антиправительственных настроениях Литвинова» (примерно так, пишу, естественно, по памяти), я будто бы подтверждал, что Литвинов, «исходя из антисоветских намерений, провоцировал войну», и тому подобное. Составители «протокола» не пытались проявить изобретательность, сочиняя «состав преступления», они просто-напросто приписывали М. М. Литвинову те самые концепции и формулировки, которые участники больших открытых процессов приписывали себе или которые им были приписаны следователями. Это мое сразу сложившееся впечатление позднее подтвердилось, в частности, когда один из моих следователей отозвался о «протоколе от 15—16 мая» (при мне!) пренебрежительно: «Это повторение пройденного». А другой высказался еще определеннее: «Там ничего нет».

Следователь потребовал, чтобы я подписал «протокол». Я назвал предъявленный мне документ фальшивкой, но снова оказался на опасной грани, снова со мной чуть-чуть не случилось того, что случалось со многими честными людьми. Я стал подыскивать приемлемые страницы с фактическими данными; такой, кажется, оказалась первая страница; я поставил на ней и еще на некоторых страницах закорючки, подписывать я физически был не в состоянии. Потом я с ужасом отодвинул от себя чудовищный документ. Но, видимо, следователю нужно было только предъявить начальству хотя бы след того, что я прикасался к «протоколу». Он не стал настаивать на подписании всех страниц (как это полагалось) и отправил меня в камеру.

19 мая меня вызвали на допрос днем. В том же темном кабинете с окном во двор Воронков восседал за письменным столом с деловым видом, а мне предложил сесть за маленький столик в углу. Видимо, следователь собирался повести со мной

«нормальную работу», либо опираясь на фальсифицированный протокол, либо, наоборот, временно о нем не упоминая. Но у меня был свой план действий. Я решил во что бы то ни стало опровергнуть фальшивку.

Я попросил дать мне бумагу. Воронков дал. Вероятно, на основании своего опыта он считал, что когда следователь, участвовавший в избиениях, потом обращается корректно с подследственным, тот сам старается не вызывать конфликта. Все же он встал около меня, чтобы тотчас же забрать у меня бумагу, если я стану писать не то, что следует. Я прибег к хитрости. Так как я по хорошо известным следователю причинам не сидел на стуле, а стоял, согнувшись над столиком, и медленно выводил буквы, то и следователю, если он хотел читать то, что я пишу, нужно было стоять около меня очень долго. Я рассчитывал, что ему это надоест. И в самом деле, когда следователь увидел, что в начале моего заявления я обещаю «помочь следствию», «всемерно содействовать освещению интересующих его фактов» и вообще заверяю в своей искренности (я сознательно начал с длинной фразы), он отошел от меня и с убогоприятным видом уселся за свой стол. Тогда я продолжал примерно так: «...а потому считаю необходимым заявить, что мне ничего не известно о преступной деятельности Литвинова и что если бы даже Литвинов был заговорщиком, чего я не думаю, то он как старый конспиратор никогда бы не стал мне об этом рассказывать, и, следовательно, то, что говорится в «протоколе от 15—16 мая», не соответствует действительности».

Когда следователь получил исписанные мною листки, он, не говоря ни слова, нажал кнопку звонка, вызвал охрану и отправил меня в камеру. Больше я его никогда в жизни не видел. Но в постановлении о моей реабилитации в 1955 году, то есть через шестнадцать лет, я обнаружил глухое упоминание о том, что согласно показаниям бывшего следователя Воронкова он был «свидетелем» того, как меня избивали в кабинете Берии. О своей роли в моем деле он, очевидно, умолчал.

Мое заявление от 19 мая следователь не уничтожил. Я видел его в деле и неоднократно на него ссылался, доказывая и напоминая, что я с первых дней следствия неизменно устно и при первой возможности письменно отвергал и опровергал обвинения и клевету на меня и на других честных людей, прежде всего клевету на М. М. Литвинова.

Несмотря на то, что одиночка представляет собою самую концентрированную и ощутимую форму изоляции человека от общества и мира, пребывание в такой подлинной темнице превратилось для меня в передышку. Мне удалось не сосредоточивать свое внимание на непосредственных опасностях, подстерегавших меня за порогом камеры.

В тюремной камере я размышлял и не испытывал страха. Но как только меня снова вызвали на допрос, меня охватил животный страх. Конечно, у меня были все основания бояться новых допросов: я уже знал, как трудно выдержать истязания, и понимал, что моя сопротивляемость ослабла, особенно из-за того, что многочисленные рубцы еще не затянулись.

Наконец явился следователь и с озабоченным деловым видом уселся за письменный стол. Передо мною было совершенно новое лицо. Я, конечно, не мог запомнить лиц всех участников предыдущих дневных и ночных бдений, но у меня не возникло сомнений, что с этим старшим лейтенантом я встретился в первый раз.

Следователь Романов производил впечатление квалифицированного, хотя и не очень культурного человека, хорошо знакомого если не с юриспруденцией, то, во всяком случае, с формами и правилами делопроизводства, он походил на военного интенданта средней руки. Худощавое лицо в чуть заметных рябинках не было неприятным, но вследствие нервного тика ноздря удлиненного носа часто подергивалась, а время от времени подергивался и глаз.

С первой минуты Романов повел себя так, словно бы он лишь начинал следствие по моему делу и до его встречи со мной никто моим делом не занимался. Я со своей стороны также не упоминал о том, что происходило до передачи дела Романову.

Насколько я помню, следователь начал серию допросов с формальных моментов, анкеты и тому подобного. В какой-то степени он повторил то, что уже проделал Кобулов при первой встрече. Затем он предъявил мне ордер на арест; он был подписан лично Берией и завизирован Вышинским. Эти подписи обязывали любого работника прокуратуры и следственной части рассматривать меня как избличенного крупного пре-

ступника. Кажется, я тогда не понял рокового значения такого ордера на арест. Я говорю «кажется», потому что теперь мне самому представляется неправдоподобной моя наивность... На самом деле, как я позже понял, формальности были связаны с тем, что предыдущий этап мог и не быть отражен в следственном деле; оно могло быть построено так, словно я до июня просидел без допросов, пока моим делом не занялся старший лейтенант Романов. Это предположение подтверждается тем, что, предъявив мне некоторые показания, следователь ровно через десять дней после того, как он меня вызвал впервые, предъявил мне и обвинение. Получалось, что Уголовно-процессуальный кодекс был соблюден, если... если игнорировать все, что происходило в течение первых недель моего пребывания во Внутренней тюрьме.

Соблюдая какие-то формальные правила, следователь прежде всего прочитал мне те полученные против меня показания, которые были включены в справку, послужившую основанием для выдачи ордера на арест. Он мне этого не говорил и документа в руки не давал, но у меня сложилось на этот счет определенное мнение, так как я имел возможность, когда Романов вышел из кабинета, прочесть значительную часть документа.

Документ, лежавший на столе у следователя, был напечатан на такой же высококачественной бумаге, как и фальшивка под названием «Протокол допроса от 15—16 мая», о которой я рассказывал ранее. Это был документ, предназначенный для высшей инстанции. Он не был озаглавлен и несомненно составлялся по какой-то стандартной форме. Сверху крупно была обозначена моя фамилия, указана занимаемая должность, и была лишь одна дополнительная пометка: «сын Парвуса». Далее без всякого вступительного или объяснительного текста с красной строки следовало: такой-то (фамилия и, кажется, бывшая должность давшего показания) показал... Затем с красной строки снова: такой-то... показал...

В документе, послужившем формальным обоснованием для выдачи ордера на мой арест, не было ни одного «показания», которое содержало бы какую-либо конкретизацию облыжного утверждения о моей мнимой причастности к антисоветской деятельности. Вместе с тем, как позднее я мог обнаружить, в этот документ были включены не все «показания», которые ко времени ареста были подготовлены фальсификаторами и палачами. Я не мог объяснить себе, почему некоторые показания были использованы при оформлении решения о моем аресте, а другие нет. Все эти частности не имели никакого значения для тех, кто принял решение изъять меня из жизни.

Лишь одно «показание», включенное в документ для высшего руководства, оказалось недавнего происхождения и относительно подробным. То было «показание» бывшего советника и поверенного в делах во Францию Е. В. Гиршфельда. Уволенный из НКВД, кажется, в конце 1938 года, он был арестован в ночь на 1 мая 1939 года, о чем мне тогда кто-то рассказал. Меня арестовали в ночь на 11 мая. Гиршфельд, происходивший из семьи революционеров-большевиков, детство провел за границей, в эмигрантской среде, а после Октября, как я себе представляю, уже в силу родственных и приятельских связей был своим человеком и доверенным лицом в среде старых революционеров, возглавивших государство. Я не был с ним близко знаком, но часто встречался на работе и несколько раз у общих знакомых. Это был милейший человек, умница, доброжелательный, всегда живо заинтересованный своей работой.

Совершенно не важно, давал ли бедняга Гиршфельд сам свои показания, не выдержав пыток, или их просто сочинил следователь. Этот документ в конечном счете характеризовал только намерения Берии и его подручных. На полутора страницах рассказывалось, будто я остался после ареста Крестинского «главой всей антисоветской организации в НКВД» и в качестве такого «руководящего лица» давал инструкции Гиршфельду. У палачей, пытавших Е. В. Гиршфельда, как и у тех, кто пытал меня, была одна и та же задача: любым способом опорочить еще находящихся на свободе или только что арестованных дипломатических работников и таким образом опорочить вместе с ними М. М. Литвинова. Последнее было, конечно, главной задачей, или, выражаясь языком режиссеров, сверхзадачей.

Как бы то ни было, 1 мая 1939 года, когда М. М. Литвинов, предполагая, что будет вскоре объявлено о его отставке, демонстрировал присутствовавшим на Красной площади, а тем самым всему миру, что он на свободе, а я, не зная о предстоящей отставке Максима Максимовича, стоял на дипломатической трибуне и наслаждался зрелищем парада, в большом доме на площади Дзержинского уже накапливались клеветнические показания против М. М. Литвинова и его сотрудников. Шла лихорадочная

подготовка «дела врагов народа в НКВД». Однако такое «дело», а тем более судебный процесс, сфабриковать не удалось, но погибло много невинных людей.

Я не попался в этот капкан. Я решительно опровергал показания Е. В. Гиршфельда, указывая на их нелепость. Следователь записывал то, что я говорил. В тот период мне еще не давали возможности в протоколе, в письменной форме, зафиксировать свои отрицательные ответы. Тем не менее на той стадии следствия было достаточно существенным и то, что следователю не удалось получить от меня в какой бы то ни было форме подтверждение показаний замученного и позднее трагически погибшего Е. В. Гиршфельда.

Подробного комментария заслуживает включенная в справку для оформления моего ареста краткая выписка из «сочинений» С. А. Бессонова. На открытом процессе Бухарина, Крестинского, Рыкова и других виднейших деятелей Советского государства, организованном в марте 1938 года, С. А. Бессонов выступал в роли главного свидетеля обвинения.

Среди несчастных людей, дававших показания на открытых процессах, С. А. Бессонов, к сожалению, выделяется как особой значительностью сыгранной им роли, так и особой обстоятельностью, некой складностью своих показаний. Сказанное вовсе не означает, что ему и его следователям удалось составить документы, удачно скомпонованные и лишённые явных внутренних противоречий, не говоря уже о том, что они совершенно противоречили действительности. Я сам, в качестве заведующего отделом печати НКВД СССР присутствуя на процессе вместе с подведомственными мне иностранными корреспондентами, заметил противоречия в легенде, которую излагал на суде С. А. Бессонов; иностранные журналисты в своих сообщениях смаковали обнаруженные ими несурзности. Я отметил это в сводке телеграмм, прошедших через цензуру, которая посылалась членам Политбюро. Встретив в секретариате суда Вышинского, я счел нужным ему лично сказать, что иностранные корреспонденты сообщили своим редакциям о противоречивости и недостоверности показаний Бессонова. Прокурор, с высокой трибуны клеймивший «врагов народа», ответил мне чисто деловым образом: «Хорошо, я переговорю с Сергеем Алексеевичем» — так уважительно прокурор отзывался об обвиняемом...

И вот в тюрьме я получил возможность на собственном печальном опыте убедиться, что в показаниях Бессонова «были противоречия с действительностью». Но на сей раз я не имел возможности попросить Генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского и по этому поводу переговорить с Сергеем Алексеевичем. Дело Бессонова было закрыто, а мое только открылось на основании ордера, подписанного тем же Вышинским...

Мое знакомство с С. А. Бессоновым относится к 1935—1937 годам, когда я был первым секретарем посольства СССР в Берлине, а он советником посольства. У нас были сложные отношения, корректные, почти дружеские, по временам более теплые, а по временам сухие, почти недоброжелательные. Он был недобрый человеком, но лишь в том смысле, что не делал добра и не считался с личными чувствами в своей государственной и политической работе. У меня есть некоторые основания предполагать, что он, находясь в Берлине, посылал через голову посла информацию В. М. Молотову. А между тем не раз бывало, что люди, выполнявшие доверительные поручения Молотова, изымались из жизни то ли при содействии Молотова, то ли ему самому «в поучение». В общем, талантливый, умный и образованный человек, каким несомненно был С. А. Бессонов, вошел в слишком тесный контакт с государственной адской машиной, и она его испепелила.

В силу ли некоторой симпатии его ко мне, потому ли, что когда готовился процесс, на котором Бессонов должен был выступить в качестве помощника обвинения, моя персона следователей еще не интересовала, но фактом является, что Бессонов меня пожалел. Он ограничился лишь выполнением той обязанности, которую, вероятно, должен был выполнить в отношении большинства сослуживцев и знакомых: он назвал меня соучастником вымышленных преступлений. Но тут же смягчил свои, правда достаточно определенные, заявления. Когда я прибыл в Берлин на свой пост, показал Бессонов, ему будто было уже известно, что в редакции «Известий» я был «связан нелегально» с Бухариным и Радеком и поэтому он, Бессонов, конечно (так и было сказано: конечно), сразу установил со мною такую же «преступную связь». Однако далее Бессонов добавил: «Но Гнедин был робок и ни в чем не участвовал». Возможно, что этой оговоркой Бессонов спас мне жизнь.

Только оказавшись в тюрьме в 1939 году, я мог оценить значение той чуть улыбки, которая мелькнула на лице С. А. Бессонова, когда в марте 1938 года он, сидя на скамье подсудимых, увидел меня среди журналистов, присутствовавших в Октябрьском зале Дома союзов, где заседал суд. Ему было приятно, что его лживые показания не погубили меня. Встретив мой негодующий взгляд (роль Бессонова на процессе, естественно, вызывала возмущение), он отвернулся, наверно, подумав: «Ничего еще не знает, еще ничего не понял».

После того как я решительно опроверг все наветы, в том числе и показания, послужившие формальным обоснованием для моего ареста, снова забрезжила надежда, что мое дело примет, хотя бы относительно, более благоприятный оборот. Размышляя в камере, я даже вспомнил свою первоначальную утешительную гипотезу: меня проверяют и убедятся в моей невиновности, руководители следствия поймут, что я им не нужен.

Как же тяжело было мне, когда следователь ознакомил меня с формулой обвинения! Через несколько дней после бесплодного допроса по поводу показаний, включенных в документ для высшей инстанции, следователь предъявил мне грозный документ: мне было объявлено, что я привлечен к уголовной ответственности по статье 58, пункт 1-а Уголовного кодекса, то есть обвинен в государственной измене; осужденные по этой статье, как правило, подлежали расстрелу.

Это был страшный час моей жизни, и не столько потому, что я оценил угрожающую мне опасность, а потому, что понял: мое государство окончательно отвернулось от меня, своего ни в чем не повинного и верного слуги.

Уже не помню точно, что именно я сказал следователю после того, как поставил свою подпись на бланке, содержащем формулу страшного обвинения. Я растерялся, но внешне владел собой. Во всяком случае в первой реакции преобладало чувство удивления и даже обиды. Кажется, в этот момент я не стал опять доказывать свою невиновность и не почувствовал испуга, я просто выразил свое крайнее негодование. Следователь, в свою очередь, не комментировал обвинение и не сопровождал его угрозами. Он вступил со мной в беседу. С нескрываемым любопытством он спросил: «А чего вы ожидали?» Я ответил, что считал неизбежным обвинение в халатности или в упущениях по службе, раз уж меня посадили в тюрьму. Помнится, я просто сказал то, что думал в эту минуту. Но мой ответ отражал позицию, которую я занимал на том этапе следствия: я решительно отвергал предъявляемые обвинения как нечто абсурдное, явно нереальное, но готов был согласиться, что невольно совершил какие-то проступки, из-за чего и лишился доверия правительства. Казалось бы, следователь, предъявивший от имени высшей власти столь тяжелое обвинение, должен был возмутиться по поводу того, что государственный преступник называет свои действия упущением по службе. Но Романов продолжал мирную беседу; он пожал плечами и высказался в том смысле, что при сложившихся обстоятельствах нельзя было ожидать иной формулировки обвинения.

Затем следователь с присущим ему невозмутимым и деловым видом раскрыл папку и приступил к работе: прочел мне очередное клеветническое показание.

Я стал лучше разбираться в том, что со мной произошло и происходит и чего мне следует ожидать в дальнейшем, когда узнал о трагическом опыте других жертв репрессий, находившихся под следствием. Встречи с ними могли повергнуть в смятение.

Меня перевели в общую камеру в середине 1939 года. Впечатления, полученные в тюремной камере, я обрисую лишь в тех рамках, в каких это необходимо для выполнения моей задачи: рассказ о самом следственном процессе.

Переход в новую камеру произошел на несколько драматических обстоятельств. По крайней мере я так их воспринял. Ночью в мою камеру ворвались три человека и потребовали, чтобы я немедленно собрал вещи и покинул камеру. Они действовали с лихорадочной поспешностью. Я схватил в охапку одежду (меня подняли с постели), сунул в узел и книги из тюремной библиотеки (чего не должен был делать) и вышел в коридор. Тут конвойные меня подхватили и быстро поволокли в лифт, на одном из нижних этажей вывели в коридор и на каком-то повороте втолкнули в узкую камеру со вделанной в пол скамеечкой у задней стены. Это был обычный тюремный бокс, временное помещение для заключенных. Но я этого тогда не знал и решил, что меня перевели в карцер и начинается новый этап пыток.

В боксе я пробыл почти сутки. Затем меня перевели в общую камеру на том же этаже. Там находились два человека. Один из них, Михаил Борисович Кузенич, с которым мне пришлось пробыть вместе больше полугода в этой и другой камере,

позднее рассказывал мне, что его удивили при моем появлении два обстоятельства: то, что я вошел улыбаясь, и то, что в узле, который я принес с собой, лежали не только мои вещи, но и книги. Я действительно сильно обрадовался, когда меня втолкнули в сравнительно светлое помещение, где находились люди. Я понял, что мое положение не ухудшилось, а улучшилось.

Во Внутренней тюрьме НКВД СССР в обычных камерах разрешалось днем не только лежать, но даже спать. Этим она выгодно отличалась от многих других тюрем. Но зато во Внутренней тюрьме (по крайней мере в мои времена) действовало одно правило, которого, кажется, не было ни в одной другой тюрьме. И днем и ночью было запрещено держать руки под одеялом или пальто, если им прикрывались.

Казалось бы, запрет прятать руки под одеяло — маловажное ограничение. Между тем из-за этого запрета условия пребывания во Внутренней тюрьме становились гораздо тяжелее. Как только заключенный засыпал, он, естественно, засовывал озябшие руки под одеяло, и тогда тюремщик тотчас же приоткрывал форточку двери с криком: «Руки!» Между тем надзиратель открывал форточку и тогда, когда кого-либо вызывали на допрос. Всякое такое движение надзирателя у двери камеры, которое могло предшествовать вызову на допрос, бросало в дрожь заключенных. Поэтому когда ночью кто-нибудь из нас нарушал «правило о руках», надзиратель подчас только гремел ключом в замке. Этого было вполне достаточно, чтобы разбудить спящих.

Но, разумеется, особенно тягостным был не самый режим во Внутренней тюрьме, а то обстоятельство, что это следственная тюрьма, да еще и подведомственная следственной части НКВД СССР. Никто не знал, что его ждет, но все знали: впереди тяжкие испытания, и каждый понимал, что в любой час может решиться его судьба. Нельзя было предугадать, кто на очереди, знали одно: чей-то роковой час наступит, когда загремит запор и будет названа чья-то фамилия. Люди уходили из камеры в никуда, на новые муки, а может быть, и в небитие.

В камере, куда я попал из бокса, кроме меня, были два человека. Вскоре я был переведен в камеру, где у меня бывало по шестеро соседей, а то и больше; их состав постоянно менялся. Большинство сокамерников имели уже значительный стаж пребывания под следствием. Они рассказывали о встреченных ими людях и передавали их повествования. Таким образом, за несколько недель я усвоил опыт нескольких поколений подследственных и репрессированных граждан СССР. Недаром я как-то пошутил в камере, что мое пребывание в тюрьме — это самая интересная командировка в моей жизни, только слишком затянувшаяся. Увы, она длилась свыше шестнадцати лет, чего я не предвидел.

Не все услышанное мною в камере Внутренней тюрьмы было для меня новостью. Множество других трагических судеб и историй мне стало известно позднее. Но то, что я узнал в течение первых месяцев пребывания в тюрьме, навсегда запечатлелось в памяти. Эти впечатления неотделимы от воспоминаний о самом следствии летом 1939 года.

Таким образом, покинув одиночку, я вышел из замкнутого круга собственных испытаний. С каждым рассказом, с каждой новой встречей новые страшные факты пополняли мой опыт. Весь этот тяжкий груз я нес с собой, идя на допрос.

Допросы в эти летние месяцы происходили, как я уже сказал, без физических страданий и оскорблений. Следователь даже делал вид, что относится ко мне чело-вечно; однажды, когда он оставил меня одного, я подошел к окну и увидел рассти-лавшуюся внизу площадь Дзержинского. На мгновение мелькнула мысль: не раз-бить ли стекло и выброститься из окна? Но это не входило в мои намерения, да к тому же я был зачарован зрелищем свободной жизни: какие-то люди здоровались и расходились в разные стороны, пробегали девушки и дети, я упивался игрой света и яркостью красок, волшебной картиной, какая может лишь присниться узнику. Вдруг раздался тихий голос старшего лейтенанта Романова: «Что, Гнедин, тяжело?» «Тяжело живому человеку взаперти», — несколько сбивчиво ответил я, увидев совсем близко подергивающееся от тика лицо следователя, обычно сидевшего в отда-лении.

Была ли реплика следователя проявлением человеческих чувств? Ведь таким же мягким голосом, каким он спросил: «Тяжело?» — и, может быть, в тот же день сле-дователь спросил меня: «Вы деньги получали?» — на что я простодушно ответство-вал: «Нет еще, но надеюсь получить». Лицо следователя выразило удивление и даже

смущение: я думал, что он осведомляется, получил ли я денежный перевод на тюремную лавочку, а он, оказываясь, поддерживая версию обвинения, вопрошал, получил ли я деньги «за антисоветскую работу».

А сейчас обращусь к светлым мгновениям, выпавшим на мою долю в тот период, о котором я здесь повествую.

Важнейшим событием лета 1939 года было то, что следователь, хотя и не прямо, а косвенно, сообщил мне успокоительные сведения о моей семье. Я узнал от него, что жена не уволена с работы и что она затребовала и получила изъятие при обыске в нашей квартире рукописи, принадлежавшие редакции журнала «Интернациональная литература», где жена работала. Следователь Романов совершил подлинно гуманный поступок, показав мне заявление жены, из которого, правда, я понял, что опечатаны две комнаты в нашей квартире.

В этот страшный период нашей жизни в условиях самой мучительной и безотрадней разлуки нас с женой связывала не только «сердечная нить» (как называли мы в юности это подаренное нам судьбой родство душ), но и свойственный нам обоим идеализм (не знаю, каким эпитетом сопроводить это слово: спасительный, опасный, наивный, упрямый, мужественный?). Во всяком случае, благодаря непреклонному идеализму и мужеству моей жены летом 1939 года совершилось чудо. Это произошло во время тягостных для меня допросов. Я сидел, как всегда, на стуле в дальнем углу кабинета следователя; завопил телефон; подняв трубку, лейтенант Романов привычно назвал свою фамилию, когда же ему задали по телефону какой-то вопрос, на его лице отразилось крайнее удивление, он быстро взглянул на меня и после краткого колебания сказал: «Он сейчас у меня»; потом пробормотал какие-то не вполне определенные, но успокоительные слова. Закончив разговор, следователь несколько минут рассеянно переключал бумагу, он явно не мог сразу возобновить допрос в прежних тонах. Я не сводил с него глаз. Наконец он решился намекнуть на содержание происшедшего разговора; насколько помню, он сказал с деланной усмешкой: «Семья о вас беспокоится» — или как-то иначе выразился, это было уже несущественно. У меня не было никаких сомнений: я получил весть от моей жены, она на свободе и заботится обо мне.

Действительно, в этот момент моя жена была, можно сказать, у другого конца провода. Через шесть лет при свидании в лагере я узнал от нее, что в те дни ее обуяло особенно сильное чувство тревоги за меня, она каждый день простаивала во дворе у справочного бюро НКВД в очереди жен и матерей, добываясь справки (а их не давали), пытаясь передать мне деньги (тогда еще денег для меня не принимали).

В один из таких дней моя жена, не в силах преодолеть мучительное беспокойство обо мне, пришла в расположенную в том же здании на Кузнецком мосту приемную наркома, как она тогда называлась; там на втором этаже находились кабинеты дежурных секретарей. Она уже заходила туда не раз и заметила одного такого дежурного. Молодой, вихрастый, конопатый, он, по ее словам, отличался от прочих чиновников с оловянными глазами. Вероятно, и он ее приметил. Так или иначе, он выслушал ее озлобленную речь. Очевидно, в этой речи было что-то для него необычное при всей обычности жалобы: два месяца нет вестей о муже, не принимают передач. Моя жена требовала доказательств, что я жив.

Конопатый усмехнулся: «Жив, конечно, а если не принимают передачу, значит, не заслужил».

Жена в ужасе и гневе от такой формулировки («не заслужил») произнесла не совсем неожиданную для себя тираду. Повелительное ощущение, что она должна сию же минуту помочь своему мужу, продиктовало ей слова, странные с точки зрения чиновника НКВД. Она говорила, что дело мужа окружено тайной, что она ничего не может понять и вправе думать, что ее шантажируют: ей звонят по телефону какие-то люди, называясь следователями («А вдруг это какие-то авантюристы?»), — ведь накануне была убита жена арестованного В. Мейерхоolda, Зинаида Райх. Мало ли что грозит и ей, жене Гнедина, она не знает, как себя вести.

Чиновник слушал с изумлением, и, как показалось моей жене, его позабавил этот маневр отчаянной женщины. Он спросил: «Чего вы от меня хотите?» «Позвоните в следственную часть». — «Мы не имеем права!» — «Скажите, что я требую, иначе буду думать, что его нет в живых».

Конопатый помолчал, потом резко сказал: «А ну выйдите!» Ей было неясно, выгнал он ее или следует подождать. Жена осталась ждать за дверью кабинета.

И вот наступила первая стадия чуда. Через минут десять чиновник приоткрыл дверь и тем же тоном сказал: «А ну войдите!»

Когда жена вошла, она увидела, что конопатый стоит за своим столом, ероша волосы и смеясь.

«Чему вы смеетесь?» — со страхом спросила она. «А я ведь туда позвонил». — «И что же?» — «А он как раз там у следователя». — «И вы сказали, что я здесь, у вас?» — «Да».

Так наступила вторая стадия чуда: я был в кабинете у следователя в тот самый час, точнее в 3 часа дня 9 июля 1939 года, когда, уступив настояниям моей жены — незримым токам любви, — дежурный выполнил необычное требование и навел справки обо мне.

Незачем объяснять, какое благотворное влияние оказывает на психику человека, брошенного в застенки, весть от любимого существа, стремящегося протянуть руку помощи. Какое счастье в годы произвола убедиться, что твоя семья на свободе! Как важно было в безнадежности тюремной камеры, в зловещем кабинете следователя получить напоминание о том, что существует светлый мир, который ты любишь, и близкие люди, любящие тебя и верящие тебе! Я воспрянул духом и в перерывах между допросами твердил слова утешения: «Тяжко мне у бессонницы в лапах, но останусь самим собой... Необъятно пустыми ночами задыхаюсь у черной стены, но сквозь стены тоски и печали мне напевы дневные слышны... Протяните, товарищи, руки, я остался самим собой!»

Так говорил я себе в перерывах между допросами. Но как оставаться самим собой на допросе? Мою жену не обманула интуиция: хотя в те дни я не подвергался новым физическим мучениям, моральные испытания в этот период были, пожалуй, самыми тяжелыми за все время следствия. Я чуть не попал в ловушку, оказавшуюся губительной для других невинных людей. И мне нелегко было вырваться из капкана. Приманкой в этой ловушке была возможность не только избежать пыток, но даже предаваться иллюзиям, будто возможны нормальные отношения со следователями.

Предпосылки для мнимого «взаимопонимания» и даже некоторой договоренности между следователем и подсудимым были заложены в такой, можно сказать, небывалой ситуации, когда представитель власти, предъявлявший обвинение в политических преступлениях, и подсудимый, их отвергавший, заявляли о своей принадлежности к одной и той же партии, о своей преданности одной и той же политике, одному и тому же правительству и даже одному и тому же человеку — вождю партии. Вслед за пытками, вслед за ставкой на страх перед пытками готовность арестованного советского гражданина найти общий язык со следователем была сильнейшим орудием в руках палачей и фальсификаторов.

Конечно, бывало немало и таких случаев, когда грубый циничный расчет побуждал подсудимых заключить сделку со следователем. Но часто заключенные не могли отрешиться от мысли, что следователь в конечном счете работник государственного аппарата, а они сами недавно были работниками советского аппарата, и им казалось, что морок рассеется, если удастся объясниться со следователем, найти с ним общий язык. Я не был вовсе лишен таких иллюзий. Наконец, огромное число заключенных старались не озлоблять следователя, чтобы не повредить своей семье или чтобы установить с нею связь. Мог ли я, после того как получил через следователя сведения о семье, не задумываясь вступить с ним в конфликт? Однако это становилось все труднее. Невозможно было защищать свою невиновность, приспосабливаясь к требованиям следствия, избегая конфликта со следователем и последствий такого конфликта.

Морок кончился через несколько дней. Мне кажется, я и сейчас узнал бы то место, где прозвучал внутренний голос, принесший мне облегчение. Меня вели на допрос по коленчатому коридору в следственном корпусе «большого дома»; здесь два конвоира всегда особенно крепко держали меня за сведенные за спиной руки, подерживая, каждый со своей стороны, за локти; мой мозг сверлила все та же неотступная забота: как быть, как отвечать? И тут меня осенило: не надо каждый раз мучительно думать, какой дать ответ, не надо мудрить. Я буду говорить правду, обыкновенную, простую правду, говорить то, что я знаю и думаю. Ведь я не совершал никаких дурных поступков, мне ничего не известно о чьих-либо преступлениях,

стало быть, я никому не могу повредить, точно отвечая на конкретные вопросы, и вместе с тем сохранил корректные отношения со следователем.

В детстве я не раз слышал от матери: «Лучшая ложь — это правда!» Как легко найти выход из самого сложного положения, если руководствоваться простыми правилами нравственности! Долгое время я так и понимал решение, принятое мною в коридоре следственного корпуса по пути на допрос. Это была действительно переломная минута, вернувшая мне самообладание и пресекавшая соблазн искать спасение во лжи, хотя бы и невинной. И все же это не было свободным решением человека, правильно понявшего суть происходящего и сделавшего продуманные выводы.

Я уже упоминал, что с самого начала между мной и следователем Романовым сложилось нечто вроде молчаливого сговора: и я и он делали вид, будто не было предыдущего этапа следствия, пыток и фальсифицированного протокола. Моя готовность к подобного рода «договоренности» была тогда естественной: я мог предполагать, что предыдущий этап как бы аннулируется, поскольку палачи пытками ничего не добились. Но затем наступила другая стадия молчаливого сговора: следователь, предъявляя порочащие меня показания, делал вид, будто верит им, а я притворялся, будто верю в искренность его заблуждения, опровергая клевету, прикидываясь, что надеюсь его переубедить. Впрочем, это не всегда было с моей стороны притворством, я в самом деле не потерял надежды, что мне удастся разорвать сети клеветы и оговора.

Большую тревогу по многим причинам испытал я, когда мне задавали вопросы относительно моего заместителя по отделу печати НКВД СССР Г. Н. Шмидта. Я уловил, что он уже дал какие-то показания, и боялся причинить ему вред в силу совершенно своеобразных обстоятельств. Сложность положения заключалась в том, что Г. Н. Шмидт под чьим-то влиянием уже давно проявлял предвзятое и просто отрицательное отношение к линии поведения наркома. Было заметно, что Шмидт (совершенно искренно) принимает всерьез кое-какие выступления против М. М. Литвинова на партийных собраниях, когда организаторы «проработок» выражали недовольство тем, что они не получают поддержки от наркома. Он даже со свойственным ему педантизмом дисциплинированного и формально мыслящего партийца говорил мне, что надо бы сообщить в ЦК о неких мнимых отклонениях высказываний М. М. Литвинова от директивной линии. Я решительно возражал Г. Н. Шмидту. Я не считал, что М. М. Литвинов нарушает партийные директивы; ведь партийная директива, как мы ее понимали, требовала, чтобы советская дипломатия сочетала убежденный последовательный антифашизм с защитой интересов Советского государства, а высший интерес заключался в предотвращении войны. Все это были ничуть не абстрактные, а реальные, практические позиции. Г. Н. Шмидт, особенно если дело шло о внутренних делах, смотрел на вещи несколько иначе, чем я, и я мог предполагать, что он помимо меня в письменной или устной форме кому-либо изложил свои искренние сомнения относительно тех или иных взглядов М. М. Литвинова. Сделал он это или не сделал, он неизбежно еще до ареста испытывал тяжелые минуты, потому что хотел выполнить свой долг преданного работника государственного аппарата, но не хотел причинить вред людям, в честности которых не сомневался.

Когда меня допрашивали, я знал, что Литвинов снят с поста; при этих обстоятельствах сообщение о том, что мой заместитель в отличие от меня относился критически к Литвинову, могло послужить ему на пользу, служить доказательством того, что Г. Н. Шмидт во всяком случае не мог быть причастен к проступкам, инкриминируемым Литвинову и его сотрудникам. Поэтому я правдиво рассказал о критических замечаниях моего заместителя по адресу Литвинова. К сожалению, и эта правда могла быть обращена в ложь; фальсификаторы могли с помощью своих обычных приемов истолковать сказанное мною как свидетельство об участии Г. Н. Шмидта в известных ему «вредных действиях» наркома. Чтобы парировать возможность такой фальсификации, я к спасительной правде присовокупил спасительную ложь: поскольку нас пытались обвинить в том, что отдел печати будто бы проводил по указаниям Литвинова некую неправильную линию в своей работе, я взял на себя всю полноту ответственности за деятельность отдела и заявил, что мой заместитель не мог знать, в каких случаях я допускал или мог допускать отклонения от установленного курса. Таких случаев не было, да это и не интересовало руководителей следствия, им нужны были признания в несуществующем заговоре и, конечно, в шпионаже.

Как бы то ни было, я незаметно для самого себя дал противоречивые ответы: однажды я сказал, что мой заместитель критиковал линию наркома, а в другой раз, что он не знал о каких-либо отступлениях от общей линии. Когда в августе новый следователь спросил меня, чем объясняются противоречия в моих ответах касательно моего заместителя, я ответил, что не знаю, о чем он говорит. Только в октябре, знакомясь с делом, я установил, что следователь правильно отметил противоречия в моих ответах на вопросы о моем заместителе.

Все эти расхождения и тонкости не имели никакого практического значения. И как ни странно, добавлю: к сожалению. В моем деле лежали две заверенные копии «показаний» Г. Н. Шмидта, датированные последними днями мая 1939 года. В них говорилось не о критическом отношении Шмидта к Литвинову, а, наоборот, утверждалось, будто Г. Н. Шмидт, зная об «антисоветской деятельности» наркома, выполнял его чуть ли не шпионские (теперь уже не помню точно) директивы, которые он якобы получал через меня. В качестве иллюстрации приводились какие-то (теперь забытые мною) нелепые выдумки и подлинные, вовсе не порочные поступки, которые, по сути, и не служили подтверждением сформулированных «признаний». Кроме того, в другой выписке из «показаний» Г. Н. Шмидта подробно излагалась лживая версия о его «шпионской деятельности» в бытность его в Лондоне еще до работы в отделе печати НКВД. В конце концов я не знаю, давал ли он вообще те показания, выписки из которых я читал, или это были выписки из фальшивки, сочиненной следователями, не знаю, удалось ли ему взять обратно ложные показания и при каких обстоятельствах окончилась его жизнь.

Следственное дело Шмидта в целом направлялось по другому руслу, нежели мое, и на его исход вряд ли могло повлиять то, что я не признал себя виновным. Но в летние месяцы 1939 года существовал известный параллелизм в следствии по моему делу и по делу моего заместителя. Это обнаружилось при своеобразных, а вернее, отвратительных обстоятельствах. В июле во время допроса в кабинет Романова явился человек в штатском, на вид довольно интеллигентный, но с неприятным, каким-то взерошенным лицом. Злобно взглянув на меня, он отрекомендовался представителем прокуратуры. «Жалоб не имеет», — добавил он безапелляционным тоном и тотчас же принялся вместе со следователем составлять протокол проверки следствия. У меня не возникло никаких надежд или иллюзий, что прокурор поможет выяснить истину. Но все же я был поражен, когда он прочел вслух фразу из протокола, который он составлял: «Изобличен в том, что является шпионом Германии, Франции и Англии». Даже следователь счел такой нелепый набор лживых обвинений чрезмерным и тут же при мне предложил исключить одну из стран. Прокурор дал согласие, причем ему было явно безразлично, какую страну вычеркнуть. То, что следователь внес поправку, и то, что я из своего угла подавал критические реплики, видимо, удивило представителя прокуратуры; он спросил вполголоса, но не очень заботясь о том, чтобы я не слышал: «Это кто? Это Шмидт или Гнедин?» Итак, прокурор, оформляя протокол надзора, даже не потрудился выяснить, чье дело он проверяет; для всех дел у него существовала одна и та же форма.

Визит прокурора укрепил меня в моем намерении попытаться противопоставить фальшивкам как можно больше истинных фактов, свидетельствующих о том, что ни я, ни другие дипломатические работники никакой антиправительственной деятельностью не занимались. Поэтому меня не смутило, что однажды я застал в кабинете следователя стенографистку. Мне казалось желательным, чтобы в деле была новая стенограмма, уже продиктованная мною самим. И это было заблуждением; следователь не позволил стенографистке записывать мои высказывания по существу обвинения и в опровержение клеветы. Следователь наблюдал за тем, чтобы были застенографированы лишь мои ответы на вопросы, касавшиеся обстановки в НКВД, в партийной организации и отношений между отдельными людьми.

Я попытался сказать о преданности делу и о честности тех, арестованных до меня, моих друзей и сослуживцев, фамилии которых были упомянуты в фальшивке; но следователь пресек эти мои попытки и произнес роковую фразу, врезавшуюся мне в память: «Что вы все говорите о людях, которых уже нет...» Моя реакция была столь выразительна, что следователь неуклюже поправился: «Я говорю, что их уже нет здесь, в Москве». Но я-то понял, что получил от следователя НКВД СССР известие о трагической гибели товарищей и друзей...

Стенограмма содержала подлинные, малозначительные фактические данные, можно сказать, из истории центрального аппарата НКВД СССР. Но когда мне ее предъявили в перепечатанном виде, оказалось, что в нее вставлены слова, которых я не произносил, большей частью эпитеты такого рода: «антисоветские» (знакомства, намерения) либо «в антисоветских целях» (встречался, поддержал точку зрения) и т. п. Заполучив перепечатанную стенограмму в руки, я на последней странице написал точно и ясно, что указанные слова и эпитеты вставлены следователем, что мне ничего не известно об антисоветских намерениях или поступках названных мною сотрудников НКВД и такая их характеристика исходит от следователя.

До этого дня я на допросах у старшего лейтенанта Романова не имел возможности письменно опровергнуть тезис обвинения. Когда же я изловчился наконец это сделать, то последствия были такие же, как и тогда, когда я в кабинете Воронкова в письменной форме опроверг фальшивку. Следователь меня отослал в камеру, и больше я его не видел. Не знаю, сами ли они отказывались от «безнадежного клиента» или их устранение носило характер служебного взыскания... Так или иначе, снова произошла смена следователя.

Больше недели я днем и ночью со страхом ждал вызова на допрос; я ведь мог предполагать, что мою надпись на стенограмме сочтут проступком, который требует наказания. На этот раз случилось иначе. В августе, то есть на четвертый месяц следствия, меня вызвал новый, четвертый — а если учесть допросы у Кубулова и Берия, то минимум шестой, — следователь. Это был совсем приятный, подтянутый и корректный лейтенант лет тридцати. Он по форме отрекомендовался (очень жалею, что не запомнил его фамилию) и сообщил, что будет вести мое дело. Однако по причинам, мне не известным, он не стал моим постоянным следователем, и у нас с ним состоялось только несколько встреч. Прежде всего расскажу о драматическом эпизоде: об очной ставке не с кем иным, как с Михаилом Ефимовичем Кольцовым.

В течение лета я постоянно на допросах и в заявлениях, подаваемых из камеры, настойчиво требовал дать мне очную ставку со всеми, кто давал против меня показания. Требование очных ставок в любое время и в любой форме и ссылка на то, что очных ставок не было, в дальнейшем фигурировали во всех моих жалобах и заявлениях. Но очной ставки с Михаилом Кольцовым я в августе 1939 года не мог требовать, так как мне еще не было известно, что он дал против меня показания. На одном из допросов Романов спрашивал меня о моих отношениях с М. Е. Кольцовым и встречался ли я с ним. Я припоминал наши встречи (мы не были в близких отношениях). Когда же следователь спросил меня, виделся ли я с Кольцовым во время моего пребывания за границей, я припомнил две встречи и с излишней аккуратностью рассказал о них.

И вот однажды, когда я в относительно спокойном настроении сидел в кабинете нового следователя, туда вошел его начальник — черноволосый и черноглазый капитан Пинзур, с которым у меня позднее, в октябре 1939 года, состоялась «мирная» беседа, а в июне 1940 года — страшная и мучительная для меня встреча в новом застенке.

Капитан весело сказал мне: «Вы просили очной ставки с Кольцовым?» Я отвечал ему в тон: «Я не просил, но считайте, что сейчас попросил». После чего мы прошли в другой кабинет, очевидно принадлежавший следователю, ведущему дело М. Е. Кольцова.

Один из следователей сел за широкий стол, двое встали по бокам; кажется, в комнате был еще один военный. Меня посадили на стул с той стороны, с какой мы вошли; недалеко от противоположной двери пустовал стул, приготовленный для М. Е. Кольцова. Я с волнением ждал его появления. Он был арестован примерно за полгода до моего ареста, и я на основании тюремного опыта считал возможным, что были верны распространившиеся сразу после исчезновения Михаила Кольцова слухи о его расстреле. Поэтому я радовался, что он по крайней мере жив. Мне приходилось видеть М. Е. Кольцова грустным и озабоченным, но его лицо всегда было оживлено игрой ума, а в глазах искрилась ирония. Когда конвоиры ввели Михаила Ефимовича, он кинул испуганный взгляд в сторону следовательского стола, потом повернулся лицом ко мне, и на мгновение мне почудилось, что я вижу прежнего Михаила Кольцова, только бесконечно усталого. В самом деле он, казалось, не потерял чувство юмора, ибо с грустной улыбкой проговорил, глядя на меня: «Однако, Гнедин, вы выглядите... (пауза и усмешка) ну, совсем как выгляжу я». Этим было сказано очень много и в

переносном и в прямом смысле, ибо, приглядевшись, я заметил, что у Михаила Ефимовича вид тяжело больного человека. Я отозвался какими-то приветливыми словами, он хотел на них откликнуться, но тут следователи, увлекшиеся наблюдением за столь любопытным зрелищем, как наша встреча, опомнились и приказали нам замолчать; как бы щелкнул бич, и нас, образно выражаясь, затолкали обратно в наши клетки. Вот тогда я понял, что М. Е. Кольцов изменился сильнее, чем можно было судить по наружному виду. Известно, что он был мужественным и необыкновенно инициативным. Теперь передо мной сидел сломленный человек, готовый к безотказному подчинению. Он всегда носил роговые очки и, вероятно, на допросе был в очках, но в воспоминаниях о нашем последнем свидании его лицо мне представлялось таким, словно он был без очков и плохо видел, что происходит вокруг него. Я никак не мог избавиться от такого впечатления, хотя понимаю, что оно ложное, ведь вначале он хорошо разглядел меня и даже пошутил по этому поводу.

Сначала были заданы формальные вопросы, знаем ли мы друг друга, не находимся ли во вражде. На первый вопрос, заданный Кольцову: «Признаете ли себя виновным?» — он сразу, можно сказать привычно, ответил утвердительно, даже пространно. Затем этот же вопрос задали мне. Я молчал. То ли внезапный страх, то ли смутный защитный рефлекс мешали мне в присутствии новых следователей и М. Е. Кольцова, признававшего себя виновным, продолжать свой спор со следователем. Я молчал. Пауза длилась долго, капитан не столько угрожающе, сколько подбадривающе (как заставляют ребенка признать свою вину) повторил несколько раз: «Ну, давайте!» Наконец следователь М. Е. Кольцова махнул рукой и задал новый вопрос Кольцову примерно в такой формулировке: «Расскажите о ваших преступных связях с Гнединым». М. Е. Кольцов изложил ту вымышленную версию, которую я позднее прочел в выписке из его показаний. Он говорил не очень длинно, но обстоятельно и, как мне кажется, точно в тех же выражениях, в каких эта выдумка была записана в протокол следователем, то есть Кольцов как бы повторял ее наизусть. Он заявил, будто еще в 30-х годах на квартире тогдашнего заведующего отделом печати НКВД СССР К. А. Уманского группа журналистов и дипломатов затеяла «антиправительственный заговор» и что среди присутствующих, кажется, был и Гнедин. Тут я обрел дар слова. Правда, мне не хотелось грубо в лицо обвинить измученного Михаила Ефимовича в клевете, поэтому, повторяя его обороты, я сказал, что ему, «кажется, изменила память», и затем подробно опроверг показания Кольцова, в частности указал и на то, что я в те годы вообще не бывал на квартире К. А. Уманского. Кольцов молча, скрывая волнение, меня слушал. (Напомню читателю, что известный советский дипломат К. А. Уманский, на квартире которого якобы состоялся антисоветский сговор, не был арестован, он в день нашей очной ставки с Кольцовым был уже послом в США, а после его трагической гибели в Мексике состоялись торжественные похороны в Москве.)

Затем мне предложили рассказать о встрече с М. Е. Кольцовым в Берлине. Когда я кратко ответил, от меня потребовали, чтобы я изложил подробнее содержание беседы. М. Е. Кольцов не оспаривал мой рассказ, ничего порочащего не содержащий, но взволновался, когда его следователь подчеркнул, что мы говорили о деле маршалов. С тревогой, пожалуй с мольбой, как бы прося подтвердить его слова, он сказал следователю: «Но ведь к заговору военных я отношения не имел».

Наша очная ставка закончилась в довольно беспорядочной обстановке: вызвали конвоиров и нас быстро вывели из кабинета через противоположные двери, так что мы не успели проститься...

Во время нашей (как оказалось, последней) встречи со следователем он вдруг сказал: «Я видел вашу жену, она здорова» — и даже добавил слова о том, как она хороша. Я был счастлив и впервые на допросе не сдержал слез.

В сентябре 1939 года, после перерыва в допросах, мое дело стал вести новый следователь, даже формально уже пятый за пять месяцев. Это был безобидный исполнитель, малообразованный младший лейтенант Гарбузов. Ему было поручено подготовить мое дело для оформления по статье 206 УПК, то есть оформить окончание либо видимость окончания следствия; вероятно, его и не собирались прекращать.

16 октября 1939 года следователь вызвал меня днем и дал мне для ознакомления мое «дело». Это не было подлинное следственное дело, а папка с частью документов, к нему относящихся; там не было таких формальных документов, какие все же и тогда обычно имелись во всех делах, например обращений следственной части к прокуратуре о необходимости продлить следствие после истечения двухмесячного срока

и многих других. Не было ни одного из моих многочисленных заявлений, поданных из камеры через начальника тюрьмы. Но мое собственноручное заявление, написанное после пыток и опровергавшее фальшивый протокол, я, к своему удовлетворению, обнаружил в предъявленной мне папке.

Ознакомившись с документами, собранными в папке под названием «Дело №... Гнедина-Гельфанда Е. А.», я тотчас же заявил, что желаю внести в протокол об окончании следствия ряд заявлений. Следователь, этого ожидавший, отослал меня в камеру.

Вечером меня вызвал упомянутый мною капитан Пинзур, возглавлявший группу следователей или секцию в следственной части НКВД СССР. Выслушав мое требование внести в протокол об окончании следствия мои опровержения клеветы и заявления о невинности, капитан затеял со мной мелочный спор.

Весьма важными были слова, сказанные капитаном, когда я настаивал на фиксации в протоколе моего заявления, опровергавшего клевету на М. М. Литвинова. Несомненно, имея на то разрешение, капитан Пинзур сказал многозначительно: «Да кто же в этом доме стал бы в чем-либо обвинять Литвинова!» Как будто не в этом доме меня, и не одного меня, совсем недавно пытали, требуя показаний против Литвинова...

Итак, «дело Литвинова», усиленно подготавливавшееся в мае и в июне 1939 года, было прекращено в октябре 1939 года. Здесь не место для комментариев по этому поводу; думаю, что мое свидетельство достоверно и представляет исторический интерес.

К концу первого полугодия пребывания в следственной тюрьме надежды на то, что мое дело будет прекращено, казались вполне обоснованными. Я рассказал своему соседу по камере, М. Б. Кузеницу, что мне удалось внести в протокол об окончании следствия подробное заявление о моей невинности. Мой друг воскликнул: «Евгений! Ничего подобного еще не бывало. Твое дело должно быть прекращено!»

Накануне октябрьских праздников пришли конвоиры и отвели меня в канцелярию, где было несколько письменных столов, около которых стояли и сидели чиновники в форме НКВД; там было так тесно, что для меня нашлось свободное место лишь на кожаном диване, куда я и уселся в понятном волнении (обычно подследственный либо стоял, либо сидел на краешке стула в углу).

К маленькому столику подле дивана подсел незнакомый лейтенант с бесцветным лицом канцеляриста, загруженного делами. Он скороговоркой задавал вопросы и тут же читал мне вслух мои ответы. Ответ на первый вопрос гласил: «Винным себя не признаю». Второй вопрос, а тем более заготовленный следователем ответ были для меня неожиданными: меня спрашивали, не оказывал ли следователь на меня давление; лейтенант тут же записал утвердительный ответ. Более того, таким же деловым тоном он предложил мне формулировку, в которой прямо говорилось о применении физического воздействия. Я сказал, что можно снять слово «физическое», достаточно указать, что на меня пытались оказать давление, добиваясь признания в не совершенных преступлениях.

Казалось бы, странное, даже недостойное поведение: мне дают возможность обжаловать применение пыток, а я сам выбираю туманный оборот речи! Конечно, сказало то, что я был терроризирован, но все же я исходил из тревожных соображений: меня могли спровоцировать (а это бывало); жалуюсь на физическое воздействие, я мог навлечь на себя более жестокие пытки, если не самое худшее. Ведь я понимал, что в аппарате никто не станет раскрывать секреты следственных методов. Да к тому же физическое воздействие ко мне применяли нарком Берия и начальник особой следственной части НКВД СССР Кобулов. Впрочем, и независимо от высокого ранга палачей чиновник, составлявший протокол, вовсе не собирався выяснять, как случилось, что были применены незаконные методы следствия — пытки. Наоборот, он должен был записать в протоколе, что ко мне применялись усиленные методы воздействия, узаконенные Сталиным. Таким образом, как бы фиксировалось, что руководители следствия по моему делу ничего не упустили, постарались на славу.

Вообще обстановка, в которой происходила эта «проверка» хода моего дела, напоминала сцену допроса в романе Кафки «Процесс»; в комнате было полно людей и было так шумно, что мы с моим собеседником плохо друг друга слышали. Чиновник, ничего не знавший о моем деле, положил бланк на край столика и наскоро составлял по поручению начальства протокол в такой форме, в какой он мог бы понадобиться, если бы дали команду закрыть мое дело. Это и было для меня самое важное.

Но этот протокол не понадобился. Была дана совсем другая команда...

Когда через месяц после окончания следствия меня снова вели по коленчатому коридору большого здания НКВД, я не был настроен чрезмерно радужно, но все же надеялся на некий перелом к лучшему. Мне сразу же стало ясно, что я заблуждался, когда меня ввели в типичный следовательский кабинет, в сумрачную узкую комнату с одним окном в глубине. Спинай к нему восседал за столом новый следователь, человек восточного, кавказского облика. Меня посадили в середине комнаты; позади меня сидел за столиком молодой чиновник, может быть, стажер. А рядом со мной вплотную уселся лейтенант с грубым, угрюмым лицом. К счастью (иначе бы я растерялся), я не сразу распознал в нем того подручного Кобулова, который в начале мая точно так же сидел вплотную рядом со мной в кабинете Берии, и именно он тогда вслед за Кобуловым нанес мне удар после моего первого «дерзкого ответа».

Новый следователь, вероятно, считался специалистом по психическому воздействию. Совершенно пренебрегая тем, что следствие уже велось и даже было оформлено его окончание, он повел допрос в угрожающем тоне, как если бы к нему привели только что арестованного преступника и надо его сразу разоблачить. Он требовал, чтобы я рассказал о своих преступлениях, назвал имена сообщников, дал конкретные показания; он с многозначительным видом задавал неожиданные вопросы; злорадно усмехаясь, он предупреждал: «Мы все о вас знаем». На эту стандартную фразу я отозвался так же, как на допросе в июле у следователя Романова: когда тот, вытаскивая пухляку папку фотокопий моих личных писем, в частности письма Астахову в Берлин, сказал: «Видите, нам все о вас известно», — я ответил: «Ну что ж, если вы все обо мне знаете, значит, знаете и то, что я честный человек». Романов тогда, вероятно, иного ответа и не ожидал, но новый следователь, испытывавший на мне свой метод психической атаки, был несколько сбит с толку моим спокойным ответом.

Однако мне стало жутко и было крайне трудно скрывать свое волнение, когда следователь пустил в ход самый страшный прием психического воздействия: он угрожал арестовать мою жену и даже пытался меня уверить, что она уже в тюрьме и ее могут тут же привести на очную ставку, если я не стану давать требуемые показания. Непонятно, как я выдержал это испытание. Чутье подсказывало, что следователь лжет. Но и способность трезво мыслить пришла мне на помощь. Я не поверил, что Надю арестовали. Отвечая на угрозы следователя, я твердил: «Не верю, что мою жену арестуют, не верю прежде всего потому, что я доказал свою невиновность».

Допрос продолжался часа четыре. И этого следователя я больше никогда не встречал.

Когда я вернулся в камеру, то там впервые за все месяцы следствия со мной случился нервный припадок.

Как было не потерять душевное равновесие, вспоминая в камере угрозы следователя! Я спрашивал себя: «А что, если Надю действительно арестовали? Собираются арестовать? А может быть, Надя где-то здесь рядом, в тюрьме?» Но и на этот раз приемы самовнушения мне снова помогли. Ведь после того, как в июле я получил через следователя весть от моей жены, рассуждал я, дальнейший ход моего дела был относительно благоприятным и новых осложнений не было. Я не допускал мысли, я не позволял себе думать, что именно из-за того, что меня не удалось сломить, палачи прибегли к новому злодейскому приему — арестовали жену, чтобы таким способом заставить меня дать показания о вымышленных преступлениях.

На допросе в ноябре 1939 года следователь не только угрожал арестовать мою жену, но и прибег к грязному политическому шантажу. Изобличая меня как германского шпиона, старший лейтенант НКВД СССР заявил, что доказательства получены от... гестапо. Следователь поведал мне, что СССР в дружбе с гитлеровской Германией, и добавил с таинственным видом, как бы раскрывая служебный секрет: «Так что мы обмениваемся с гестапо материалами».

Я уже услышал в камере, что между СССР и фашистской Германией заключен какой-то договор. Но я счел глупой выдумкой заявление следователя, что НКВД подерживает связь с гестапо. В таком смысле я и отвечал следователю. Я мог бы, кроме того, ему сказать (возможно, и сказал, не помню), что если бы удалось получить доступ к архивам гестапо, там были бы найдены доказательства того, что гитлеровцы видели во мне врага и что гитлеровская контрразведка старалась воспрепятствовать моей антифашистской деятельности. Когда в 1935—1937 годах я работал в посольстве

СССР в Берлине, за мной была установлена слежка. Геббельс приказал редакторам берлинских газет не поддерживать со мной отношений. В частности, он предложил бойкотировать прием, устроенный мною в качестве первого секретаря посольства, ведавшего связью с печатью. Два берлинских журналиста нашли способ выразить мне сожаление по поводу того, что им не разрешено принять мое приглашение. Зато один из заместителей Геббельса, некто Бернат, пришел на прием, то ли чтобы проконтролировать своих подопечных, то ли чтобы приглядеться к советским дипломатам.

Мне приходилось видеть и слышать Геринга и Гитлера. Я не мог отделаться от впечатления, что передо мной дегенеративные субъекты. Но важнее, конечно, то, что это были лютые враги моей страны. Однажды, находясь в качестве представителя советского посольства на заседании рейхстага, я демонстративно вышел из дипломатической ложи во время речи Гитлера. Я считал, что советский дипломат не должен присутствовать при том, как глава государства позволяет себе выступать с резкими выпадами против СССР.

После пребывания в гитлеровской Германии мое обусловленное политическими взглядами и мировоззрением враждебное отношение к фашизму стало более эмоциональным, личным. Я проникся презрением и ненавистью к тем циникам и насильникам, которые претворяли в жизнь фашистскую идеологию и воплощали все худшее, что таится в человеке.

В 1939 году в гюрме, хоть я уже непосредственно познакомился с обликом Берри, Кобулова, их подручных, я все же не мог даже вообразить, что они станут сотрудничать с бернштами, розенбергами и прочими фашистскими злодеями. Берншты были в моих глазах воплощением гитлеровского режима, а кобуловы — не только выродками, но и уродливыми исключениями в том обществе, к которому принадлежал и я сам. Так думал не только я один. Так рассуждают и сейчас многие.

Итак, в ноябре 1939 года я не поверил следователю. Однако я уловил, что слова о контакте НКВД с гестапо отражают какую-то новую атмосферу в государственном аппарате. До осени 1939 года ни начальство следователя, ни он сам никак не решились бы хотя бы для того, чтобы запугать и запутать подследственного, обыгрывать такую тему, как сотрудничество НКВД с гестапо. Прибегнуть к таким приемам можно было, только если сама идея контакта советского аппарата с фашистским уже не представлялась чем-то фантастическим и архипреступным.

В ноябре 1939 года я не знал, что разразились роковые международные события. Я имел лишь туманное представление о том, что произошли некие важные перемены в советской внешней политике. Узнал я об этом случайно, когда в конце августа к нам в камеру привели только что арестованного работника органов. Переступив порог камеры, он сразу объявил: «Мы примирились с Германией. Заключен важный договор». Никто не решился расспрашивать. Я в волнении опустил на койку.

Забрезжили надежды: если атмосфера в советско-германских отношениях разрядилась, руководители следствия могут потерять интерес к делам, начатым до поворота во внешней политике. Мое дело могли бы прекратить и потому, что я сумел защититься, и потому, что дело утратило тот злободневный характер, какой ему хотели придать в обстановке непосредственной угрозы войны.

Надежду сменил страх — возможна и другая зловещая альтернатива: стремясь обосновать целесообразность крутого поворота во внешней политике, оправдать договоренность с гитлеровской Германией, могут затеять пропагандистскую кампанию, даже фальсифицированное судебное дело, чтобы оклеветать, опорочить активных участников антигитлеровской политики, политики окружения фашистского агрессора. Скажут: вот, мол, враждебные элементы толкали нас на опасную авантюру, на войну с Германией, они теперь разоблачены, а угроза германского нападения устранена.

Признаком такого возможного поворота в деле бывших работников советской дипломатии и явился тяжкий допрос, которому меня подвергли в ноябре 1939 года. Позднее эти планы отпали, до инсценировки процесса дело так и не дошло.

Сколь ни мрачна была атмосфера в тюремной камере, все же люди оставались людьми. Возникла потребность в общении. Раскрывались характеры, профессиональные интересы; можно было сопоставить ход жизни, реакцию на события в различных слоях общества; работа и личные отношения были в те годы окрашены в мрачные тона из-за разгула террора, преследований и доносительства.

Конечно, паузы между допросами заполнялись не только рассказами об ужасах следствия. Иногда удавалось отвлечься или отвлечь соседей от тяжелых мыслей.

Я должен сказать, что отвергаю обобщенную отрицательную и безысходно мрачную характеристику душевного состояния и поведения людей в тюрьмах и лагерях.

Никогда я не забуду моих товарищей в беде, меня поддержавших в лагере, моих собеседников и друзей. Никогда мы с женой не забудем, как в лагере знакомые и незнакомые заключенные помогли нам встретиться, когда она тотчас же по окончании войны приехала в Усть-Вымский лагерь, в Княжпогост, не получив в Москве разрешения на свидание. Доброжелатели — заключенные, оказавшие помощь жене узника в ее хлопотах о свидании, передавали ее друг другу как эстафету; у Нади тогда сложилось впечатление, что она встречала среди заключенных одних только хороших людей.

В течение зимы 1939/40 года состав узников в камере часто менялся. Людей уводили и приводили днем и ночью. Однажды глубокой ночью ввели человека, еще вечером находившегося на свободе. Мы приподнялись со своих коек, собираясь его расспрашивать о новостях с воли. Но он остановился между тесно стоявшими койками и, обращаясь ко всем сразу, спросил без обиняков: «Бьют?» Мы оставили вопрос без ответа. Утром выяснилось, что наш новый сосед — журналист. Он был в отделе печати и знал меня в лицо. Я его не помнил, он же довольно красочно описывал, как я давал какие-то распоряжения цензору. По его словам, задолго до моего ареста в журналистской среде удивлялись, что я еще не арестован. А сейчас, оказавшись со мной в одной камере, он явно был удивлен, что я еще жив.

Некоторое время нашим соседом по камере был Наниешвили. Старый большевик сохранял спокойствие и держался особняком. Правда, он сообщил нам, что был учителем Сталина в дореволюционные времена. О своем ученике, посадившем его в тюрьму, он упоминал без откровенной злобы, но и без пиетета.

Тяжело далось мне расставание с М. Б. Кузеницем. Мы с ним понимали, что его дело заканчивается. Он даже получил посылку от жены. И вот наступил день, когда ему была дана команда: «На выход с вещами!» Мы расцеловались, и Кузениц ушел в никуда. Почему-то в камере сложилось представление, что Кузеница ждет самое худшее. Мне не хотелось так думать, но в последующие годы меня не оставляла мысль, что я больше никогда не увижу человека, общение с которым облегчило мне жизнь в тяжкие месяцы самых страшных испытаний. Какова же была моя радость, когда он в 1957 году совершенно неожиданно появился в моей московской квартире...

Я искал выхода в поэзии. Так я спасался от депрессии. Я уже говорил, что стихи в тюрьме не только выражали мои мысли и чувства, поэзия была сильнейшим средством самовнушения. Образы, сами слова, подсказанные мне памятью и вдохновением, рассеивали мрак в душе, придавали бодрость.

В марте 1940 года наступил день расставания с камерой во Внутренней тюрьме НКВД СССР. К тому времени мне уже стало ясно, что я на свободу не выйду, впереди скитания по тюрьмам и лагерям.

Поездка впервые в «воронке», в закрытой машине для перевозки заключенных, произвела на меня очень сильное впечатление. Острота ощущения была вызвана не тем, что меня впихнули в узкую стальную клетку, составлявшую часть большой стальной клетки на колесах. Совсем другое меня взволновало — близость моей новой тюремной камеры к миру, к людям. «Воронок» был окрашен в светлые цвета, на машине снаружи виднелись надписи: «Мясо» или «Хлеб». Поэтому люди не шарахались в сторону от машины, в которой истерзанные люди сидели, скорчившись, во мраке. Когда машина останавливалась на перекрестке, я слышал, как рядом, совсем близко разговаривали прохожие, слышал голоса и смех детей. С волнением вслушивался я в обычный уличный шум: вот хлопнула дверца легковой машины, заскрежетали тормоза, весело зазвонил трамвай. Незримая и желанная жизнь бурлила подле меня. Ее волны плескались близ самой тюремной камеры, у самой стальной перегородки. Но жизнь и люди оставались для узника недосыгаемыми, как и тогда, когда он находился за высокими стенами в одиночной камере.

Я предполагал, что меня везут в Бутырскую тюрьму, может быть, в пересылку. Не везут же меня в Лефортово, в строгорегимную тюрьму? Ведь то, что проделывают с подсудимыми в Лефортове, со мной уже проделали на Лубянке!.. Каков же был мой ужас, когда, выйдя из «воронка», я услышал грохот, назойливый шум, который был признаком того, что я в Лефортове. Заключенным было известно, что в Лефортовской тюрьме чуть ли не день и ночь слышно, как неподалеку работает аэродинамическая труба. И вот меня огулил неистовый рев, меня потрясла мысль, что предстоят

новые муки. Построенная при царизме, военная тюрьма в Лефортове считалась страшным местом в то время, о котором я пишу.

Меня привели на верхний этаж, не помню, какой именно. Отворилась тяжелая дверь, и хотя я сознавал, что нахожусь в верхней части здания, мне показалось, что я вхожу в подземелье. Вероятно, такое впечатление было связано с тем, что маленькое окошко с решеткой находилось высоко под потолком, а пол не был крыт досками и казался земляным.

Камера была на двух человек. Молча, поклоном, меня приветствовал новый сосед — монгол. Осмотревшись в камере, я зашагал назад и вперед по тесному пространству, обдумывая текст заявления, которое я намерен был сразу подать следователю. Внезапно раздался голос соседа: «Ваш — военный?» Я ответил отрицательно, не скрывая удивления. На мне был типичный штатский костюм, никакой военной выправкой я не отличался. Вероятно, соседа ввел в заблуждение тот не совсем обычный в тюремных условиях решительный и суровый вид, с каким я расхаживал по камере.

Мрачная слава Лефортовской тюрьмы оправдывала самые страшные предположения. Постучав кулаком в дверь, я вызвал тюремщика и сказал ему, что хочу подать заявление следователю. Во Внутренней тюрьме в таких случаях заключенного выводили в бокс и там давали ему бумагу. В Лефортове узников только на допрос и на прогулку выводили из камеры. Дежурный принес мне лист бумаги, и я в его присутствии написал заявление следователю, в котором без обиняков заявлял, что перевод в Лефортовскую тюрьму не изменит моей позиции, я предупреждаю, что в здравом уме и памяти никаких показаний о своей мнимой вине давать не стану.

Примерно месяц меня вообще не вызывали из камеры. За это время я ближе познакомился с моим соседом, большим, широкоплечим монголом с широким лицом в рябинках, с внимательным, пытливым взглядом. Это была одна из самых интересных моих встреч не только за время пребывания в тюрьмах. Гелико Хасочыр, как звали моего соседа, плохо говорил по-русски, но мы постепенно стали понимать друг друга. Правда, иногда и жесты бывали неверно поняты. Гелико вылепил из хлеба шахматные фигуры, доску мы получили от тюремщика. Мы часто играли в шахматы. Однажды, сделав неверный ход, я с досадой постучал пальцами по лбу. «Так не делай, никогда не делай!» — воскликнул Гелико Хасочыр. Мне осталось неясно, почему его рассердил мой жест...

В моем деле произошел поворот к лучшему. Я имел полное основание так думать. 16 апреля 1940 года младший лейтенант Гарбузов снова составил протокол об окончании следствия. Для этого потребовалось менее получаса. Следователь заполнил бланк и, не задавая мне никаких вопросов, в соответствующей графе написал: «Виновным себя не признаю». Меня такая запись вполне удовлетворила. Ведь все, что я считал необходимым написать в опровержение обвинения, я записал в протокол при предыдущем оформлении окончания следствия. На этот раз было достаточно того, что снова в основном документе дела зафиксировано, что я лживых показаний о каких-либо преступлениях не давал и заявил о своей невинности.

В отличие от моего соседа во Внутренней тюрьме, ликовавшего, когда я рассказал, как благополучно оформлено окончание следствия по моему делу, мой сосед в Лефортовской тюрьме отнесся сдержанно к моему радостному сообщению о том, что наконец следствие снова завершено. Не было никаких оснований думать, что Гелико Хасочыр знает что-либо о моем деле. Просто он относился с глубоким недоверием к следователям и их начальникам.

Через месяц после составления протокола об окончании следствия, 19 мая 1940 года, тот же следователь Гарбузов, вызвав меня, как ни в чем не бывало приступил к допросу. Я запомнил, что меня спрашивал, где и когда я встречался с Карлом Гофманом; он, как и я, был в 20-х годах работником дипломатического аппарата, а потом стал профессиональным журналистом-международником. Но в отличие от меня К. Б. Гофман уже в 20-х годах стал членом партии. Наши пути не раз скрещивались в Москве, в НКВД, и в Берлине, где Карл Гофман был корреспондентом «Правды», а я первым секретарем посольства. Это был хороший, доброжелательный человек и опытный журналист.

Тщательно взвешивая слова, я отвечал на вопросы следователя и с грустью думал о том, что и Гофман, возможно, оказался в лапах тюремщиков. К счастью, я заблуждался. Вернувшись в Москву, я узнал, что Карл Гофман не был арестован;

у него были, правда, после войны партийные взыскания. В Москве мы возобновили наши дружеские отношения и сохранили их до его кончины.

Когда неожиданный допрос от 19 мая закончился, я спросил следователя: как понимать происходящее — следствие возобновлено или этот допрос вне рамок следствия по моему делу? Гарбузов отвечал невразумительно: бывает, мол, по-всякому.

Прошел еще месяц, и 25 июня меня вызвали из камеры на выход с вещами. Я обрадовался, что покидаю Лефортово, заведомо строгорежимную тюрьму. Мой сосед Гелико Хасочыр печально наблюдал, как я в волнении собирал вещи. Если бы он был христианином, я бы сказал, что, прощаясь со мной, он благословил меня на новый крестный путь.

Вскоре я убедился, что существует более страшный застенок, чем Лефортово, — секретная особорежимная тюрьма в Суханове.

Поездка в железном «воронке» — на этот раз не в Лефортово, а из Лефортова — странным образом затянулась. Сидя в стальной клетке, я жадно прислушивался к голосам людей, к звонкам трамваев и сигналам машин, пытался по поворотам и остановкам на перекрестках угадать, в какой части города мы находимся. Я не сомневался, что меня, как и всех заключенных, по делам которых следствие закончено, перебрасывают в Бутырки. Но вскоре я с недоумением уловил, что уличный шум затих, потом раздался свисток паровоза, машина явственно стояла у железнодорожного переезда, и действительно, когда она двинулась с места, я по толчкам понял, что мы переезжаем через рельсы. Итак, меня везут за город.

Наконец меня выгрузили из машины. Мы находились в загородной местности, но оглянуться по сторонам мне не удалось, конвойные меня подхватили, завели в небольшой одноэтажный дом и заперли в один из многочисленных боксов, двери которых я успел приметить. Я уже был достаточно опытным заключенным, чтобы понимать, что меня заперли во временном помещении, а документы положили на стол некоему начальнику, который определит место моего постоянного пребывания. Однако бокс отличался от тех, в которых мне пришлось побывать на Лубянке и в Лефортове. Он не был освещен и был необычайно узок. Я обнаружил, что не имею возможности раздвинуть локти, они упирались в стенку; ноги можно было вытянуть, только если сидеть прямо на узкой скамейке, расположенной у задней стенки.

Потянувшись долгие мучительные часы. Я задремал, проснулся, снова засыпал, снова пробуждался и сидел в темноте, прислушиваясь к шорохам и шепотам, доносившимся извне. Есть и пить мне не давали. В этом боксе я пробыл часов шестнадцать. Когда меня доставили в бокс, солнце еще не зашло, а вывели меня из бокса, когда уже снова был светлый день.

Меня повели через широкий двор, я обратил внимание на большие тенистые деревья. Был ясный июньский день. Но я недолго наслаждался его сиянием. Меня затолкнули в темный подъезд обычного, не тюремного типа и по небольшой лестнице ввели на второй этаж; я оказался в узком коридоре, по обе стороны коридора — двери с глазками, одну из дверей отомкнули и меня втолкнули в камеру, в одну из камер секретной Сухановской тюрьмы.

Лаврентий Берия организовал секретную тюрьму в Суханове под Москвой в конце 30-х годов (не знаю точно когда). По-видимому, и зарубежные исследователи, собравшие обильный материал о тюрьмах и лагерях сталинского времени, располагают скудными сведениями о Сухановке. А у нас в стране о существовании этого застенка мало кто знал и знает. В те годы, когда узники томились в этой тюрьме, даже ее наименование было строго засекречено. Я находился в заключении в Сухановке, но числился за Лефортовской тюрьмой. Такую справку давали в то время и моей жене, передачи от нее принимали в Лефортове. Да и в обвинительном заключении, предъявленном мне в июле 1941 года в Суханове, говорилось, будто я нахожусь в Лефортове. Впрочем, это обвинительное заключение было фальшивкой от начала до конца. Об этом еще придется говорить.

Бывший монастырь, в котором была устроена тюрьма, расположен недалеко от популярного дома отдыха Союза архитекторов. На протяжении многих лет отдыхающие не подозревали, что они совершают прогулки близ мрачного застенка. Вернувшись в Москву, я спрашивал различных жителей, что им известно о Суханове, и получал один и тот же ответ: в этом живописном месте по Павелецкой дороге находится прекрасный дом отдыха.

Не только были покрыты тайной черные дела, творившиеся внутри бывшего монастыря, но не было и внешних признаков того, что монастырь превращен в тюрьму. Вероятно, Сухановская тюрьма единственная в СССР, в которой окна не были снаружи заделаны решетками. Территорию тюрьмы обрамляло двухэтажное здание: очевидно, когда-то там находились кельи монахов. В двойные рамы этого здания были вставлены толстые гофрированные стекла (или пластмасса?). Сквозь них ничего нельзя было увидеть ни снаружи, ни изнутри. Вероятно, с улицы дом производил впечатление лаборатории или небольшой фабрики. К тому же камеры пыток находились в подвалах и внутри территории.

В камере, в которой я оказался, больше двух человек никак не могло бы поместиться. Я не раз шагами замерял отведенную нам площадь, она равнялась примерно шести квадратным метрам. Прямо против двери было окно. Свет, проникавший через тонкие гофрированные стекла, был тусклым, а лучи солнца многократно преломлялись. В середине камеры был винчен в пол небольшой столик, а с каждой стороны стола — круглый табурет, не слишком удобный для многочасового сидения. Коек не было. Длинное ложе, на котором ночью спали заключенные, днем составляло часть стены и находилось под запором. Тюремщики его утром приподнимали, техника была такая же, как в вагоне, но полка на день не опускалась, а поднималась. Ночью опущенные деревянные полки вплотную примыкали к столу, а опорой им с каждой стороны служил табурет.

Стены камеры, потолок, стол, табуреты были окрашены в голубой цвет. В потолке имелся плафон из такого же гофрированного стекла, как и оконные стекла. В этой обстановке были элементы какой-то фантастики. Тюремной камере придали такой внешний вид, как если бы то была своеобразная каюта парохода или проходное купе в поезде. Можно было камеру сфотографировать, да еще на цветную пленку, под таким углом зрения, что создалось бы впечатление, будто это светлица или углубление у окна в приделе храма. А была это мучительно неудобная для жилья камера в застенке, где люди сходили с ума, чему мне пришлось быть свидетелем.

Сухановская тюрьма была не просто строгорегимной тюрьмой, а именно особорегимной. Заключенных можно было помещать в самые неожиданные условия, и крайние тяжкие и относительно удобные. Они должны были понимать, что зависят от призола палачей. Не случайно на стенах камеры отсутствовали правила внутреннего распорядка; такие правила (неодинакового содержания) висели в рамках и во Внутренней тюрьме и в Лефортове, то есть в тюрьмах вовсе не облегченного режима. Но в Сухановской тюрьме не было никаких правил внутреннего распорядка и никаких определенных правил ведения следствия. Особый режим для особо страшных государственных преступников...

В той камере, куда меня ввели, уже находился заключенный. Первоначально он уклонился от разговора. Когда я спрашивал, где мы, собственно, находимся, мой сосед отвечал лаконично: «Сами увидите...» Так мы сидели лицом к лицу, каждый на своем табурете, прислонившись к стене. Иной позиции мы и не могли занимать, сидеть боком было неудобно, ходить невозможно, лежать негде.

Я с интересом приглядывался к прекрасному бледному лицу седовласого мужчины с грустными, очень выразительными черными глазами. Может быть, я сейчас и кое-что домысливаю, но мне кажется, что я сразу уловил в лице моего соседа сочетание мужественности, даже чуть грубоватой, с лиризмом тонко мыслящего человека. Как я позднее убедился, такими чертами действительно отличался Чингиз Ильдырм, курд, участник Октябрьской революции на Кавказе, образованный инженер, знаток литературы, человек, многие годы близкий к Кирову, очень привлекательная личность.

Мы недолго были вместе, недолго длилась наша дружба, но все же я думаю, то была дружба. Такую память я сохранил о Чингизе Ильдырме, и мне известно, что он тепло обо мне отзывался в беседе с заключенным, которого я позднее встретил в лагере.

На второй день после моего прибытия в Суханово за мной пришли конвоиры. В Суханове в отличие от других тюрем одного заключенного сопровождали не два, а три конвоира. Двое держали меня по бокам, а третий подталкивал сзади. Так меня то ли повели, то ли понесли вниз по лестнице и через двор привели к зданию церкви; внутри церковь оказалась поделенной высокими перегородками на сектора. Конечно, я был не в состоянии уловить, на сколько таких помещений было поделено бывшее церковное здание. Меня поместили в самом крайнем левом секторе с большим

окном. Помещение производило впечатление обширной камеры с каменным полом. Камера была совершенно пустая. На полу было несколько окурков. Конвоиры удалились. В здании царила абсолютная тишина. Недоуменно я оглядывался по сторонам. Я решил, что меня поспешно перевели в новое помещение и сейчас принесут предметы скудной тюремной обстановки. Правда, было неясно, почему меня перевели в новую камеру без вещей. Они остались в голубой темнице. Насколько помню, я не двигался и растерянно стоял на месте в ожидании дальнейших событий. Особенно долго ждать не пришлось. Дверь раскрылась, и вошли несколько человек: капитан Пинзур, с которым мы в октябре 1939 года обменивались мрачными остротами при первом оформлении протокола об окончании следствия, мой следователь младший лейтенант Гарбузов и несколько неизвестных; позднее я узнал, что один из них был начальник тюрьмы.

Я вопросительно глядел на вошедших. Капитан был явно весело настроен, а Гарбузов взволнован. «Вот где довелось встретиться, Гнедин», — сказал он смущенно, как если бы до того мы с ним виделись в совершенно нормальной обстановке.

Засим меня бросили наземь и принялись избивать дубинками, такими же, какими избивали предыдущей весной во Внутренней тюрьме. Я уже описывал технологию этой страшной процедуры. Незачем здесь снова пускаться в подробности.

Когда к вечеру я был возвращен в камеру, то уже не мог сидеть, а лечь было негде. Мне ничего не оставалось как стоять лицом к стене. Чингиз Ильдрым пытался меня успокоить, отвлечь разговором, но потом замолчал. Прошло несколько часов. И вдруг поздно вечером за мной снова пришли конвоиры. Меня охватил ужас. «Теперь я уже не выдержу», — подумал я. Не то чтобы я решил сдаться, но мне казалось, что я никак не смогу выдержать новые удары по израненному телу. Эти мои переживания — хорошая иллюстрация того, что существует предел выносливости. Впрочем, я не знаю, сломили ли бы меня даже новые истязания. К счастью, до ночных пыток дело не дошло. Сойдя на первый этаж, конвоиры неожиданно для меня свернули по коридору, спустились на уровень полуподвала (это меня основательно встревожило), но затем поднялись по внутренней лестнице в коридор, очевидно, пристройки и втокнули меня в кабинет, где за столом, освещенным настольной лампой, сидел мой следователь младший лейтенант Гарбузов.

Скрывая чувство облегчения, Гарбузов приступил к обычному допросу. Первый вопрос был явно облечен в такую формулировку, по которой впоследствии можно было бы установить, что протокол составлен вслед за «допросом с пристрастием». Во всяком случае, ни прежде, ни позднее в протокол не вставлялось серии таких выражений, как «следствие располагает неопровержимыми данными», «настойчиво требует» и т. п. На эти «настойчивые требования» я отвечал с обычной твердостью, что никаких преступлений не совершал и ни в чем не виновен. Следователь спокойно записал мой ответ, как если бы он не присутствовал при том, как меня силой вынуждали признать себя преступником.

Первые недели после избиений были очень мучительными. Дело в том, что в конце июня и в июле 1940 года стояла необыкновенная жара. Тот, кто жил на московских дачах, знает, что на верхнем этаже старого здания непосредственно под железной крышей да еще в непрветриваемом помещении в знойные дни становится нестерпимо жарко. Именно так обстояло дело в нашей камере. Я обливался потом, и горячие капли, затекая в открытые раны, вызывали жгучую боль. То были пытки, не запрограммированные следователями. Я стоял лицом к стене, пот лился по спине и слезы по лицу.

Физические муки лишили меня самообладания. Но и было от чего прийти в отчаяние. Да, после того как я в очередной раз устоял под пытками и защитил свою невиновность, я не испытывал чувства торжества, я был в ужасе. Я был в ужасе оттого, что оказался лицом к лицу с чудовищной несправедливостью и беспощадностью. Сознание безнадежности моего положения причиняло мне в те дни больше страдания, чем даже физические мучения. В самом деле, на предыдущих этапах следствия я себя защитил, никого не очернил, может быть, даже кое-кого уберег от катастрофы, — и каков же результат? Я понимал, что мой перевод в особорежимную тюрьму и избиения имели лишь одну простую цель: довести до конца мое дело в соответствии с требованием начальства, то есть погубить меня.

Я нуждался не столько в медицинской помощи, сколько в моральной поддержке. Такую помощь мне оказал Чингиз Ильдрым. Мне не нужно было, чтобы он выслушивал историю моего дела или рассказывал мне о своем деле. Мы с ним вовсе не гово-

рили о следствии, предъявленных обвинениях, ходе дела, то есть обо всем том, о чем часто и чрезмерно много рассуждали заключенные в камере. Мы оба по возможности избегали этих тем. Именно поэтому, когда Чингиз Ильдырым разговорился, его интересные рассказы явились для меня ощутимой поддержкой.

Чингиз Ильдырым был первый и, кажется, единственный курд в СССР, получивший высшее образование. Он окончил технический вуз в Ленинграде, а до того участвовал у себя на родине, на Кавказе, в борьбе за советскую власть. Из его слов можно было понять, что он весьма популярен среди советских курдов.

Ильдырыма арестовали в 1937 году; мы с ним встретились, когда его тюремный стаж превышал два года. После пыток его долго держали в общей камере в Бакинской тюрьме; камеры были переполнены, и их соединял общий коридор. Заключенные воспринимали как сенсацию то, что можно увидеть Чингиза Ильдырыма, и ходили в камеру, чтобы на него поглядеть. Однажды, когда он лежал на каменном полу, над ним наклонился курд, бывший крупный помещик, и сказал: «Хорошо, что мне удалось увидеть тебя здесь». Для озлобленного врага советской власти было минутой торжества то, что в тюремной камере рядом с ним находился в заточении идейный революционер.

Чингиз Ильдырым, которому пришлось быть начальником Магнитостроя, рассказывал об Орджоникидзе и его стиле работы; известно, каким уважением, да и любовью, пользовался Орджоникидзе у близких к нему работников индустрии.

Чрезвычайно интересным было все, что Чингиз Ильдырым рассказывал о Кирове. Правда, он избегал определенного указания на то, когда и на какой работе он сотрудничал с Кировым. Чингиз Ильдырым подозревал, что нас подслушивают, и не хотел касаться тем, которые, очевидно, использовались следователями, ведшими его дело, для провокационных и клеветнических обвинений. Попросту говоря, Чингиз Ильдырым был арестован и обречен на мучения именно потому, что был близок к Орджоникидзе и в дружбе с Кировым.

Мы пробыли вместе с Чингизом Ильдырымом недели две. Наступил грустный день, когда его вызвали из камеры с вещами. Он собрался очень быстро, очень взволновался и, уже выходя, в дверях обернулся, чтобы проститься. Я навсегда запомнил совершенно белое лицо и черные, как угли, глаза.

Через двадцать лет после моего пребывания в Сухановской тюрьме я, вернувшись в Москву из ссылки, побывал у стен старинного монастыря. Медленно обошла я здание, пытаюсь заглянуть внутрь, но это было невозможно. У запертых железных ворот я увидел группу скромно одетых людей с узелками и сумками. На мои вопросы они отвечали уклончиво, но можно было догадаться, что здесь собрались посетители с продуктовыми передачами, терпеливо ждущие, когда их примут. Мимо прошагали несколько солдат внутренних войск. Насколько я мог понять, Сухановка была превращена в тюремную больницу. Во всяком случае, и на переломе к 60-м годам это было по-прежнему зловещее место. Мрачным было не только здание, но и окружающая местность с глинистой почвой, рвами и канавами, безлюдная.

Я узнал двухэтажное здание, обрамлявшее часть территории бывшего монастыря, постарался правильно сориентироваться и подойти с наружной стороны к тому его фасаду, куда двадцать лет назад выходило окно моей камеры. Гофрированных стекол уже не было. Со сложным двойственным чувством глядел я на тюрьму, в которой пробыл больше года и подвергался избиениям. Минутами мне было жутко, тревожно, не хотелось задерживаться в этом месте, не хотелось погружаться в атмосферу былых тяжких переживаний.

Через много лет, стоя под окном моей бывшей тюремной камеры, я спрашивал себя: действительно ли я принял тогда глубоко продуманное твердое решение, чуть ли не пережил второе рождение еще задолго до воскрешения из мертвых? Может быть, я там взаперти лишь предавался иллюзиям, думая, что можно обрести подлинную внутреннюю свободу?

Уже не впервые я в этих записках упоминаю о стремлении к внутренней свободе. Заканчивая рассказ о первом полугодии следствия, я даже обронил слова о том, что в строгих размышлениях нашел пути к столь высокому состоянию духа. Говоря так, я взял на себя невыполнимое обязательство. Разве я могу сказать, что такое внутренняя свобода человека?

В тюрьме внутренняя свобода — это прежде всего способность оставаться самим собой, сохранить в своих мыслях и реакциях на окружающее независимость от влияния тюремщиков, следователей и палачей. Можно это определение распространить и на отношение человека к деспотическому государству и к деспотической идеологии. Он обретает некоторую внутреннюю свободу, если не поддается самообольщению, самообладанию, не жлет, по крайней мере самому себе.

Глубокое отчаяние, к которому я бывал близок в тюрьме и лагерях, равно как самообладание, даже оптимизм, фаталистический оптимизм, мной владевшие, были важными вехами в моих поисках внутренней свободы.

Но я не утверждаю, что я ее обрел. Поэтому, завершая главу, я повторяю прежний вопрос: действительно ли я в тюремной камере стал мыслить по-новому и, приготовившись жить по-новому, прожил правильнее, чем до катастрофы, свою, уже третью, жизнь? Или, быть может, только теперь я пробиваюсь к новому началу, теперь, когда пишу мемуары в канун своего семидесятипяятилетия?

В лагерях, где я пробыл восемь лет (до того два года в тюрьмах), мне ни разу не приходила в голову мысль о самоубийстве. Каждый день был днем борьбы за жизнь; как же, ведя такой бой, думать об отказе от жизни? И была цель — выйти невредимым из испытаний, и жила надежда — в полноте сил встретиться с любимыми людьми. Позднее, в ссылке «навечно», часто преобладало болезненное ощущение тупика. Сознание было отравлено этим ощущением, особенно чувствительным, когда человеку перевалило за пятьдесят. Вероятно, в ссылке тяга к самоубийству не принимала бы порой маниакальные формы, если бы не отравляла в буквальном смысле слова: я работал на очень вредном производственном участке, дышал целый день парами сернистого натра и других химических веществ и в этой отравленной атмосфере выполнял тяжелую работу (одно время я ежедневно кувалдой разбивал около полутонны каменного сернистого натра, и это была только часть моего урока, который я перевыполнял). Порой, когда мерещилось, что жизнь окончилась еще до наступления смерти, меня охватывало самое опасное состояние духа: не продуманное (или еще продумываемое) решение покончить с собой, а безумная тяга к самоубийству. Именно такая угроза нависала надо мной, когда я находился в ссылке в пустынной местности между Карагадой и Балхашем.

И в эти тяжкие дни можно было найти противоядие даже в окружающей действительности, а особенно в книгах. Самая работа, хоть она и подтачивала организм, одно время доставляла мне удовлетворение. Но мне пришлось перейти на еще более вредную работу.

От губительного отчаяния в ссылке «навечно» меня спасла жена. Она приезжала ко мне в Центральный Казахстан, жила подолгу (однажды почти год). Мы прожили там счастливые дни. Там, в рабочем бараке, я под влиянием жены взялся за перо, и мы вместе написали повесть.

Задолго до встречи в 50-х годах с любимым человеком мне нужно было в одиночестве научиться отличать добро от зла. В застенке я познал высшую степень отчаяния, но и обрел душевное спасение.

«Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма». Эту восточную поговорку любил повторять не кто иной, как Сталин, который охотно напоминал, что тюрьма, как ядовитая змея, по самой своей природе губительна для человека. Иначе это не тюрьма. О ядовитых речах Сталина мне рассказал в тюремной камере бывший партийный деятель. В устах диктатора афоризм имел значение директивы. Смысл сталинских слов был тот, что власти обязаны быть жестокими, тюрьма должна быть застенком, пребывание в тюрьмах и лагерях должно быть тяжким, мучительным.

Сухановская особорежимная тюрьма представляла собой изошренное, хорошо продуманное Берией осуществление жестоких требований Сталина. Сухановская тюрьма, очевидно, имела двойное назначение: застенок для пыток и расстрелов, расположенный в стороне за городом, и изолированное, засекреченное место заключения для «консервации» жертв палачей.

В Сухановской тюрьме имелись подвалы и камеры, где применялась всяческая техника (знаю по рассказам), и была пустая церковь, где действовали по старинке (мой случай). Иногда подсудимых привозили в Суханово ненадолго, только для соот-

ветствующей обработки, как выражались следователи; иной раз заключенному лишь показывали Суханово, чтобы попутать, и снова увозили в обычную тюрьму. Часто соединяли использование застенка для пыток с дальнейшей строгой изоляцией там же, в Суханове, как это случилось со мной. Бывало и так, что привезенных в Суханово заключенных не подвергали физическому воздействию, а сразу помещали в условия строгого режима на месяц, а то и на год, если не больше.

В Суханове змеиная злоба тюремщиков выражалась в пытке изоляцией и теснотой, в назойливом надзоре. Насколько я мог уловить, один надзиратель обслуживал три камеры. Глазок открывался чуть ли не ежеминутно. Достаточно было малейшего неосторожного движения узника, чтобы загремел замок, надзиратель вошел и осматривал заключенного и камеру.

Прогулок не было все тринадцать месяцев. Тринадцать месяцев я пробыл взаперти. К счастью, баня была во дворе. Но пока не зажили раны, желанная баня причиняла физические страдания; в тесной камерке меня ставили под душ, и вода хлестала по изъязвленному телу. Но не это осталось у меня в памяти. Когда три тюремщика меня выволакивали и тащили в баню, я жадно, с упоением вдыхал пьянящий душистый воздух. «Одуряющий запах полыни стал запахом жизни с тех пор, как поспешно меня проносили в темноте через двор». В баню водили вечером или ночью. Зимой пронзительный морозный воздух обжигал легкие, приспособившиеся к духоте камеры.

«Законсервированных» заключенных редко вызывали на допросы. Месяца через два после избийений меня вызвал младший лейтенант Гарбузов, видимо, только чтобы на меня посмотреть. Еще через несколько месяцев, в середине зимы, счел нужным взглянуть на меня капитан Пинзур.

То, что заключенного по многу месяцев не вызывали на допрос, могло быть и облегчением, учитывая обычный характер допросов. Но когда при строгой изоляции отсутствовал личный контакт хотя бы со следователем, заключенный вовсе терял представление о времени и перспективу собственного бытия. Парадоксально, даже трагично: встречи со следователем были для заключенного важной формой контакта с миром. Отсутствие допросов обостряло ощущение полного отрыва от жизни.

За тринадцать месяцев у меня было (не считая встречи с Чингизом Ильдримом) трое соседей, из них двое — провокаторы.

Ко мне посадили довольно скоро после избийений бывшего статистика Бакинского горсовета (забыл фамилию этого жалкого типа). Сосед должен был мне продемонстрировать, что разумно и выгодно давать показания. Он имел право и днем лежать на койке, ему давали книги (Горького), а будущее ему представлялось в неплохом виде: он передал следователю докладную записку насчет того, как наладить учет и статистику в ГУЛАГе, предложил свои услуги и надеялся получить спокойную работу.

Статистика убрали из моей камеры в тот же день, когда я на допросе у следователя отозвался о моем соседе пренебрежительно.

Сухановская камера была таким местом, где влияние крайней формы изоляции, сенсорной, представляло наибольшую опасность для заключенного. На моей психике эта атмосфера сказалась не к концу пребывания в Суханове (тогда я уже жил интенсивной внутренней жизнью), а в первый период. В мыслях я уже перевалил через хребет отчаяния, но на деле, ослабленный физическими страданиями, лишенный книг и прогулок, я в мертвой тишине голубой темницы погрузился в призрачное бытие.

В изоляции от всяких впечатлений, зрительных, слуховых, не говоря уж о пище для ума, я на некоторое время, вернее по временам, переставал быть самим собой. Так, по крайней мере, я теперь оцениваю те мнимые способы преодоления душевной пустоты, к которым я прибегаю в сухановской камере осенью 1940 года. Я стал «дрессировать» мух.

В жаркой и душной камере развелось много мух, паук был только один, хотя и большой. Я брал муху, отрывал у нее одно крыло, чтобы она не могла улететь, и предоставлял ей возможность прыгать по столу. Потом я ставил на стол приоткрытый пустой спичечный коробок и, спичкой царапая перед мухой поверхность стола, побуждал ее прыгнуть в коробок. По утрам я клал в коробок бумажку, смоченную водой, и мухи питались.

То, что я спустя тридцать с лишним лет в состоянии подробно восстановить в памяти «дрессировку» мух, свидетельствует о том, какое место эта странная игра могла занять в психике одинокого заключенного. Он сам был похож на муху с оторванным крылом. Его именно так и дрессировали, чтобы он оставался жив, но не мог нормально передвигаться и при малейшем звуке замирал...

Примерно тогда, когда прекратились мои игры с мухами, я осознал, что надо употребить чрезвычайные усилия, чтобы избежать деградации. Некоторое время я колебался, размышляя, что важнее — прогулки или книги. Я принял правильное решение и объявил голодовку, требуя, чтобы мне дали книги для чтения. Не помню, тогда ли, когда я объявил голодовку, или по другому поводу у меня был конфликт с начальником тюрьмы. Войдя в камеру, он заговорил со мной угрожающе; я заявил, что вызвал его не для того, чтобы выслушивать грубости, и потребовал, чтобы он ушел. Редкий случай — заключенный прогнал из камеры начальника тюрьмы. Как бы то ни было, мне не пришлось долго голодать, вскоре мне стали приносить книги в камеру. Более того, нашелся такой мягкосердечный надзиратель, который выслушивал мои заказы и систематически приносил мне том за томом сочинения Гегеля и книги Александра Блока и Герцена. Я с благодарностью вспоминаю этого пожилого рыжеватого человека небольшого роста, с печальным лицом в веснушках.

Когда я здесь говорю о сухановских буднях, я имею в виду не только прозябание, грозящее вырождением, но и трудную будничную работу мысли — поиски выходов. Утешение приносили и мнимые выходы, особенно если казалось, что они дают возможность заглянуть куда-то вглубь или ввысь.

Мои сухановские размышления я могу суммировать и словами Герцена: «Грядущая революция должна начать не только с вечного вопроса собственности и гражданского устройства, а с нравственности человека... все отношения людей между собою ложны... все требуют жертвы, все основаны на вымышленных добродетелях, обязанностях...»

Отвергнув догмы, которыми я руководствовался, когда был преданным слугой государства, охваченный стремлением прорваться внутрь, в собственное сердце, я в тюрьме сделал в воображаемом лирическом дневнике запись, озаглавленную «Второе рождение»:

Мне снится новое рождение,
 Дышу вольней, живу смелей,
 Хоть слышу грозное хрустенье
 Моих расправленных костей...
 Настало время распрямиться,
 Не спину — мысли разогнуть.
 Еще тесна моя темница,
 Душа уже пустилась в путь.
 Мой горб — придуманная тяжесть!
 Себя не потерять в пути —
 Вот все, к чему меня обяжет
 Мой долг, пылающий в груди.
 Поэт, страдавшем умудренный,
 Наследник трезвого бойца...
 Как дорог мне он, вновь рожденный,
 Сын, не похожий на отца.

Странно, но и знаменательно: человек жизнелюбивый, сумевший встретить с поднятой головой угрозы палачей, этот человек на воле, среди людей опушал себя духовно горбуном, и этот же человек в тюрьме, избитый и загнанный в одиночку, освободился от горба, расправился, поднимаясь навстречу душевному обновлению.

Моральные, общечеловеческие мотивы поведения становились для меня высшим жизненным критерием. Я освободился от представления, будто надлежит во имя абстрактных дальних целей жертвовать тем теплом и теми благами, которые таятся в простых человеческих чувствах и в выполнении долга перед близкими людьми. Я возвращался к непосредственному поэтическому восприятию мира. Тем не менее я не выключил себя мысленно из общества и даже общественной борьбы. «Поэт, страдавшем умудренный», должен был стать «наследником трезвого бойца».

Однако в метаморфозе, происшедшей со мной в Сухановской тюрьме, была еще одна сторона, относящаяся не к сфере интеллекта, пожалуй, и не эмоций, а скорее инстинктов. Душевный переворот в тюрьме был также и проявлением стихийной, органической потребности вырваться из пут, физически выпрямиться. Я и это ясно понял только теперь, в эти годы, читая Камю.

В повести Камю «Падение» описывается пребывание узника в средневековой тюрьме, в одиночке с низким потолком и столь узкой, что человек не мог лежа вытянуться. Сухановская одиночка была современным вариантом средневековой. «Непреложным приговором узник осужден был сидеть скрючившись день за днем, постепенно осознавая, что его одеревеневшее тело — это его виновность и что невиновность — это наслаждение выпрямиться в полный рост... Невиновность была превращена в какого-то горбуна!»

Замечательно то, что сказанное у Камю содержит одновременно и описание реальных ощущений узника в тесной одиночке, и символическую характеристику состояния человека, ставшего вне тюрьмы «горбуном» под бременем гипертрофированной ответственности, комплекса вины, ложно понятых обязательств. Я испытал и то и другое. Случилось так, что в сухановской темнице чисто физиологическая потребность распрямиться сочеталась с жаждой духовной свободы, с возникшим новым представлением о долге человека и смысле жизни. Так стало возможным второе рождение.

А в 1941 году эволюция, пережитая мною, имела спасительное значение в самом непосредственном, реальном смысле: я сам себя освободил, духовно окреп к тому времени, когда надо мной нависла угроза судебной расправы.

Летом 1941 года подошло к концу мое пребывание в московских тюрьмах. Тогда уже тема «тюрьма и страна» воспринималась мною в трагическом свете войны.

К эвакуации Сухановской тюрьмы приступили еще до начала войны. Встретившись позднее в лагере с жителями Прибалтийских республик, я узнал, что их арестовали и вывели в лагерь примерно в мае 1941 года, то есть тогда же, когда началась эвакуация заключенных из подмосковной тюрьмы. Все эти мероприятия, видимо, проводились с санкции Сталина. Он с преступной халатностью откладывал решительные меры для обороны от гитлеровской агрессии, но зато по части внутриполитических репрессий загода проявил новую инициативу и распорядительность на случай «внезапного нападения».

7 июля 1941 года в камере появился начальник тюрьмы (тот самый, который присутствовал при избиваниях и которого я выгнал из моей камеры). Начальник тюрьмы принес с собой для каждого из нас копию обвинительного заключения. Он не оставил его, а только давал прочесть и расписаться в том, что подсудимому известно его содержание.

Документ, называвшийся обвинительным заключением, занимал одну или полторы страницы (не помню точно). В нем упоминались некоторые из лживых показаний о моей мнимой преступной деятельности, и на этой основе было сформулировано обвинение по самой страшной статье — 58, пункт 1-а, то есть государственная измена: грозный вывод в документе, имевшем характер пустой отписки.

Казалось бы, стиль документов, их лживость в деталях не заслуживают особого внимания, когда речь вообще идет о безудержном беззаконии и терроре. Какое значение могли иметь перечисленные мною примеры фальсификации, если приговор был предрешен? Как будет видно из дальнейшего, формальная сторона дела имела некоторое значение.

Прочитав внимательно обвинительное заключение, я отказался на нем расписаться, как того требовал начальник тюрьмы. Я сделал на документе надпись, в которой перечислял дефекты обвинительного заключения, и добавил, что оно не имеет законной силы. Начальник тюрьмы уже знал, с кем он имеет дело, его не удивила моя выходка. Он спрятал документ в карман и сказал, усмехаясь: «Эта бумага останется у меня».

После визита начальника тюрьмы за нами пришли конвоиры. Трудно было избавиться от мысли, что, возможно, я вскоре расстанусь не только с тюрьмой, но и с жизнью. Я запомнил большое дерево с густой листвой у самого выхода из тюремного корпуса. Больше я, кажется, ничего не успел заметить.

Нас доставили в Лефортовскую тюрьму, уже мне знакомую. Но поместили меня в камеру незнакомого типа. В ней не было окна. Это меня насторожило, потому что я слышал, что в лефортовских камерах без окон держат подсудимых перед приговором к высшей мере. Мне не пришлось предаваться догадкам в одиночестве, в камеру втолкнули еще двух человек. Один из них был тихий, запуганный агроном, а другой — не кто иной, как мой бывший сослуживец В. В., который в третий раз за годы нашего знакомства оказался рядом со мной в трагические часы моей жизни.

Итак, я, обвиненный в государственной измене и будто бы повинный в связи с Германией, должен был предстать перед Военной коллегией Верховного суда в дни войны с Германией. В этот час я не вправе был тешить себя иллюзиями. Так говорил я себе, именно говорил, объяснял по возможности бесстрастно, беспощадно. Но я и тогда не мог усвоить мысль о своей смерти, да еще насильственной. Можно увидеть в воображении собственные похороны, но не казнь. В лефортовской камере накануне суда я не был в состоянии (или боялся) представить себе, как со мной поступят после вынесения смертного приговора. Но меня мучили мысли о моей семье.

Почему-то я не предполагал, что жену репрессируют после расправы со мной. Мои мысли были прикованы к другому. Я вспомнил, как в годы охоты за мнимыми вредителями и травли специалистов в газетах публиковались списки расстрелянных инженеров и хозяйственников. С ужасом я подумал, что мои жена и дочь могут прочесть и мою фамилию в опубликованном в дни войны списке разоблаченных и расстрелянных «германских шпионов». Погруженный в мучительные мысли о горе моих близких, я словно забыл ненадолго, что причиной была бы моя гибель. Страшная игра воображения на время вытеснила страх перед казнью. Однако эти мысли меня снова настигли. Это было неумолимо. Больше нельзя было размышлять, надо было что-нибудь предпринять. Пробудилось стремление сделать последние усилия в борьбе с безликим роком.

Я сказал себе: мое дело отличается от многих других. Надо помешать суду отмахнуться от этого. Я потребовал у дежурного бумагу и получил ее, несмотря на поздний час. В заявлении, адресованном в Военную коллегию, я вкратце указал, что защитил свою невиновность, и перечислил правонарушения в моем деле и в обвинительном заключении.

Утром нас по одному вывели из камеры. В те дни в Лефортовской тюрьме, как и в Бутырьках, заседало несколько комиссий, каждая из которых именовалась Военной коллегией Верховного суда. Таким образом, можно было одновременно выносить приговоры по нескольким делам. Меня не сразу повели на суд, а поместили в подвале в бокс.

Через несколько часов меня из подвала повели наверх и ввели в довольно обширное помещение, где уже восседали за длинным столом (как мне показалось — на возвышении) три человека в военной форме. Рядом со мной с обеих сторон стали конвоиры. «Судьи», видимо, только что закончили слушание какого-то дела и сразу же занялись мною. Председатель суда Кандыбин, очевидно, назвал себя, иначе мне не была бы известна его фамилия: приговора я не видел. Ни до, ни после суда я не слышал этой фамилии. То был полный пожилой человек в роговых очках; выражение лица не было ни грубым, ни злобещим, мрачное лицо чиновника-юриста. Председатель (или секретарь, не помню) прочел знакомое мне обвинительное заключение. Мне предложили кратко высказаться перед оглашением приговора. Я сказал о своей невиновности, о том, что я не признал себя виновным, что бесплодно требовал очных ставок с клеветниками. Председатель и члены суда слушали с привычным равнодушием. Но когда я сказал, что год пробыл в Суханове, что я и там не дал лживых показаний, и затем перечислил упущения в обвинительном заключении, Кандыбин снял очки и, наклонившись к одному из членов суда, задал ему шепотом какой-то вопрос. Этот молодой человек, вероятно, был представителем следственной части НКВД. Он шепотом дал председателю какие-то пояснения. Тогда Кандыбин неожиданно заявил, что вынесение приговора откладывается и что в заседании суда объявляется перерыв.

Перерыв длился долго, почти сутки. Июльскую ночь перед вынесением приговора я провел в боксе и в подвале. В подвале смертников?

У меня было достаточно времени для томительных поисков ответа на вопрос, спасся ли я от гибели благодаря тому, что на суде опровергал обвинение, или, наоборот, погубил себя, решившись на заседании Военной коллегии заявить во всеулышание, что я выдержал «физическое воздействие» (слово «пытки» я избегал) и что обвинительное заключение не имеет законной силы. Ведь мне было известно, что судебная процедура — чистая формальность, суд обязан оформить решение, утвержденное начальством при окончании дела. Я слышал достаточно достоверные рассказы о том, как жестоко аппарат репрессий расправляется с людьми, пытающимися на заседании суда предать огласке то, что происходило в тюрьме или в кабинете следователя. И тем не менее все же интуиция (не искусственная, подогреваемый оптимизм, а здоровая интуиция) мне подсказывала, что случилось (суду: мне удалось забросить песчинку в

смертоносную машину, и она забуксовала. Мое заявление было неожиданным для председателя суда, обнаружилось, что какие-то правила игры, бюрократические правила, не были соблюдены в моем деле. А может быть, проще: даже в самых тяжелых условиях гвердое сопротивление беззаконию, защита человеком своих прав не всегда совсем безнадежное дело?

Этой трагической ночью я был не один. К счастью, моим соседом был человек разговорчивый и державшийся бодро. Когда он назвал свою фамилию — Левентон, я вспомнил, что мы уже встречались. В первые дни февральской революции 1917 года мы с ним, оба студенты, участвовали в занятии полицейского участка, Портового участка в Одессе. В моей жизни это было эпизодом, а для него началом профессиональной деятельности. Он был студентом юридического факультета, с первых дней революции включился в работу судебных органов и стал жертвой репрессий, уже будучи сам работником прокуратуры.

9 июля 1941 года меня снова повели из подвала на суд. Теперь я уже не забавлял себя мыслью, что жить интересно, как это было в мае 1939 года за час до ареста, но и не дрожал противной неудержимой дрожью, как это бывало, когда меня во Внутренней тюрьме ночью вызывали на допрос, как после пыток в Суханове, и не читал самому себе стихов о бессмертии — теперь в душе все умолкло, воцарилась тишина напряженного ожидания, я ничего не видел и не слышал, я ждал, только ждал.

В том же зале за большим столом, покрытым красным сукном, сидели те же три человека. Тот же Кандыбин без всяких вступительных слов огласил приговор. Постановление суда снимало с меня обвинение в государственной измене, отменяло применение статьи 58, пункт 1-а. Прочитав эти спасительные слова, Кандыбин сделал паузу и внимательно посмотрел на меня, как бы проверяя, оценил ли я смысл сказанного, понял ли, что останусь жив. Далее вкратце повторялись знакомые мне облыжные обвинения; приговор гласил: по обвинению в соучастии в деятельности антисоветской организации в Народном комиссариате по иностранным делам — десять лет лагеря по статье 17 (соучастие), статье 58, пункт 6 (шпионаж), статье 58, пункт 8 (террор), статье 58, пункт 11 (организация). Сверх того лишение гражданских прав.

Когда приговор был оглашен, конвоиры приготвили меня увести, но я воспользовался заминкой и обратился с вопросом к председателю суда. Я сказал, что даже клеветники не обвиняли меня в причастности к террору, следователи мне такого обвинения не предъявляли — почему же меня осудили и по этой статье? Кандыбин счел возможным дать мне пояснения. (Он, конечно, понимал, что я абсолютно ни в чем не повинен.) Он разъяснил, что я осужден за соучастие в деятельности такой организации, которая занималась и террором (каким? где? когда? — об этом ни слова...). Поэтому, продолжал председатель суда, в приговоре есть ссылка и на статью о терроре. Мне надлежало удовлетвориться пояснением председателя суда, который, вероятно, счел, что я «не в норме». Человек благодаря решению суда в последнюю минуту избег высшей меры, а он вступает с судом в пререкания по поводу формулировок стандартного приговора, даже чуть менее жесткого, чем многие скоропалительные решения судов военного времени.

Вынесение судебного приговора означало, что окончилось мое пребывание в следственных тюрьмах. Но тюремно-лагерный конвейер меня тотчас же подхватил, и я оставался в его власти еще четырнадцать лет...

Подготовка текста и публикация Н. М. ГНЕДИНОЙ.

С. С. АВЕРИНЦЕВ

★

ВИЗАНТИЯ И РУСЬ: ДВА ТИПА ДУХОВНОСТИ

Статья первая

НАСЛЕДИЕ СВЯЩЕННОЙ ДЕРЖАВЫ

Нет ничего труднее национальных характеристик. Они легко даются чужому и всегда отзываются вульгарностью для «своего», имеющего хотя бы смутный опыт глубины и сложности национальной жизни.

Г. Федотов.

Приступая к этой статье, я болезненно чувствую правду слов русского мыслителя, вынесенных в эпитафию. Передо мной очень серьезные трудности как интеллектуального, так и морального свойства. Не знаю, справлюсь ли с ними.

Византия — это целое тысячелетие: от периода становления в IV—VI веках до насильственной гибели константинопольской государственности от меча турок-османов 29 мая 1453 года. Русская христианская традиция — это тоже тысячелетие, календарное завершение которого мы как раз переживаем. Тысячелетие — рядом с тысячелетием. «Бездна бездну призывает...» И вот интеллектуальные трудности: они неотделимы от любой попытки брать тысячелетие, что называется, синхронически, как единый предмет рассмотрения, сопоставляемый с другим предметом того же масштаба и порядка, взятым опять-таки как некое целое. Это в очах Бога, согласно библейскому тексту, тысяча лет как один день; когда человек (ну хотя бы Освальд Шпенглер) призывает на то же самое, он едва ли не погрешает желанием «быть как боги», о котором говорит другой, еще более известный библейский текст книги Бытия. Человеческая оптика, и в особенности оптика специалиста по истории культуры, необходимо иная. Историк концентрирует свое профессиональное внимание на том, как от поверхности и до самой глубины преобразуется весь состав культуры, как меняется значение самых простых слов и реальный объем самых простых понятий от эпохи к эпохе, даже от поколения к поколению — что уж говорить о тысяче лет! Как раз тогда, когда наши далекие предки вдруг покажутся нам совсем близкими, нужно остерегаться обмана зрения. Как раз тогда, когда цитата многовековой давности чересчур хорошо укладывается в наши историософские рассуждения, благоразумно переспросить себя: а что, если мы незаметно для себя подменили ее смысл?

Но взглянем на дело с другой стороны: подмена не единственное происшествие, которое может случиться со смыслом. Бахтин недаром говорил, что «смысловые явления могут существовать в скрытом виде, потенциально и раскрываться только в благоприятных для этого раскрытия смысловых культурных контекстах последующих эпох»; и он же ввел в обиход понятие «большого времени». В «большом времени» смысл прорастает, как зерно, перерастает себя, он меняется, не подменяясь, он отходит сам от себя, как река отходит от истока, оставаясь все той же рекой. «Большое время» — не фантазм, а реальность, однако такая, при описании которой особенно трудно ограждать свой ум от фантазмов. Оно даже реальнее, чем изолированный исторический момент; последний есть по существу наша умственная конструкция, потому что историческое время — длительность, не дробящаяся ни на какие моменты, как вода, которую, по известному выражению поэта, затруднительно резать ножницами. Но совер-

шенно понятно, почему доказательному знанию без этой конструкции не обойтись; только внутри исторического момента факт в своем первоначальном контексте имеет такой смысл, объем которого поддается фиксации. Сейчас же за пределами исторического момента он попадает в новый контекст новых фактов, слетается с ними в единую ткань, становится компонентом рисунка, проступающего на этой ткани и на глазах усложняющегося, и тогда смысл его имеет уже не столько границы объема, сколько опорные динамические линии, куда-то ведущие и куда-то указывающие.

Вот один пример, о котором стоило бы подумать подробнее. Мы читаем, что, когда греческие епископы советовали завести на новокрещенной Руси карательную юстицию по римско-византийскому образцу — «достойт тебе, княже, казнити разбойники», — князь Владимир отнесся к их совету с сомнением и неудовольствием. Георгий Федотов говорил по этому поводу об «отражении евангельского света» в «святых сомнениях» князя; дает ли для этого основания трезвая история? Внутри исторического момента столкновение это выглядит, в общем, довольно прозаично. Варварское право и у наших предков, как у других народов на той же ступени развития, наказывало преступление денежными штрафами — вирами. Это был отцовский и дедовский обычай, к которому привыкли, который простое самоуважение побуждало защищать против чужаков, хотя бы и учителей в вере; но кроме того, этот обычай был выгоден. О материальной стороне дела летопись говорит не обинуясь: на средства, доставляемые традиционным образом действий, можно приобретать оружие и коней, а это так нужно при нескончаемых войнах... Все было бы обескураживающе просто, если бы древний повествователь не упоминал другого мотива княжеских сомнений — боязни греха. Назвать это благочестивой стилизацией, объяснимой принадлежностью рассказчика к монашескому сословию, — дела не решить, по крайней мере в разговоре о «большом времени». Сразу же возникает вопрос: почему ничего отдаленно похожего на такую стилизацию нет как нет, скажем, у Григория Турского в его рассказе о Хлодвиге, крестившем франков точно так, как Владимир Святославич через полтысячелетия крестил Русь, хотя Григорий Турский — автор очень набожный и Хлодвиг для него избранник Божий? И ведь не просто нет, а даже и вообразить невозможно. («История франков» Григория Турского только что вышла в русском переводе, так что читатель сможет сам оценить разительный контраст.) Конечно, Хлодвига (как и многих других варварских предводителей, принявших христианство) никому не приходило в голову канонизировать, а Владимира причислили к лику святых, но это тоже имеет свои причины. Дело не просто в том, что наши предки были добрее франков, но тогда в чем? И почему благочестивая стилизация не пошла иным путем, скажем путем внесения условных аскетических черт, которые примечательным образом отсутствуют в традиционном облике Владимира, вошедшего в предание как учредитель пиров, христиански нищелюбивый, но прежде всего щедрый к дружине? «Се же паки творящее людем своим, по вся неделя (каждое воскресенье) устави на дворе в гриднице пир творити и приходити боляром, и гридем, и сотьским, и десятьским, и нарочитым мужем при князи и без князя; бываше множество от мяса, от скота и от зверины, бяше по изобилию от всего»¹. И главное: если выражение страха перед возможной греховностью карательной юстиции в устах Владимира и не является историческим фактом (чего, собственно, никто не доказал, хотя никто, разумеется, и не опроверг), на своем месте в тексте летописи это факт — факт древнерусского сознания. Не будем преувеличивать значение этого факта, но движение исторического времени сейчас же присоединяет к нему другие, например «Сказание о Борисе и Глебе». И здесь тоже смысл в «большом времени» вырастает из злободневного смысла и перерастает его. Злоба дня объясняет пропаганду старшинства в великокняжеском преемстве. Но она не объясняет, почему «Сказание» так необычно много читали и переписывали, почему его так полюбили. Пронзительный образ обреченной кротости, отказывающейся защищать себя и добровольно предающей себя убийцам, вошел в «большое время», и в нем он складывается с версией о сомнении святого Владимира, «достойт» ли казнить врагов госу-

¹ Этот мотив ежевоскресных пиров Владимира удержан, как известно, поэзией русских былин:

...А Владимир князь вышел со Божьей церкви,
От той от обеденки Христосския.
Садился он за столики дубовые,
Ести ештушек сахарных,
Пити питьцево медвянних...

дарственности, в единый рисунок, являющийся прототипом для многого, что пришло гораздо позже...

Итак, предстоит говорить о «большом времени».

Эта задача не то чтобы допускает, а принудительно требует определенной меры того, что иначе именуется верхоглядством, и ничего тут не поделаешь. Если картограф пометил на карте город кружочком, не принято сердиться на него на том основании, что город этот в действительности не имеет столь выдержанной геометрической формы. От карты требуется иное — чтобы масштаб был выдержан.

И все же до чего легко сделать константы психологии народа предметом риторики, все равно, патриотической или служащей, так сказать, национальному самобычанию, и до чего трудно говорить о них, требуя с самого себя ответа за свои слова. Нет и, по-видимому, не может быть заранее готовой методики для отличения угадываемого потенциального бытия выявляемых позднее смыслов, о котором говорил Бахтин, от самой тривиальной модернизации.

А вот трудности моральные.

Тысячелетняя годовщина события, столь важного по своим последствиям для русской культуры, более того, для всей русской жизни, — это национальный праздник. Для меня, как для русского, это мой праздник²; я не могу не иметь к нему наряду с умственным эмоционального отношения, как не могу, разумеется, не радоваться тому, что усиление позиций здравого смысла в нашем обществе дает возможность праздновать его не только в ограде церковных стен, но и за ее пределами. На торжестве не только пустая условность, но и более внутренние соображения душевного такта побуждают говорить торжественно. Но как совместить с этим аналитическую трезвость, требующую от профессионала гуманитария, не говоря уж о той вышней, духовной трезвости, которая так настоятельно рекомендуется именно нашей тысячелетней традицией? Иная сторона того же вопроса: будучи русским и сравнивая Русь, Россию с Византией, я сам оказываюсь внутри одного из двух объектов сравнения. Всякий настоящий русский, если только он не насиует собственной природы, смертельно боится перехвалить свое — и правильно делает, потому что ему это не идет. Нам не дано самоутверждаться — ни индивидуально, ни национально — с той как бы невинностью, как бы чистой совестью, с тем отсутствием сомнений и проблем, как это удается порой другим. (Пожалуй, такая констатация тоже имеет отношение к характеристике русской духовности.) Но русские эксцессы самоиронии, «самоедства», отлично известные из всего опыта нашей культуры, тоже опасное искушение. Как отмерить истину? «Трудно все время держать в руке весы ювелира», как сказано было Вазари.

Мне предстоит путь между сциллой безлюбой и потому беспонятливой гиперкритики и харибдой романтического мифотворчества на темы истории. Что тут скажешь? «Не позарите на мя, господия мои и братие, вем бо и аз свою худость и зазираем бываю совестью...»

«Ни с чем не сравнимое прекраснейшее средоточие всей обитаемой земли» — такими словами еще в начале XIV века византийский писатель Феодор Метохит именвал Константинополь, и это не была пустая риторика.

Таким было живое чувство византийцев — и не одних византийцев. Тысячу лет назад для него было куда больше реальных оснований, чем во времена Метохита. В X веке столица на Босфоре, без всякого сомнения и сравнения, была самым великолепным городом и самым блистательным культурным центром во всем христианском мире. «О Константинополе мечтали среди холодных туманов Норвегии, на берегах русских рек, в крепких замках Запада, в банках жадной Венеции» (В. Н. Лазарев). Пройдут по меньшей мере два столетия, прежде чем на Западе появятся культурные центры, способные с ним соперничать. Строго централизованное государство, чья территория стала более компактной после арабских завоеваний VII века, но все еще простирающееся от озера Ван до Южной Италии, — это образец власти, совершенно недостижимый для раннефеодальной Европы. Но самое главное — это государство, по критериям собственного самосознания, внутри этого самосознания достаточно логичным, связным и убедительным, не то что первое в мире, а единственное в мире. Оно,

² То есть, разумеется, на этот праздник равные права у всех трех наций, вышедших из единого лона Киевской Руси: русских, украинцев и белорусов. Вещи самоочевидные как-то странно оговаривать, но, наверное, надо.

как скажет Метохит, ни с чем не сравнимо. Критериев всего три: во-первых, это правильно — православно — исповедуемая христианская вера; во-вторых, это высокоцивилизированный стиль государственной и дипломатической практики, дополняемый литературной и философской культурой античного типа; в-третьих, это законное преемство по отношению к христианско-имперскому Риму Константина Великого. Первый критерий полностью отводит восточных соперников: азиатские державы от Халифата до Поднебесной империи, сопоставимые с Византией по типу государственности и уровню урбанизма, не христианские. Он отчасти отводит западных соперников; окончательное разделение церквей станет фактом церковной жизни в 1054 году, а фактом народного сознания — к XIII веку, особенно после разгрома Константинополя в 1204 году рыцарями IV крестового похода, но сомнения в ортодоксальности западного христианства нарастают и были энергично выражены уже патриархом Фотием в 60-е годы IX века. Второй критерий полностью отводит западных соперников; даже империя Карла Великого на рубеже VIII и IX веков была лишь недолговечной попыткой повторить римско-византийский образец³, эфемерным конгломератом неупорядоченных территорий. Он отчасти действует и против восточных соперников: при всем своем блеске восточные цивилизации не соответствуют античной норме, а потому остаются варварскими. Наконец, третий критерий сам по себе совершенно достаточен, чтобы исключить вообще всякую возможность соперничества с какой бы то ни было стороны.

Но о нем, об этом критерии, о его мировоззренческих основаниях, о его силе необходимо поговорить особо. Сама история, а затем христианское истолкование истории связали христианство и Рим совсем особой связью. Византийские авторы любили отмечать, что рождение Христа совпало с царствованием Августа. Об этом говорит рождественская стихира поэтессы Кассии, или Кассианы (IX в.):

Когда Август на земле воцарился,
истребляется народов многовластие;
когда Бог от Пречистой воплотился,
упраздняется кумиров многобожие...

Имя римского прокуратора Понтия Пилата вошло в христианский Символ веры: «...распятого же за ны при Понтийстем Пилате...» Конечно, остаться в памяти как распятель Христа — страшная честь. Но даже это лишний раз напоминало, что земная, государственная рамка для вселенской священной истории — вселенская римская держава. Только она хотя бы отчасти соответствует по масштабу. Трагическая ирония сюжета Страстей Христовых с полной необходимостью предполагает абсолютно серьезное отношение к мирскому авторитету римского закона (о чем особо говорил апостол Павел), как и к сакральному авторитету погубивших Христа иудейских первосвященников (которые и в греческом, и в славянском тексте Евангелий, и в византийской литературе, и в русском фольклоре называются тем же словом, что христианские архиереи). «Несть власть, ниже от Бога» — иначе Голгофа была бы просто несчастным случаем, не вызывающим ничего, кроме жалости. Участие римского чиновника и римских воинов в казни Христа никак не может быть доводом против избранничества Рима в мирской истории; их соучастники — иудеи, избранный народ в священной истории, специально первосвященник Каиафа, сан которого до того свят, что дает ему, согласно Евангелию от Иоанна (11, 51), способность пророчествовать, Иуда Искарот, лично избранный Христом в число двенадцати апостолов, — все избранные. Рим для христианского сознания — тот самый мир, который состоит под владычеством «князя мира сего», то есть дьявола, но который должен быть спасен и освящен. Объединив все земли средиземноморской цивилизации, Римская империя и впрямь была в некотором смысле миром. Римские власти долго преследовали раннехристианских проповедников, но расходились эти проповедники по свету дорогами, проложенными римскими солдатами. Даже в те времена, когда христиан бросали на съедение львам, христиане верили, что римский порядок — заградительная стена против прихода Антихриста. А когда наконец римский император Константин принял христианскую веру под свое покровительство, был пережит опыт, который никогда не повторялся впоследствии, но который властно определил средневековое сознание вообще и навсегда сформировал византийское сознание. Географическая зона действия римских законов, распростране-

³ Так, архитектура Дворцовой капеллы в Аахене знаменательно повторяет формы римско-византийского искусства Равенны, ставшие символом имперского величия как такового.

ния греко-римской культуры и свободного исповедания христианской веры⁴ была одна и та же. Все высшие духовные ценности, как религиозные, так и светские, — Библия, передаваемая церковью, и Гомер, передаваемый школой, греческая философия, римское право и прочая, — какие только знал человек христианского ареала, содержались в границах одного и того же государства, в его рамках, в его лоне. За его пределами — мир одновременно иноверный (неверный), инокультурный (варварский) и к тому же беззаконный, как бы и не мир, не космос, а хаос, «тьма внешняя». Двуетниство Римской империи и христианской церкви само себе мир.

Это не просто идеологическая конструкция. На исходе античности так или почти так было на самом деле. А затем произошло следующее: Римская империя разделилась (бесповоротно — в 395 году) на Западную империю со столицей в Риме (или Равенне, или другом италийском городе) и Восточную империю со столицей в Константинополе (Новом Риме). Западная империя окончила существование в 476 году, но Восточная империя продолжала существовать еще тысячелетие. Примерно через сто лет после ее гибели западноевропейские эрудиты, не жаловавшие ее, прозвали ее Византийской⁵; ученая кличка, акцентировавшая пропасть между «настоящей» античностью и «темными веками», вошла в обиход, время от времени возвращая себе статус бранного слова (например, в либеральной публицистике прошлого века). Сами византийцы никогда не называли себя ни византийцами, ни греками⁶; они называли себя римлянами (в средневековом греческом выговоре — ромеями). С точки зрения непрерывности государственного преемства они имели на это полное право, которого не могли отрицать даже их враги. Стотский король Витигис, ведя войну с Юстинианом I (VI в.) за власть над Италией, приказывал чеканить на монетах не свое изображение, но изображение Юстиниана; кому бы ни принадлежала реальная власть, знак власти принадлежит римскому — ромейскому — императору. И вообще варвары, молодые народы Европы, враждовавшие с Римом, а затем и с Новым Римом, и не думали отрицать их единственную на свете легитимность. Они относились к ней с глубоким уважением и глубокой завистью.

Со временем они предприняли попытки присвоить эту легитимность себе. Карл Великий, король франков, был коронован на Рождество 800 года в городе Риме как римский император от руки римского епископа; ему и в голову не приходило провозгласить себя, скажем, франкским или германским императором. Конечно, в Константинополе императорский титул Карла и всех его наследников воспринимался как вопиющая узурпация. Болгарские и сербские цари, вступавшие в открытую борьбу с Новым Римом, делали это отнюдь не во имя несравнимо позднейшей идеи самоопределения, но притязая заново воссоздать под своей собственной властью все ту же единую и единственную православную державу, рядом с которой не может быть никакой иной. (Едва ли не поэтому войны против них велись с особенной жесточечностью — они были для византийцев не воюющей стороной, а самозванцами, крамольниками.) Еще для Данте как автора трактата «О монархии» неоспоримо, что должна существовать лишь одна всемирная держава христиан и что это должна быть римская держава.

В Новое время основные категории государственного мышления настолько сдвинулись, что нам нужно напрягаться, пытаясь понять все основания и все последствия того образа мыслей. Мы произвольно подменяем в своем воображении теологию священной державы новоевропейской идеологией союза трона и алтаря. Но это вещи совсем несхожие.

Еще не так давно европейские государства считались или хотя бы назывались христианскими; но уже никто не видел ничего странного в том, что христианских государств множество, что у них нет единого главы, что они воюют между собой. Все привыкли и к тому, что любая христианская монархия, если ее традиции или ее очевидная малозначительность не возбуждают ей этого, может совершенно произвольно провозгласить себя империей, а своего государя императором. Скажем, королеве Виктории титул императрицы был преподнесен премьер-министром Дизраэли; Наполе-

⁴ Строго говоря, Армения стала христианским государством на годы ранее Медиоланского эдикта Константина. Но это частная оговорка, оттеняющая общую картину.

⁵ Византий — как раз не византийское, не средневековое, но античное название города на Босфоре, который на заре византийской эпохи перестал быть Византием и стал Константинополем, или Новым Римом.

⁶ Самоназвание греков от древности до наших дней — эллины. Однако в христианском обиходе слово это приобрело одиозный смысл, как обозначение язычников в противоположность христианам.

он III не только провозгласил себя по примеру дяди императором Франции, но и подарил своему ставленнику Максимилиану (впоследствии расстрелянному) титул императора Мексики; прусского короля Вильгельма I объявили германским императором после победы во франко-прусской войне. Это вопрос престижа и больше ничего. Таков мир, в котором теократическая идея ушла из политической реальности, в котором религия — частное дело. Задумано все было иначе. На языке раннего христианства, удержанном и в православной и в католической традиции, христиане — это род, народ Божий. Бытие этого народа как народа мыслится с такой же буквальностью и конкретностью, как бытие избранного народа в Ветхом завете; но на сей раз избранный народ собран «из всякого колена, и языка, и народа, и племени» (Апокалипсис, 5, 9), чтобы соединить в себе все человечество: «и будет одно стадо и один Пастырь». Как идея это было серьезно. Недаром вспыхивавшие в эмпирической жизни этнокультурные антагонизмы выступали на поверхности сознания как ереси, то есть иные интерпретации той же вселенской доктрины — африканский донатизм, восточносирийское и малабарское несторианство, западносирийское, коптско-эфиопское и армянское монофиситство. Сепаратизм прячется в недрах подсознания и показывается при свете дня в обличье универсализма. Тот несторианский автор VI века, которого мы более или менее условно называем Косьмой Индикоплевстом (в традиционной русской передаче — Индикопловом), не имел, казалось бы, особых причин восхищаться ромейской державой, для которой был инакомыслящим. Но вот что он говорит о ней: «Царство ромеев имеет долю в достоинстве царствия Владыки Христа, превосходя прочие и, насколько возможно в жизни сей, пребывая непобедимым до скончания века». По идее, универсальность христианской империи должна отвечать универсальности христианской веры так же, как в исламской концепции халифата; если политическая практика и там и здесь постепенно отдалается от теории, теория сохраняет свои права и продолжает судить практику. Для средневекового человека это было непререкаемо. Пафос суда универсальной доктрины над партикулярной действительностью сохраняется еще у Данте, совершенно логично уделившего византийскому кесарю Юстиниану славное место в начале VI песни своего «Рая».

Какими бы ни были теории, на деле территория ромейской державы неуклонно сокращалась. Под конец она почти свелась к городу Константинополю — голове, слишком огромной для карликового тела; и нужно было быть греком, чтобы продолжать верить, что отношение Константинополя ко всей остальной вселенной равно, как уверяет греческая поговорка, отношению пятнадцати к дюжине... И даже в этом предельном унижении знаком вселенского задания ромейской державы все-таки оставалась географическая локализация Константинополя точно «на рубеже Европы», как сказал в уже цитированном выше пассаже Данте. Константинополь не становится ни в какой ряд; это не европейский город, но его не назовешь и азиатским городом, по крайней мере до тех пор, пока турки не овладели им и не превратили в Стамбул. Это столица — иначе не скажешь — евразийская. В пределах Средиземноморья есть только одно место, где Европа и Азия вплотную подступают друг к другу, — это область Босфора, Мраморного моря и Дарданелл. Там, у стен Трои, локализовано мифическое начало эллинской истории, через Энея — римской истории, через римлян — европейской, в том числе и русской истории⁷, а по некоторым комбинациям — истории азиатских народов⁸. Уже Геродот понял Троянскую войну как встречу Европы и Азии. Там же Ксеркс, царь Востока, перешел в свое время в Европу и Александр Македонский, царь Запада, перешел в Азию. Это знаменательное место. Город, который его занимает, все еще в каком-то смысле сам себе мир, как сама себе миром была в свое время Римская империя.

В западноевропейских языках, как языках христианских, со средних веков лексически выражено важное понятие, которое примечательным образом отсутствует как в византийской лексике, так и в традиционной, доинтеллигентской русской лексике. Его обозначают слова: на средневековой латыни — *christianitas*, по-французски —

⁷ Через позднеантичные романы о Трое (Диктис Критский в латинской версии) троянские сюжеты вошли в репертуар рыцарской литературы западного средневековья. На Руси не позднее начала XVI века распространяется легенда о происхождении русских великих князей через Пруса от Августа (послание Спиридона-Саввы, «Сказание о князьях Владимирских»). «А и римская печать нам не дико: мы от Августа кесаря родством ведемся», — писал Иван Грозный шведскому королю в 1573 году.

⁸ Приучая себя к мысли об османском владычестве, публицисты поздней Византии производили турок от троянцев (тевкров).

chrétienté (уже в «Песни о Роланде»), по-немецки — Christenheit, по-английски — christendom и т. п. По-русски можно было бы употребить разве что позднее книжное, вялое словосочетание «христианский мир», которое по признакам жизненности и необходимости не идет с этими словами ни в какое сравнение. Имеется в виду совокупность всех христианских стран и народов как целое, по отношению к которому каждая христианская страна и каждый христианский народ является субординированной частью. Так называла себя Западная Европа до того, как стала называть себя Западом, или Европой⁹. Какая бы вражда ни раздирала ее земли, города, королевства, а в Новое время — ее нации, до чего бы ни доходило самоутверждение каждой из ее частей, в самоочевидном объективном порядке части оставались соподчиненными целому. Как раз соперничество, конкуренция, волевой взаимоупор частей вводили каждую часть в ее естественные границы, удерживали ее в ее статусе части. Над частями как гарантов их высшего единства средневековое сознание поставило две фигуры — императора и папу. Однако именно потому, что каждая из действующих политических сил могла быть только частью и постольку оказывалась неправомочной представлять целое, империя на Западе не удалась.

Вернемся, однако, к перечисленным только что западным словам. Как уже сказано, логического соответствия для них в традиционном русском языке нет, но соответствие функциональное, пожалуй, имеется. В чем их функция? В том, чтобы заземлить богословское понятие вселенской церкви, ввести его в более житейскую и одновременно эпическую перспективу, перспективу, так сказать, историософии для употребления мирян. В русской народной лексике эта функция передана словосочетанию «Святая Русь» (соответственно «земля святорусская»). Важно понять, что за ним стоит отнюдь не, выражаясь по-нынешнему, национальная идея, не географическое и не этническое понятие. Святая Русь — категория едва ли не космическая. По крайней мере в ее пределы (или в ее беспредельность) вмещается и ветхозаветный Эдем и евангельская Палестина. Выразительные примеры собраны еще Г. Федотовым в его исследовании о русском духовном фольклоре:

...Прекрасное солнце
В раю осветило
Святорусскую землю...

...Посылает Ирод-царь посланников
По всей земле святорусской...

...Ходила Дева по Святой Руси.
Искала Сына своего...

Было бы нестерпимо плоским понять это как выражение племенной мании величия; в том-то и дело, что ровно ни о чем племенном здесь речи, по существу, нет. Но тогда что это такое? Потребность приблизить к себе священных персонажей и священные события? Едва ли. Такое желание несравнимо характернее для западного христианства, по крайней мере начиная с позднего средневековья¹⁰; напротив, русский человек, как правило, находит фамильярную короткость с сакральным кощунственной и предпочитает строгий пафос дистанции. Ни один русский святой не стал бы устраивать рождественские ясли, как сделал Франциск Ассизский в Греччо, создав на века употребительнейший обычай всех католических народов. Вот еще примеры для нашего размышления. Суммируя в своевольном контексте предромантизма опыт протестант-

⁹ Ср. заглавие историософского сочинения немецкого романтика Новалиса, где эти слова соединены приравнивающим союзом «или»: «Die Christenheit oder Europa» (1799 г.).

¹⁰ В этом отношении показателен культ родичей Иисуса Христа, в особенности Анны и супруга ее Иоакима, но и других, показательно стремление увидеть в апостолах и мироносцах лиц, связанных с Девой Марией узами родства, вообще вся иконография и сама идея того, что по-немецки называется Heilige Sippe. — Святого Семейства, расширенного за счет родни и свойственников. Через это Вогочеловек вводился в уютный и понятный мир человеческой домашности и семейственности, где у каждого от рождения есть бабушки, тетушки, двоюродные и троюродные братья и т. д. Посетить паломником одно из многочисленных на Западе святых мест праведной Анны, матери Девы Марии, — все равно что нанести визит вежливости важному лицу: бабушке короля над королями. Как отмечает современный английский историк христианства, «чтобы в XV веке показать реальность человеческой природы Христа, не было надобности апеллировать к биологии, но недостаточно было указать на Марию и Иосифа; было необходимо внять, что у него была родня». Русскому благочестию это совершенно чуждо.

ской сектантской духовности, Уильям Блейк выразил в стихах намерение выстроить Иерусалим «на зеленой и сладостной земле Англии»¹¹. Впрочем, и католическое средневековье знало Иерусалимы — храмы, выстроенные по образцу расположения иерусалимских святынь (таково, например, болонское аббатство Санто-Стефано с его многочисленными капеллами). Но когда патриарх Никон захотел выстроить на Руси новый Иерусалим, его порицатели усмотрели в этом бесчестие святыне: «Хорошо ли, что имя Св. Града так перенесено, иному месту дано и опозорено?» Через столетие после Блейка другой английский поэт, католик Френсис Томпсон, сказал о Христе, «шестую-шестую по водам не Геннисаретского озера — но Темзы». Такое упоминание Темзы наводит по контрасту на мысль, что хотя в качестве места действия русских духовных стихов неоднократно названа Святая Русь, упомянуть в них какую-нибудь русскую реку решительно невозможно. Русских рек там нет, вот Иордан — есть. (Тот же патриарх Никон переименовал реку Истру в Иордан; не говоря уж о том, что с русской точки зрения это, как мы видели, опасная дерзость, даже здесь нет приближения Иордана, а уж скорее сакрализация и тем самым отдаление, отчуждение Истры.)

Нужно было дожить до XIX века, то есть до культуры, имеющей совсем иные основания, чтобы Тютчев увидел Святую Русь, ту самую, которую в рабском виде исходил Царь Небесный, как действительно русский ландшафт, как Россию, идентифицируемую географически, этнографически: «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» Ландшафт Святой Руси старых духовных стихов иной; когда на этой Руси строят «сионскую» (!) церковь, для постройки берут, правда, березу и рябину, деревья самые что ни на есть русские, но прежде всего, на первом месте — южный, средиземноморский, цареградско-иерусалимский кипарис, знакомый обычно русскому человеку не по своему виду как дерево, а по запаху занесенных паломниками крестиков. Вот так — березы и рябины есть, но преобладают все-таки кипарисы; романтическое воображение напрасно искало бы местного колорита. У Святой Руси нет локальных признаков. У нее только два признака: первый — быть в некотором смысле всем миром, вмещающим даже рай; второй — быть миром под знаком истинной веры. В знаменитом «Стихе о Голубиной книге» единственное основание прерогатив Белого, то есть нашего, царя — что это царь христианский; но так как получается, что других христианских государей в целом свете нет, его прерогативы необычайно вырастают:

У нас Белый царь над царями царь.
Почему Белый царь над царями царь?
Он принял, царь, веру хрещеную,
Хрещеную, православную,
Он и верует единой Троице...

При желании можно, конечно, усмотреть здесь возврат очень древних архетипических представлений, приравнивавших свою землю к земле людей вообще (на языке скандинавской мифологии — Мидгард, в противоположность хаотическому Утгарду). Но беда в том, что поскольку архетипы принадлежат сфере, во-первых, более или менее общечеловеческой, то есть безразличной к характерному, во-вторых, принципиально доисторической и еще более принципиально внеисторической, апеллируя к ним, невозможно не только объяснять, но даже описывать феномен национальной психологии, даже подступаться к этому феномену, насквозь характерному, насквозь историческому.

Важно, что учителями русских в вопросах веры были не католики, для которых решающим был опыт выживания церковных структур в условиях отсутствия или бездействия структур государственных, но православные византийцы, как раз ради утверждения своего авторитета как учителей настаивавшие на полной неразделимости церкви и царства. В этом отношении характерно увещание патриарха Константинопольского Антония IV к великому князю Московскому Василию I, дерзнувшему заявить, что русские имеют церковь (общую с византийцами), но не имеют царя (то есть византийский император, пока что единственный православный царь, не является для них царем). «Невозможно для христиан иметь Церковь и не иметь Царства, — отвечал патриарх. — Ибо Церковь и Царство пребывают в великом единении, и невозможно для них быть разделенными». Исторически красноречиво, во-первых, то, что это слова духовного главы к светскому властителю; во-вторых, то, что это слова византийца, чьему царству

¹¹ Параллель этим строкам у Гумилева: «Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут, ясны, стены нового Иерусалима на полях моей родной страны».

тогда, в 1390-е годы, было отмерено чуть больше полувека, к великому князю Московскому, чьи потомки вскоре после конца ромейского царства положат основание Русскому царству. Уж если цареградский патриарх так авторитетно объясняет московскому государю, что православное Царство — необходимый коррелят и как бы полная реализация православной Церкви, можно ли не принять такой урок к сердцу, и притом на века?

Важно, далее, что подъем Москвы так точно совпал хронологически с падением Константинополя. В 1453 году турки входят в столицу на Босфоре, в 1461-м они овладевают Трапезундом — последним обломком ромейской державы; но в 1478 году Москва присоединяет земли Великого Новгорода, в 1480 году — окончательно уничтожает татарское господство. Вообще говоря, идея третьего, славянского Рима как альтернативы Константинополю, известная всем из посланий псковского старца Филофея («...яко два Рима падоша, а третьей стоит, а четвертому не быти...»), не была новой, она развивалась ранее в южнославянской публицистике. Византийский хронист, упомянутая гибель Западной империи в 476 году, резюмировал: «Итак, все это случилось со старейшим Римом — но наш Рим цветет, возрастает, властвует и юнеет»; однако в болгарском переводе, выполненном в XIV веке, эти слова знаменательно заменены: «...и сия убо приключишася старому Риму, наш же новий Цариград доить и растить, крепится и омлаждается». Новый Цареград — это, судя по всему, Тырново, столица Болгарского царства; соответственно, на место обращения византийского хрониста к византийскому императору подставлено обращение к болгарскому царю Иоанну Александру, «великому владыке и изрядному победоносцу». Логическая структура очень устойчива¹². Рим пал, но мы стоим и мы — Рим; в этом пункте совершенно едины все — и византийский хронист, и его болгарский переводчик, и наш старец Филофей.

Но дальше начинается различие исторической судьбы. Южнославянские царства поднимались тогда, когда Константинополь еще стоял, и они принуждены были спорить с ним за владение единой и единственной православной державой, вступая в неблагоприятную ситуацию спора, а под власть турок они попали даже чуть ранее конца Византии, в последние десятилетия XIV века. Напротив, Московское царство, едва явившись на свет, сразу оказалось без всякого спора единственным в мире православным государством и вне досягаемости для сил ислама. Оригинальными были не сами по себе слова Филофея: «...вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя». Новым было стечение исторических обстоятельств, которое на века сделало их верными в самом что ни на есть буквальном смысле (если, конечно, вместе со старцем и его адресатами однозначно понять слово «христианский» как синоним слова «православный»). Новым или все-таки не совсем новым? Неповторимое время державы Константины словно повторилось: на свете снова было только одно государственное воплощение для истинной веры, не могущее в отличие от католических государств Запада войти ни в какой ряд, ни в какие отношения соподчинения с единоверными ему государствами. Когда в одном из духовных стихов народ говорит о власти Белого царя «надо всей землей, над вселенною» — это уже не политика, это нечто иное. Недаром употреблено книжное, заимствованное из церковного обихода слово «вселенная» — буквальный перевод византийского «икумени».

Наряду с вероисповедным моментом важен момент географический. Киевская

¹² Отметим, что она хорошо согласуется с мотивом, неоднократно встречающимся в христианской священной истории: избранничество Давида отнено отверженностью ранее воцарившегося Саула, избранничество христиан — отверженностью ранее избранного народа Ветхого завета. Первое место отдано не тому, кто был первым по времени. (В пользу русских, «работников одиннадцатого часа», этот мотив использован уже в XI веке у митрополита Илариона — в «Слове о законе и благодати».) Но как раз эта логика предполагает, что первое место не какое-то иное, но то самое, которое было изначально предназначено погубившему свое первородство. Христиане — новый Израиль; потому же Константинополь — новый Рим, а Тырново или Москва — новый Константинополь.

Заводно вспомним еще один мотив, хорошо известный из сказок, но встречающийся отнюдь не только в сказках: попытка должна быть повторена до трех раз — и тогда либо за двумя неудачами следует удача, либо удача последовательно возрастает и на третьей попытке достигает совершенства. Укажем на варианты этого мотива в истории римской идеи. В перспективе «Энеиды» Вергилия Рим есть наследник погибшей Трои и возвышенной лишь на время Альба Лонги, так сказать, третья Троя. Для ранних византийцев, веривших, что Константин хотел вернуть столицу империи из Рима в Трою, но был научен оракулом перенести ее на Босфор, третьей Троей оказывается Константинополь.

Русь, территориально большое, но умещавшееся в каких-то самоочевидных пределах государство, еще могла ощущать себя хотя и пограничной, но все же интегрирующей частью целого — европейской christianitas, благо и вероисповедные различия еще не настолько болезненно воспринимались, чтобы мешать, например, династическим бракам между правящими домами Руси и Запада. Но после татарского завоевания, а в особенности после освобождения при Иоанне III и победоносных походов Иоанна IV на татар, после завоевания Казанского и Астраханского ханств Русь все более становится ареалом евразийским — на иной лад, но не меньше, чем Византия¹³. Она тоже сама себе мир.

Здесь уместно вспомнить то, что названо в последней фразе недописанной «Апологии сумасшедшего» Чаадаева как «факт географический», тот самый, который «властно господствует над нашим историческим движением». Состязательный взаимоупор рвущихся к расширению и тем ограничивающих друг друга сил, столь характерный для европейской истории, наблюдается разве что на западных границах Руси. Там для разрешения одного только соперничества между Москвой и Литвой понадобились долгие века, так что в разделах Польши участвовал уже Петербург, но и натиск на Русь никогда не бывал таким непреодолимым, как монгольский натиск; картина может меняться только медленно. В других же направлениях у Руси как бы вообще не было естественных границ. При том же Иоанне IV русская территория расширилась на восток до Иртыша и далее; западноевропейское государство смогло бы так расширяться разве что за счет заморских территорий¹⁴, но ведь это уже совсем другое, как объективно, так и психологически. В русском случае имеет место не просто присвоение внеевропейских земель для европейского государства, но создание единого евразийского пространства — не для русского народа, но для православной веры. Еще раз: Святая Русь — понятие не этническое. Далеко не случайна легенда о «Петре, царевиче ордынском», — знатном ордынце, еще во времена татаро-монгольского владычества принявшем православие, построившем в Ростове церковь и умилавшем русских своим «сладким ответом» и «добрым обычаем». Сопоставимый, хотя значительно менее религиозно-проникновенный образ может предложить византийский эпос о Дигенисе Акрите: таков отец Дигениса, благородный арабский эмир, крестившийся и через это ставший знатым ромеем, правда, скорее по любви к ромейской невесте, чем по более духовным мотивам. И ромейская и московская государственности открыты для тех, кто примет их веру. Обратная сторона такого универсализма — слабое развитие мотива природной связи между этносом и его государством; основания в обоих случаях не природные, а скорее сверхприродные. А говоря о вещах простых и даже грубых — во времена того же Иоанна Грозного быть на Руси крещеным ордынцем было не в пример лучше, чем быть кореным русским, скажем, новгородского происхождения. Но и византийские греки отреклись от своего этнического самоназвания, променяв имя народа на имя принятой из чужих рук вселенской государственности.

Все это черты глубокого сходства между религиозным пониманием государственности в Византии и на Руси. Нельзя не отметить, однако, и важного различия.

Византийский монархический строй был унаследован от Римской империи. Из этого вытекало два очень существенных обстоятельства.

Во-первых, Римская империя генетически восходит не к архаической патриархальности, а к режиму личной власти удачливых полководцев вроде Суллы и Цезаря, созревшему в очень цивилизованный век, после столетий республиканского строя. Недолговечные династии могут приходить и уходить, но династический принцип как факт морального сознания отсутствует. Очень слабо также и представление о долге личной верности особе императора: и в Риме и в Византии монархов легко свергали, умерщвляли, порой публично, при участии глумящейся толпы. Это не значит, что для византийца не было ничего святого; самым святым на земле для него являлась сама империя, совмещающая в себе, как мы видели, самодостаточную полноту политико-юридичес-

¹³ И каждому из этих этапов соответствовало все более сознательное отчуждение Руси от католического Запада (в XIII веке — отказ Александра Невского посланцу папы, в XV веке — изложение великим князем Василием II митрополита-латинофила Исидора Московского при Иоанне IV — провал миссии Антонио Поссевино). Теперь уже русские не просто следуют за своими греческими наставниками, а, напротив, видят причину отвержения Византии и своего избрания в компромиссе греков с латинством.

¹⁴ Далеко не случайно, впрочем, что даже так поначалу расширяются королевства Пиренейского полуострова, только что, как и Русь, сбросившие иго Востока и заразившиеся его безмерностью.

ких, культурных и религиозных ценностей. Поэтому, кстати говоря, в Византии едва ли был возможен такой персонаж, как Курбский: перебежчик, уходя к варварам, как бы переходил в небытие, его никто не стал бы слушать и никто не стал бы ему возражать. Да, империя очень свята и свят императорский сан; но саном этим должен быть облечен самый способный и самый удачливый, а если это узурпатор, пожалуй, тем очевиднее его способности и его удачливость. (Удачливость вождя, военачальника, политика воспринималась не как внешнее по отношению к нему самому стечение обстоятельств, а как имманентное свойство его личности, мирская «харизма». Такое представление всерьез обсуждалось еще Цицероном.) Феномен самозванства, в столь высокой степени характерный для истории русского, а затем и российского самодержавия, нехарактерен для истории самодержавия византийского: зачем трудиться принимать чужое имя, когда успех сам по себе достаточен для оправдания любой узурпации?

Как бы ни обстояло дело с материями духовными, требующими чисто приватного покаяния, византиец считал, что в политике Бог — за победителя (если, конечно, победитель не еретик). Своей державе византиец верен во веки веков, но своему государю — лишь до тех пор, пока уверен, что особа этого государя прагматически соответствует величию державы. Гибель государя от руки убийц, порой всенародная, снова и снова с бесстрашной наглядностью изображается на страницах византийских исторических сочинений; это один из тривиальных несчастных случаев, необходимо предполагаемых самим существованием политики. Такой несчастный случай заведомо не отягощает народной совести. Византиец не понял бы сетования пушкинского Пимена, а ведь в нем действительно схвачен существенный мотив традиционной русской психологии:

Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе царевубицу
Мы нарекли.

Посреди цивилизованного XIX столетия в России возникает предание о старце Федоре Кузьмиче — нельзя же было примириться с мыслью, что Александр I, прикосновенный к убийству своего царственного отца, так и умер императором. Византиец не понял бы и другого: как можно причислять к лику святых Бориса и Глеба (а позднее царевича Дмитрия)? Ведь они умерли не за веру, они не более чем жертвы будничного порядка вещей — известно же, что мир во зле лежит и мало ли на свете неповинных жертв! Между тем их значение в русской традиции религиозной отзывчивости неожиданно велико. Есть же среди русских святых мученики за веру; но попробуйте спросите о них даже очень начитанного и очень набожного верующего человека. Никто не вспомнит ни рязанского князя Романа Ольговича, рассеченного на части в Орде за хулу на татарское язычество, ни Кукшу, просветителя вятичей; но без труда наш собеседник припомнит разве что Михаила Черниговского. Но Бориса и Глеба, но отрока, зарезанного в Угличе, веками помнили все. Получается, что именно в «страстотерпце», воплощении чистой страдательности, но совершающем никакого поступка, даже мученического «свидетельствования» о вере, а лишь «приемлющем» свою горькую чашу, святость державного сана только и воплощается по-настоящему. Лишь их страдание оправдывает бытие державы. А почему так — об этом нужно думать обстоятельно и неторопливо.

Пока отметим простой исторический факт: важно было, что русские великие князья представляли собой единый род, а константинопольский престол был открыт любому авантюристу, пришедшему ниоткуда. Важно было, что монархия на Руси не сложилась как прагматический выход из положения, но выросла из патриархальных отношений. И наконец, есть и такая вещь, как контраст между византийской рассудочностью и русским складом души.

Во-вторых, то обстоятельство, что христианская Византия получила свой политический строй от языческого Рима (причем окончательный облик этому строю дал последний «гонитель» христианства Дюклеттиан), не дало возможности христианскому сознанию ромеев пережить самодержавие как проблему. Оно не было проблемой, оно было данностью. У нас все складывалось по-иному.

Но это уже тема следующей статьи*.

* Статья вторая будет опубликована в одном из ближайших номеров.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

★

«ЧАША ДРУЖБЫ»

Из «Притчи о Моцарте»

Трижды на протяжении «маленькой трагедии» Моцарт называет Сальери другом. И всякий раз — в ярком контрасте с чувствами, планами Сальери. Всякий раз — впросак. И чем больше впросак, тем тверже, полнее звучит это обращение: друг. Это подобно, пожалуй, тезе и антитезе в музыкальном произведении, двум несогласным темам, разрастающимся, все драматичней звучащим в оркестре, в сгущении туч, которые неминуемо разразятся грозой.

«Нет, мой друг¹, Сальери! Смешнее отроду ты ничего не слыхивал...» — в первый раз говорит Моцарт, непосредственно за тем, как Сальери наедине с собой — наедине с нами — признался в лютой зависти к Моцарту.

Впрочем, это «мой друг» — еще только, пожалуй, принятая в обществе любезно-доброжелательная форма обращения, смягчающая речь, чтобы та не звучала холодно, официально. Эта форма не непременно предполагает истинную дружбу, как, кстати сказать, зависть, мучительная зависть, в которой признался Сальери, не обязательно предполагает убийство. (Для убийства ей надобно пройти путь до ненависти, развиться в ненависть, не оставляющую места тому мучительному, произвольному любованию, которое допускает, а быть может, и предполагает зависть, гложущая прежде всего самого завистника!)

«Представь себе... кого бы? Ну, хоть меня — немного помоложе; Влюбленного — не слишком, а слегка — С красоткой, и ли с другом — хоть с тобой...» — во второй раз произносит Моцарт это слово («друг»), и как раз после того, как Сальери с большим раздражением, даже негодованьем выказал свое неприятие поведения, строя чувств — «нежданной шутки» —

Моцарта, решившего угостить Сальери искусством «слепого скрипача»... Выказал не только нелюбезность к гостю, но, пожалуй, оскорбил его своей нетерпимостью, не тая, не смиряя своих расхождений с ним, и загладил обидную свою вспышку неловко, с грубоватой поспешностью — не извиняясь, а попросту переходя на другое: «Что ты мне принес?»

Впрочем, Моцартово «с другом — хоть с тобой...» и тут звучит еще без твердой определенности, звучит предположительно: с кем бы?.. «Хоть с тобой» — подобно: «Представь... кого бы? Ну, хоть меня...» Тут Сальери оказывается другом весьма условно, лишь ради подручного примера, умозрительной сцены, приблизительным очерком которой предвывает Моцарт исполнение своей «безделицы». И этот пример: «с другом — хоть с тобой...» — так же не обязателен, как, в свою очередь, негодование Сальери на легкомысленную, «кощунственную» шутку Моцарта и размолвка, с ней связанная, не обязательно вещают убийство...

И лишь в третий раз — когда Сальери «бросает яд в стакан Моцарта» — Моцарт говорит твердо, с наибольшей полнотой сердечного смысла, явно и прямо разумея вот этого своего собеседника — Сальери, сидящего с ним за одним столом:

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери...

Это «отверждение», вызревание полноценного щедрого смысла, усиление интонации, набирающей вескость, звонкость совершенно столь же растущей обратности реальной (Сальериевой) ситуации, слепо, зряче, наконец и спешно движущейся к злодейству, выдержано по всем правилам контрапункта, музыкального ху-

¹ Здесь и далее в тексте Пушкина разрядка и курсив мои. — Т. Г.

дожественного алогизма, способного пере-
дать фантастическую правду действитель-
ности.

«Партия Сальери» в этом ее плане — «дружбы» к Моцарту — строится пророческо и проще. «Друг Моцарт», — произносит Сальери лишь однажды, лишь при развязке их отношений, лишь после убийства, ибо лишь труп Моцарта («врага», «злейшего врага») может быть воспринят как друг «честным» Сальери. Мягкое, нежное, то бишь размягченное, это «друг Моцарт» звучит жутковатым лиризмом, сообщая финалу вещи болезненную, зловеще-ласковую беглую краску, которая тут же поглотится, впрочем, высокой, открытой трагедией — Моцартовым «Реквиемом», мощным светом «бессмертного гения», покидающего мир.

Удивительна выносливость Сальери, ведущего двойную игру! Удивительна и «честность» его, лишь однажды назвавшего Моцарта другом, лишь в тот миг, когда Моцарт вполне уже на пороге смерти! Честность, обусловленная ненавистью. Слишком большой, чтоб язык повернулся назвать другом живого, еще не обреченного смерти Моцарта! И Сальери именует его так, лишь убедившись, что всецело удался трудный, баснословно счастливый, идеально выполненный замысел злодейства.

Постой,

Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня? —

не сразу верит Сальери сбывшемуся счастьем и даже как будто теряется, а вернее — словно бы жаждет продлить вожаденный миг. Что в этом троекратном «Постой» — бессознательно закладывая счастливое мгновение, а не трагическое потрясение содеянным, это доказывается спешным, находчивым враньем Сальери. Вот этой лицемерной добавкой: «...без меня?» («...выпил!.. без меня?») — будто Сальери непременно надобно было чокнуться «за искренний союз» с Моцартом или вместе с ним выпить... яду!

Это — вранье для Моцарта. Ведь только что, именно бросив «яд в стакан Моцарта», Сальери торопил, понукал его: «Ну, пей же». Без тоста и, кажется, вне своего участия. Так надо же как-то объяснить теперь эту восхищенную растерянность — это «удерживание», попытку замедлить, «остановить» мгновение!..

Остановить — тут не значит пресечь; значит — продлить. И Моцарт, сверхъестественно чуткий Моцарт впервые... почти груб. Грубо-отрывист:

Довольно, сыт я,

Словно б именно: длить — довольно. С тебя — довольно. Как достаточна и сытость самого Моцарта: ложью? смертью?..

Слушай же, Сальери,
Мой Requiem. (Играет.)

Но «Мой Requiem» слышится тут для Сальери (да и для нас) не как: «мою музыку», «мое сочиненье — Requiem», но как: голос моей смерти, моего погребенья, голос заупокойной обедни по мне... Которой заканчивается обед в трактире.

Словно бы Моцарт сам объявил тут о своей смерти. И только теперь, вполне удостоверясь в безупречно, безусловно содеянном, Сальери называет его другом, а вместе с тем — плачет.

«Ты плачешь?» — Моцарт прерывает игру. И по той же огромной своей чуткости больше не продолжает ее, несмотря на призыв Сальери: «...спеши Еще наполнить звуками мне душу...» Музыка словно сама собой замирает, встретившись с торжествующим злодейством. Немеет, неуместная здесь...

Музыка в «маленькой трагедии» вообще звучит не иллюстративно, но как развитие действия, будучи в этом смысле равноправной с поэтическим словом. И всякая пушкинская ремарка о Моцарте: «играет», — равносильна тому, как если бы Моцарт говорил или даже совершал поступки. Мы, читатели, должны слышать — в воображении, воспоминании — музыку Моцарта, не торопясь дальше по тексту, всякий раз, как Пушкин указывает: «Играет». Музыкальные «монологи» Моцарта — это не аппликации, но мощная внутренняя пружина действия, а пресечение музыки, фортепианного монолога — знак существенного поворота в происходящем на сцене, в душах обоих героев.

Моцарт прерывает игру.

Ты плачешь?

Значит, он слышит слезы «друга»? Значит, это не тихие, беззвучные слезы. безобидное, не отвлекающее исполнителя умиление гармонией льющейся музыки?.. Значит, это ины е слезы, перебившие игру Моцарта, помешавшие ей сторонним своим, чуждым звуком... И неспроста Сальери говорит Моцарту об «этих слезах»: «Не замечай их...» Потому что Моцарту отнюдь не должно видеть и слышать их, понимать их!

«Друг Моцарт... Продолжай, спеши...» — уводит Сальери Моцарта от «этих слез».

И тут важно обратить внимание, что

первую часть краткого своего монолога («Эти слезы...» — до слов: «Друг Моцарт...»), монолога после вопроса Моцарта: «Ты плачешь?» — Сальери произносит в сторону, хотя Пушкин не дал тут ремарки, поскольку вообще не потратил на поведение Сальери ни одной ремарки, кроме: «Бросает яд в стакан Моцарта».

Скудость авторских ремарок относительно Сальери прямо связана с образом действующего лица. Эта скудость очень заметна на фоне целого ряда прямых указаний на жесты, движения, действия Моцарта: «хочочет»; «за фортепиано»; «за фортепиано»; «Играет»; «Уходит»; «Пьет»; «Бросает салфетку на стол»; «Идет к фортепиано»; «Играет»... Обилие ремарок, отражающих поведение Моцарта на сцене, — знак живого, жизнедеятельного характера, а также его сложности — непредугадываемости реакций, подвижности его состояний, «многоликости» и многозначности его, выражающего себя не только в слове, быть может, даже и не столько в слове, — потому что малоречивому Моцарту тесно в словах, как ни глубоки его лаконичные речи; ему необходима для выражения себя музыка да и вообще движение: он не только мыслит, но в полном смысле живет на наших глазах! В откровенном, богатом его сценическом поведении выясняются перед нами многие стороны его жизни, разнообразные — а не только мыслительные — ее проявления.

Сальери же вполне уместается в своих речах, вполне выражает и обнажает себя в словесном размышлении (как ни живо и хитроумно оно порой), и нет нужды дополнять или комментировать его слова указанием на жесты, позы, движения — кроме того главного, а можно сказать — единственного, движения, когда он «бросает яд в стакан Моцарта». Упрощенности характера, его сравнительной однолинейности соответствует и внешняя статичность его, которая способствует впечатлению мертвенности героя, отчужденного от многогранной, искрящейся, животрепещущей жизни.

Если в Моцарта надо вслушиваться и вглядываться, едва поспевая за его «переменчивостью» — быстротою и тонкостью эмоциональных красок, сменяющих друг друга, сливающихся, набегающих друг на друга в его словах и движениях, то относительно Сальери приходится только тщательно взвешивать его самооправдательные слова, идя индуктивным путем к оценке искренности его заверений и признаний.

Как и сама жизнь, Пушкин не делает

нам поблажки: не подсказывая заключений и выводов, он с огромною точностью показывает нам жизнь в ее лукавой понятности и самоакцентированных сущностях, обманчивой сложности и обескураживающей простоте. Он показывает нам те моменты ее, где особенно вывели ее тенденции, приглашая нас самих выстроить «всю» панораму прошлого и возможного будущего, распутать тугой клубок, в котором нет, однако, ни одной лишней или случайной нити. Именно в этом, последнем, отношении жизнь, показываемая им, «действительнее самой действительности», а иными словами, является почвой для самопроизрастающей мифа...

Итак, слова:

Эти слезы

Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! —

произносит Сальери именно в сторону. Они не для Моцартова слуха, и Моцарт не слышит их. Иначе странно было бы, что он, да еще столь тревожный, как в эту встречу с Сальери, не заинтересовался: какой тяжкий долг совершил Сальери? что сделал он?.. Ведь если кто исполнил нынче долг, то, пожалуй, именно Моцарт: написал Requiem, выполнил заказ, завершил большую работу... Иначе странно было бы, что Моцарт, хотя и прервал музыку (свою игру), продолжает воодушевленно беседовать с Сальери, и даже — со счастливой, безоблачной интонацией, сверкнувшей в последнем его монологе при мысли о жрецах «единого прекрасного»...

Но Моцарт не слышал признания «друга», признания, выравшегося, когда Моцарт объявил о своей смерти («Мой Requiem»). И, не слышав слов Сальери о совершенном тяжком долге, «ноже целебном» — пресекающем жизнь Моцарта, — он готов счастливо растерянность, косноязычие застигнутого в слезах Сальери да и сами «эти слезы» за знак чрезвычайного душевного волнения, вызванного музыкой Requiem'a. Но и при этом, с интуитивной своей точностью, он отмечает не умиленность, растроганность «друга», но потрясенность, похожую на... поверженность:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! —

говорит Моцарт.

Не красоту, не благодатность, не радость — силу этой «царицы грозной» (какова она, Гармония, для Сальери)!

И лишь позже, отвлекшись от слушате-

ля и задумавшись о создателях, творцах «вольного искусства», он говорит о счастье, приносимом Гармонией:

Нас мало избранных, счастливых
 праздных,
 Пренебрегающих презренной пользой
 Единого прекрасного жрецов.

Праздных... Вольных! Не угнетенных «усердием», как и заботой о пользе. Видящих смысл Гармония в счастье бескорыстно предаться ей. Бескорыстно, самозабвенно служить «единому прекрасному»...

И есть ли непреложные основания полагать, что, говоря: «Нас мало избранных...» — Моцарт имеет в виду Сальери? Разве Сальери кажется ему «счастливым праздным»? Да еще после сцены со «слепым скрипачом»?.. Вряд ли! Вряд ли умный Сальери может казаться таковым — кому бы то ни было... Да и назвать так усердного Сальери значило бы только обидеть его.

В последнем монологе Моцарта переплетаются несколько тем, несколько объектов размышлений. Вернее — сменяют друг друга, вовсе не прямо друг с другом соотносясь. Мысль о «счастливых праздных» музыкально и по существу достаточно обособлена. Это, пожалуй, вполне самостоятельная партия одного из ведущих инструментов в той симфонической картине, каково является этот Моцартов монолог. Это становится ясным, когда задумаешься вообще о строе речи Моцарта, совсем не похожем на четко-логические речевые конструкции Сальери, — о «текучей», переливающейся Моцартовой речи, где строго логические связи заменены свободно-ассоциативными, мысль «самозожигается» вне заданного плана и сочетается с другими по творческим законам союза, присутствующего гармоническому мироощущению

«Довольно, сыт я», — с неожиданной резкостью сказал Моцарт, словно бы желая пресечь лицемерную дружественность Сальери, которой прежде как будто не замечал, не настораживался...

А может быть, это мы не замечали истинного его ощущения Сальериевой «дружбы»? И если взглянуть внимательно, не увидим ли: на всем протяжении пьесы Моцарт не столь уж уверен, что Сальери — его друг, а способность, даже стремление Моцарта к «искреннему союзу» с не похожим на него, Моцарта, Сальери не означает, что Моцарт считает этот союз данностью...

Моцарт совсем не уверен, что Сальери — его друг! Моцарт постепенно идет, «движется» к этой дружбе, хотя и желает ее, как то вообще свойственно его открытой, доброжелательной душе.

Иной миг кажется даже, что «друзья» лишь на наших глазах толком знакомятся друг с другом — начинают толком друг друга узнавать.

Моцарт идет навстречу дружбе с Сальери вопреки несогласиям, размолвке, спору, то и дело затеваемому хозяином, который ни одного поступка, ни одного слова Моцарта не в силах оставить без вознаграждения. «Дружба» намечается, собственно, только в миг перед обедом — в связи с обедом, когда Сальери, одушевляясь коварной мыслью, внезапно и вроде бы чтоб погасить все прежние, пустые якобы расхождений, предлагает:

Послушай: отобедаем мы вместе
 В трактире Золотого Льва.

«Пожалуй», — соглашается Моцарт. «Я рад», — говорит он. Говорит тепло, а впрочем, и чуть подчеркнуто, словно хочет сказать, что ценит дружелолюбное предложение.

Моцарт не предполагал совместного обеда, когда шел к Сальери, гонимый «черным человеком»... Подобно тому как Сальери не предполагал прихода Моцарта, когда произносил свой монолог о зависти к нему. Моцарт не рассчитывал обедать с Сальери. И потому —

Но дай, схожу домой, сказать
 Жене, чтобы меня она к обеду
 Не дожидалась.

«Жду тебя, смотри ж», — строго, тревожно вслед ему говорит Сальери. То есть: не обмани («смотри ж») моей надежды, внезапного моего везенья. Не ускользни! Ведь, быть может, тут со стороны Моцарта вежливая уловка, за которой — обман, уклончивость, отказ от приглашенья? Ведь, быть может, жена удержит Моцарта дома?..

Сальери так мало знает Моцарта, что не верит его слову, его обещанью, его искренности. И тревожится там, где, с Моцартом, это совершенно напрасно!

Очевидно: назначенный сейчас обед — первый совместный, приятельский обед Моцарта и Сальери. Первый. Который мог бы послужить скреплением дружбы, так обычно и скрепляемой: ритуально. Вот ведь, ожидая Моцарта, чтобы отправиться в трактир Золотого Льва, Сальери вспоминает разные «трапезы» в прежних своих компаниях, и среди них — ни одной с Моцартом. То бы-

ли другие, не вполне достойные «заветного дара любви», «дара Изоры» сотрапезники:

...сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапезой
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко...

...Как пировал я с гостем ненавистным,
Вить может, мнил я, злейшего врага
Найду...

...Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец нашел
Я моего врага...

...Теперь — пора! Заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

До сегодня Сальери не видел Моцарта за своим пирушественным столом, за «одной трапезой» с собою. И лишь сегодня такой — беспримерный, долгожданный — обед: со «злейшим врагом», воплощением «злейшей обиды», с каким не сравнятся все прежние, — с Моцартом!..

Моцарт же смотрит на дело иначе. Он, конечно, не может оскорбить отказом, а тем паче обманом дружеское, каким внешне выглядит оно, предложение Сальери («Послушай: отобедаем мы вместе...»). И, гонимый «черным человеком», желая уйти, скрыться от него, он, как то и вообще бывает с обреченными в тесном круге смыкающейся судьбы, приходит к нему же, «в трактир Золотого Льва»: «Вот и теперь Мне кажется, он с нами сам-третей Сидит»... Моцарт с трудом, большим трудом на сей раз преодолевает свою пасмурность, этого черного призрака — «виденье гробовое», которое приблизилось как никогда близко, придвинулось вплотную, «сам-третей сидит»... И все-таки Моцарт смотрит на совместную трапезу с «коллегой» — суровым, слишком раздражительным, нетерпимым, но теперь оживленным, развеселившимся Сальери — так, как и смотрят на подобные встречи, «трапезы» в отдельной, «особой комнате» трактира прямодушные, открытые люди, чуждые задних мыслей, недоверчивости и опаски уронить свое достоинство щедростью, дружественностью:

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии, —

пьет Моцарт. За будущее, начало которому положено — может быть, скреплено этой вот трапезой в трактире Золотого Льва, где поднята Моцартом «чаша дружбы»...

Моцарт желает этого будущего — союза, «искреннего союза» — равно и себе, и Сальери, и для себя, и для Сальери.

«Зарождение» дружбы между Моцартом и Сальери выпадает как раз на час смерти Моцарта, когда яд брошен уже в стакан Моцарта (в «чашу дружбы») и яд этот выпит за здоровье Сальери, за «искренний союз» лиц несовместных...

Развернутый Пушкиным сюжет отношений героев может быть прочитан так. С немалыми, кажется, основаниями прочитан не как давняя дружба с трагической развязкой ее, а как лишь намечаемая Моцартом — которой веки не состояться в действительности! — дружба между не слишком близкими знаковыми, нечасто встречавшимися, хоть и с вниманием (а со стороны Моцарта — доброжелательностью) следившими, больше издали, друг за другом.

«Ты здесь!» — поражается Сальери пришедшему к нему Моцарту. «Давно ль?»
«Сейчас», — отвечает Моцарт.

Недавно!

«Ты сочинишь Requiem? Давно ли?» — спрашивает Сальери в трактире. Потому что многое в Моцарте для него — новость. Неизвестно ему. Неожиданно для него. И, будучи придвинутым близко, непосредственно к зрению, слуху, ощущенью Сальери, поражает своей непредсказанностью, «беззаконной» непредсказуемостью...

Их личные отношения не имеют давности. Они складываются и развязываются «сейчас». На наших глазах.

Что никакой давности и, во всяком случае, глубины нет за личными этими отношениями, узнаём из слов самого Сальери. Который досель не только не пировал (не обедал вместе) с этим «гостем ненавистным», или «злейшим врагом», но и вообще до прихода Моцарта, в первом своем монологе, ничего конкретного, очевидческого не может сказать о Моцарте. Тут, в первом его монологе, много автобиографических сведений, но чувство к Моцарту («Я завидую; глубоко, Мучительно завидую») дано совершенно поверх личных каких-либо взаимоотношений. И это не потому, что Сальери склонен к сверхличным каким-нибудь мыслям. Нет, он, самовлюбленный мученик надменной и завистливой своей «музыки», отнюдь не склонен к сверхличным мыслям!

«О Моцарт, Моцарт!»... Да, Сальери много думает о Моцарте. Много завидует Моцарту. Но что знает он о нем? Помимо его славы? Помимо его гения, воплощенного в музыке?.. Что знает он о Моцарте-человеке? О жизни Моцарта?..

«Гуляка праздный», — говорит он. Но ведь так сказать мог бы, пожалуй, отнюдь не близкий Моцарту человек. Именно — по-

сторонний человек. Так, быть может, даже и говорил о Моцарте «весь город», пресловутые «все», на которых любит ссылаться Сальери («Все говорят: нет правды на земле» — с этой опорой на мнение «всех», как мы помним, и появился он на сцене). Хотя в этой характеристике не только сугубая неточность (превратность), но и скучнейшая банальность — нечто вроде обычного тавра, которым злословие толпы способно означать едва ли не всякого, о ком чует, что тот — не «как все», не как она... «Гуляка праздный» — это, на языке толпы, вечно озабоченной «презренной пользой», все-таки именно огульное («бездельник») и не очень-то резко по форме ругательство, самое общее выражение ее отчуждения от Моцарта. Слишком удалена «тупая, бессмысленная толпа» от Моцарта, слишком не осведомлена о нем, чтобы сказать о нем определенной, с конкретной уничижительностью — хоть, например, «повеса» или же «игрок, который Гремит костями да груды загребает», как с яростью говорит о своем антиподе Барон в «Скупом рыцаре», или еще резче: «Развратников разгульных собеседник»... Так же, в сущности, неопределенно и Сальериено слово «безумец». Если у Барона оно немедленно получает разъяснение: «Безумец, расточитель молодой...», то здесь может оно пониматься и просто как «сумасброд», передавая только некую общую противоположность «трезвому» уму...

Сальери, как и толпа, пресловутые «все», или «весь город», слишком мало знает о жизни Моцарта. Иначе, в своем раздражении, разве удержался бы он от какого-нибудь меткого, характеристического штриха, способного «тонко», убедительно, пусть и походя, опорочить «друга», как то может сделать осведомленный, обладая свойствами Сальери? Вот ведь как тонко опорочивает он Пиччини: «Нет! никогда я зависти не знал, О, никогда! — ниже, когда Пиччини Пленить умел слух д и к и х парижан...» Весь яд этих слов относится будто и не к Пиччини — к парижанам, — а вместе с тем соперник все-таки снижен, подсвечен иронически. И удалось это с таким «изяществом», с «полным» сохранением «алиби» оттого, что Сальери мог воспользоваться некой достоверностью — не о Пиччини, так по крайней мере о «его» парижанах: Париж не был музыкальной столицей... Или вот ведь как ловко — с неудовимым высокомерием, тонкой двусмысленностью — отзывается Сальери о Бомарше — комедийном («смешном») писателе или смешном человеке:

...он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Остроумная двусмысленность! И похоже, Сальери не ценит особенно приятельства к нему Бомарше — оно словно бы не делает ему особой чести... И выходит: хвастливый рассказ о короткости с Бомарше («Бомарше Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери...»), напоминающий даже лексику нашего Хлестакова («Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало...»), завершается все-таки иронией над гением.

О, Сальери отлично умеет бросить тень на человека и делает это относительно всякого человека, который, скажем так, не ниже его... Он сумел бы бросить тень и на солнце — но для этого ему нужно все-таки располагать сведениями, непосредственным знанием о предмете, чтобы это знание превратить в материал для «тонкого», логически «безупречного» злословия. Потому что, желая отделить себя от толпы, он не хотел бы прибегать к ее «топорной», грубо-бесосновательной клевете. Неубедительной и нередко саморазоблачающейся.

И разве, знай он Моцарта ближе, имей опыт непосредственного общения с ним, не отыскал бы он в поступках Моцарта конкретно-личной обиды или вины? И они тут же легли бы «в стрóку», «облагодив» или драматизировав (героизировав) зависть Сальери... Ведь такая «обида» или «вина» случается тотчас, как только входит Моцарт — приводя к Сальери «слепого скрыпача», который «Мне пачкает Мадонну Рафаэля!» Подобных обид или прямых провинностей Моцарта перед Сальери не могло не быть во множестве в прошлом, если бы только было прошлое — общее, взаимноличное прошлое у этих «друзей»...

Но тогда бы речь шла — в первом уже монологе Сальери — не просто о зависти во всей униженности ее, позоре быть «змеей, людьми растоптанною, вживе Песок и пыль грызущую бессильно». Тогда бы речь шла о ненависти. Потому что живое ощущение Моцарта, непосредственное общение с ним порождает в Сальери, сверх (бессильной) зависти, активную, действенную ненависть — как видим мы это тут же, в пьесе. Моцарт сразу становится для «Сальери гордого» смертным врагом, ненавистнейшим из ненавистных, «злейшей обидой», которая непреложно, немедленно требует за себя кары, расплаты, не ограничиваясь тайными муками беспомощной зависти и побуждая к изобретательности, коварству, дабы не упустить врага невредимым, живым:

Послушай: отобедаем мы вместе...

Два монолога Сальери, произносимые в отсутствие Моцарта, обнаруживают не одинаковое чувство, отношение Сальери к Моцарту, но два чувства, два отношения или по крайней мере две стадии одного чувства и отношения.

До встречи с Моцартом, прямого личного общения с ним чувство Сальери в практическом проявлении своем пассивно, и отношение Сальери к Моцарту долго, неопределенно долго может оставаться бездейственным. Потому что его зависть, способная покуда лишь мучить его самого, не получает вдали от живого, во весь рост близко придвинутого к нему Моцарта должного «катализатора», неодолимого побудителя, который разом неудержимо взметнул бы ее на выспу, напряженнейшую ступень, до предела воспалил бы ее, выводя на широкую, неотвратимо прямую дорожку действия. Дорогу пылающей ненависти, когда Сальери, уже задыхаясь от переполнившего его жгучего чувства, скажет, как выдохнет, скажет, как крикнет: «Нет! Не могу противиться я доле Судьбе моей: я избран, чтоб его Остановить...»

Но пока, в первом своем монологе, Сальери еще достаточно далек от этого. Бессильный, безвольный от незнания Моцарта или приблизительного, на удалении знания его, Сальери, страдая завистью, может только твердить общие слова — беззубые в сравнении с обычным, правдоподобно-обоснованным его злословием. Повторять, заимствовать или даже выдумывать их, как ни претит ему подражать толпе... Но он и впрямь покуда еще не герой толпы, а лишь человек толпы — отчего и уподобляет себя «змее, людьми растоптанной»... И вот: «гуляка праздный» — сказано им словно бы с чужого, анонимного голоса, Сальери не ведает, сколь интенсивно работает Моцарт, хотя это вполне обнаружится перед ним, едва он встретится с самим Моцартом: вместе с «е-ниальной «безделицей» — Requiem. Тут же, одна за другой, одна вместе с другою работа... Сальери, узнавая, должно быть, обычно творения Моцарта по мере их публикации, гласного исполнения, которое, конечно, отстает от их создания, не знает истинной «густоты» их, непрерывности возникновения их, «накладывающихся» друг на друга, друг друга обгоняющих. («Он не сколько занес нам песен райских», — скажет Сальери, не зная, как на самом деле много!) Он не сознает пока еще до конца всей «грозности» Моцарта — для «нас», «жрецов, служителей музыки» (а главное — для самого Сальери). Ошеломленный славую Моцарта, тревожно чуемым бес-

смертьем его творений, он знает лишь то, что Моцарт — не его (не их: «нас всех») поля ягода; что путь его — какой-то иной: стремительный («безумный»), без этой привычной, обычной для Сальери (для «нас всех») постепенности «трудо», вне этой наглядной обусловленности успехов или «новой высоты», достигаемой «по праву»; что, как «некоему херувиму», не «тогда уже...» (когда искусился «в науке»), но, точно от века, «готовые», сложенные в небесах, вручены ему «песни райские»; что Моцарт живет как-то иначе, вне цеха и его забот, не вместе с Сальериевыми «товарищами... в искусстве дивном» и даже, быть может, не вместе с теми «гостями ненавистными», с какими «часто» приходилось Сальери сидеть «за одной трапезой»... Этого вот общего знания, смутного знания, этой «невидимости» (отсутствия) Моцарта среди «трудо» и пиршеств цеха, в сущности, вполне достаточно, чтоб хоть бы отшельника назвать «гулякой праздным», выдавая обиженное мнение немногих (цеха, группы, кучки «товарищей») за широкое мнение «всех», насаждая свое обиженно-глумливое мнение... «Праздный, «гуляка» или «бездельник», с точки зрения замкнутой корпорации каких-либо профессионалов, — это, конечно ж, и тот, кто занят не тем, что они, — другим каким-нибудь делом! И его «праздность» кажется особенно бесспорной, когда не-корпоративный, «отшельник», точнее — одиночка (отъединенный от цеха или не вполне слитый с ним), так прост, так, в сущности, доступен (и для «слепого скрипача в трактире», и для Сальери, с которым он даже на «ты»), словно бы не сознавая своей отъединенности, обидной, нечаянной и неизбежной...

Чуждый, незнакомый, доступный, неуловимый, всем «известный», ни на кого не похожий, неведомый — вот каков Моцарт, прославленный гений, для «друга» Сальери. Он имеющего никаких преимуществ перед толпой по части дружеской приближенности к Моцарту.

Не отсутствие ли привычки, непосредственно выработанной привычки к «повадкам», склонностям, возможным «нежданным шуткам» Моцарта — причина неосторожного, в сущности, поведения «умного» Сальери, когда Моцарт посещает его? Ведь Сальери и впрямь чуть было не спугнул Моцарта, вместо того чтоб не дать ему никакого повода к разочарованию, вынужденной скрытности... «Я приду к тебе В другое время», — чуть было не ушел Моцарт.

Сальери слишком напряжен как хозяин, словно он не успел еще усвоить той фор-

мы поведения с Моцартом, которая прочно служила бы личным его интересам. Которая позволяла бы больше наблюдать, чем открываться самому. Которая была бы разумна, полезна, осмотрительна.

Личный интерес Сальери пока — любопытство, жгучее желание поглубже, получше узнать «мучителя», того, из-за кого так больно страдает он завистью. И вот — чуть не спугнул...

«Что ты мне принес?» — резко, спохватываясь, спрашивает Сальери, и кажется, лишь благодаря особенному, редкостному добродушию Моцарта, той его необидчивости, которая есть интуитивная, как бы вовсе сверхличная, несамолюбивая охрана вещей — пусть уже и порушенных — от дальнейшего разрушения; лишь благодаря изумительному этому, благородно-необидчивому жизнеохранению Моцарта резкий, с грубоватой практичностью нацеленный вопрос Сальери способствует миротворному повороту ситуации: Моцарт остается...

Впрочем, добродушие Моцарта ближайшим образом связано и с тем, что он тоже недостаточно знает собеседника (Сальери) — и остерегается непреклонно судить то, в чем он, быть может, еще не разобрался, истинных причин чего еще, быть может, не понял: этого вот грубого гнева Сальери против «слепого скрипача»... Моцарт еще как будто не знает, что в этой сцене был весь Сальери. Как весь Сальери — чего так и не успеет осознать пушкинский Моцарт! — был в тех слезах Сальери, в трактуре Золотого Льва. Весь — то есть вполне уместающийся в короткое слово. имя-статус: «злодей». Убийца.

«Пошел, старик», — выгнал при Моцарте Сальери «слепого скрипача». «Так улегай же! чем скорей, тем лучше», — скажет Сальери без Моцарта о Моцарте... Он обоих их равно выгалактивает из мира, прибегая к одинаковым, по существу, гневным, злым словам, с одинаково злою, нетерпимой интонацией. Но Моцарт, слишком мало знающий Сальери, когда бы придал роковое значение вспышке его против старика, не выказал ли бы только мрачной подозрительности, тяжелой мнительности к людям? «Ты, Сальери, Не в духе нынче», — объясняет он (себе) грубость и гнев Сальери. «Не в духе» — и, быть может, есть тому неведомая нечаянному гостю уважительная причина?..

«Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же мне не до тебя? Садись...» — поправляется, успокаивает его Сальери, и в экспрессивной этой любезности — искреннее раскаяние, да только не из-за стыда, запоздалой неловко-

сти перед Моцартом, но по соображению неразумности своего поведения: слишком несдержанного — откровенного...

И все-таки как трудно Сальери играть при Моцарте, простодушном, «нечаянным» и столь, оказывается, доступным Моцарте, свою любезную, приветно-дружескую роль! Natura нетерпеливого, осмотрительного, лицемерно «мирного» Сальери («...я наслаждался мирно Своим трудом, успехом, славой; также Трудом и успехами друзей...»); «И никогда на шепот искушенья Не преклонился я...»), истинная натура его вопреки всякому уму и расчету при Моцарте неумоимо то и дело рвется на волю, словно бы Моцарт явился затем, чтобы каждым своим движеньем, словом срывать маску с «умиротворенного», чуть ли не величавого даже — для посторонних — в прочном и «благодушном» спокойствии своем Сальери... Так силен живой, натуральный этот «катализатор» — Моцарт. Так велико, нарастая с каждым мгновеньем, это искушение для Сальери, которое не шепчет уже — кричит в его измученной вечною подневольностью, ролью, маской, исковерканной и воспаленной душе. Присутствие гения, как грозовой ветер, срывает все покровы, произвольно, не радея о том, возвращает вещам их откровенную, прямую суть, и Сальери огромным усилием, то и дело балансируя на кромке полного саморазоблачения перед Моцартом, доводит эту нежданную встречу до благополучного конца. Это удается, конечно, и потому, что Моцарт с той же, обычной, произвольностью, естественной готовностью помогает ему: ведь этот, срывающий все лукавые покровы ветер — не разрушительный, он ведь в то же время, собственно, дух, благотворно удерживающий некое равновесие мира...

Сальери напряжен и во всяком случае несколько ненатурален и дальше, на протяжении всей этой встречи с Моцартом — у себя дома. В его речи мешаются искреннее негодование: «Ты с этим шел ко мне И мог остановиться у трактира И слушать скрипача слепого! — Боже!» — и смягчающая негодование лесть, а впрочем, двусмысленное заключение: «Ты, Моцарт, достоин сам себя», — в котором равно можно услышать и лесть и продолжение того же гнева.

И не хочет ли пышнословный Сальери произвести впечатление на Моцарта — своим пониманьем его музыки, пышнословным пониманьем: «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность! Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; Я знаю, я»? Не хочет ли пышнословный Сальери произвести на Моцарта впечатление цените-

ля, умнейшего человека, хорошо знающего и себе цену — высокую («Достигнул степени высокой») даже перед лицом «бес- смертного гения»?.. Ведь поначалу он важен, достойно-важен: «Садись; Я слушаю» (это ведь все-таки не совсем то, что: «Я рад услышать», «счастлив слушать» — новое произведение Моцарта, — как, наверное, сказал бы простосердечный поклонник или друг). Затем он — потрясенный силой искусства слушатель, щедро восхваляющий Моцарта, хотя и «тонко» унижающий его («Ты, Моцарт, недостойн сам себя», «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...»), потому что вполне удержаться от тонко-ядовитой иронии ко всему, что выше его, самоутверждающийся Сальери, как и всегда в сходных случаях, не может, но это служит, на его взгляд, представлению о значительности его самого... Затем он — жертвенно-самодоволен: «Я знаю, я» (что ты — бог, хотя мне, может быть, не так уж лестно знать это, т а к о е, не о себе — о другом)... Во всяком случае все эти реченья, реплики Сальери не лишены некоей аффектации, которая происходит, кажется, не только от внутренней тяжелой взволнованности перед лицом «злейшей обиды», живого «врага», но и от внешней, практической задачи — расположить гостя к себе истинным своим пониманием «музыки», «безоглядную» щедростью в похвалах, подкупающей, верно, всякого автора, — не уронив, впрочем, собственного высокого достоинства.

Пафосные речи Сальери, пышные его похвалы, таящие между тем намек, что как раз сам он — настоящий знаток «глубины», «смелости», «стройности», без труда измеряющий их, оставляют Моцарта равнодушным. И когда Сальери заговаривает о боге («Ты, Моцарт, бог...»), то оживляется как будто именно ум Моцарта (а не взмынная от сей лестности душа): «Ба! право?.. может быть...» И куда легче, безусловней отзывается Моцарт на простое приглашение, на приятельски-обыкновенное (как звучит оно) предложение Сальери: «Послушай: отобедаем мы вместе...» Слово оно, словно этот бытово-естественный жест для Моцарта большой залог расположенности Сальери к нему и больше заслуживает сердечного отклика, чем все патетические восклицания — возвышенно-недоуменные, восхищенно-горькие, укоризненно-высокопарные, «глубокие»...

Пожалуй;

Я рад,—

с готовностью отвечает Моцарт.

Простодушно, а может, и с облегчением.

О нет, если они — давние друзья, то откуда ж вся эта напряженность диалога, подспудно чреватого полной размолвкой? Откуда такое взаимонепонимание? Эта суровая, с трудом умиротворяющая себя осудительность «восхищенных» речей Сальери, словно бы рвущегося «переиначить» Моцарта, — в непривычке к его поведению и горячем изумлении перед ним?.. И откуда, с другой стороны, это легкое, верней, легко, с деликатной изящностью едва обнажающее себя, но несомненное недоумение Моцарта перед речами, поведением Сальери?..

Конечно же, и напряженность — сказать можно лишь о Сальери. Моцарт — не напряжен, хотя и удивлен. Хотя и чувствует внутреннее неблагоприятие обстановки, лишь подогретое (а не вызванное) «слепым скрыпачом», «нежданной шуткой»: «Ты, Сальери, не в духе нынче... Хотя и преодолевает эту обстановку... Преодолевает не в себе (ответном своем настроении), а в ней самой, то и дело изменяя ее — без нажима, видимого усилия. Моцарт не напряжен — словно ничто не может помешать ему быть собой и тем самым быть воистину в мире с хоть бы и вовсе не мирным к нему лично миром. И, будучи собой, не подавляя себя, оставаясь свободным, свободно верным правде своей натуры, он просто, как бы именно другу, рассказывает Сальери о себе — об интимном, внутренне-личном истоке своего творенья:

Представь себе... кого бы?

Ну, хоть меня — немного помоложе; Влюбленного — не слишком, а слегка — с красоткой, или с другом — хоть с тобой, Я весел... Вдруг: виденье гробовое, Незападный мрак иль что-нибудь такое... Ну, слушай же.

Удивителен этот маленький монолог! Моцарт воистину «открывает душу». С такой простотой! И кому?.. Но Моцарт не умеет иначе: без души или с закрытой душой. Иное — означало бы для него быть не собой. Пушкин дал в Моцарте некий идеал человека — не умного или неумного, а просто самосоответствующего, прекрасно самосоответствующего. Потому что самосоответствие гения, — как будто хотел сказать Пушкин, — всегда прекрасно. Потому что правда гения, в том числе и правда его о себе, есть Истина и во всяком случае возможно близкое для земного, из плоти и крови человека приближение к ней...

Простота, или всегдашнее Моцартово соответствие себе, всегдашняя правда Моцарта о себе, эта вечно открытая его душа — неназойлива. Тут нет ничего от не-

устанно, с эгоцентризмом «поясняющей» исповедальности. Откровенность Моцарта оказывается чутко тактичной, уместной. «...теперь Тебе не до меня», — сказал он Сальери; и затем, чтоб не только доказать опомнившемуся Сальери, что он, Моцарт, верит его словам («Когда же мне не до тебя?»), но и дать тому, еще не оправившемуся от недавнего гнева, возможность приуготовиться к музыке, к истинному бытию, которое сейчас зазвучит, до краев наполнит комнату, — Моцарт, по всем «законам» своей простоты и правды, рассказывает о себе. Впрочем, это рассказ не только о себе: ведь «такое» — внезапное веяние смерти — может случиться со всяким: посреди веселья, молодости, счастья... Тонкая художественность — без нарочитости, скрытности или лукавства — облекает грациозный этот рассказ с его правдой, откровенностью и — косвенностью, которая способствует обобщенности его содержания, его значения («Представь себе.. кого бы? Ну, хоть меня...»). Этот эскизный, лично-безличный, целомудренно-драматический рассказ относится к правде жизни прежде, чем к музыке, которая зазвучит сейчас и, конечно, будет иной, чем он. И Моцарт обрывает речь, скомкивает ее («...Незапный мрак иль что-нибудь такое...»), прекрасно понимая беспомощность слова перед музыкой, а быть может, даже и бедность страшного жизненного волнения («Вдруг: виденье гробовое...») перед непомерным ответом музыки на него. «Ну, слушай же!».

Однако Моцарт взволнован. Это выдает и нечаянная рифма («гробовое — такое»), влетевшая в чистый, живо интонированный белый стих Моцартова рассказа. Рассказа, объясняющего не музыку, а то, почему Моцарт пришел к Сальери — гонимый «черным человеком».

Музыка успокаивает его. Потому что она больше смерти, сильнее «виденья гробового». И вот Моцарт уже шутит: «...Но божеество мое проголодалось», — подобно тому как мог хохотать в начале сцены, увлекшись музыкой же — трактирной пародией на арию из «Дон-Жуана» — или увлекшись живой (смешной) судьбою своей музыки в мире, хотя шел, гонимый «черным человеком»...

Моцарт и дальше прост, естествен — по моцартовски обычен:

Но дай, схожу домой, сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дождалась.

И в этой его простоте важно не изъяснение особых чувств к жене (которого,

собственно, тут нет), но именно обывательность поведения: бытовая обыкновенность обыкновенного человека («аккуратность», заботливость, внимательность к ближним) и — важнее того — нерассеянность гения, который легко держит в поле своего зрения, не забывая их, большое, пестрое число разновеликих вещей. «Гуляка праздный», по широте и дисциплинированности своего сознания, напряженно помнит (успевает вспомнить) и бытовой, домашний распорядок и долг, соблюдая обыкновенья, хоть и малые обыкновенья, — подобно тому, например, как успел он, не забыв и успел отблагодарить «слепого скрипача» по принятому у публики обыкновенью («Постой же: вот тебе, Пей за мое здоровье»).

Подобная нерассеянность, собранность равномерно внимательного сознания отличается, едва ли не «автоматически», лишь педанта или же человека незаурядных сил ума, памяти, воли, дисциплины сознания. Впрочем, педанту она не изменяет никогда. Моцарту же, который не педант, способна изменить — в исключительных и именно Моцарту свойственных случаях: эта нерассеянность может изменить ему в минуты непосредственно-творческие, называемые «аполлоническим сном» или высоко избирательной, вдохновенно-направленной сосредоточенностью... Во всех же иных случаях эта многогранность расточительно-нерасточительного, обнимающего обширные области внимания к миру не покидает Моцарта: она в своем роде равновелика самому дару творчества. Это ведь, в сущности, то же — творческое — внимание! Универсальное, могучее, трезво-бодрствующее сознание, или неутомимое бережно-памятливое внимание, отличает творческого гения вопреки обывательским легендам — тем же сказкам «тупой, бессмысленной толпы» — о «всеотрешенности» художника, который, сплошь «не от мира сего», неизменно пребывает в «заоблачном» витанье, чуждый обыкновениям, заботам земной будничности, «низкой жизни» или же «малой прозе» жизни заурядного, бытового человека.

Гений, творец, создатель или просто художник всегда отрешен лишь от «презренной пользы». Пренебрегает лишь ею.

Если Моцарт и Сальери — давние друзья, хорошо изучившие, стало быть, характер друг друга в длительном опыте встреч, обмена мнениями, взаимного выяснения склонностей, то ужель внимательный, чутко внимающий миру Моцарт столь назой-

лив в насаждении своих вкусов, прихотей или забав, что привел бы к Сальери трактирного скрипача? Ужели он столь нетерпим и неадекватен к другу, чтоб раздражать его тем, что тому наверняка неприятно, смешить тем, что тому заведомо не смешно?.. Не остановил ли бы его и опаска обречь на неминуемую обиду самого этого «слепого скрипача», когда трудно, невозможно надеяться на снисходительность друга? Обречь даже на грубую именно обиду нищего, старика, слепца... Ужели Моцарт столь своевольно-капризен, жесток («Не вытерпел, привела я скрипача...»)? И неужели не вспомнил бы хоть о том, что отклик Сальери на такую «нежданную шутку» вмиг развеял бы и его, Моцарта, веселость — нечастую, редкостную после прихода к нему «черного человека»?.. («Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек».)

Нет, Моцарт не своеволен. Его свобода, как и его «вольное искусство», — это не своеволие, не череда прихотей «гуляки праздного». И Моцарт вовсе не занят тем, чтобы раздражать или упрямо на свой лад переделывать Сальери, насильно «угощая» его искусством трактирного скрипача или постоянно отвергая его мнения — посмеиваясь, «дурачась»; пропуская мимо ушей иные из суждений «друга», парадоксально, загадочно отвечая на другие... И Моцарт, конечно, не намеренно возвышает или снижает вещи, дабы опозорить Сальери при своих встречах с ним. Да и снижает ли? Да и возвышает ли?

Ведь, собственно говоря, постоянные эти его снижения, возвышения не только не сумасбродны, не только не направлены на углубление спора, на то, чтобы раздосадовать или хоть озадачить умного, с формальной правильностью мыслящего Сальери, утверждая правоту алогизма, безответственную самооценку так называемого своего мнения — Моцартова мнения, особенного, причудливого мнения «безумца» или отрешенного от земного разума «некоего херувима», — они, эти возвышения и снижения, весьма относительны: являются возвышениями или снижениями лишь на фоне всечасной, категорической и надменной субъективности Сальери, безоглядной эгоцентричности его.

И впрямь: пришло ли бы нам в голову, что Моцарт роняет себя («недостойн сам себя»), унижает Сальери, оскорбляет своим поведением феномен «бессмертного гения» и сами творенья его — если слушает трактирную скрипку, ведет с собою «слепого скрипача», увлекаясь, радуясь, ве-

сяясь корявым пиликаньем арии из «Дон-Жуана»? Пришло ли бы нам все это в голову, когда б не «разъяснил» нам того Сальери: не произнес своего обличительно-нравоучительного монолога («Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэля...»); не прогнал — с отвращением, презрением — «слепого скрипача», — когда б Сальери не «открыл нам глаза» на безумие Моцарта, смеющегося «осквернению» ценностей?..

Удивились ли бы, огорчились ли бы мы сами тому, что Моцарт, написав гениальную «безделицу», тут же забав о величии, «божественности» своего музыкального гения — «и мог остановиться у трактира И слушать скрипача слепого»? Мы бы сами, не заметив того, не думая, «остановились» с ним вместе — если даже не потому, что непосредственно так же, как он, то хоть затем, что доверились бы ему, чуя, зная: не может быть праздным, неважным то, что «останавливает», увлекает и веселит Моцарта, пусть перед нами сейчас не собственно работа его, а как будто лишь его «праздность», — ведь достанет ли у нас ума, точности, знания, чтоб отделать, уверенно отсесть ее от работы его, «моёй работы»? Да и возможно ли вообще вычленивать жизнь его духа, строго вылуцив «бессмертный гений» из живой, человеческой, «смертной» жизни Моцарта? Это можно, кажется, только когда Моцарт станет «как труп». Когда музыка Моцарта перестанет возникать, рождаться.

И разве заключили бы мы, что Моцарт недопустимо, нелепо возвышает вещи, когда пьет «за твое Здоровье, друг, за искренний союз, Связующий Моцарта и Сальери», — если бы Сальери не совершил этого последнего, незаметного и непоправимого уже «жеста» — не бросил «яд в стакан Моцарта»?.. «Осторожно, Моцарт! Не пей, Моцарт!» — готовы закричать мы лишь потому, что мы, публика, видели этот, невидимый Моцарту, жест. А что выпить за дружбу, на дружбу, за «искренний союз» с инакочувствующим, инакомыслящим, вообще иным и иным, хоть с недругом, можно, когда по взаимному согласию сидишь за совместной трапезой с ним, — в этом мы сомневаемся мало... Да и глянем с другой, обнаженно-практической, стороны: что, что возвысил Моцарт, когда за эту дружбу, этот союз — какому, как ведаем мы достоверней, чем в эту минуту Моцарт, веки не быть, не бывать, — когда, если за этот союз выпил он... яд?!

Моцарт точен, сверхчеловечески, «фантастически» точен. (Таково свойство его

«доверчиво-наивной» действительности в ее отношении к истине.) Он не циничен, не романтичен. Его естественность, благожелательная простота оказываются на деле трагической мудростью. Он поразительно, самоотверженно (хоть и не знает того) точен — при всей страшной, смертной цене его мудрости, его простодушия, естественности или гениальной точности.

Все сниженья, все возвышенья Моцартом вещей — глубоко, сутубо относительно. Они происходят в строгой причинно-следственной, а верней — гармонической связи с суждениями, чувствами, мыслями, поступками Сальери. Будучи постоянно обратными им. Моцарт возвышает все, надменно занижаемое Сальери. Снижает все, самоуверенно возвышаемое Сальери...

Тут, в «маленькой трагедии», напряженный по своему существу диалог, идеально драматический, идеально сценический, от которого вот уже полтора века безнадежно отстает театральная сцена. Каждый такт его полон громадного содержания — не только психологического: философского, космогонического, — отражая процесс космического равновесия во всем драматизме его. Ритм этого диалога так же неуловим в идеальной строгости музыкально-художественного расчета, а верней — творческой интуиции гения, словно ритм равномерно колеблемого изнутри мироздания, чудесно удерживающегося от распада — удерживаемого от катастрофы на тонком, тончайшем, порой и «тающем» волоске от нее... Каждый «такт» этого диалога чреват взрывом, таит взрыв, идя точно по лезвию ножа, имя которому: несовместность, несуществование говорящих.

Между тем герои не ссорятся: ни один из них, хотя и по разным причинам, не стремится к ссоре. Что ж до Моцарта, то все — постоянные — его несогласия с Сальери отнюдь не таят в себе вражды. В них не только не «клокочет» антагонистическая страсть к собеседнику, они не только не озабочены окончательным утверждением своей правоты, — они, эти вечные Моцарты несогласия, как ни странно такое звучит, умиротворительны, примирительны, хотя и вполне далеки от компромисса с жестокой действительностью Сальери. Не согласный с Сальери, Моцарт не сам примиряется с ним — его действительностью, но словно бы хочет, а верней — непроизвольно пытается, примирить Сальери... с миром, который тот «отвергнул», от которого тот «надменно отрекся». И в этом «незаметном», но неуклонном

стремлении Моцарта — его противление действительности Сальери, опасной, дисгармонической действительности.

Моцарт одушевлен не личной своей правотой («Я знаю, я», — как то свойственно Сальери), но истинной, которая безразлична, собственно, к носителю ее, которая — «ничья», анонимна в ее абсолютной стройности и чистоте и потому никак не может быть предметом чьего-либо самоутверждения, поводом торжества самолюбивой чьей-либо правоты... Которая не может быть поводом, предметом, ибо является полной, смыслом.

Удивительна форма Моцартовых несогласий с Сальери. Возражая, Моцарт, однако же, словно бы лишь уточняет. Бережно уточняет. Гениально точный, он словно бы лишь поправляет Сальери — моментально, стремительно, бдительно, осторожно...

Сальери.

...Он слишком был смешон

Для ремесла такого.

Моцарт.

Он же гений,

Как ты да я.

Сальери.

Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

Моцарт.

Бал право? может быть...

Моцарт делает эти поправки подчас и впрямь незаметно — почти совсем незаметно. Как вот это «может быть» — легкое это сомнение-утверждение, утверждение-сомнение, относящееся разом и к «богу», то есть глубине Моцартова самосознания, и к самоуверенности Сальери.. Или это: «Он же гений, Как ты...» — парадоксальное, простодушно-наивное будто бы замечание, в котором содержится, однако, не просто лестный отзыв о Сальери, но и тем самым отрицание, отвержение как недействительной самой сущности Сальери — реальной его сущности злодея или подсознательный призыв к нему — «опомниться», увидеть и оберечь себя как «гения», то есть как жизнетворную силу.

Парадоксальное отрицание. Спасительное, спасающее отрицание. Бесполезный, нелепый призыв — великодушный призыв-протест... В котором равно присутствуют, кажется, и надежда, и тревога, и боль. Тревога, боль или ужас — не за себя только. Попытка оберечь («спасти») себя — в созидательном кругу «гениев», но с

тем вместе оберечь и Сальери, напомнив ему о несовместности со злодейством — гения... Каковым жаждет быть, слыть Сальери. С каковым он хочет «сравняться»... Все это — интуитивно, подсознательно, бегло, в той огромной спрессованности мыслей, предощущений, чувств, в той глубокой многозначности, музыкальности и полифонии смыслов, что присуща суждениям Моцарта при всей быстроте, краткости их...

Ведь разве не горесть за Бомарше звучала «безумном», безумно-предположительном и совсем недоверчивом, вспыхнувшем на миг, вопросе Моцарта: «Ах, правда ли, Сальери, Что Бомарше кого-то отравил?»

Горесть о Бомарше, тоскующая горесть от безумно-предположительной возможности невероятной, злодейской сущности его... Ведь Моцарт даже не знает, кого отравил якобы Бомарше («...кого-то отравил...»), и, значит, видит тут более всего сторону Бомарше — недоумевая, страдая за него («Ах, правда ли...»), содрогаясь, ужасаясь кровавой, немислимой клевете, имеющей, в своем фантастическом замысле, цель покачнуть мирозданье, а с тем вместе «зачеркнуть», низринуть Бомарше в некий хаос, глухую пучину — с дивных полей «вольного искусства», счастливых высот гармонии...

Бомарше, конечно, не отравил, не отравлял. Поручкой тому — отзыв Сальери, не признающего в Бомарше себе пары: «...он слишком был смешон Для ремесла такого». А Сальери ли не угадать, не почуять себе подобного? Сальери, столь ясно знающему признаки той группы, спайки, однородной и тесной общности, которую определяет он как «мы все»... Да и не об убиийце же, право, стал бы напоминать он, желая отвлечь свою жертву от нехвата охвативших ее черных мыслей, близких и к подозрительности («Мне кажется, он с нами сам-третьей сидит...»), способной — не ровен час — сорвать замысел Сальери...

Сальери не доверяет слуху о Бомарше, потому что он не доверяет Бомарше — солидности Бомарше: «...смешон...» Потому что не верит — «смешной», «безумной» — действительности гения.

Моцарт не доверяет слуху о Бомарше, потому что доверяет Бомарше — верит единой для всех «гениев» действительности гения.

«...Как ты да я», — пытается он примирить Сальери с действительностью гения, жертвуя даже ее исключительностью, исключительностью Бомарше или своею (ведь

«нас мало избранных, счастливых праздных...»), — да, впрочем, она для Моцарта, в сущности, всеобъемлюща — действительность «гения», творчества, созиданья, антизлодейства! Созидательная действительность как широкая реальность возможного в мире творчества. Как реальность и всеобъемлющий идеал реальности. Проникающий ее, над нею парящий, от нее неотрывный, для нее животворный, насыщенный и сущий в ней...

Бомарше близок Моцарту. Хотя Моцарт и не говорит о личном своем знакомстве с ним. Хотя Бомарше, по Моцартовым же словам, «был... приятель» как раз Сальери. «Ты для него „Тарара“ сочинил», — вспоминает Моцарт в разговоре с Сальери. Хотя сам — сочинил «Свадьбу Фигаро» на сюжет Бомарше, и не отсюда ли, кстати, не из этой ли оперы Моцарта «слепой скрипач в трактуре Разыгрывал voi che sapete» («Вы, которые знаете...»), то есть арию Керубино?² Знаменательно, что восклицание Моцарта в рассказе об этом трактирном исполнении: «Нет, мой друг, Сальери! Смешнее отроду ты ничего не слыживал...» — корреспондирует с позднейшими словами Сальери о Бомарше: «...он слишком был смешон...» — словно бы относясь дальним каким-то образом не только к скрипке «слепого скрипача», но и к побудительной причине этой Моцартовой музыки — к Бомарше, хотя в смехе Моцарта нет воистину ничего от насмешки, а только — веселье, радостное веселье, причиной коего служит, пожалуй, и корявая скрипка, и ария, и образ, созданный Бомарше...

Это, кажется, вовсе не исключено, что Бомарше присутствует в обоих разговорах Моцарта и Сальери: явно — во второй сцене; косвенно, через музыку, на дальнем плане — в первой³.

² По сообщению исторических источников, Моцартова «Свадьба Фигаро» не ставилась в России вплоть до сезона 1836/37 года. Но фрагменты ее Пушкин мог слышать в музыкальных салонах Москвы, Петербурга или в Одессе и значительно ранее, отчего вовсе не исключены мотивы ее в «маленькой трагедии».

³ Указанием музыковедов на сходство заключительной фразы арии Лепорелло: «Voi sapete quel che fá» («Вы знаете то, что <он> делает») из Моцартова «Дон-Жуана» с цитируемой пушкинским Моцартом: «Разыгрывал voi che sapete» — вряд ли можно воспользоваться, размышляя над рассказом его об игре «слепого скрипача». Это указание, пожалуй, навечно дальнейшей ремаркой Пушкина — о слепом скрипаче в доме Сальери: «...играет арию из Дон-Жуана», — произвольно обусловлено ею. Скорей же

Тень Бомарше витает над сценой, проникая сюжет. Она служит поводом для выражения главной мысли Моцарта: «...гений и злодейство — две вещи несовместные». Мысли, драматургически вызревшей — от обратного: от шального, беглого, странного вопроса, вызванного слухом, «сказкою» о Бомарше, «Ах, правда ли, Сальери...» — как будто бы проверяет Моцарт вздорность вздора о гении. И одновременно с высокомерным, серьезным ответом Сальери по поводу нелепого слуха в нашем сознании вспыхивает прежнее уверье Моцарта: «Смешнее отроду ты ничего Не слыживал...» Связанное с трактирной скрипкой, с этим «Вы, которые знаете...» — «voi che sarete»...

Тени Бомарше пристало на протяжении всей пьесы быть некоей посредницей между (вовсе не близкими друг другу) Моцартом и Сальери — хоть бы потому, что оба они писали музыку на основе образов Бомарше. Это посредничество естественно могло выявиться в рассказе о трактирной арии, с каким входит Моцарт к Сальери, — как выразилось оно затем «развлекательным» воспоминанием Сальери о Бомарше, в трактире Золотого Льва... Так ли случайно упоминает Сальери именно о Бомарше, когда хочет развеять «страх ребячий» Моцарта? Поминает — должно быть, держа в уме давешний смех Моцарта, косвенно связанный с Бомарше... Зная, что беззаботная эта (точно «гуляка праздный»), творческая тень в силах содействовать просветлению «пасмурного» Моцартова состоянья... Что Моцарту близок, для Моцарта убедителен этот «смешной» Бомарше — призванный, чтобы еще раз подсветить сцену...

Роль Бомарше в «маленькой трагедии» несомненна и ввиду общего драматургического построения вещи, где наряду с полярностью главных действующих лиц (Моцарта и Сальери), вообще действующих лиц (потому что «слепой скрипач» в своем, то есть в близком к Моцарту, роде также противоположен Сальери), заметна «симметричная» этому полярность, взаимная соотнесен-

всего Моцарт повторяет точно и прямо именно начальную фразу слышанного им в трактире: «voi che sarete» — как нечто однозначное. Так поет Керубино, так начинается ария Керубино, и подобный способ названия оперной арии — начальной фразой ее — общепринят. К тому ж арию Лепорелло трудно представить себе в скрипичном исполнении, тем паче при малом умении трактирного «скрипача». Да и при любом умении вряд ли какой-либо музыкант взял бы ее для сольного исполнения: слишком много терлет она вне оркестровых красок, как и вне вокала...

ность лиц не действующих — не выходящих перед нами на сцену. Среди них обращает на себя внимание, конечно, Изора, противостоящая разом и жене Моцарта и Бомарше. Составляющая с каждой из этих скрытых «за кулисами» фигур внутренне несоместную пару.

Вот яд, последний дар моей Изоры, — говорит Сальери, называя далее яд «заветным даром любви».

Изора, которая, очевидно, умерла, а верней — ее тень, играет важную роль в смысле содержания трагедии. Это — типично романтическая героиня, мрачно-романтическая, зловеющая, неспроста стоящая рядом с Сальери: «моя Изора». Его Изора.

Яд, подаренный Изорою Сальери для его самоубийства — и во всяком случае для какого-то убийства, — есть, по Сальери, «заветный» залог ее любви. И, как «последний дар», он похож, стало быть, на завещание. У него — священная ценность, у этого дара — яда.

Изора, дарительница, способна именно к разрушительной, сеющей смерть и, значит, совершенно парадоксальной «любви». («Парадоксальной в отношении к истине», — вспоминаются тут слова Белинского, сказанные о «справедливости» в понимании Сальери.) Не целительная, не спасительная — смертоносная эта любовь основана, верно, на том же эгоцентризме, патетически-страстной, «благородной» жестокости, что присущи и самому Сальери. Жизненавистничество — не в нем ли пафос этой разящей «любви»?

Как у ангела смерти, черны крылья тени Изоры.

На ином полюсе, в сравнении с этой «любящей» тенью, — жена Моцарта, также не действующее лицо «маленькой трагедии».

Но дай, схожу домой, сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась, —

говорит Моцарт, и нам рисуется простая, мирная картина, обед, противоположный яду. Картина, струящая тихий свет...

Образы не действующих лиц пьесы достаточно символизированы. Они выражают силы (тенденции) мира, стоящие за плечами главных героев, служат панораме в ее общей жизни, не исчерпываемой двумя главными полюсами (Моцарт — Сальери) при всей огромной напряженности между ними, словно бы не оставляющей места для других, не столь крупных, разнозаряженных полей... Образы не действующих лиц,

проясняя косвенно характеры главных героев, окружают их — не одиноких, а лишь выдвинутых на авансцену по причине наиболее ярко, сгущенно явленных в них противоборствующих мировых сил.

Символизированные (как скупы, метки средства, использованные тут автором!), образы этих не действующих лиц вместе с тем более или менее рельефны. Порой и совершенно как будто слышимы, зримы — так сильна иллюзия их присутствия. Этой явственностью особенно обладают «черный человек», заказчик Requiem'a, и Бомарше.

Пожалуй, условной всех — жена Моцарта: тень, лишь названная, о словах или поступках которой нам неизвестно даже в пересказе. Между тем она не случайно введена Пушкиным — и не только затем, чтобы мы уверились в заботливой нерассеянности Моцарта. Поминание жены Моцарта и связанной с нею возможности мирного семейного обеда — вместо коварного приглашения Сальери — служит и задаче драматургической, не говоря уж о драматизме сюжетном: роковом выборе, бессознательно сделанном Моцартом, который не пользуется предлогом (жена дожидается его к обеду!), чтоб отказать от трапезы в трактире Золотого Льва.

Кажется, дело в том, что перед обедом с ядом, в виду предстоящего обеда с ядом (какого не может избежать Моцарт по всему благожелательному, умиротворяющему ситуации своему характеру) нужен был — драматургически и идейно, ради полноты самой правды жизни — другой образ мира, простое, мягкое, будто и незначительное напоминанье об иных, не смертоносных силах, веяниях. Эти веяния — свидетельство бытия Моцартовой, не враждебной к жизни действительности, ее развернутости в пространстве, ее живых, пусть нечетко видимых, лиц, ее более или менее прочных (крупных) опор... Подобную же роль, кстати, исполняет и Моцартов «мальчишка» («...играл я на полу С моим мальчишкой»), когда приходит к Моцарту «черный человек». Этот малыш — веселый, должен быть, поглощенный игрой, — отгнетет, конечно, в рассказе Моцарта мрачную черноту «черного человека», а вместе с тем и противостоит ему, хотя о том и не знает. Так скрещиваются, перекрывают друг друга, ложатся один вслед другому, один рядом с другим или поверх него разной силы и яркости образно-смысловые противоборствующие лучи во всей «маленькой трагедии»...

Противоположная жене Моцарта Изора, угольной тенью выступившая из-за кулис, противостоит не только этой спокойно-до-

машней, абрисом видимой вдали фигуре — резко противостоит она и Бомарше. Довольно сравнить «завещанье» («заветный дар») Изоры на случай, когда жизнь покажется «несносной раной» (смерть — вот выход из мрака, научает Изора!), с заветом, советом Бомарше, о каком рассказывает Сальери Моцарту в трактире:

Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку...

Откупорить шампанское — предлагал Бомарше в отличие от завета Изоры «откупорить» яд.

Сообразно этим внутренне-контрастным парам можно усмотреть в пьесе еще одну «несовместную» пару лиц не действующих: «черного человека», заказчика Requiem'a, и Бомарше, как и то, что каждый из них бесплотно, но с непреложною явственностью дважды проходит перед нами: однажды — в музыке Моцарта, затем — в рассказах действующих в трагедии лиц. Подобно тому как «черный человек» ощутимо «провеял» в том «виденье гробовом», которое отразилось в Моцартовой гениальной «безделице» (она ведь написана, как выясняется дальше, после его прихода и даже после «Реквиема»: «Сегодня...», а не «недели три» тому), Бомарше, кажется, весело, «смешно» провеял в самом начале действия, в этом «voilà savez-vous» — в арии Керубино, переложенной на струны трактирной скрипки. Подобно тому как «черный человек» присутствует в рассказе Моцарта о заказе ему Requiem'a, Бомарше присутствует в ответном воспоминанье Сальери:

...Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Впрочем, «подобно тому» («провеял») понимать надо как: обратно тому. Потому что если «черный человек» вторгается «незаметным мраком» в мысли Моцарта, музыку Моцарта, в его бессонницу, то Бомарше (тень Бомарше) веселостью, смехом Моцарта (от игры трактирной скрипки) знаменует свое — дальнейшее — присутствие. Если «черный человек» в рассказе Моцарта о заказчике «Реквиема» «покою не дает» своим зловещим обликом, веяньем, то Бомарше приветно машет Моцарту из воспоминанья Сальери, и впрямь рассеивая на миг своим дружественным, «шампанским» советом тревогу и пасмурность Моцарта.

Моцарт оживленно подхватывает разговор о Бомарше:

Да! Бомарше ведь был тебе приятель,—
непроизвольно подчеркивая разноокрашен-
ность вызванных воспоминаниями образов:
«Мой черный человек» и «приятель» —
приятное, а не мрачное явление теневого
персонажа...

Тень Бомарше — веселая тень: и при пер-
вом и при втором своем появлении. Это
во всяком случае светлая тень: она
прямо противостоит черному — «мыслям
черным» и тем самым, конечно же, «черно-
му человеку»! Она побеждает «мысли чер-
ные», вооруженная жизнерадостною «Же-
нитьбой Фигаро», пьесой, которая сопряга-
ется с Моцартовой «Свадьбой Фигаро»,—
хоть бы с той же целительной арией Керу-
бияно.

«Откупори шампанского бутылку иль
перечти „Женитьбу Фигаро“»,— говаривал
Бомарше.

«Смешнее отроду ты ничего не слыхи-
вал»,— точно бы эхом радостных слов
Бомарше, предвосхищением или нечаянным
подтверждением справедливости совета его
кажется это Моцартово уверенье, пусть и
по поводу трактирной скрипки. Словно бы
Моцарт, идя к Сальери, гонимый «черным
человеком», не покидаемый им, как раз не-
ожиданно, пусть и не прямым — причудли-
вым, «волшебным» образом именно п е р е -
ч е л у трактира «Женитьбу Фигаро»: так
нежданно развеселился посреди своих
«мыслей черных», уже томивших его,—
развеселился, как и предсказывал Бомарше:
по «рецепту» Бомарше, по одному из весе-
лых его советов, шутивно-серьезных, дель-
ных рекомендаций!..

Велика музыкальная ассоциативность
пушкинского текста, прочно связанного с
Моцартовой музыкой — слитого с нею, и
она искрами вспыхивает в нем.

Откупори шампанского бутылку...

Так ли уж однозначна эта стихотворная
строка? Только ль само шампанское при-
водит она на ум?.. Да уж не арию ли
«с шампанским» играл слепой старик у
Сальери: «Старик играет арию из Дон-
Жуана; Моцарт хохочет»... Мысль — шаль-
ная, «случайная»; но разве опроверить поэти-
ческий текст может содержать смыслы, перек-
лички смыслов, незаметные самому твор-
цу, бессознательно для него присутствую-
щие в тексте, как и обладать тем масшта-
бом точности, на который хоть бы и не
претендовал сознательно автор... «Тайная
свобода» художника то и дело может быть
тайной и для него самого — в конкретном
ее содержании всякий раз и перспективе

Пушкин слушал Моцарта, как и писал
своего Моцарта, чуя некое его сродство с
собой. (Впрочем, автобиографичность этого
образа — особая тема, как, в свою очередь,
роль этой «маленькой трагедии» в дальней-
шей судьбе — жизни и смерти — Пуш-
кина⁴.) Это сродство — Пушкина и его Мо-
царта (просто: Моцарта) — продолжается в
глубь «маленькой трагедии», распростра-
ясь уже и на пушкинского Бомарше.

Бомарше напоминает Моцарта своим про-
стодушным высоким самосознанием. Кото-
рое, впрочем, лишено торжественности,
помпезного «самонесения» (как у Сальери),
а в своей непосредственности, нечванливо-
сти близко к Моцарту светло-спокойному
самоответствию. Сравним в самом деле
простодушные, «самопохвальные» или «са-
моуверенные» (как решил бы не понимаю-
щий этих характеров) речи их.

Бомарше:

...Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Моцарт:

Из Моцарта нам что-нибудь!

Или:

...гений,
Как... я.

Тень Бомарше дает нам — непроизвольно
показывает — и знаменательный образец
дружбы с Сальери, то есть «дружбы», на
какую способен Сальери. Это, собственно,
конечно, не дружба, а род приятельства, и
притом — именно ответного только при-
ятельства. Как точно, по своему обыкнове-
нию точно говорит об этом Моцарт:

Да! Бомарше ведь был тебе приятель...

Словно бы приятельство исходило от Бо-
марше, как от Бомарше исходила и музыка
Сальери, та единственная «вещь славная»,
которую поминает Моцарт: «Ты для него
„Тарара“ сочинил...»

Для него — как: по его заказу, воле.
И мы уже знаем, как снисходительно,
сверху вниз, смотрит на своего «приятеля»
— Бомарше — Сальери, хотя в то же
время и хвастает этим знакомством.

Точно так и теперь приятельство, добро-
желательность исходит в паре Моцарт —
Сальери от Моцарта. Приятель... Готовность

⁴ В «Моцарте и Сальери» несомненно со-
держится некое страшное пророчество, в
том числе и сугубо личного для Пушкина
свойства, имея в виду, что и он, «бессмерт-
ный гений», столкнется с глухой корпора-
цией «чад праха», призванных «его остано-
вить...».

быть приятелем и — больше того — другом, уж коли они встретились и даже — впервые — обедают вместе: «За твое Здоровье, друг...» И Бомарше, очевидно, так же, как Моцарт, «не замечал» эмоционального неравновесия, душевной несхожести в их «паре»: «Слушай, брат Сальери...» — беспечно говаривал он. Не замечал — игнорировал небратское высокомерие, скрываемое Сальери, но выработанное им («...смешон!») по необходимости для самолюбья завистника, гордеца отыскать уязвимость, ущербность во всем, что выше его... Или, верней, Бомарше так же, как Моцарт в своих обращениях к Сальери, «говаривал» это приветливое «брат», не вкладывая в него полноты духовного смысла, то есть, как Моцарт, являя ту не уловимую словом этическую артистичность, которая — не ложь, не лесть, но словно бы вечное, мягкое, щедрое предоставление собеседнику, сотрапезнику, знакомцу в о з м о ж н о с т и быть приятелем, другом, братом.

Он же гений,
Как... я,—

неспроста сказал о Бомарше Моцарт.

Не согласный с Сальери, Моцарт не разбивает его суждений по бесспорным правилам логики, не отклоняет их с развернутой аргументацией, а будто лишь дополняет их, предлагал взглянуть шире, внимательней, с другой стороны на обсуждаемый предмет, — пусть эти дополнения, напоминания или уточнения и являются, в сущности, антитезисы. Как антитеза выглядят они, однако, по преимуществу в общем контексте диалога героев, а не в каждом отдельном моменте послышки — и отзыва на нее, вопроса — и ответа.

Возражая Сальери — то есть дополняя суждения его, или напоминая о другой стороне обсуждаемого явления (сущей, возможной или должной), или же «чуть» сомневаясь в слышимом от Сальери, — Моцарт всякий раз не столько прямо опровергает, тем паче — обличает, собеседника, сколько выдвигает некий крен, опасное неравновесие, «обуздывая» дисгармонию, опасную — да не только ж для Моцарта, «бесмертного гения», обреченного выпить яд в «чаше дружбы!» — но для многих, многих: «слепого скрипача», Бомарше, «толпы» или трактирной публики, приговариваемой к тупости и бессмысленности... Опасную для мира, опасную и для самого, не ведающего о том, Сальери.

Моцарт произвольно, «незаметно», последовательно и неустанно гармонизирует

мир. Не разрушает его — по его несовершенству, не отвергает, а, не гнушаясь, берет именно материал мира и приводит его в гармонию или способствует его гармоничности, видя образ собственного его совершенства в нем самом. Так, не оспаривая, что Бомарше «слишком был смешон», не раздражаясь высокомерным самодовольством Сальери и даже несколько не унижая того перед Бомарше, Моцарт высвечивает в самом («смешном», легковесном или несолидном, по Сальери) Бомарше то, без учета чего нельзя строить предположений о поступках Бомарше: «Он же гений...»

«Как ты...» — добавляет, великодушно уподобляет Моцарт, не гнушаясь и этим материалом мира — Сальери, — предоставляя ему последнюю возможность присоединиться к «несовместному» со злодейством созидательному кругу («Он... ты да я»), быть среди «гениев», «смешных», или с виду «праздных», или пусть угрюмо-усердных, но — это главное! — безусловно противостоящих злодейству.

Моцарт ни разу не гнушается этим материалом мира — Сальери. «И ты смеяться можешь?» — возмущался Сальери «кощунственной» веселостью Моцарта, когда трактирная скрипка пародировала арию из «Дон-Жуана». А Моцарт — не оправдывался, не объяснял «правомочности» своей веселости, а лишь изумился: «Ужель и сам ты не смеешься?» — словно бы надеялся в самом Сальери найти то, чем гневно возмущается он...

В том-то и состоит идеально выдержанный, принципиальный драматизм диалога в «маленькой трагедии», что диалог этот проясняет не только конкретные характеры, но путь незримой, бережной, героической гармонизации, направленной на ту силу, что «надменно» противопоставила себя миру. Гармонизации, которой не суждена окончательная победа на глазах у зрителей, но которой дано жить, длиться в их душах, пусть уже и упадет занавес, скрывая от них сцену, содрогавшуюся от подспудного гула бездны, что жадно разверзлась перед убийцей в зловеющий миг его торжества.

...или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватинаиа? —

так, самочинно и «беззаконно» для Сальери, продолжается путь гармонизации, работа гармонизации, длаящаяся после смерти Моцарта словно бы уже самопроизвольно над убийцей, обрекая его на полную, последнюю уж безвыходность, открывая перед ним всю бесплодность его торжества, сле-

поту вероломного, чудовищного злодейства.

Этот вопрос — о «сказке тупой, бессмысленной толпы», — содержащий внутри себя два полюса: «убийца» — «создатель», которых не «стянуть», не совместить, грозно нависает над зрителем, вопрошая собственную его, потрясенную душу. Выдвигая немолчимую альтернативу или предлагая выбор между правдой Моцарта и... трупом Моцарта.

«О Моцарт, Моцарт!» — не раз вздохнет мысленно читатель и зритель, оставшись наедине с задачей, какую задал Моцарт. «Не правда ли?» — коротко спросил тот о своей правде каждого из нас.

И тут впору отметить способ внесения Моцартом в мир своей мысли, то есть — истины, — о каком можно сказать: безболезненное для мира внесение ее в мир, словно бы она всегда, «от века», привычная, обреталась в нем.

Опроверженьями и обличеньями — занят Сальери («Где ж правота...»; «Неправда...»; «...И мог остановиться у трактира... Боже! Ты, Моцарт, недостойн сам себя»). Моцарт же, неполемичный по тону, стилю своих высказываний Моцарт, занят не опроверженьями чего-либо сущего в мире, но в являемых и присущих миру возможностей, тенденций, вещей, скрытых от взора Сальери, не попадающих в поле его зрения, потому что у Сальери узкое, себялюбием подсвеченное поле зрения, или, иными словами, предвзятое зрение.

Моцарт в «маленькой трагедии» занят выявлением присущих миру возможностей, так же как в своей музыке занят выявлением красоты, глубины, стройности, присущей миру, а не изобретаемой с помощью ремесла и наук. И в этом выявлении на месте отвержения, или опровержения, — огромная конструктивность Моцарта. Конструктивность гения, который равно не утопичен и не нигилистичен. Конструктивность — то бишь создательность.

Способ внесения Моцартом в мир своей мысли, или, что то же самое, способ выявления истины в мире (в нем же, в мире, а не собственно в Моцарте, «только» в Моцарте сущей), основан на таком внимании к миру, когда наблюдение слито с уважением, есть уважение, или уважение-наблюдение. Издали кажется оно беспечностью, безучастностью, легкостью, не подразумевающей строгих убеждений, «позиции», а подразумевающей разве что «из ничего» выросшие представления — вроде того, например, что: «...гений и злодейство — две вещи несовместные», — так что недоверие, будто «Бомарше кого-то отравил», основывается

на единственном соображении, единственной — впрочем, точной — данности: «Он же гений...» И лишь постепенно понимаешь, что Моцарт обладает большим, чем убеждения или символ веры, — он обладает знанием. Не просто верой в какую-то «свою» истину, но причастностью к самой — не «своей» и ничьей — истине, и «позиция» может состоять в таком случае только и именно в беспристрастности, непредвзятости, пусть они выглядят для поверхностного, рационалистического взгляда беспечностью, наивностью, уклончивостью или «лучезарной» праздностью мысли, «простительной» (якобы) гению художественному — гению музыки... Пусть они выглядят для рационалиста даже и счастливой («завидной») праздностью мысли, а иными словами — слепотой, а не мудростью «детства», служа легенде о противоположности или возможной «разъятости», взаимной отторжимости и отторженности красоты и ума, творчества — и философского мышления. Легенде, которая позволяет разымать гения на «художника» и «мыслителя» или ставить вопрос, будто Моцарт, будучи по части непосредственного творчества неизмеримо выше своего убийцы, — «как ум, как сознание» гораздо ниже его...

Моцартова непредвзятость, Моцартово уважение-наблюдение, уважение-внимание к миру может объяснить нам принцип того диалога, в который вступает он с Сальери.

Тут интересно, что Моцарту драматургически предназначен, собственно, второй голос. Хотя это Моцарт, по самому драматическому сюжету (например, поскольку он является к Сальери, а не наоборот), предлагает «горячую», то есть оказавшуюся такой, тему. Ведь это Моцарт вводит — даже и физически вводит на сцену — тему «слепого скрипача»; и это Моцарт задает неожиданный вопрос: «Ах, правда ли, Сальери, Что Бомарше кого-то отравил?» Моцарт, главный герой «маленькой трагедии», движет ее сюжет, потому что и впрямь является жизнеобразующей, возбуждающей ход событий силой. Совершенно естественно является ею, без специальных намерений к тому: не для спора (острого конфликта) привел он трактирного скрипача и вопрос о Бомарше задает, в сущности, риторически — зная единственно верный ответ на него, и задает не из любопытства к слухам и не для умственного диспута, но из безотчетной внутренней тревоги, вызванной заказчиком Requiem'a, — из предчувствия насильственной смерти и желанья развеять его вспоминает он вздорный слух о Бомарше... И Моцарту, движущему сю-

жет, произвольно направляющему развитие действия, предназначен в диалоге именно второй голос. Это согласуется не просто с его характером, но с корректирующей, гармонизирующей его ролью — ответной, следовательно, а не инициативно-вожаческой относительно свободно плещущей вокруг него жизни. Не самонадеянный и уважительный к миру при всем «бессмертном гении» своем, Моцарт не диктует реальности «непременных» путей, форм ее бытия, а лишь охраняет ее от разрушения, приходит на помощь, когда саморазвивающаяся жизнь ставит себя на грань катастрофы.

Подлинный же зачинщик напряженного диалога — Сальери. Вот ведь, даже и заинтересованный в том, чтобы не оскорбить — не спугнуть — Моцарта, он не удерживается от гневной тирады, прогоняя «слепого скрыпача» и обличая того, кто «смеяться может», тешась игрою «негодной» скрипки. Вот ведь, даже и заинтересованный в том, чтобы Моцарт отвлекся от «страха ребячьего», рассеял «пустую думу», он не ограничивается по поводу «отравителя» Бомарше простым «Не думаю», но мотивирует свое скептически-ироническое мнение так, что понуждает Моцарта к «полемике», к изъяснению, по Моцарту, самоочевидного. И Моцарту приходится не только вступить за Бомарше («Он же гений...»), но противопоставить ценностям Сальери аксиому своей действительности — бесспорную, внеспорную, доспорную ее истину: «А гений и злодейство — две вещи несовместные. Не правда ль?»

Сальери спорит и дальше. «Ты думаешь?» — говорит он, отрицая объективность Моцартовой самоочевидности и переводя ее в план личного, субъективного Моцартова взгляда. То есть — как и в случае с Бомарше — ища, видя лишь индивидуальность, узкоприватные черты характера, мировоззрения, ума там, где проявляют себя как раз всеобщие-действительные, родовые основы личности «гения», творца... Как истый оспориватель, которого превыше всего заботит утверждение собственной правоты, победа своя, а не бескорыстное выяснение истины, как самоуверенный обличитель и ментор, Сальери не слышит Моцарта, не умеет слушать и слышать — и моментально переиначивает внутренне смысл и масштаб сказанного собеседником. Вечный оспориватель — по самозваному чину носителя «высшей» логической справедливости и «правоты», — он с равной рьяностью оспаривает и Моцарта, и «слепого

скрыпача», хоть последний не произносит ни слова.. И на время — приглушает словесный спор с Моцартом («Ну, пей же») лишь тогда, когда пускает в ход самый разящий «аргумент» — яд, способный, как ему поначалу кажется, «надолго» упразднить точку зрения Моцарта: «Ты заснешь Надолго, Моцарт!»

Инициативность «друза Сальери» как практического зачинщика спора, так сказать, «на ровном», по Моцарту, месте, нелояльность даже и к неведомому ему, первый, «ведущий» голос, принадлежащий ему в диалоге, сопряжены не только с нетерпимым характером этого героя, но вообще с агрессивностью Сальериевой действительности. Которая рвется чуждое, непонятное или неведомое ей заклеить гневом или унижить иронией, а в идеале — «целебно» отсечь, отметить, как «остановлен» будет в финале трагедии пушкинский Моцарт...

А Моцарт — со своим «негромким», вторым голосом — оказывается выслушивающим и отвечающим более, чем говорящим... Драматургия же диалога обеспечивается не только тем, что, но прежде всего тем, как отвечает Моцарт, точнее — как отклоняется он на Сальериевы серьезные, выношенные, умственно-страстные суждения. Ведь Моцарт не только не опровергает их — он вообще не отвечает, не отклоняется прямо на слова «друза».

И ты смеяться можешь? —

возмущенно спрашивает Сальери.

Ах, Сальери!

Ужель и сам ты не смеешься? —

вопросом на вопрос отвечает Моцарт.

Ты, Моцарт, недостоин сам себя, —

заключает Сальери.

Что ж, хорошо? —

отзывается Моцарт словно бы поверх этого заключения. Или переиначивая отрицательную характеристику: «недостоин» в положительную оценку: «хорошо».

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я, —

утверждает Сальери.

Вал право? может быть... —

не подтверждает и не отрицает этого Моцарт.

...он слишком был смешон... —
говорит Сальери.

Он же гений...—

снова поверх услышанного, вне прямого возраженья и даже как бы в виде странного пояснения Сальериевых слов говорит Моцарт.

Ответы, реплики, замечанья Моцарта в лучшем случае косвенны относительно суждений Сальери, а порой вовсе «отлетают» от них. Исключение составляют только два момента диалога — быстрый, прямой отклик Моцарта на приглашение «отобедать вместе» («Пожалуй; Я рад») и на предложение выпить отравленный стакан («За твое Здоровье, друг...»). Да и эти два момента лишь условно можно назвать исключениями, потому что и прямые отклики Моцарта полны своим, не солидарным с Сальери содержанием и «прямызна» их касается лишь сферы практического действия, но не смысла, который вкладывает в них Моцарт.

Такой принцип диалога позволяет, казалось бы, говорить о «театре абсурда» или же трагической «комедии ошибок». Однако театр Пушкина — вовсе не карусель перепутанных масок, роковых нескладниц, недоумений, не театр абсурда, призванный выразить тотальную разобщенность людей, безнадежно утративших взаимные внутренние связи, и «канонизировать» это царство бессмысленности. Театр Пушкина — театр ясного разума, ясного знания, ясно-видения, и все, что по внешности могло бы восприниматься как смешное (пусть и «трагически смешное»), оказывается величаво-глубоким, мудрым, стройным. Не перекрещиваясь, не пересекаясь, не будучи прямо, безусловно обратными друг другу, но соприкасающиеся реченья Моцарта и Сальери выказывают несовместность этих именно лиц, которые находятся в разных плоскостях друг относительно друга.

Есть тайна художественного времени в пушкинском «Моцарте и Сальери», приводящая к необъяснимой как будто, но стойкой абстракции: вторая встреча Моцарта и Сальери, в трактире, происходит, судя по тексту Пушкина, в тот же день, что и первая, в доме Сальери; однако кажется, что между этими встречами пролегло немало времени — во всяком случае не менее трех недель, в течение которых Моцарт сочинял Requiem...

«Что ты сегодня пасмурен?» — таким вопросом встречает Сальери Моцарта в трактире Золотого Льва. Верно, обмолвился, сказав «сегодня» вместо «сейчас»? Ведь Моцарт отлучался только «сказать Же-

не, чтобы меня она к обеду Не дожидалась». И ведь совсем недавно (час назад?), перед обедом, Моцарт был как раз весел, он смеялся, шутил («Моцарт хохочет», — помним мы пушкинскую ремарку да и слова Моцарта в доме Сальери: «Ужель и сам ты не смеешься?» — или шутовское, ироническое замечанье: «...божество мое проголодалось»). Да и не в пасмурности же (напротив, даже и в озорстве!) затеял Моцарт саму «нежданную шутку», приведя в дом Сальери «слепого скрыпача». И как оживлен он был, весел уже при входе:

Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя нежданной шуткой угостить.

То есть он собирался даже разыграть спектакль: угостить хозяина «смешною» скрипкой трактирного музыканта незримо для Сальери — чтобы тот не видел поначалу режиссера этого спектакля... Нет, в пасмурности — ежели весь день «сегодня» был пасмурен Моцарт — нельзя было б такого затеять!

Но Моцарт действительно предстает в трактире как будто иным — словно бы и впрямь минуло изрядно времени после его первой встречи с Сальери, много времени, в течение какого, кажется, и произошел «странный случай» — загадочный заказ Моцарту «Реквиема» неизвестным, «одетым в черном», — так что Моцарт даже не помнит, «сказывал» ли он об этом Сальери («Не сказывал тебе я?.. Так слушай...»). Так что даже — после признанья Моцарта: «Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек. За мною всюду Как тень он гонится» — трудно поверить в недавнюю, только что бывшую на наших глазах яркую веселость Моцарта...

Но с чем связано прежде всего это впечатление большого времени, пролегшего между двумя встречами «друзей»?

Оно связано не с «новым» Моцартом, явившимся в трактир, — явно пасмурным уже в самом начале. Ведь Моцарт и в «Сцене I» был все-таки разным (не только веселым и смеющимся) и даже, если вдуматься, «сказывал» уже о «странном случае» — «незапном мраке», «виденье гробовом», хотя «сказывал» в иной форме — музыкой (своей гениальной «безделницей») и предваряющими ее «общими» («...что-нибудь такое...»), образными, иносказательными и словами. Впечатление большого времени, разделяющего две встречи «друзей», вызвано и не обмолвкой Сальери («сегодня» вместо «сейчас», «нынче»), объяснимой, должно быть, его необычным, лихорадочным состоянием — накануне ис-

полнения «тяжкого долга», для которого он «избран»... Это впечатление обусловлено огромной насыщенностью «Сцены I» (в которой, в сущности, до конца выявлен тип Сальери, предсказаны все возможности его) и тайной пушкинской драматургии, способной дать иллюзию длительности там, где длительность действия даже и невозможна по причине острой «несовместности» героев.

Их личные отношения не имеют давности. Они складываются и развязываются «сейчас». На наших глазах. На наших глазах из более или менее отдаленного приятельства или не близкого знакомства они разворачиваются в полную жизненную «несовместность» этих двух лиц.

И не в том ли разгадка драматургического гения Пушкина? Не здесь ли мерцает сокровеннейшая тайна Пушкина — гения сцены, «бога» сцены, перед которым безнадежно пасует любой современный театр?

Возможность такого прочтения «Дружбы» между Моцартом и Сальери только кажется, будто упрощает вещи. Ведь статика внутреннего состояния и отношения героев друг к другу, якобы заведомо связанных дружбой, где Моцарт — слеп, от начала до конца равномерно и необъяснимо слеп, являя самую теплую, беззаботную дружбу к Сальери; Сальери — еще до прихода Моцарта готовится убить его, и первый же монолог Сальери не отличается, в сущности, от показаний убийцы после совершенного преступления, — эта статика, заданность положений, столь привычная сознанию театрального режиссера, актера, предстает в самом пушкинском тексте неуловимой, но безусловной динамикой; иллюстрации к заранее выясненным в возможных для них поступках характерам оказываются самим движущимся действием, произвольным, стремительно проявляющим эти характеры, — и произведение Пушкина, состоящее якобы из немногих психологически заданных, психологически однородных на каждом из полюсов пьесы сцен, открывает свою подлинно драматургическую природу. Оно являет нам механизм сцены в его уникально чистом виде. Являет не «драматическую поэзию», но драматургию как поэзию. С теми же, столь же нерукотворными тайнами, что и тайны сугубо лирической поэзии.

Ведь Пушкин берет историю (отношений Моцарта и Сальери) как будто в ее кульминации, даже — развязке: в день убийства Моцарта. Но внутри этого кульминационного момента, посредством его,

«одновременно» с ним, в нем, история эта разворачивает свои последовательные этапы, выводя на саму сцену (а не в пояснительные монологи действующих лиц) основные свои звенья. Она содержит лишь мнимую ретроспекцию, которая является для зрителя, в сущности, настоящим, которая и есть настоящее, дающее иллюзию временной длительности — иллюзию прошлого, какое якобы имеют эти только складывающиеся на наших глазах личные отношения героев.

Настоящее, которое происходит на наших глазах, начинаясь в доме Сальери, содержит в себе и все будущее. Оно «идет» к будущей своей кульминации, уже само втайне являясь ею, — и ощущение этого обусловлено не нашим историческим знанием об отношениях героев, но их, героев, собственным узнаванием, открыванием друга друга по мере их живого сценического поведения — самораскрытия, которое при всей сжатости вещи всецело и полностью случается перед зрителем.

Кульминационный момент отношений между Моцартом и Сальери, выбранный Пушкиным, — один-единственный, роковой для Моцарта (да и для «друга» его) день — оказывается и всю историю этих отношений. Так в зерне содержится все растение, все его прошлое и будущее.

Тут в действии заветнейшая — простая, труднейшая для овладения — «пружина театра». Стяжение, «спрессованность» завязки с развязкой — при внутренней развернутости неотвратимости последней... Тут — высочайшая композиционно-сценическая экономность, строго соответствующая психологической правде, которая в данном случае не терпит проволочек в действенном воплощении себя... Головокружительная сценическая экономность, которая пристала не описанию, более или менее стороннему и изображению глубины, но самой глубине и правде. Когда минимальное число эпизодов, кратчайшая (полудневная) длительность действия оказывается не отдельными «яркими» примерами отношений героев друг с другом, но всю их взаимную жизнь, всеми этими отношениями, которые равно зарождались бы, тут же сгорая, давая ту же развязку, где бы, когда бы, как бы герои ни встретились близко.

Стремительность и полнота действия, способного вырваться в одном эпизоде (одной встрече «друзей»), пройти весь свой путь в двух сценах, явив на столь малом отрезке времени всю свою протяженность, все, без остатка, свое существо, — служит мыс-

ли о безусловной «несовместности» героини, меж которыми не могла произойти более чем одна близкая — лицом к лицу — встреча, потому что любая такая встреча неизбежно привела бы к трагедии. Истории дружбы, длительности дружбы, давности близких личных общений между Моцартом и Сальери не было, потому что ее не могло быть. Потому что их отношения, приняв формы непосредственного, прямого общения, не могут иметь давности, серьезного прошлого, постепенной, тлеющей, правильно развивающейся истории.

Этой стремительностью безвариантного, неотвратимого действия «маленькая трагедия» сближается с трагедией рока.

Моцарт пришел к Сальери не потому, что тот — его друг, не потому, что насущно желал «кое-что показать» ценителю («бездлицу», наваянную бессонницей), не потому, что так уж непременно «хотелось Твое мне слышать мненьем»⁵, но согласно «алогичнейшей» драматургии самой жизни. По велению причудливейшего и самого неумолимого из режиссеров, имя которому — жизнь. Потому что в жизни именно так и идут — без складных мотивировок, без внешне видимых, разумных причин: уходя от тревоги, опасности, гибели, спешат безошибочно прямо в объятия к ней... Моцарт, наверное, не пришел бы к Сальери, когда б к нему, Моцарту, трижды не приходил безотчетно встревоживший его «черный человек» — таинственный, мрачный заказчик Requiem'a Моцарт пришел к Сальери с такой точностью, словно бы к нему, Моцарту, под видом неизвестного «черного человека» приходила тень

⁵ Разве с меньшею внутренней необходимостью, искренним интересом остановился он по пути у трактира, увлеченный мненьем трактирной публики — трактирной скрипки, толкующей, на свой лад, его музыку? Нет, не зря негодует, не зря уязвлен Сальери непереборчивым любопытством Моцарта к «мненьям»: «Ты с этим шел ко мне И мог остановиться у трактира И слушать скрыпача слепого! — Боже!»

Сальери, сама — «отслоившаяся» — душа Сальери, полная смерти, полная несовместного с гением зла, — призывая Моцарта в свое логово, к своему брошенному телу, стенающему от мук зависти в безлюдной, одичалой «келье».

О Моцарт, Моцарт! —

горестно восклицает Сальери в конце первого своего монолога после слов о снедающей его мучительной зависти.

Входит Моцарт.

Словно, окликнутый, пришел на зов...

Тут, конечно, момент чудесного, во всяком случае — для Сальери. Который поражен:

Ты здесь!..

(Даже не вопрос — изумленное узнавание нечаянного, чуда!)

И испуган:

Давно ль?

(То есть неужели слышал признание в зависти, так не вовремя, в непривычке к визитам Моцарта, при открытой двери вырвавшееся у Сальери!)

«Сейчас», — отвечает Моцарт. И это значит: вошел именно тогда, тотчас, как произнесено, названо было его имя.

Чудесность совпадения, пусть и не столь уж редкого в жизни, наводит на мысль о не случайной случайности. О том, что внешние мотивы действий лишь отражают собою глубинные, подспудные причины событий. Что биография — не самоценна, а есть лишь некая скоропись судьбы...

«Мне совестно признаться в этом...» — говорит Моцарт, рассказав о заказе Requiem'a.

В чем — признаться? В тревоге? В фантастической с виду причине своей пасмурности?.. Или в том, что истинный — не сказанный, трагический — смысл прихода его к Сальери и в трактир Золотого Льва не был высказан им?..

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

О. Мраморнов. Блажен, кто помнит... — Б. Рунин. Трагедия страха. — Мари-на Новикова. Цыганский кич или цыганский вопрос? — Г. Померанц. Голос другой культуры.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Калинин. В стороне от реальности. — Петр Черкасов. Конец Романовых.

Литература и искусство

БЛАЖЕН, КТО ПОМНИТ...

Виктор Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж. Роман. М. «Советский писатель». 1987. 607 стр.

Этот роман о кубанских казаках, но не о тех, которые улыбались нам с экрана в известном фильме И. Пырьева, а по преимуществу о других, колхозным строем так и не заживших. Действие происходит главным образом в Екатеринодаре (нынешний Краснодар, герои ласково называют его «наш маленький Париж»), но переносится и в близлежащие кубанские пределы — Тамань, Анапу, — и в столичные города — Петербург, Париж, Брюссель. Время действия включает последнее предреволюционное десятилетие и простирается вплоть до начала наших 80-х годов, но в роман входят и годы более дальние — эпические, былинные времена преданий, в которых живут и диковинно-сказочно действуют предки Луки Костогрыза, Петра Толстопята, Дементия Бурсака, Калерии Шкуронатской. Один из ключевых персонажей — Лука Костогрыз — рассказывает о деяниях своего героического деда, высадившегося вместе с другими запорожцами, уцелевшими после петровских и екатерининских репрессий, в Черномории в 1792 году. А его слушатели и собеседники переживают предания не менее живо, чем свою собственную эпоху. Совокупная память кубанского казачьего рода образует важный по ходу повествования пласт, придавая излагаемому черты народной эпопеи с присущей ей национально-исторической проблематикой. Повествуя о судьбах кубанского казачества на протяжении всего его исторического бы-

тия и более сосредоточенно — в период революции, гражданской войны, исхода части казаков за рубеж, в эмиграцию, роман включается в ряд произведений, смысловым центром которых являются не столько отдельные герои, сколько определенная социальная общность, в данном случае достаточно обширная.

В художественной литературе и исторической публицистике существует разделение России на Русь коренную, исконную, и окраинную, казацкую. У казацкой Руси, конечно же, тоже были свои историки и бытописатели (современному читателю, к сожалению, малознакомые), отозвалась она и в художественном слове: достаточно вспомнить некоторые главы из «Истории Пугачева» Пушкина, «Казаков» Л. Толстого, поэмы Павла Васильева, «Тихий Дон» Шолохова. В «Ненаписанных воспоминаниях» тема взята локально — кубанское казачество, и то не все, а только казаки-черноморцы, потомки запорожцев, с их ярко выраженным украинским, «малороссийским» корнем. В военном отношении они выставляли из своей среды особые пехотные казачьи части, так называемые пластунские батальоны, некоторое количество кавалерийских полков и по традиции вместе с терскими казаками входили в конный императорский конвой. (Другая часть Кубанского казачьего войска, место жительства имевшая в восточных районах области и переселенная сюда с Дона, в романе не затронута.) При

этом локальность темы не мешает делать выводы о казачестве вообще как об особом военно-служилом сословии, расселившемся вдоль границ Российской империи от Кубани до Уссури и сыгравшем огромную роль в становлении российской государственности. Эта книга еще раз напоминает о трагической судьбе значительной части казачества, представлявшего собой патриархальный, идеологически консервативный, замкнуто живший и трудно реагирующий на революционные процессы слой. Невольно напрашивается сопоставление романа Лихоносова с «Тихим Доном», хотя «Ненаписанные воспоминания» можно назвать эпопеей лишь в условном смысле: в романе Лихоносова повествование ведется в жанре семейной хроники, вернее нескольких хроник кубанских родов — Костогрызов, Толстопяттов, Бурсаков, Шкуропатских, атамана Бабыча; историзм неизбежно зависит от семейного, кланового воспитания и усвоения эпохи. В романе Лихоносова мы делаемся свидетелями не столько масштабного движения народных масс, их исторической и классовой сшибки, сколько конфликтов на уровне семейном, родовом. Самосознание героев романа во многом определяется родовым преданием, где некоторые сословные амбиции мирно соседствуют с патриархальной семейственностью, базирующейся на традиционной нравственности, религиозности, с молоком матери впитанных понятиях о чести и долге. В «Ненаписанных воспоминаниях» значительно детальнее показан парадный, церемониальный, государствененный срез казачьей жизни, который у Шолохова присутствует лишь по мере необходимости общим фоном, больше внимания уделяет Лихоносов и казачьей верхушке: многие его герои — выходцы из офицерских семей. Благонаравие семейного уклада контрастирует с внешней стихией жизни; потому, наверное, так неохотно входит в роман тема гражданской войны — семейное сознание ее не приемлет, отторгает. Напрасно мы будем искать в романе нечто напоминающее гражданскую войну у Шолохова — автор не следует канве исторических событий на Кубани; герои хроники — профессиональные военные, но даже самые воинственные из них практически не показаны в боевых столкновениях, в казачьей рубке, как, например, Григорий Мелехов.

Но у книги Лихоносова есть свой особый пафос. То и дело наплывают на повествование рефрены: «род приходит, и род уходит», «так проходит слава земная», «о горе, горе человеческое, самое большое го-

ре; умирание времени», «и придут времена, и исполнятся сроки», — и вся книга в целом являет собой мучительную попытку удержать родовую память от распада, остановить несущийся в пучину забвения поток жизни, вернуть утраченное время. «Между тем нам никогда не проникнуться прошлой жизнью как следует. Тайна ее лежит на самом дне. Еще и сочинять?! Всякая литература искажает историю» — эта извечная тягота художника все время присутствует и в тональности книги: здесь есть надрыв, идущий от осознания тщеты и недостаточности своего искусства в противоборстве со временем, с таинственностью утекающей, переменчивой, скрытой от наблюдателя жизни. Отсюда, мне кажется, избыточность предметов, характеристик, лиц, положений, создающая порой тесноту и пестроту повествования, отсюда — из желания воссоздать поток времени. Нас побуждают приблизиться к авторской боли — боли утраты, забвения, заставляют преодолевать общественное беспамятство и ложную память, искажающую, обесценивающую ушедшую жизнь, которую Лихоносов пытается реставрировать в ее максимальной близости к подлиннику.

«Еще и сочинять?!» — сетует автор. Удалось ли ему избежать искусства сочинительства? В целом, мне кажется, удалось. Лучшие страницы романа написаны не бойким и равнодушным пером, а, как говорится, сердцем и достигают взыскуемой подлинности. Сочинительство, правда, проглядывает в некоторых сценах: адюльтеры мадам В., переписка и разговоры коронованных особ — это все-таки беллетристические вставки, выделяющиеся на общем фоне своей придуманностью, но не они главное. Главное же — воспоминания, по различным причинам не написанные, не дписанные, реставрированные воображением или сохранившиеся в виде разрозненных страниц. (Так, автор уверяет нас в подлинности дневника сестры Петра Толстопята Манечки — одного из трогательных свидетельств эпохи, кажется, действительно исходящего от самоотверженной, жертвенной и умной екатеринодарской барышни.) Автор и не стремится представить эти и подобные воспоминания в завершеном виде, показывая отточиями, обрывами рукописи их фрагментарность, недоволщенность. Это не мемуары в традиционном смысле, не писания, а уже предания. Они доносят до нас не ту монументальную посылку истории, которую хранят летописи, а отзвук, аромат времени, придают историческому бытописанию слегка размытый ак-

варельный тон, уводят в не совсем ясную, но притягательную даль. Мы слышим живые голоса кубанцев, и разноголосица, поначалу кажущаяся диссоциирующим шумом времени, постепенно придает роману своеобразную панорамность и глубину.

Заносит воспоминания в заветную тетрадку «Досужие минуты кубанского казака» и Лука Костогряз, а он еще и поэт и мастер устного жанра — воплощенная память прежней Кубани. Почти тридцать лет прослужил Лука в императорском конвое, успел повоевать с горцами, «как нянюшка», ухаживал за Александром III. Когда народольцы наконец добились желаемого и Александр II был убит бомбой, брошенной Гриневицким, Луку сшибло с лошади взрывной волной, но он легко отделался, в то время как несколько других конвойцев погибли, и он, приезжая в Петербург, навещает их могилы. Необычный образ. Литература до сей поры не баловала нас оживлением таких лиц; иное дело Софья Перовская, Андрей Желябов и прочие первомартовцы — с одной стороны, царь и его окружение — с другой, к ним мы привыкли, а тут голос совсем из новой для нас среды. Костогряз — своеобразная трансформация традиционного для русской литературы образа старого ворчливого служаки, всю жизнь исполняющего некий важный долг. Он затейливо ведет диалоги: и с наказным атаманом Бабгычем, и с вдовствующей императрицей Марией Федоровной, и с Николаем II, и со своей верной Одарушкой. Его пересыпанная украинизмами речь сохранила блески самобытного юмора запорожцев. Излагаемые им со старческой словоохотливостью «побреженьки» на темы родной кубанской «старовыны» порой полуфантастичны, но никто из его окружения и не ждет исторической корректности; что касается верности преданию, духоподъемности слова, которое скрепляет времена, призывает к казацкому долгу перед родиной и свидетельствует о неуничтожимости народного духа, — их Лука сохраняет. Когда связь времен рвется и рушится извечное, былинное, чем жив был Лука, а новое наваливается на него всей своей неподъемной для старческих плеч машиной, он берет странническую котомку, направляется к святым местам, в Иерусалим, но на пути ко гробу господню умирает — стоя, опершись на палку, и переселяется наконец в «лоно Авраамово», о котором никогда не забывал при жизни.

Сцены предреволюционного десятилетия вместили в себя воспроизведенный с археологическими подробностями и с редким

лирическим энтузиазмом облик Екатеринодара, его черты уютного родового гнезда; частную жизнь героев; всевозможные смотри, парады, войсковые торжества в чреватом искушениями и соблазнами Петербурге; отзвуки империалистической войны, хуторок в степи, войсковую канцелярию, похищение симпатичной Калерии Шкуронатской кубанским офицером Петром Толстопятом, местную кающуюся блудницу и еще тьму всяких подробностей. Но есть страницы, где герои собраны все вместе и где все они переживают апофеоз своей родовой жизни, отвоенной на этой земле многими воинскими подвигами, — это открытие памятника в Тамани первым черноморцам, тому самому «кошу верных казаков», единственно уцелевшему от славной Сечи, откуда они и вышли. «И все они были героями короткого дня, который никогда не повторится и никому, кроме них, не будет понятен, потому что пройдет еще несколько лет (семь — как дни недели) и в обломки и в прах превратится жизнь со старыми гимнами, молитвами и историческими преданиями. Они были жителями этого дня, этой последней эпохи казачества, и они тучной властной громадой окружили памятник, который через двадцать, пятьдесят лет будет маячить у моря единственным свидетелем черноморского прошлого. Будущего не предвидеть. Через восемь лет здесь всхлестнется междоусобная война, в Тамань проберутся солдаты кайзера, потом уйдут самые ярые казаки за море, увозя в сундуках регалии предков...»

Мы прочтем в романе об «ушедших за море ярых казаках» и о тех, кто остался на Кубани: выпускниках екатеринодарского Мариинского института Калерии Шкуронатской и Манечке Толстопят, простой казачке Федосье Христюк, на долю которой выпало обмывать тело убитого генерала Корнилова; о тех, кто честно воевал в рядах Красной Армии, — Василии Попсуйшапке, Акиме Скибе. Прежняя кубанская жизнь — крепкая, кажется, на века сложенная и внешне благополучная для большинства героев, живущих отпущенным им днем и не обладающих даром предвидеть будущее, жизнь, где есть свой смысл и своя бессмыслица, которую Лихоносов тоже включает в поток воссоздаваемого времени, — эта жизнь разорвана революцией и гражданской войной. В трагических эпизодах ее выделяются сцены похода Добровольческой армии из Ростова на Екатеринодар, обороны Екатеринодара силами местных отрядов революционной власти, смерть Корнилова. Главные исторические

лица остаются, как правило, за кадром и лишь мелькнут раз-другой, напомнят, что тоже жили: будь то Деникин, комиссар Временного правительства на Кубани К. Бардиж или печально знаменитый Шкуро (он упомянут в романе еще раньше — молодым кубанским сотником).

В гражданской войне позиция кубанских казаков была по преимуществу выжидательной: Кубанская рада так и не смогла створиться с командованием Добровольческой армии и лишь под занавес Кубанское войско оказало сопротивление Красной Армии. Быть может, автор недостаточно прояснил все эти обстоятельства, но у него были свои задачи: показать жизнь не в жесткой идеологической расчлененности, а в ее повседневности, когда эта жизнь еще не числит за собой исторической вины, не равняется на идеологические клише, когда она проще и добрей, чем в схемах учебников истории.

В романе боец Добровольческой армии есаул Петр Толстопят спасает от плена и неизбежной смертной казни красноармейца Акима Скибу. Потом бывший конвонец, наследник старой кубанской фамилии Толстопят вернется на родину из эмиграции, и они будут вспоминать с большевиком Скибой о гражданской войне как о взаимном братоубийственном ожесточении. Вездесущий хроникер и один из хранителей кубанской старины Василий Попсуйшапка глубоким стариком рассказывает: «На человека трудно надеяться, когда он за свою шкуру боится. Ну, я ни на кого не донес. И кто прятался на чердаке, когда белые отступали (чтоб не мобилизовали его), и кто из Новороссийска вернулся, не сел на пароход, а когда бывших офицеров позвали в Зимний театр на регистрацию, он притаился. И я его пожалел,— ну что уж теперь? Хватит, постреляли друг друга. У него ж дети. Куда ему было деваться, офицеру? Такая дисциплина у них. А их ведь как вывели с Зимнего театра на вокзал, так и с концом. Дети сироты. И так же у красных сирот сколько. Правильно?»

...«Когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда? Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода. Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком, но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем» — под ностальгический аккомпанемент стихотворения Г. Адамовича происходит возвращение Петра Толстопята на родину, в город его юности. Поначалу думаешь, что больше прав и возможностей на возвращение у его

приятеля, либерально настроенного, не принимавшего участия в войне Дементия Бурсака. Но автор подарил возвращение на родину именно Толстопяту с супругой Юлией Игнатьевной, которую мы прежде знали как мадам В. Здесь читывается своя закономерность: рефлектирующий интеллигент присяжный поверенный Бурсак, сомневающийся и колеблемый всяким ветром потомок одного из славных кубанских родов, постепенно теряет способность совершать решительные поступки, утрачивает связь с родным корнем. Может быть, автор не хочет простить Бурсаку того, что самой судьбой предназначенный стать кубанским Нестором, располагавший родовыми архивами, приличным образованием, досугом и литературным даром, вяловатый Дементий Павлович так и не стал им, а писал в эмиграции подражательные, никому не нужные стихи? Свободомыслие и общественно-политическая рефлексия Бурсака, более всего наделенного чертами «восточного Гамлета», носят налет дилетантизма и не перерастают в сколь-нибудь законченное мировоззрение. Бурсак по-своему очень любит родину и даже навещает ее в начале 60-х годов, но, несмотря на уговоры друзей, не решается навсегда остаться в Краснодаре. Появлению этого персонажа на страницах романа сопутствует легкая грусть. «Не судите нас кое-как»,— просит Бурсак и заканчивает дни во Франции, в доме для престарелых эмигрантов...

Жизнь Петра Толстопята сложилась иначе: грубоватый казак, обожатель екатеринодарских красоток, он исчезает из поля зрения на несколько десятилетий и возникает высветленный временем и нелегкой судьбой, которую мыкал по европейским столицам. Его облик светится доброжелательностью и порядочностью, он несет в себе примиряющее начало. Именно Толстопят вкупе с Василием Попсуйшапкой, воплощающим устоявший под напором истории здравый смысл, вместе со стойким Акимом Скибой и обаятельной Калерией Шкуропатской связуют, казалось бы, навсегда разорванное для героев романа время. Жизнь в ее изначально естественных связях противится распаду, преодолагает историческое противостояние, хотя и включает в себя отрезвляющую горечь прожитых лет. Какой-то добрый ангел хранит Толстопята, даруя ему цельность и ясность мыслей, счастливую способность не просто выжить, но и послужить людям — явить собой целесообразность индивидуальной судьбы, подчинившейся высшим началам любви и добра.

Меняется с потоком времени и мадам В.— из романтической незнакомки, ненасытно ищущей любовных утех, она превращается в добрую старушку «из бывших» Юлию Игнатьевну. Но после того не лишнего пикантности интереса, с которым нас заставляли следить за похождениями героини, в добродетели Юлии Игнатьевны нелегко поверить, как нелегко поверить и в преображение блудницы Олимпиады Швыдкой в строгую игуменью. Эти превращения не подкреплены психологией, внутренней логикой образов; занимательность берет верх над глубиной.

Книга поначалу читается с усилием: на характеры, с их не всегда уловимыми внутренними мотивациями, надвигается фон, насыщенный местным колоритом, давняя эпоха со всеми ее малознакомыми для большинства читающей публики мелочами, частностями, несообразностями. Рассыпавшаяся прахом жизнь нелегко обретает прежние формы. Нам не просто «сообщают сведения» (хотя роман интересен и как свод разнообразных и достоверных материалов по истории и этнографии кубанских казаков), но погружают в самую сердцевину

ну событийно и внутренне значительной жизни. Между тем автор с завидным упорством ведет нас вперед, заставляя проникнуться цельностью своего замысла и обаянием воссозданного мира. При этом писатель исполняет и свой личный нравственный долг перед этой действительностью, которая воистину «вопиет о воспроизведении»: «Зачем ты приехал на нашу землю и молчишь, думаешь, что до тебя здесь ничего не было, а если и было, то только плохое? Чем мы так провинились?.. Что же вы забыли нас, прокляли и ни единой доброй строкой не помянули столько десятилетий?» И как дань человеческой и художественной памяти книга безусловно удалась. В послесловии к ней В. Распутин справедливо указывает на то, что «мы не истину в готовом виде получаем из этих воспоминаний, а жизнь, оставшуюся вслед за нею картину, из которой можно вывести часть истины». Это уже очень много. Часть всегда ищет своего целого, вне этого целого тоскует и недугует, а потому заставляет и нас искать целостную истину.

О. МРАМОРНОВ.



ТРАГЕДИЯ СТРАХА

Борис Ямпольский. Московская улица. Роман. «Знамя», 1988, № 2, 3.

Есть нечто знаменательное в том, что едва ли не самая строгая режимная магистраль Москвы 40—50-х годов превратилась ныне в одну из самых кокетливых и нарядных улиц столицы. В зону объявленной раскованности и перманентного праздника, почему-то, впрочем, не слишком уверенного в себе. Вот она, ирония истории, в который уже раз сменяющей тяжелую поступь и суровые рембрандтовские краски мировой трагедии на карнавальные флаги и бойкие ритмы.

Я — о старом Арбате. Там, где прежде проходила насыщенная подозрительностью и сигнальными устройствами трасса, где по осевой линии в сумерки мог промчатся с эскортом машин сам Хозяин, теперь беспечно роятся в нескончаемом броуновском движении молодые неформалы, чьи исторические представления не простираются за пределы собственного возраста.

...Мы с Ямпольским были ровесники и одноклассники по Литературному институту, который окончили еще до войны. Жизнь почему-то не раз окунала нас в сходные обстоятельства. Роман напомнил мне, что

в годы первой пятилетки, еще не подозревая о существовании друг друга, мы одновременно работали на строительстве Кузнецкого металлургического комбината. И потому, когда я сейчас читаю страницы «Московской улицы», где герой вспоминает, как он входит в пылающие светом дворцовые пролеты только что пущенного мартеновского цеха и его «охватывает сила жизни и надежда», мне кажется, что это я, совсем еще юный, по пути из Верхней колонии в соцгород зашел полюбоваться разливкой стали. Что это я опять, как много десятилетий назад, ощущаю «яркий и быстрый трепет все сменяющихся, переливающихся огней, игру света и тени, запах скрапа, кислородных баллонов, сухой, чистый запах шамота и динаса...».

А вот — за несколько лет до Кузнецка. Герой Ямпольского, как и я в ту пору, стоит в шумных прокуренных очередях у заплываных стен биржи труда подростков (только он в Киеве, а я в Москве), и у него впереди целая жизнь. А потом, уже осенью сорок первого, он, как и я, утопая в болотах, «под немецкими мертвыми люст-

рами» осветительных ракет целый месяц выбирается из окружения (только он на Киевщине, а я на Смоленщине). И он, как и я, потом дает показания военным следователям на унижительных допросах («Почему вы не застрелились?»). А четыре года спустя, пройдя через разные фронты Великой Отечественной и сведя в Маньчжурии последние счета со второй мировой войной, мы с Ямпольским возвращаемся в Москву и лишь потом выясняем, что были свидетелями одних и тех же событий.

Роман Бориса Ямпольского написан еще в 60-е годы. В нем — сутки из жизни одного москвича (судя по всему, литератора) в самом начале 1953 года. Однако по содержанию эта в чем-то кафкианская, а в чем-то и гоголевская вещь выходит далеко за пределы своих хронологических рамок. Автор вложил в нее всего себя, свою биографию, свой жизненный и душевный опыт: с помощью многочисленных ретроспекций лирическое повествование воскрешает наше бытие на протяжении многих лет сталинского режима.

Должен сказать, что мы, товарищи и сверстники Ямпольского, стоявшие шестнадцать лет назад у его могилы, не могли и предполагать, что роман «Московская улица» еще при нас станет достоянием читателя. Но вот он донесся из прошлого и теперь широко услышан, этот крик человеческого отчаяния и гражданской тоски.

«В сущности, если подумать, чувство страха было главным, преобладающим во всей твоей жизни. Его было гораздо больше, чем всего остального, вместе взятого, — гнева, печали, радости, — чувство страха и тоски — вот что определило твою жизнь, окрасило ее в свой серый цвет». «Страх за сказанное слово и несказанное, за все, что только подумал и даже не подумал, а мог подумать, за мнимые ошибки твои и не только твои...» Вот о чем эта горькая исповедь сына века, испытавшего на себе то «потустороннее ощущение несуществования», которое порождает страх. Понявшего на собственном опыте, какую дьявольскую роль в становлении общественного самосознания он сыграл. Уже тогда осмыслившего весь ужас послевоенных проработочных кампаний с их установкой на всеобщую подозрительность, тотальную идеологическую нетерпимость и взаимное доносительство.

Трагедия страха, психология страха, социология страха — вот что такое роман Ямпольского. То обстоятельство, что его герой внезапно становится объектом неотвяз-

ной и откровенной слежки, позволяет писателю с редкостной пристальностью показать мучения человека, затравленного державной властью. Характерно для изображаемой эпохи, что нависшая над героем угроза кажется ему тем более неотвратимой, чем менее она обоснована. Это необходимо. Но герой еще с довоенных времен знает, как часто люди исчезали в силу слепой случайности, непостижимой нелепости, а то и бюрократической условности.

Каждодневная угроза ареста обостряет эмоциональную жизнь героя, его нервные реакции и аналитические способности. Он пытается понять этот механизм, постичь его логику, нащупать какую-нибудь причинно-следственную нить в таинственной игре, превратившей его в безликую фишку. Где-то в здании на большой площади, очевидно, ждет своего часа «серая папка с черным штампом «Хранить вечно» и с моей фотографией на обороте. Откуда они только взяли мою фотографию...» «Когда это началось? С каких пор я попал в их биннокль?» «Что это было: донос товарища на странице из ученической тетради, рапорт на официальном бланке или телеграмма с красным ведомственным штампом?»

Подобные мысли растрavляют его душу, притупляют разум, а главное — парализуют волю. «Значит, так надо». «Наказание неминуемо». «Уже не было сил бороться... стало все равно». «Я устал. Я теперь готов был ко всему». И что особенно важно: «Туман равнодушия окутал меня, невозможность, непредставимость борьбы, вялая и болезненно чудовищная покорность течению событий, безысходность тупика...» Воспаленное страхом воображение все время проигрывает разные варианты того, как это может случиться. «Неожиданный стук в дверь, и всегда первая мысль — они». «Позвонят длинным-предлинным звонком». «Или просто заберут с улицы». «Или снимут с поезда». «Сначала я исчезну из домовой книги...»

Как же все-таки оно возникло и сформировалось — это ощущение фатальной обреченности? Ведь перед нами не робкий юноша, а недавний фронтовик, много в жизни хлебнувший, зрелый человек. Как можно было притерпеться к такой унижительной доле? Писатель отвечает на этот вопрос со всей прямоотой и трезвостью.

«Жизнь проходила от собрания к собранию, от кампании к кампании, и каждая последующая была тотальнее, всеобъемлющее, беспощаднее и нелепее, чем все предыдущие, вместе взятые. И все время на-

гнетали атмосферу виновности, всеобщей и каждого в отдельности... И постепенно это ощущение постоянной, неисчерпаемой, иступленной виноватости и страх перед чем-то высшим стал вторым я, натурой, характером».

«Перед чем-то высшим»... Сталин в романе лишь несколько раз упоминается, но его незримое присутствие как инициатора и носителя великого страха ощущается на каждой странице. Его образ словно бы растворен в тексте романа, и читатель понимает, что все политические злодеяния и послевоенные кампании против «вейсманистов-морганистов», «критиков-космополитов», несчастных языковедов и «врачей-вредителей» — его рук дело. Что именно от него поступали новые директивы на изъятие людей. И что он сам находился под постоянным гнетом содеянного. Недаром древние говорили: кого бояться многие, тот сам многих боится.

В годы сталинщины гибридная культура иступленного почитания и всеобщего устремления отпечаталась на всем бытии общества. «Сталин не спал, и министры не спали, и их заместители, и помощники, и референты, и секретарши, и стенографистки, и главные бухгалтеры, и главные геологи, и главные сталевары, и главные прокатчики, и главные технологи, и курьеры, и буфетчицы, и самокатчицы, и фельдшера, и телефоны ВЧ, и охранники, а там по всей Великой стране не спали секретари обкомов, командующие военных округов, директора заводов, начальники шахт — вся страна перестроилась, перекроила свой день, свою жизнь на распорядок по организму бессонного генералиссимуса». Так выработывались неповторимые формы управления делами, свои способы манипуляции людьми, свои аппаратные традиции. Так утверждалась особая эстетика поведения, особая лексика, особая атмосфера повседневной жизни.

В этом смысле режимность Арбата могла служить наглядным выражением сталинского режима вообще. Как Невский проспект во времена Гоголя — выражением николаевского режима. Хорошо знакомый каждому москвичу обыденный маршрут от «Праги» до гастронома на Смоленской порой приобретает у Ямпольского черты какого-то тревожного новоявленного демонизма. Район становится выразительной метафорой всеобщего поднадзорного существования. Боялись все, и, быть может, генералиссимус не меньше других. Отсюда — «топтуны», отсюда — протянувшаяся вдоль трассы «строгая, загадочная и молчаливая це-

почка: зимой в бобрике и ботах, а летом в апашках и дырчатых сандалетах». Не ограничиваясь подробностями экипировки, писатель находит для этих персонажей слова, которые сразу переводят их в ранг поэтической условности. Такова вообще его излюбленная манера изображения — двухаспектность нагнетаемых деталей. В обыденном Ямпольский стремится разглядеть фантазмагорические начала, а нечто экстраординарное низвести до уровня бытовой банальности.

«Они стояли вдоль всей улицы, избегая света фонарей, на углах переулков или у подъездов, притворяясь жителями дома, и смотрели на проезжую часть. Они стояли как-то одиноко, отдельно, автономно и будто вспоминали что-то забытое... Но вдруг их охватывала лихорадка. Красный свет зажигался одновременно на всех углах, и ревели в больших металлических коробках милицмейские телефоны, цепочка выходила на кромку тротуара, и будто посреди улицы открывался оголенный провод...»

«Топтуны», с одной стороны, показаны в их бытовой либо ведомственной специфичности, а с другой — напоминают участников какого-то ритуального действия, мрачной мистерии, чреватой бедой и карой для всех, даже для случайных очевидцев.

Стилевое и интонационное тяготение, во власть которого безраздельно попадает читатель романа, наверное, может быть определено как тесное соперничество неудержимого лиризма и проповеднической патетики. Кажется, не было для Ямпольского как художника большей отрады, чем привести в прямую связь земное и возвышенное, бытовое и метафизическое, пресно-тривиальное и загадочно-абсурдное. Наконец — конкретное и символическое.

Иногда он намеренно акцентирует второй из парных компонентов. Развивая, скажем, тему покорности своего героя, Ямпольский делает упор на алогизме всего случившегося с ним. Почему? Потому, наверно, что проник в глубины его трагедии, которая в том и заключалась, что любое сопротивление сталинскому режиму не могло быть расценено народом иначе, нежели посягательство на самое для него святое. То-то и было ужасно, что иррациональность происходящего охватывала все возможные сферы бытия, в том числе и борьбу. Безумие режима делало сопротивление ему тоже безумием. Так писатель объясняет пассивность своего несчастного героя, пребывающего в шоковом состоянии политического недоумения.

И в самом деле, все происшедшее с героем выглядит как трагический гротеск. Поэтому я вполне допускаю, что «Московская улица» очень скоро будет восприниматься молодым читателем в одном ряду с такими книгами, как «Мы» Замятина или «1984 год» Оруэлла. Как еще одна антиутопия, хотя и обращенная в прошлое. В конце концов так ли уж существенно, что Замятин выразил свои представления о власти и страхе в 20-е годы, Оруэлл — в 40-е, а Ямпольский — в 60-е? Для нынешних двадцатилетних все эти времена — далекая история, смутное прошлое, за которое они не только не несут никакой ответственности, но к которому вряд ли чувствуют причастность и как наследники. А уж через каких-нибудь двенадцать лет для большинства все сольется в, каком-то общем представлении о прошлом веке, больше того — о прошлом тысячелетии.

Между тем «Московская улица», конечно, не фантастика, а самая что ни на есть реальность нашего послевоенного бытия. Даже когда перед читателем оказывается своего рода кунсткамера — густонаселенная коммуналка, где разнообразными людьми верховодит некий Свизляк. Тот самый Свизляк, что, будучи беспартийным, усердно «помогал партии разоблачать врагов народа, двурушников, подкулачников, идеологических диверсантов, оперативно откликаясь на все текущие призывы и кампании...».

Портреты жильцов этой квартиры составляют существенную часть фрески, нарисованной писателем, ибо являют собой в сумме некий социальный микрокосм, окружающий героя. Для этой среды, чье бытие тоже разьедено страхом, характерна прежде всего ее удручающая атомарность. Отсутствие каких бы то ни было духовных связей и общих интересов, полная нравственная разобщенность, взаимный антагонизм, ощущение окружающего бытия как враждебного, гнетущая неустроенность — вот тот сумрачный, лишенный традиций, нестабильный мирок, который составляет вместе с режимной улицей единую систему сообщающихся сосудов.

В этих главах, как, впрочем, и в других, Ямпольский охотно прибегает к гиперболе, что на поверку соответствует официальному стилю описываемого времени, тяготеющему к гигантизму, чудовищным преувеличениям, особенно в одических славо-словиях и гневных шельмованиях, чем полны тогда были газеты. Передо мной подпихивая тогдашней газеты «Культура и жизнь», той самой, которую упомянутый

Свизляк предпочитал всей остальной советской прессе. В четырехполосном номере этой газеты от 21 декабря 1949 года фамилия Сталина, сопровождаемая неслышанно восторженными аттестациями (не считая производных от нее вроде «сталинской премии», «сталинской конституции» и т. д.), фигурирует — страшно сказать — 282 раза! Такова была духовная повседневность. Гипербола? Гротеск?..

Страх нередко оказывал нервно-паралитическое действие, а иной раз заставлял человека панически метаться без цели и смысла. Страх героя «Московской улицы» экзистенциален. Источник опасности находится в каком-то ином измерении, за пределами разумного и постижимого, а потому превращает жертву в изгоя, в одиночку, в затерянное и беспомощное существо. Слежка разом делает героя Другим, отделяет его от всех прочих. В его психике неизменно выступает на первый план сознание бессмысленности собственного бытия.

И еще на один психологический феномен тех лет мне хочется обратить внимание читателя, тем более что эта тема не раз бывала предметом наших разговоров с Ямпольским. Я имею в виду коренное и принципиальное различие между страхом физической гибели — чувством, хорошо знакомым всему поколению участников войны, — и гнетущей перспективой гражданской аннигиляции, внезапного и бесследного исчезновения из общества. Слишком много осталось в памяти примеров, когда наши же товарищи, отличавшиеся завидным мужеством на фронте, потом, в мирной жизни, проявляли малодушие, шли на компромисс с совестью. Да и то сказать, окопные страхи, как правило, не разрушали личность, а иной раз даже закаляли ее, страх же гражданский калечил душу наоборот. Он кардинально менял психику человека, лишал его инициативы, нравственной энергии, интереса к окружающему. Он загонял жертву в роковое убежище духовной самоизоляции, социального эгоизма, политической апатии. И время потом уже не в силах было что-либо поправить.

Не потому ли в убеждениях современников так прочно обосновалась тщета любых социальных упований? Токсичность страха гражданского оказалась всего острее и длительнее. Что, если в общественном организме оно-то и хранится вечно?

Написанный около четверти века назад роман Б. Ямпольского одним из первых прикоснулся к скрытым пружинам авторитарной власти и обнажил психологический

механизм общественной покорности. Он многое объясняет нам в нас самих — почему мы такие.

Под конец мне хочется вернуться к тому, с чего я начал. Под влиянием романа я не могу отделаться от мысли о том, чем был и чем стал Арбат. Происшедшая с ним метаморфоза томит душу своей ироничной символикой. Неужто после того

страшного, что нам довелось пережить, мы удовлетворимся поверхностным душевным благоустройством, легкими играми в демократию? Как бы нам не заболтать наше обновление, не зашаркать его в уличных гуляньях, не разменять на словесные побрякушки и соблазны интеллектуального кайфа...

Б. РУНИН.



ЦЫГАНСКИЙ КИЧ ИЛИ ЦЫГАНСКИЙ ВОПРОС?

Е ф и м Д р у ц . Цыганна Стелла. Роман. М. «Советский писатель». 1987. 256 стр.

Роман Е. Друца можно рассматривать на трех уровнях. Уровень первый — масово-читательский. На нем роман, по ходкой формуле, обречен на успех. В романе наличествуют: роковая красавица с завитками над ушами и орлиным носом; безнадежная страсть; гитара; песни; танцы; драки и попользования к ним; убийство и второе убийство в отместку; поджог дома и неметафорическое рванье на себе волос, на коленях посреди людной вокзальной платформы.

Все это связано с линией героини. Цыганки. Что предусмотрительно вынесено в заглавие романа, обозначающее бестселлерские его свойства.

Есть еще линия героя (он же рассказчик) — Бориса. Но герой этот какой-то добросовестно никакой. По призванию — поэт (стихи цитируются, но, правду сказать, не впечатляют), по должности — сотрудник популярно-полунаучного журнала (проблемы, коими журнал занят, формулируются, но, правду сказать, новизной не блещут). Герой в меру умен, образован, в меру уверен в себе, в меру растерян (утрачена четкость жизненных ориентаций), в меру неплох и решительно ни к чему крупному — ни в страсти, ни в работе — не способен. Словом, это сильно разбавленная настойка из интеллигентов Трифонова (метания) и интеллектуалов Бондарева (разоблачения).

Есть еще две фоновые линии. Городская: старуха соседка цыганки Стеллы и вообще их коммунальная квартира. И сельская: деревенька, в которой Стелла — на свои трудовые кровные — затевает постройку общего дома, где предстоит осесть ее роду. Дом-то этот и поджигают, а Стеллу убивают взбунтовавшиеся сторонники кочевья и того цыганского уклада, который от дедов-градедов...

Автор не проклинает их, а задумывается.

И тут роман выходит на второй, более серьезный и отнюдь не кичевый уровень.

Начало этого выхода намечается уже в городских, не таборных эпизодах со Стеллой. Которая, между прочим, не по руке гадает и не в театре «Ромэн» поет, а работает журналисткой. Однако не описания ее журналистской честности и хватки интересны — это мы и прежде читывали в «женской деловой прозе». Интересна попытка разглядеть цыганский характер не со стороны (хотя Борис, конечно же, играет роль именно стороннего человека, чьи ми много замечающими, но мало понимающими ремарками Стелла и оттенена в своем дразнящем, замкнутом, нерасшифровываемом цыганстве). И все-таки автор романа — отнюдь не то же, что Борис. Раскроем карты: он — фольклорист, профессиональный собиратель цыганского песенного и сказочного творчества, прошедший вместе со своими «объектами» не одну сотню километров (хочется сказать: верст) от Архангельска вплоть до Сибири. Фольклор русских цыган — материал его другой книги (собранный совместно с А. Гесслером) и предмет вполне научного предисловия к ней, им написанного. (Сюда же — и не одна дюжина статей.)

Так что цыганская сущность Стеллы видится взглядом не только влюбленного неопита Бориса. И потому, как ни странно (то есть совсем не странно, а логично), не фабульные, не беллетристические, а почти документально-очерковые страницы романа, отведенные, к примеру, цыганскому понятию о чести или цыганскому «отсутствию психологизма» (с нашей, внешней точки зрения), — страницы эти именно и захватывают. Подлинностью берут.

Тут время кое о чем напомнить. Русская и сопредельная с ней украинская литература давно платят цыганской стихии влюбленностью. Может быть, еще и в ви-

де нравственной компенсации за мытарства «дьявольского племени» на реальных, не литературных пространствах, на конкретно-исторической родине **этих** литератур. (Хотя по сравнению с Западной Европой положение русских и украинских цыган было терпимей.) От пушкинской Земфиры и еще раньше — от Державина, цыганскую пляску воспевшего, до А. Калинина, от цыган украинской песни до скрипача-цыгана у Михайла Стельмаха: влюблен, влюблен восточнославянский мир в цыганскую горько-гордую долю. Может, и себя этим компенсирует. Ибо цыганская свобода, «не свобода, а воля» (Л. Толстой), ставила перед восточнославянским человеком образец такого житья, перед которым скромнело даже волжское ушкуйничество, или массовые уходы крестьян на поиски «блаженных земель», или чумацко-казацкие странствия. Цыганская жизнь, столь плотно вошедшая в жизнь русскую или украинскую (и столь неприступно оставшаяся суверенной внутри ее), задавала восточному славянству тот крайний предел, какой — по словам С. Аверинцева — в любом национальном бытии не может и не должен стать практической нормой ежедневного поведения. Не может — но манит. Не может — но в кризисных ситуациях втягивает в себя чуже-странное, ино-национальное (положим, русское) сознание.

Цыгане для русской литературы — это почти всегда побег. На край света не географического, а бытийного. На что уж не богат духовными ресурсами Борис, и тот не просто в экзотическую красоту вторился, а жизни другой возжаждал.

Но русские «эмигранты» в цыганской среде несли на себе крест всякого эмигранта. Избыточные для своего мира, они оказывались недостаточными для мира чужого. Припадали к чужому утилитарно — как к лекарству от своего. А чужое отодвигалось, а лекарство отравляло. Грушеньки, Маши, Олеси, Азы (и их королева — Кармен, даром что на почве уже испанской) по видимости гибли сами — жертвами оседлого, на своей земле стоящего, национального уклада и быта. По сути же они ранили навечно. Ранили недоступностью, загадкой своей.

Позволю себе предположить, что и Алеко ревновал Земфиру не к молодому цыгану, а к цыганству вообще, к цыганскому в ней самой — к тому, что в шатер-то его впустило, а в себя — нет. И приговор цыган («Ты для себя лишь хочешь воли») звучит не только по адресу цивилизованного сверхчеловека, унесшего в собственной

душе ту «неволю душевных городов», от которой он думал спастись под «изданными шатрами». Не только социальному эгоизму приговор. А еще и эгоизму национальному: когда целое племя, судьба его, жизнь его, трагедия и величие его — лишь орудие для чьего-то излечения.

Признаемся: и в толстовском и в лесковском (даже!) герое саднит внимательного читателя это сочетание беспредельной влюбленности и абсолютной безучастности к доле того народа, которому твоя «царица души» принадлежит.

Отсюда последствия чисто литературные. Сколько цыганок в классической русской (и украинской) прозе и поэзии — а все будто на одно лицо. То есть не совсем, конечно: у той — больше дикости, бешенства, у другой — привязчивости, самоотвержения, у третьей — озорства... А все-таки типология цыганского духа нет. Бездн внутренних нет.

Близкое — далекое... Этот — перевернутый — трюизм хорошо определяет «цыганскую тайну» внутри восточнославянских литератур. И то, что в нравоописательных эпизодах автор пытается без ахов и охов, подчас едва не протоколно раскрыть эту тайну изнутри, из мира самих цыган, как раз и выводит роман за пределы «кича по-цыгански».

И здесь проступает третий пласт повествования, требующий иного уровня разговора.

Впрочем, в тексте романа этот пласт едва намечен. Так, фразы то там, то сям, диалоги некоторые да фабульная сердцевина: дом и шанс на оседлость. Да эпизод почти в финале: разговор Бориса с пожилым профессором, случайным уличным знакомцем... Знакомец-то он случайный, а вот цыганским вопросом занимается не к случаю.

Судьба цыган как нации. А еще точнее: перспектива цыган как нации. Вот на какие размышления выводит незамысловатая схема уголовной мелодрамы.

Стелла мечтает: будет общий дом, сорядичи осядут, начнут работать на кирпичном заводе... А как же свобода? — негодует книжный романтик Борис. Свобода для чего, свобода жить или свобода вымирать? — парирует Стелла. Или не парирует. Тут уж не до пикировки. Это уже «дышит почва и судьба» — тяжело дышит, с хрипом, как на смертном одре старый цыган, которого Стелла навещает.

Позвольте, взвоется на этом месте читатель, не только «кичевый», но и «интеллигентный», что вы нас путаете? Ну, кочева-

ли цыгане, знаем, ну, оседают помаленьку, тоже знаем: роман А. Калинина если не читали, так по ТВ видели... Со временем и вовсе осядут, а пока пусть себе кочуют. Где проблема? Где трагедия?

• Трагедий-то хоть отбавляй. Например: в прошлые века кочевать было сподручно (относительно! — об этом в романе тоже есть убийственные напоминания). А в веке двадцатом? С его границами, режимами, паспортами? С его войнами? (Отец Стеллы рассказывает, во что оно реально отливало, цыганское существование, перед лицом фашизма, вычеркнувшего цыган из списка тех, кому будет дозволено жить в ваггале тысячелетнего рейха.)

Но и в мирной жизни, «бестрагедийной», проблема остается. Всех цыган кузнецами не сделаешь: спроса такого нет. И ансамбли всех цыган не поглотят. Да и нерешенным главное остается: что есть для цыган кочевье — навязанное зло? горькая историческая неизбежность? «мировая» несправедливость, которую самое время исправить и искупить? Или это условие существования нации?

Других ведь условий — вдумается в это! — практически нет. Язык родной разве что. (Да и тот уже размыт заимствованиями из всех попутных языков. Характерна вот такая печальная подробность повествования: когда Стелла хочет подчеркнуть уважение к старшим людям рода, она обращается к ним с изысканными владскими фразами, а к молодежи — по-русски, только с отдельными цыганскими оборотами... Вот он, регистр возможностей языка-изгоя: от изысканности на одном не своем языке — до общепонятности на другом не своем.)

Только язык — уклад — и кочевье. Профессор, размышляя вместе с Борисом (и автором) над историческими перипетиями цыганского народа, задает именно этот «последний», «проклятый», «роковой» вопрос. Могут ли цыгане уцелеть как нация — не кочуя?

Уклад — сам по себе — не спасет, это собеседники понимают. Цыганский уклад точно (тысячелетием с лишком отработано!) рассчитан на кочевье. Сломай кочевье — сломается, обесмыслится и уклад.

Религия? Своей законченной, «системной» не было. Бог (Дэвэл) для цыган существо высшее, но отстраненное, в дела человеческие не вмешивающееся, демонические силы (во главе с чертом, Бэнгом), наоборот, обступают цыгана плотно, но от них надо вовремя увернуться. Обрядность? Обряды принимали (как, скажем, крещение) попут-

но: без особых драм, но и без нравственных просветлений. Даже языческая стихия других народов (казалось бы, цыганству наиболее близкая) воспринималась специфически. В фольклорном сборнике песен и сказок русских цыган — речь о нем шла выше — атмосфера для русского читателя мрачно-непривычна. Совестиливая и здравомысленная русская простонародно-сказочная страна предстает здесь каким-то лесом дремучим, язычеством первозданным. И язычеством-то не буйно-ярлиным, солнечным, не лунно-мерцающе-купальским. А гулом чащ гудящим, где все лесовики, все ведьмы, вся нечисть, кажется, собрана. Вот что значит чужая вера, чужой фольклор — не только не спасает, но даже и не утешает...

Само собой, не было цыганской истории, цыганской литературы. (Не истории и не литературы о них, а для них.) Уж на что «глубинна» цыганская музыка — в мелосе своем она «веет древними поверьями» (недаром этим канте хондо, пением из глубин, зачарован был Лорка). Но в слове (в песне, в романсе) она тоже опирается на попутные национальные словесности. Скажем, на Руси цыганский романс — это русский романс с цыганским акцентом. (Что убедительно показал М. Петровский.) А ведь если хранить судьбу народа может и мелодия, то осмыслять эту судьбу, измерять ее нравственно, духовно может только Слово.

Все эти «грозные вопросы» (А. Ахматова) роман не решает (разумеется! — сие было бы слишком легкое решение: литературой) А только едва приметно обозначает. Критик, знающий фольклористические и историко-этнографические работы автора романа, читает эту роскошную «Цыганку...» с досадой. Экие, думает, страсти, гитары, поджоги, смертоубийства... Да не надо ничего этого, не надо. Даже для популярности среди читателей. А ты вот, автор, развернул бы вширь (и, что более существенно, вглубь) все твои цыганские богатства. Дал бы отцу Стеллы на тему «война и цыгане» высказаться вполне — а лучше бы показал пронзительный драматизм этой темы в самих эпизодах. Дал бы профессору (а не художнику) Борису и не экспансивной домохозяйнице выйти лицом к лицу на цыганский род. Опять-таки род, представленный не душегубцем и мелким самолюбцем Мишкой, а истинными выразителями цыганской «философии жизни».

И тому подобное — смысл один. Роман без воли автора получился с продолжением. Скрытым продолжением: внутри себя. Читатель едва ли это уловит: массовому хва-

тит матерой фабулы, интеллигентного эта же фабула и отпугнет. Но надобно все же подумать и о закадровом герое этого романа — о народе Ему жить. И жить, между прочим, среди нас. А мы ведь не можем

не встревожиться, не задуматься над судьбой целого народа. Двадцатый век выучил: чужой беды не бывает.

Марина НОВИКОВА.



ГОЛОС ДРУГОЙ КУЛЬТУРЫ

Зимняя луна. Японские трехстишия и пятистишия в переводах Веры Марковой. М. «Наука», 1987. 219 стр.

Лаконизм японской культуры поразил меня впервые в прозе Акутагавы. Каждая крошечная главка «Жизни идиота» была рассказом, повестью — и все это в несколько строк. Так не мог научиться писать один человек. За современным писателем проглядывала неведомая культура.

Какой-то подступ к ней дали мне впоследствии книги о буддизме дзэн. И другие — о социально-экономическом развитии Японии. Вот в таком потоке прочли первые переводы Веры Марковой (Басё, «Лирика») и заняли место еще одной загадки в системе японских загадок. Теперь к ним прибавилось это миниатюрное издание, в котором сплелись двенадцать веков поэзии, живописи, каллиграфии.

Лаконизм издания как бы подчеркивает неразрешимость задачи:

Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответ.

Каждое японское стихотворение, прозвучавшее по-русски, — такая записка. И невозможно объяснить, почему возникает ответ. Но он возникает. И это — самое главное (и самое лучшее), что можно сказать о переводах Веры Марковой: они вызывают ответ. По крайней мере некоторые кошку вошли в мою память, стали частью моей внутренней жизни. Чувствуется, что Вера Маркова передает сам импульс, родивший стихотворение, ибо буквальная, исчерпывающая передача метра, ассоциативных связей японского стиха невозможна. Русское поэтическое слово становится послем другой культуры.

Можно прочитать в литературном — и только литературном — ряду:

Стократ благородней тот,
Кто не скажет при блеске молнии:
«Вот она — наша жизнь!»

(Басё)

Представляется что-то вроде борьбы акмеистов с шаблонами символизма. Но в единстве культуры нет чисто литератур-

ного ряда. Буддизм дзэн, школу которого прошел Басё, — тоже борьба со штампами, страстная борьба с шаблонами буддийской религиозной традиции; антитрадиция непосредственных встреч, хеппинингов, в которых учитель отвечает на простодушные вопросы ученика об истине чем-нибудь вроде: «набирать снег серебряным кувшином», «три фунта льна»...

О нет, готовых
Я для тебя сравнений не найду,
Трехдневный месяц!

(Басё)

Это поэзия. Но где-то рядом — дзэнские загадки. Дзэнские диалоги. Оба ряда переключаются друг с другом.

Дальний Восток не прошел через Ренессанс и не попал в плен к иллюзии замкнутого в себе трехмерного мира. «Мир рождения и смерти» рисуется как плоскость, за которой просвечивает глубина вневременного. Так и в иконе; но в иконе сквозят дырки в брэнном рисуются образы того, вечного света, совершенно ясно увиденные. А для глубинного сознания Дальнего Востока символ Дао — туман. И намек на Дао не должен быть развернут в строгую композицию из трех ангелов, указывающую на строй предвечной Троицы. Достаточно одного мазка. Каждое явление, правильно понятое, открыто бездне и отсылает к бездне, к Великой Пустоте.

Отсюда художественный вкус, может быть, очевиднее всего проявившийся у Сэн-но Рикю, арбитра изящества при дворе диктатора Хидзэси (конец XVI века). Когда Хидзэси захотел полюбоваться вьюнками, выращенными в саду Сэн-но, тот срезал и выбросил их все, кроме одного, самого прекрасного. В ответ Хидзэси позвал Сэн-но во дворец и предложил сделать букет из одной-единственной ветки цветущей сливы, стоявшей в золотой чаше. Ни минуты не задумываясь, Сэн-но сорвал несколько цветов и бросил в воду, а ветвь отшвырнул в сторону. Единичное (вьюнок, горсть цветов) переживается как всплеск, в котором

мгновенно и полно выразилась вся Великая Пустота.

На голой ветне
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

(Басё)

Примерно так — обрывками фраз, одними подлежащими без сказуемых — писал иногда Манделштам:

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа...

То, что в русской поэзии было воспринято как странность, в Японии, поддержанное религией и философией, стало нормой

Трехстишие (хокку) родилось из древне-го пятистишия (танка), корни которого уходят в догосударственное прошлое. Придя во дворцы императоров, доведенная до предельной утонченности, танка все же сохраняет в себе что-то от народной песни, свободно откликаясь на ее вечные темы (любовь, разлука, скорбь, радость от встречи с красотой). Иногда энергия поэтической мысли, вся выражалась в первых трех строках; но традиция не допускала ломки:

Мне так хотелось забыть,
Что осень уже наступила...
Но этот лунный свет!
Но где-то на речном берегу
Стучат и стучат вальки!

В этом стихотворении Фудзивары-но Саданэ (1162—1241) ударная строка — третья. Отбросьте последние две — и выйдет хокку. Однако для перехода потребовалось 500 лет. Между великими поэтами танка (XII век) и Басё (1644—1694) лежит эпоха, когда дзэн укоренился в Японии и проник во все области ее культуры.

До Басё трехстишия существовали вне высокой поэзии. Они воспринимались как поэтический трюк (примерно как у нас — каламбурная рифма). Никто не решался всерьез пренебречь танкой, освященной древностью и вниманием божественных императоров. Народных корней у хокку нет. Но решительно избранная Басё, эта форма за короткий срок стала национальной.

Существует привычка (идущая от полуполучающегося атеизма) сводить национальное к народному и языческому. Это создает совершенно ложную перспективу исторического процесса. Современный мир был бы невозможен без открытости к чужому и новому, без «всемирной отзывчивости», внесенных в жизнь племен и народностей мировыми религиями. Мировые религии дали многим народностям и племенам первый толчок, с которого начался процесс форми-

рования открытых этнических организмов, перекликающихся друг с другом в воплощении общих ценностей всего культурного мира. И в культуре Японии наследственное (собранное в религии синто) нераздельно сплелось с Дао (которое Лао-цзы восхвалял так: «О, неясное! О, туманное!») и с буддийским учением о страдании и сострадании. Без этого не было бы Японии как нации: была бы еще одна народность, упершаяся в тупик слаборазвитости.

Язык японской поэзии верен этнической традиции, избегает варваризмов. Но дух ее отклоняется на все сдвиги. И если в стихах Такубоку (1885—1912) вошли социалистические идеи, то в средние века ключом к решению всех проблем был буддизм. Чем острее социальные кризисы, тем глубже буддийское мироощущение. В XII—XVII веках религиозное и поэтическое нераздельны.

Минамото-но Санэтомо (1192—1219) — отнюдь не монах. Это молодой воин. Он не успел состариться: его убили. Никто в Японии так не любил яркие краски, вспышки энергии. Однако в его стихах есть прорывы в глубины, которых не было у «кавалера давних времен» Аривары-но Нарихиры (825—880). Аривары вживается в мимолетный порыв радости или грусти — и останавливается на этом, упивается чувством. У Минамото все земное поставлено под вопрос, и каждый миг может стать последним мигом:

Этот мир земной —
Отраженное в зеркале
Марево теней.
Есть, но не скажешь, что есть.
Нет, но не скажешь, что нет.

Чем больше человек вглядывается в бездну, тем пронзительнее чувство встречи с красотой, родившейся из нее. Глубже внимание к красоте и значительнее слова, запечатлевшие неповторимый кадр. В точке вмещалось все пространство. И странствующий монах Сайгё (1118—1190), современник пожара древней столицы, становится паломником по горам и долам:

Соловьи на ветвях
Плачут, не просясь,
Под весенним дождем.
Капли в чаще бамбука...
Может быть, слезы?

Через пятьсот лет Басё, сознательно повторяя подвиг Сайгё, пускается в поэтическое странствие по Японии и возле хижины, где когда-то жил Сайгё, складывает посвященные ему хокку...

Буддизм принял в свое лоно культ Фуд-

зи, культ цветущей сакуры — и внес в этот мир свою тоску по вечности, свою этику сострадания:

Грустите вы, слушая крик обезьян!
А знаете ли, как плачет ребенок,
Покинутый на осеннем ветру?

(Басё)

В каждом данном случае религиозный ряд можно игнорировать. Особенно когда речь идет о дзэн. Дзэн растворяется в культуре, как сахар в чае.

Но есть черта поэтики хокку, трудно объяснимая без буддийского влияния: запрет на любовную тему. Странный, неповторимый в истории лирики! Казалось бы, аскетизм иссушит хокку. Однако случилось нечто прямо противоположное. Хокку бьет по сердцу сильнее, чем танка. Даже в переводе (хотя чем короче стих, тем труднее его переводить).

Другая культура — почти как другая планета. Андрей Битов, созерцая минареты Хивы, бросил замечательную фразу: «И тут я понял, что я православный, хотя бы в том смысле, что я не мусульманин». Можно не верить ни в сон, ни в чох: но культура, вскормившая европейца, — не буддизм и не ислам. Мане, упиваясь красотой природы, сажает на траву обнаженную женщину. Без нее красота мира несовершенна. Русский старовер, увидев «Завтрак на траве», плюнет и перекрестится. Но и для него самое прекрасное — человек, обожженный человек на иконах древнего, дониконовского письма. За всем этим есть общий знаменатель: античность. Античность через Византию. Античность через Ренессанс. С Японией этого общего знаменателя нет. Вершина красоты здесь то, перед чем человек ступевывается, исчезает. Тиё из Кага (1703—1775), увидев сломанную ветвь, вспоминает, может быть, свою женскую судьбу. Но ветка цветущей сливы — прежде всего ветка:

Сливы весенней цвет
Дарит свой аромат человеку...
Тому, кто ветку сломал.

Цветущая ветвь сама по себе — вершина красоты, сама по себе — откровение истины:

Камнем бросьте в меня!
Ветку цветущей вишни
Я сейчас обломил, —

пишет ученик Басё Эномото Кикаку (1661—1707). Так мог бы каяться Иуда, предав Христа. Поэт, по словам Басё, «следует природе и становится другом четырех времен года. Что бы он ни видел, во всем

он видит цветок. О ком бы ни думал, он думает о Луне. Кому предметы не цветы, тот варвар. Кому мысли не луна, тот зверь. Оставь варварство, удались от зверя, следи природе, вернись назад к природе!»

Если поздний Басё отходит от традиционно изящных мотивов к будничным, то это не бытописательный реализм, а нисхождение духа в самое простое, непритязательное (по такому пути шел и рисунок дзэн — у Хакуина, у Сэнгай):

Уродливый ворон —
И он прекрасен на первом снегу
В зимнее утро.

К сожалению, очень многое остается для нас закрытым. Даже если мы о нем что-то знаем.

Я мог бы прокомментировать знаменитое хокку Басё:

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

Я знаю, что сидящая лягушка — частый мотив в дзэнских рисунках (примерно так сидит монах, застывший в отрешенном созерцании). Мне нетрудно процитировать фрагменты спора между академиком Судзуки и профессором Анэдзаки, как правильно понимать хокку (в целом эта дискуссия о трех строках занимает несколько страниц).

Однако знать контекст культуры и непосредственно чувствовать его — разные вещи. Мир ассоциаций японца невозможно перевести. В сборнике «Зимняя луна» прослеживается переключка Басё и Сайгё. В культуре таких переключек — тысячи...

Вместо «почвенных» ассоциаций невольно возникают другие — «межпочвенные». Минамото-но Санэтомо напомнил мне Лермонтова (в чем-то даже Маяковского: «Словно в багряную краску окунули тысячу раз — так густо окрашено небо...»). И невозможно не вспомнить тютчевскую весну, читая:

Ей только девять дней.
Но знают и поля, и горы:
Весна опять пришла

(Басё)

Так — через все различия культурных миров — происходит встреча. Она возникает тем чаще, чем медленнее читаешь. Чем дольше задерживаешься на репродукциях японской живописи и каллиграфии, продолжающих — уже без слов — звучание далеких голосов... И оживают «чужих певцов блуждающие сны».

Г. ПОМЕРАНЦ.

Политика и наука

В СТОРОНЕ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

А. И. Барменков. Свобода совести в СССР. М. «Мысль». 1986 224 стр.
 О свободе совести. Составитель И. А. Малахова.
 М. «Советская Россия». 1987. 84 стр.

Центральные и республиканские издательства в последние годы дали читателям ряд книг и брошюр о свободе совести, о месте религии и церкви в советском обществе. В них раскрывается сущность политики КПСС и Советского государства в отношении религии и верующих граждан, анализируются взаимоотношения государственных органов и религиозных организаций в СССР в условиях перестройки, гласности, развития демократии, укрепления законности.

Всегда ли поспевают авторы этих книг за реальными переменами в жизни, в сознании людей? Под этим углом зрения небезынтересно, на мой взгляд, рассмотреть солидный по объему труд А. И. Барменкова, выпущенный вторым изданием уже после XXVII съезда КПСС.

В этой книге мы найдем 72 ссылки на материалы В. И. Ленина. К сожалению, при столь обильном цитировании автору недостает не только чувства меры, но и уважительного отношения к ленинским трудам. Вопреки известным из литературы фактам А. И. Барменков дважды утверждает, что Ленин, работая над проектом «Декрета о свободе совести, церковных и религиозных обществах», дал ему новое название: «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».

Как обстояло дело в действительности? Под первоначальным названием декрет опубликован был в двух петроградских газетах и позже в собрании декретов советской власти. Сохранился подлинник с правой В. И. Ленина, в котором это название сохранено. В Полном собрании сочинений В. И. Ленина (т. 35, стр. 575) и в Биографической хронике (т. 5, стр. 223) находим то же первоначальное название с указанием, что 20—21 января 1918 года Ленин «при обсуждении вопроса об отделении церкви от государства редактирует и дополняет проект «Декрета о свободе совести, церковных и религиозных обществах» и затем подписывает его».

Лишенная каких-либо доказательств, концепция Барменкова давно обратила на себя внимание. На нее указывал Ф. К. Лауринайтис в статье «По поводу даты и названия ленинского декрета о свободе совести», опубликованной в журнале «Вопросы исто-

рии КПСС» (1983, № 4). Однако при переиздании своей книги автор даже не попытался как-то объяснить этот факт.

В атеистическом воспитании, как и в любой другой области идеологической работы, надо идти от жизни. XXVII съезд КПСС призвал обществоведов смело, инициативно ставить новые проблемы и творчески их разрабатывать, не игнорировать остроту жизненных противоречий, преодолевать застой, догматизм и начетничество. А. И. Барменков цитирует в своей книге материалы съезда, но подход автора к проблемам свободы совести, сложившийся еще в 60-е годы, по существу остался без перемен. Религиозная идеология, в его понимании, «обожествляет власть эксплуататорских классов, оправдывает неравенство, частную собственность, эксплуатацию человека человеком». Можно ли согласиться с такой оценкой применительно к деятельности религиозных организаций в СССР да и в некоторых других странах? Справедливо ли, далее, утверждение автора, что «все религии рассматривают человека как абстрактное существо, не связанное с миром, с обществом»? Именно против такого упрощенного, поверхностного подхода к религии предостерегал В. И. Ленин, о чем, кстати, не преминул упомянуть А. И. Барменков в своей книге. Отмечу, что русская православная церковь давно уже предписывает своим служителям и верующим строгое соблюдение гражданского (то есть государственного) законодательства. А журнал евангельских христиан-баптистов «Братский вестник» наставляет проповедников «воспитывать верующих в честном отношении к своим общественным и гражданским обязанностям».

В связи с издаваемой сейчас атеистической литературой есть все основания поставить вопрос о правомерности часто употребляемого выражения «советское законодательство о религиозных культах». Оно используется обычно для обозначения нашего законодательства о свободе совести и религиозных организациях. Именно это подразумевает под ним и Барменков. Полагаю, что термин «законодательство о культах» в данном случае неприемлем, потому что культ есть элемент религии, служение божеству по канонам религиозных

обрядов, составляющих внутрицерковную прерогативу. В стране, где церковь отделена от государства, он не может регламентироваться государственным правовым актом. В законодательстве о культах невозможны правовые нормы, которые провозглашают и гарантируют свободу совести граждан, устанавливают отделение церкви от государства и школы от церкви и в то же время обеспечивают свободу атеистической пропаганды. Термин этот вошел в обиход не из нормативных актов, поскольку законов под таким названием нет. Он возник из служебного ведомственного словопотребления и имеет явную негативную окраску. Вот почему нам необходимо вернуться к выражению, отвечающему требованиям логики, Конституции СССР и ленинскому декрету 1918 года: «Советское законодательство о свободе совести и религиозных организациях (обществах)».

Вызывает возражения и категорическое высказывание А. И. Барменкова о том, что религиозные общества «не вправе... осуществлять благотворительную деятельность». (В другом месте: «Комиссии выявляют и пресекают благотворительную деятельность церковников и сектантов...») Благотворительность, считает автор, чужда нашему общественному строю при полной заботе государства о социальном обеспечении, здравоохранении и отдыхе трудящихся. Он даже пишет, что благотворительная деятельность частных лиц и церковных организаций «унижает достоинство и честь советских граждан». Думается, нет нужды доказывать нежизненность и негуманность такой позиции. Нельзя игнорировать и существующую практику: религиозные организации из своих средств помогали пострадавшим от аварии в Чернобыле и от стихийных бедствий в Грузии, вносили средства в Советский Фонд мира. Они оказали материальную поддержку жителям Эфиопии в год жестокой засухи, послали партию медикаментов патриотам Никарагуа... Такова правда. Следует, наверное, и впредь не «пресекать», а направлять на пользу общества добровольные взносы религиозных организаций. Важно подчеркнуть, что наше законодательство не запрещает благотворительную деятельность религиозных организаций. Закон говорит лишь о том, что религиозным объединениям нельзя «оказывать материальную поддержку своим членам», то есть расходовать собранные в народе средства на пособия или другие выплаты членам—учредителям обществ и членам групп, кроме платы за работу. Вольное толкование законов атеистической литературой приводит под-

час к тому, что на местах закон искажается в соответствии с рекомендациями тех или иных изданий. На этой основе возникают споры и недоразумения.

Недостатки книги А. И. Барменкова приходится, к сожалению, отнести не только на счет автора и издательства. Одна из главных причин невысокого качества атеистической литературы — отставание нашего законодательства о свободе совести от современных потребностей демократического развития, от уровня общественного сознания. Эту мысль подтверждает другое издание на ту же тему — недавно вышедшая брошюра «О свободе совести». От книги А. И. Барменкова она отличается в лучшую сторону рядом верных, идущих от жизни суждений: о бережном отношении и правильном использовании памятников истории и культуры, имевших ранее или сохранивших до сей поры религиозное значение; о том, что атеистическая пропаганда не может быть успешной там, где нарушаются законные права верующих, гарантированные Конституцией СССР; о том, что всякое оскорбление чувств верующих только укрепляет в их сознании религиозные убеждения. Но здесь же мы можем прочесть спорное и непоследовательное утверждение о нейтралитете Советского государства в отношении религиозных воззрений личности (сразу после этого говорится о настойчивой работе государства по формированию «атеистического мировоззрения у всех слоев населения, в том числе у верующих...»).

Решительно нельзя согласиться и с позитивной оценкой действующих законодательных актов о свободе совести. Брошюра утверждает, в частности, что изменения и дополнения к этим актам, сделанные в 1975 году, отражают современные требования, что наше законодательство в этой области «носит последовательно демократический характер», «проникнуто духом гуманизма, уважения к человеческой личности и убеждениям людей».

Фактически же действующие сегодня нормативные акты далеко не в полной мере противостоят административному произволу и бюрократизму. Например, регистрация религиозной группы из 10—15 человек, находящейся где-нибудь в Казахстане или Якутии, осуществляется не исполкомом местного Совета народных депутатов, а ведомством в Москве (Советом по делам религий при Совете Министров СССР) и требует предварительного хождения по инстанциям многих государственных органов, каждый из которых может без мотивиров-

ки отказать в разрешении. Сами акты нередко противоречивы, опубликованы не полностью, не увязаны с законами, принятыми в последние двадцать — двадцать пять лет.

В заключение остается напомнить, что поручение подготовить новый общесоюзный

законодательный акт о религиозных организациях, данное несколько лет назад правительственными органами Совету по делам религий и Министерству юстиции СССР, до сих пор не выполнено.

В. КАЛИНИН,
заслуженный юрист РСФСР.



КОНЕЦ РОМАНОВЫХ

Г. З. Иоффе. Великий Октябрь и эпилог царизма. М. «Наука». 1987. 366 стр.

27 февраля 1917 года — победа революции в Петрограде.

2 марта 1917 года — отречение Николая II в Пскове.

Ночь с 16 на 17 июля 1918 года — расстрел царской семьи в Екатеринбурге.

Вокруг этих трех событий, составивших своеобразный эпилог к трехсотлетнему правлению Романовых и ко всей тысячелетней истории российской монархии, концентрируются размышления советского историка Г. Иоффе, основанные на обширном фактическом и историографическом материале.

Долгое время наша историческая наука, по существу, пренебрегала историей Февраля, за которым утвердилась репутация чего-то второстепенного, проходного и уж, во всяком случае, «не нашего». Лишь после XX—XXII съездов такая установка стала медленно, временами даже болезненно, уступать место более объективному, научному подходу. Тем не менее и сейчас можно встретить выпускников средней школы (и не только средней), искренне убежденных, что самодержавие было свергнуто... в октябре 1917-го. В невежестве недорослей повинна и историческая наука, которая слишком долго отделялась невнятной скороговоркой в отношении Февраля, упирая на слабости и половинчатость его завоеваний.

Долгая (примерно полувековая) пауза была и в освещении проблемы монархической контрреволюции после Февраля и Октября. Немногочисленные публикации 20-х годов сменились затишьем. В результате утвердилась сомнительная точка зрения, будто в 1917 году тысячелетняя монархическая традиция в России внезапно пресеклась, канув в Лету. Между тем история (во всяком случае, история нового времени) не дает нам примеров подобного волшебства. Опыт английской, Великой французской и многих других буржуазных революций свидетельствует о трудном и длительном искоренении монархической традиции из обще-

ственного сознания. Эта традиция крайне живуча и способна принимать в зависимости от степени развитости общества самые различные, иногда неожиданные формы: бонапартизм, фанатичная теократия (на Востоке), вождизм, культ личности...

Но вернемся к России 1917—1918 годов, к тем событиям и проблемам, которые рассматриваются в книге Г. Иоффе. Уже на первых ее страницах автор формулирует важное положение, подтверждаемое обширным историческим материалом: общепризнанная изоляция царизма накануне Февраля не означала изоляции монархии как государственной, политической системы. Общественное мнение вынесло приговор конкретным носителям верховной власти, последним Романовым — Николаю II и Александре Федоровне, серьезно скомпрометировавшим себя, и не в последнюю очередь распутинщиной. Последние Романовы и их окружение стали для пореформенной России препятствием на пути к конституционно-монархической модели. Характерно, что ни одна буржуазная оппозиционная партия или организация даже накануне февральских событий не требовала ликвидировать монархию как таковую. Они желали лишь облагородить ее, привести в соответствие с реальностями нового века. Упрямство царизма, близорукое нежелание пойти навстречу буржуазно-либеральным требованиям, безусловно, ускорили и облегчили его крушение. Не последнюю роль в этом сыграли и личные качества самодержца, политический портрет которого Г. Иоффе дополняет новыми штрихами. Автор отвергает германофильство Николая, усматривая в нем убежденного славянофила, почитавшего допетровский XVII век «золотым веком» России. Широко распространенную версию об определяющем влиянии на царя Александра Федоровны и тем более Распутина Г. Иоффе считает необоснованной, отмечая скептицизм Николая в отношении последнего.

Выдвинув лозунг «непредрешения» до победы «белого дела» и вторичного созыва Учредительного собрания, контрреволюция в ходе гражданской войны преобразила монархическую идею в идею сильной национальной власти, «твердой руки», выдвигая одного за другим претендентов на роль верховного правителя России до ее «умиротворения», то есть до полного удушения революции. Показательно в этом отношении признание первого кандидата в российские бонапарты генерала А. Г. Корнилова. На вопрос об отношении к реставрации Романовых Корнилов отвечал, что «кроме хорошего царская семья ему ничего не сделала, но не только реставрации, но даже вообще появления у власти Романовых он бы не желал... Власти он не ищет, но сам понимает, что диктатура только и могла бы спасти положение и если придется взять власть в свои руки, то он этого избегать не будет...».

По мере разгорания гражданской войны российская контрреволюция переходила от умеренно-конституционного либерализма к откровенной реакции и бонапартизму. Если вначале эсеро-меньшевистская и кадетско-октябристская верхушка еще пыталась претендовать на общее руководство белым движением, то к 1919—1920 годам «отцы российской демократии» оказались в обозе у Деникина и Врангеля на положении бесправных приживал. Те же, кто вовремя не сориентировался, разделили печальную судьбу членов архангельского «правительства» народного социалиста Н. В. Чайковского и омской эсеро-кадетской директории. Одни были отправлены на Соловки, другие утоплены в Иртыше в результате военно-монархических переворотов.

Факты и документы, приводимые Г. Иоффе, убедительно свидетельствуют, что на всем протяжении гражданской войны проблема реставрации монархии в России никогда не снималась с повестки дня. Сложнее однозначно ответить на вопрос о возможности восстановления на троне династии Романовых. И здесь вслед за автором мы не можем обойти молчанием судьбу царской семьи. Что с ней происходило после отречения Николая II вплоть до того дня, вернее, ночи с 16 на 17 июля 1918 года, когда все ее члены были расстреляны в подвале дома екатеринбургского инженера Ипатьева?

...Лет двадцать назад в США появилась и сразу же стала бестселлером книга Р. Мэсси «Николай и Александра». Вскоре появилась и ее кинематографическая вер-

сия. Со страниц книги и киноэкрана предстали едва ли не идеальные образы последнего царя и его злополучной супруги, ставших невинными жертвами «злодеев чекистов». О степени научности книги Мэсси говорит хотя бы тот факт, что главную причину поражения царизма в феврале 1917 года с его екатеринбургским финалом американский автор выводит из... гемофилии у наследника цесаревича Алексея, парализовавшей энергию и политическую волю Николая II.

Спустя несколько лет по следам этой книги у нас появилась работа М. К. Касвинова «Двадцать три ступени вниз», ставшая своеобразным ответом Р. Мэсси и другим западным романооведам. При всех ее известных литературных достоинствах меня как историка всегда настораживала в ней публицистическая заданность, попытка доказать неизбежность и даже закономерность именно того финала, который всем известен. Но ведь заодно с Кровавым и его злым ангелом Александрой Федоровной были расстреляны все их дети — четыре дочери и неизлечимо больной сын. В чем была их вина перед русским народом и революцией? Вспомним, что и английская и еще более грозная Великая французская революции проявили естественную гуманность к детям казненных по приговору открытого суда монархов.

Кто знает, может быть, и прав Г. Иоффе, когда пишет, что «степень суровости революции определяется тем, сколько ее было «вложено» в угнетенные массы «верхами» за время их господства, за время безжалостного подавления народа». Еще в мае 1917 года Александр Блок, член Чрезвычайной следственной комиссии по делам о преступлениях старого режима, сделал в своей записной книжке поразительную по пронизательности запись: «За завтраком во Аврорце комендант Царскосельского дворца рассказывал подробности жизни царской семьи. Я вывел из этого рассказа... что трагедия еще не началась; она или вовсе не начнется, или будет ужасна, когда они встанут лицом к лицу с разъяренным народом...»

В свое время А. И. Герцен писал: «...Какая бы кровь ни текла, где-нибудь текут слезы, и если иногда следует перешагнуть их, то без кроважадного глумления, а с печальным трепетным чувством страшного долга и трагической необходимости...» Именно в этой тональности повествует Г. Иоффе о последнем маршруте Романовых из Царского Села в Тобольск и оттуда в Екатеринбург.

Книга подробно рассказывает о многочисленных попытках освобождения царской семьи вплоть до 16 июля 1918 года. Но вот вопрос — кем и с какой целью предпринимались эти попытки? Организованная, так сказать, «официальная» контрреволюция, и об этом говорит Г. Иоффе, после Февраля решительно отвернулась от Николая и Александров Романовых. Отрекшийся царь в любом случае не мог стать знаменем белого движения. Что касается шансов его наследника Алексея, то, во-первых, царь отрекся и за него, а во-вторых, что гораздо важнее, было известно, что наследник обречен: врачи утверждали, что он не доживет и до двадцати лет.

Практически все известные попытки освобождения Романовых были осуществлены либо лицами из бывшей придворной камарильи, либо фанатиками-монархистами, причем с единственной целью — спасти царя и его семью от революционного возмездия.

Какова была действительная роль центральной советской власти — ВЦИК и Совнаркома — в разрешении «романовского дела»? Этот вопрос до сих пор дебатировался на Западе авторами, черпающими аргументы в материалах колчаковской комиссии по расследованию обстоятельств казни Романовых, а также в заявлениях Л. Д. Троцкого, относящихся ко времени его изгнания. Буржуазным советологам хотелось бы доказать, что приказ о расстреле царской семьи был дан из Москвы. На доказательство существования московской директивы в свое время потратил остаток жизни колчаковский следователь Н. Соколов.

Книга проливает дополнительный свет на эту запутанную историю. Прежде всего это касается известной миссии Яковлева (К. А. Мячина), особоуполномоченного ВЦИК, ответственного за безопасность семьи Романовых. Он был ложно обвинен руководителями Уральского Совета в измене и едва не заплатил жизнью за намерение выполнить указания Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова. Позднее версия об измене В. Яковлева с легкой руки екатеринбуржцев получила широкое распространение и утвердилась в литературе. Один из параграфов книги Касвинова так и называется «Авантюра Яковлева». На Западе же поспешили объявить Яковлева «героем», состоявшим на службе не то в «Интеллидженс сервис», не то в разведке германского генерального штаба.

Г. Иоффе первому удалось прояснить как личность Яковлева, так и смысл его миссии. Как свидетельствуют впервые опубли-

кованные автором документы, Яковлев, член партии с 1905 года, старый боевик и давний соратник Я. М. Свердлова, до последнего момента строго следовал официальным и негласным указаниям Председателя ВЦИК. Яковлеву была дана директива вывезти семью Романовых в Москву из охваченной контрреволюцией Сибири. Он имел самые широкие полномочия, которыми не смог до конца воспользоваться из-за противодействия Уралоблсовета. К слову сказать, для выяснения дальнейшей судьбы Яковлева требуются новые поиски. О нем еще не все до конца известно.

На вопрос о возможной участи Романовых в случае, если бы Яковлеву удалось доставить их в Москву, ответить трудно. Здесь можно высказывать главным образом предположения, подкрепляемые, впрочем, документами. Скорее всего, бывшего царя и его жену ожидал показательный процесс в духе процесса Людовика XVI и Марии-Антуанетты. В протоколах Президиума ВЦИК и Совнаркома, в ряде других документов, приводимых Г. Иоффе, содержатся прямые указания на то, что с января 1918 года шла подготовка такого процесса. Его исход предположить еще труднее. Вполне возможно, что Николай Романов и Александра Федоровна были бы казнены, но казнены по приговору открытого революционного трибунала и уж, разумеется, одни, без детей и домочадцев. Но можно предположить и другое, если вспомнить, что вплоть до весны 1918 года, когда вспыхнула гражданская война, советская власть старалась избежать применения смертной казни. Царь и его семья по приговору революционного трибунала как враги трудового народа могли быть высланы за границу. Но... волею судьбы, олицетворяемой в данном случае Уралоблсоветом, всем им суждено было принять смерть в Екатеринбурге.

Причины неудачи миссии Яковлева трудно понять без учета живой конкретной обстановки гражданской войны, когда местные интересы нередко оказывались сильнее указаний центра, отдаленного тысячами километров. Руководство Уралоблсовета, для которого, как отмечает Г. Иоффе, были характерны проявления сепаратизма и крайней левизны, не желало выпускать из своих рук бывшего царя, полагая, что он мог бы стать вождем контрреволюции, подкачавшейся к Екатеринбург. Вопреки имевшимся инструкциям Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова президиум Уралоблсовета самовольно сместил В. Яковлева и, взяв на себя всю полноту ответственности

за судьбу Романовых, распорядился ею по своему усмотрению. ВЦИК и Совнарком были поставлены перед свершившимся фактом.

Характерная деталь: известив ВЦИК по телеграфу о расстреле Николая Романова, вызванном «приближением неприятеля» и «раскрытием большого белогвардейского заговора», уральцы не решились вначале признаться, что расстреляли также его жену и детей. В телеграмме, отправленной днем 17 июля 1918 года, члены президиума Уралоблсовета, между прочим, сообщали Я. М. Свердлову: «Семья его (бывшего царя.— П. Ч.) эвакуирована в надежное место». В. Воробьев, один из членов президиума Уралоблсовета, вспоминал впоследствии, что им «было очень не по себе, когда они подошли к аппарату: бывший царь был расстрелян... было не известно, как на это самоуправство будет реагировать центральная власть, Я. М. Свердлов, сам Ильич...». О расстреле всей семьи Романовых в Москве станет известно чуть позже.

В опубликованном в Екатеринбурге 21 июля 1918 года извещении Уралоблсовета о казни бывшего царя сообщалось: «Семья Романовых, содержавшаяся вместе с ним под стражей в интересах общественной безопасности, эвакуирована из города Екатеринбурга». Руководители Совета понимали, что сообщение о расстреле семьи Николая произведет по меньшей мере неблагоприятное впечатление, и предпочли скрыть этот факт.

Президиум Уралоблсовета оправдывал свое решение тремя обстоятельствами: приближением к Екатеринбургу белой армии, раскрытием большого белогвардейского заговора и невозможностью эвакуации Романовых. Из этих трех мотивов серьезно внимания заслуживает разве что первый. Но здесь необходимо уточнить: о какой белой армии шла речь? Напомню, что к Екатеринбургу подошли белочехи и армия временного сибирского эсеров-меньшевистско-кадетского правительства, официально отвергавшего идею реставрации монархии, и уж тем более Романовых. Нет серьезных оснований полагать, что битая романовская карта могла быть разыграна комучевцами

или даже свергнувшим их вскоре Колчаком. Вероятнее всего, царскую семью могли от греха подальше отправить куда-нибудь за границу. Что касается большого белогвардейского заговора, то этот довод приводился скорее как оправдание уже принятого решения. Что действительно угрожало безопасности Романовых, и об этом постоянно помнили уральские большевики, так это возможность анархо-левоэсеровской акции, но не с целью спасения, а с целью убийства царя и его близких. Наконец несколько слов о невозможности эвакуации Романовых из осажденного Екатеринбурга. Во-первых, сообщив населению города об эвакуации семьи расстрелянного Николая, Уралоблсовет тем самым признал, что такая возможность в принципе существовала. Во-вторых, между расстрелом Романовых и взятием белыми Екатеринбурга прошло более восьми суток — срок для эвакуации достаточный. Кстати, членам президиума Уралоблсовета, вынесшим смертный приговор бывшему царю и его семье, удалось благополучно выбраться из города, избегав встречи с белогвардейской контрразведкой.

Но это все рассуждения и предположения с дистанции семидесяти лет. Тогда, в июле 1918-го, много виделось совсем в ином свете...

Стараниями белоэмигрантских и западных пропагандистов расстрелянный царь, его жена и Дети превратились в мучеников, что позволяло под шумок списать многие реальные преступления царя перед своим народом. Кампания по реабилитации Николая II и его правления достигла апогея в 60—80-е годы. Любопытно, что в 1918 году, как свидетельствуют документы тех дней, известие о расстреле царской семьи прошло малозамеченным и не встретило широкого отклика, в том числе и в белом стане. Было не до того. Вся страна была залита слезами и кровью невинных жертв. Разгоралась пламя гражданской войны, поглотившее свыше пяти миллионов человеческих жизней...

Поистине «Россия, кровью умытая».

Петр ЧЕРКАСОВ,
доктор исторических наук.

СОЦИОЦЕНТРИЗМ ИЛИ СОЦИАЛИЗМ?

Сейчас много пишут о бюрократизме, советском консерватизме, волюнтаризме. Эти три кита социально ущербного сознания действительно наиболее явно мешают, путаются в ногах на наших новых путях. Но, на мой взгляд, все три кита не просто взаимосвязаны, но в наших условиях и сами опираются на нечто общее, на некую «чрепаху», плывущую по водам общественного нашего бытия. Эта общая главная болезнь — социоцентризм.

Социоцентрическое мышление — прямолинейно, примитивно. Его главный постулат можно выразить в формуле «чем больше заботы об интересах общества, тем лучше для людей». Ошибка здесь кроется прежде всего в словах «чем больше». Как говорили еще древние, разница между лекарством и ядом состоит лишь в дозе. Везде хорош только оптимум, а не максимум. Кроме того, социоцентрик понимает под обществом нечто абстрактное. Живые люди во плоти для него не общество, а что-то другое, — «индивиды», «частники», носители сугубо личного. Общество он противопоставляет отдельному человеку. Социоцентрик, «любя» человечество, часто по отношению к индивиду человеконенавистник.

Социоцентрик считал: раз личное всегда должно подчиняться общественному, почему бы не вывезти чуть ли не задарма весь урожай из колхоза в государственные закрома? Это полностью подпадает под принцип «общественное выше личного» — если, конечно, в понятие «общество» не включать колхозников.

Первым трагическим следствием этой «заботы» было разрушение чувства хозяина у наших людей. Для социоцентрика представляла настоящую ценность лишь одна форма социалистической собственности — общенародная. А жизнь показала, к каким общественно-психологическим последствиям это приводит: то, что принадлежит всем, в субъективном восприятии не принадлежит никому. Элементарная диалектика! Отдельный человек не может распоряжаться собственностью всего общества, поэтому у него не может быть чувства хозяина. И не бывает!

В инвестиционной политике социоцентризм выразился в резком ограничении ресурсов, направляемых именно в социальную сферу («остаточный принцип»), на удовлетворение личных потребностей людей. В рамках социоцентрического сознания экономик нужна ради самой экономики, человек в лучшем случае рассматривался в качестве придатка к огромной, нужной лишь самой себе экономической машине.

Социоцентризм ценил лишь те виды деятельности, которые дают (по его мнению) что-то для общества в целом. Искусство ремесленника, индивидуальная трудовая деятельность были для него как бы и не трудом вовсе, да и коллективная (групповая) трудовая активность была на подозрении: из года в год урезывались капиталовложения в развитие колхозов и обслуживающих сельское хозяйство отраслей промышленности, деревня приходила во все больший упадок, люди потянулись в города.

Социоцентрик не дремал и в политической жизни: сам отбирал для нас депутатов, сам дирижировал ими, ограничил активность профсоюза — защитника интересов трудового человека и т. д. Даже подвиг для него не был подвигом, если он совершался в интересах отдельных личностей. Вспомним поражающий воображение героизм Шаварша Карапетяна — Геракла наших дней в полном смысле этого слова. Казалось бы, невозможно не оценить его по достоинству. Вот что говорят о нем простые, нормально мыслящие люди: «То, что совершил Шаварш Карапетян, — не просто подвиг. Это не просто героический поступок. Шаварш двадцать раз нырял на девятиметровую глубину. Он двадцать раз поднимал со дня обреченных на гибель людей. Он двадцать раз рисковал своей жизнью и спасал жизнь незнакомых, чужих людей. Он истекал кровью — его ноги были порезаны троллейбусными стеклами, — но он не обращал на это внимания. Наконец, он знал, не мог не знать, что его собственной спортивной карье-

ре — карьере знаменитого пловца — конец. Он не мог не почувствовать, что черпает силы на годы вперед. Так и произошло: он сорвал мышцы, сорвал сердце. Это был не просто подвиг — это было величайшее благородство, пример милосердия и самоотверженности. Шаварш — подлинный Герой!!!» («Литературная газета», 29 апреля 1987 года). О подвиге Шаварша было извещено на весь мир с трибуны ЮНЕСКО, все люди на планете восхищались им. Его имя увековечили в космосе... Но наградили Шаварша орденом «Знак Почета», и то лишь под давлением общественного мнения.

Для социоцентрического мышления все это вполне логично: «Подвиг, совершенный ради отдельного человека, даже для двадцати отдельных людей, — не подвиг». Вот если бы Шаварш перевыполнил нормы на производстве или спас государственное имущество — тогда бы было совсем другое дело!

Как писал поэт, он был тем любезен народу, что чувства добрые «лирой пробуждал». Вечные нормы морали, вышедшие из недр простого народа, всегда одобряли сердолобие и милосердие. Но социоцентризм считал эти качества проявлением абстрактного гуманизма, внушал людям мысль о том, что жалость унижает человека и недостойна его. Теперь, когда сердечная тупость, черствость, безразличие к чужому страданию стали настоящим бедствием, пришло отрезвление, но поздно: упущено слишком много!

Социоцентризм соответственно деформировал правосудие: оно приняло обвинительный уклон, человек был слабо защищен адвокатурой. Закон старался строго блюсти интересы целого, но был либерален к тем, кто покушался на честь, достоинство и имущество отдельной личности, не очень охраняя его интересы. У Ф. Абрамова есть документальный рассказ о деревенской старухе Репке. Репкой женщину прозвали за то, что она в голодный год унесла с колхозного поля несколько репок, чтобы спасти от смерти изможденных детей. За это она отсидела перед войной пять лет в тюрьме. Подросли без матери дети, защитники родины, и ушли на фронт, трое сыновей сложили там свои головы. Правосудие действовало в таких случаях жестко! Но это вызвало эффект, противоположный ожидаемому. Люди перестали стесняться воровства — если оно касалось общественной собственности. Хищения, кражи приняли широкий размах. Ведь общество не очень церемонилось с колхозной собственностью, да и с личной тоже (скажем, экспроприировали середняка в годы коллективизации, обложили налогом каждую яблоню, куст смородины, организовали принудительную подписку на займы, до сих пор кое-где чиним произвол, разрушая у людей теплицы, дачи и др.). На социоцентризм народ неизбежно отвечает эгоцентризмом, безразличием к делу.

Попадая в начальники, социоцентризм отождествляет себя с обществом. Он сосредоточил в своих руках огромную власть, создал легионы чиновников, железной рукой крутил шестеренки государственной машины, видя в живых людях лишь детали этой машины, рычаги. Он старался сделать их послушными и безоглядно исполнительными, лишить их собственной воли. Если нужно было строить ясли в Воркуте, порой приходилось ехать за разрешением в Москву. Самым исправным начальником считался тот, кто беспрекословно выполнял указания сверху. Поэтому можно было слыть вполне хорошим, заслужить ордена и медали, не заботясь о благополучии своей республики, области, района, своего коллектива. Стремление подчинить все единой воле породило повсеместно планоманию, когда планирование стало самоцелью.

Это привело к тому, что планы перестали отвечать своему назначению, жизнь стала развиваться помимо них.

Социоцентрический подход, основанный на недоверии к личности и коллективам, породил огромный многослойный аппарат для контроля за выполнением многочисленных планов и распоряжений. Тысячи и миллионы чиновников пропускают огромное количество информации «снизу», оказывают непрерывное подбадривающее давление «сверху». Поэтому естественно, что мы все время жалуемся на бумажную крутоверть, на множество проверок, вызовов, совещаний, заседаний, отвлекающих от работы.

Свойственные социоцентризму авторитарные отношения калечат личности и руководителей и руководимых. Огромная власть, привычка командовать, непоколебимая уверенность в независимости от «низов» вызывают у человека манию величия, чувство незаменности, опухли чванства, нетерпимость к инакомыслящим, омертвление души. Человек становится как бы драконом, готовым пожрать любого, кто ослушается, осмелится иметь собственные суждения, проявить независимость, сохранить до-

стойство. Он присматривается ко всем с тревожным подозрением: не замышляют ли против него недоброе? не пытаются ли оспорить власть и влияние? не покушаются ли на его авторитет?

Авторитарно-социоцентрической психологией сейчас заражены в той или иной мере многие, очень многие руководители. Их беда в том, что они этого сами не замечают, считают себя вполне демократами. Ясно, что без основательной внутренней перестройки им не удастся возглавить процесс демократизации в своих трудовых коллективах и ведомствах. В первую очередь им надо избавиться от пароксизма ненависти к критике, клочкотания гордыни после малейшего замечания со стороны подчиненных — от всего того, что у них давно уже стало условным рефлексом, не подвластным голосу разума. У них нет умения дискутировать — только изрекать истины в последней инстанции или соглашаться с вышестоящим. Порой они не способны даже говорить простым человеческим тоном, принять приветливое выражение лица — на нем застыла маска выскомерия с брезгливо опущенными книзу уголками губ.

Смогут ли они хотя бы не тормозить процесс демократизации нашей жизни? Демократия — материя очень тонкая. Ей нужны, как воздух, доброжелательность, доверие и открытость, уважение к личности. Как говорил А. С. Макаренко, такие отношения в коллективе трудно создать, но их легко может разрушить первый попавшийся самодур.

Социоцентризм, догматизм сверху порождают снизу ответ — равнодушие и конформизм, отличительные особенности которого пассивность, привычка ждать указания сверху, безынициативность, несамостоятельность, готовность молча проглотить каждое слово начальника, беспринципность и нечестность. В науке это проявилось в повторении задов чужих мыслей, в робости, неспособности выйти за рамки общеизвестных цитат. Привычка верить на слово авторитетам, конформизм мышления привели к тому, что теоретические представления о жизни оказались во многом оторванными от реального бытия. В результате получило распространение аутическое мышление, оперирующее фантастическими представлениями о жизни, приписывающее ей такие свойства, которыми она совершенно не обладает.

«Мы долгие годы жили в окружении мифов. Утверждали, что «план — закон», но в действительности он никогда законом не был. Говорили: у нас нет наемного труда, — но и тут миф, поскольку человек не может воспринимать себя хозяином, когда все за него решают другие. Еще миф: общегосударственная собственность якобы порождает в человеке высшее «собственническое чувство», в силу которого он готов беречь и приумножать национальное добро. Все мы знаем, как долго держался миф о «пережитках капитализма в сознании людей», хотя речь шла о последствиях наших собственных упущений. А хозрасчет? Ему посвящались лекции, о нем писали монографии, но никогда его у нас не было, нет и по сей день... Лицо общества изменится, если мы откажемся от «мифотворчества» и обратимся к реалиям жизни» («Литературная газета», 3 июня 1987 года).

Часто кичащееся своим «атеизмом» и «материализмом» социоцентристское аутическое мышление на деле есть разновидность субъективного идеализма, своего рода религия — и довольно примитивная. Действительность мифологизируется. Воспитательницы, учителя, книги, радио, телевидение, газеты, внушая одни и те же мысли и пресекая «своеволие», порой полностью лишают человека способности трезво оценить окружающий мир. В этих условиях редкие люди могут противопоставить свои житейские впечатления пропагандируемым мифам. Подобно героям Андерсена, они не замечают наготы короля. Но отсюда же и эффект мгновенного прозрения, краха мифа, когда кто-то воскликнет: «А король-то голый!» В этом мы убедились в последние годы на собственном опыте: слова правды, сказанные на XXVII съезде партии, помогли разглядеть многих голых королей, отбросить многие иллюзии и догмы, заслонившие горизонты реальности, дорогу вперед. Но отрезвление еще только началось. Первостепенное значение приобретает воспитание самостоятельных людей, способных думать творчески, следовать излюбленному девизу Маркса: «Все подвергай сомнению». Сегодня конформизм и догматизм — опаснейшие рифы на пути перестройки. А для того чтобы убрать их с дороги, снять удушающий пресс социоцентризма, надо углубить процесс демократизации и решительно пересмотреть методы обучения и воспитания подрастающего поколения, повышения квалификации кадров.

Социоцентризм порождает беспринципность и лживость. Установка непременно угодить начальству, ориентация только на него отменяют нравственную ответственность

человека перед своей совестью и окружающими людьми. Остается лишь один бог и один судья — начальник. На всех остальных социоцентрист может наплевать — и быстро к этому привыкает. Он может обмануть и подвести любого, ибо любой, каждый для него — никто. Пустые обещания, отрыв слова от дела становятся привычными — тем более что лично он не несет из-за этого никаких материальных издержек. Такие руководители на словах готовы горы свернуть, раздадут посулы направо и налево, берут любые обязательства, с самого начала зная, что ничего не сделают.

Демократизация — это не только политические и организационные нововведения, не только новые законы и инструкции, права и обязанности, но и перестройка нашей души. А она будет происходить медленно. Здесь речь идет о миллионах людей. По словам Ленина, «сила привычки миллионов и десятков миллионов — самая страшная сила» (Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 27). Сломать ее далеко не просто. Поэтому глубокая демократизация нашей жизни произойдет не в одночасье...

Типичным проявлением социоцентризма является уравнильское мышление, глубоко укоренившееся прежде всего в сфере распределительных отношений. Его исходный постулат прост: «Пусть всем достанется общественного пирога понемногу». Это значит: 1) пусть получают блага все; 2) благ у отдельного человека не должно быть много; 3) не стоит обращать особое внимание на то, заработаны они сполна или нет. Многие по сей день считают, что это принципы социализма. Но это всегда были догмы социоцентризма.

Уравнильское мышление привело к тому, что хорошие труженики получали такую же зарплату, что и плохие, ленивые, неквалифицированные. Они имели одинаковые права на жилье, на путевки в дома отдыха, санатории, лечение, на все прочие блага. Зарплата самого высококвалифицированного работника, настоящего профессионала, мало чем отличалась от зарплаты середняка. Это убило у многих людей инициативу и находчивость, сдерживало развитие талантов, творческих способностей. Отказывались выплачивать положенное вознаграждение авторам ценных изобретений («слишком много!»), сулящих обществу многомиллионную экономию, незаконно расторгли договоры с подрядными коллективами, получившими небывалые урожаи, чтобы лишить их высокой оплаты, и т. д. Иными словами, уравнильское мышление было выше человеческих прав, выше закона. Оно предпочитало лишить общество миллионной прибыли, лишь бы не платить отдельному работнику тысячу рублей. Следствие уравниловки — множество бездельников, полузанятых людей в трудовых коллективах.

Из этого «интеллектуального» источника — социоцентристского уравнильского мышления — питаются сегодняшние экстремисты-«леваки», противники индивидуальной трудовой деятельности, кооперативных форм собственности: главный их пафос — не позволить людям много заработать. Ленивый, растяпа, несун для них милее, чем активный способный работник, имеющий хороший заработок.

Социальное последствие уравниловки оказалось весьма неожиданным: устранив одну форму эксплуатации (капиталистическую, феодальную), мы создали другую — государственно-благотворительную, когда сонливые, нечестные, пьяные, слабые, нечистые на руку на законных основаниях забирали из «общего котла» те блага, которые созданы трудом и старанием добросовестных, инициативных и талантливых людей.

Уравнильское мышление проявлялось не только в сфере распределения, а охватило многие другие области общественной жизни. Мы уравнивали мужчин и женщин, требуя от них одинакового вклада в общественное производство, таланты писателей и поэтов, выплачивая им гонорары за толщину книги, присуждая им государственные награды и почетные звания скорее за чин, в порядке очередности, чем за заслуги перед искусством; уравнивали во многом облики городов, сел — застраивали их по спущенным сверху стандартным проектам, не считаясь с тем, Молдавия это или Рязанщина, Латвия или Киргизия. Стали похожими друг на друга наши квартиры, школы, ученики, наши праздники, наши собрания и произносимые на них речи...

Однако социоцентрист сделал из общего правила одно исключение: себя он поставил в особое положение. В сущности, проповедуя уравниловку и умеренность, он сильно лукавил — в действительности же добивался для себя особого статуса.

С одной стороны, рассуждая «в пользу бедности» и против «вещизма», он сочинял целые романы и трактаты, пытаясь убедить людей в том, что богатство развращает личность. А с другой, он сам в повседневной жизни использовал все возможности для создания максимального комфорта для себя и своих домочадцев: если позволяла власть, забирал себе просторную квартиру в лучшем доме, путевки в лучшие санато-

рии, лечился в лучших больницах, настойчиво прокладывал пути к дефициту, к наградам, премиям, высоким званиям, к государственным дачам, к высокооплачиваемым должностям и др.

Социализм требует: кто не работает, тот не ест. Развитие этого принципа: оплата должна зависеть от количества и качества труда. Социоцентризм — враг этих принципов и, следовательно, враг социализма. Возникает вопрос: почему же вопреки теории, вопреки нашим представлениям о социализме уравниловка столь глубоко внедрилась в общественную психологию? Может быть, надо повысить уровень политической учебы, марксистской подготовки руководителей? Увы! Повышали — не помогало.

Главный путь преодоления уравниловоческого мышления — это не просвещение, а коренное изменение социального статуса руководителей, прежде всего высших, с тем чтобы они несли реальную прямую, немедленную ответственность за разумное использование государственных средств и конечные результаты своей деятельности.

Социоцентризм нашел приют в науке: гуманитарные дисциплины (особенно психология), изучающие отдельную личность, развивались с огромным трудом или не развивались вовсе. В результате знание общих закономерностей развития общества все больше оторвано от исследований личности, группы, коллектива. Тем самым социоцентризм углубляется: само социоцентрическое мышление во многом сформировалось из-за незнания и непонимания человека. Все осмысливалось через призму широких социальных категорий — общество, классы, базис, надстройка, общественные отношения. Считалось, что раз есть социалистический базис — общественная собственность на средства производства, то люди как бы автоматически обретут новое сознание — социалистическое. Оказывается, есть другая возможность. Социоцентризм одержал верх, держит, не пускает к социализму.

Надо считаться не только с общими, но и с частными законами, управляющими сознанием отдельной личности, в противном случае мы не сумеем приложить к жизни и общие, пусть и самые верные закономерности. Это значит, что общенародная собственность должна дополняться такими видами коллективной собственности, которые приводят в движение социально-психологический механизм формирования у людей чувства хозяина. Сейчас в социалистических странах наметилась отчетливая тенденция развивать коллективные формы собственности (вплоть до семейного подряда), то есть жизнь неуклонно ведет нас к формам организации труда, вызывающим у людей чувство хозяина. Наступил момент, когда надо ускорить движение в этом стержневом направлении. А для этого надо призвать на помощь социальные науки, прежде всего социальную психологию. На XXVII съезде КПСС правильно подчеркивалась неразработанность в науке форм социалистической собственности, недопустимость сведения ее к собственности всенародной. Но одна лишь философия без помощи социальной психологии не справится с этой задачей, так как здесь мы сталкиваемся с проблемами формирования психологии группы и отдельной личности.

Разумеется, структура науки каждой страны имеет свои особенности и не может служить образцом для других. Тем не менее отставание психологии в нашей стране вызывает тревогу. В советской науке психологи составляют лишь около 0,2 процента от общей численности научных работников (в 42 раза меньше, чем в США).

Корни социоцентрического мышления уходят в историческое прошлое. Капиталистическое общество, дающее широкий простор индивидуализму, аппетитам «сильной личности», вызвало у некоторых теоретиков социализма желание противопоставить ему такую модель общественного устройства, в котором индивид целиком подчинялся бы общественным интересам. Прудон, к примеру, считал, что люди при социализме будут счастливы именно потому, что они пожертвуют личным ради общественного.

Прудонизм выдержал насмешки А. И. Герцена, марксистов и стал в виде социоцентризма альтернативой социализму. Уже на собственном опыте мы поняли, что нет абстрактного общества вне человека, общество не может быть счастливым, если не счастливы конкретные люди. Если наступят трудные времена, люди проявят готовность отдать все во имя родины. Об этом еще раз свидетельствует героизм советских людей после чернойбыльской аварии. Но нельзя требовать постоянной самоотверженности от человека в мирные будни, безоговорочного вечного подчинения личных интересов интересам работы. Ведь работа не самоцель: она должна гармонизировать личное и общественное.

Социоцентризм — источник многих парадоксов нашей жизни: чем больше строили и производили продукции, тем сильнее вязли в дефиците (жилья, хороших товаров

и др.); чем больше распахивали землю, тем больше покупали зерна за океаном; чем громче призывали развивать критику, тем изощреннее и больше за нее мстили, тем усерднее загоняли в подполье правдивое слово; чем больше произносили правильных речей, тем меньше становилось правильных дел; чем сильнее управляли — планировали, командовали, проверяли, тем слабее управлялись люди, тем быстрее хирели управляемые объекты; чем больше становилось ученых, профессиональных писателей, актеров, художников, медиков, тем резче снижалась отдача от проводимых исследований, тем сильнее захлестывало половодье непрофессиональной литературы и серьезного искусства; тем хуже становилось лечение; чем сильнее ратовали за равенство, тем ярче проявлялись кастовость и неравенство. Кругом были парадоксы, парадоксы — печальные порождения мысли, зажатой в тиски ущербных стереотипов. Да, поистине для нас сейчас нет более животрепещущей, более жгучей проблемы, чем перестройка мышления.

Возникает вопрос: неужели социоцентризм, проявивший себя так грубо и широко, есть лишь результат нашей трудной истории, теоретических заблуждений и непомерных амбиций отдельных руководителей страны, недостатков их характера? Разумеется, все эти причины сыграли свою роль. Но тут есть еще и другая причина: безоглядная вера широких народных масс в идеи социализма и в своих вождей. Люди были убеждены в том, что вышедшие из самых низов лидеры страны беззаветно преданы социализму, интересам трудящихся, день и ночь пекутся об их нуждах. Если жизнь сегодня нелегка и требует жертв, то завтра она будет прекрасна. Вот на какой общественно-психологической почве расцвел социоцентризм. Народ, не имевший в прошлом опыта политической жизни в условиях демократии, сам отдал «сильным личностям» свои демократические права, сам выпустил их из-под контроля.

Социоцентризм постепенно деформировал социалистическую демократию и создал поддерживающую себя социоцентрическую организацию общества.

Это — организация, сконструированная прежде всего для осуществления целей абстрактного «общества в целом» и «великих» личностей. Ее отличительные особенности — высокая централизация власти, жесткая субординация, колоссальный управленческий аппарат.

Сегодня на наших глазах социоцентрическое мышление терпит политический и нравственный крах — прокладывают путь в будущее верные ленинским принципам здоровые силы нашего народа. Но путь этот будет нелегким.

Как всякий сорняк, это извращенное мышление очень живуче. В годы перестройки оно будет изворачиваться ужом, вновь и вновь пытаться увести нас с намеченного пути, клеветать на происходящие изменения, давать мрачные прогнозы, толкать на полумеры. В чем это будет проявляться? Прежде всего в попытках опорочить экономические и управленческие новации. Под флагом борьбы за «социальную справедливость» и «чистоту нравов» оно попытается задушить непосильными налогами кооперативные и индивидуальные формы трудовой деятельности, выхолостить суть самофинансирования, отнять право трудового коллектива использовать получаемую прибыль для удовлетворения своих социальных нужд, будет кричать «караул» по поводу «разнузданной прессы», высоких зарплат честных тружеников, развития рыночных отношений, выборности руководителей, сокращения числа чиновников и уменьшения их привилегий, «преждевременного» расширения демократии, самостоятельности. Словом, социоцентризм будет лишь «в общем» за перестройку, а конкретно всегда станет отчаянно вредить ей, прикрываясь демагогическими разглагольствованиями, оторванными от реальной жизни.

Им хочется ответить словами Ленина: «Мы должны говорить прямо, не боясь газет, которые выходят во всех городах мира. Это пустышки, из-за этого не будем молчать о нашем тяжелом положении» (Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 366).

А ведь положение у нас и впрямь пока нелегкое. Давайте будем об этом говорить, анализировать ошибки и искать пути их исправления.

Г. ШАКУРОВ,

доктор психологических наук, профессор

КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР НЕЖНЫЙ. Бумажное дело. Повесть, очерки. М. «Советский писатель». 1987. 360 стр.

«...А что, собственно, во всем этом нашли вы особенного?» Думать было некогда, я брякнул: «Семнадцать лет все-таки...»

Да. Именно столько лет насчитывает история создания отечественной широкоформатной машины для производства газетной бумаги. Об этой истории (как и о множестве других, связанных с трагическими судьбами русского леса) рассказывает в своей повести «Бумажное дело» публицист А. Нежный.

Я читал сию грустную повесть и думал: трудно все-таки писать о сюжетах вроде бы чисто производственных и не закопаться окончательно в технических подробностях, не подменить истории дела историей документации, собранной «в двенадцати пыльных папках с темно-синими твердыми обложками и блестящими металлическими скрепами». Нежному это удалось — удалось остаться публицистом, писателем и вытянуть на свет нити, соединяющие приказы, распоряжения, инструкции и людей, их писавших или же им сопротивлявшихся. Скажем, история создания бумагоделательной машины Б-15 — первой и, увы, единственной в нашей стране — написана им прежде всего как трагическая история людей, где энтузиазм и честное отношение к своему делу сплелись с бюрократическим идеотизмом и силой инерции, масштабы которой (взять хотя бы семнадцатилетний срок разработки машины) невольно заставляют вспомнить о оголовских иронических гиперболах.

«Бумажное дело» — один из несчастных в нашей литературе случаев удачного соединения реальных фактов, портретов людей и выраженного авторского отношения к ним. Конкретные события тянут за собой воспоминания, размышления, ассоциации. Автор вроде бы неожиданно, но на самом деле подчиняясь внутренней логике повествования, начинает размышлять о времени — прошлом и настоящем, о смысле человеческого существования, вспоминает о Паскале, маркизе де Кюстине, Достоевском, Толстом. Сегодняшний день высвечивается днем прошлым и становится понягнее, порой драматичнее, картина мира нынешнего, в котором живет и смуглая девочка с консервного завода, чья юность не вяжется с «низким, мрачным помещением, наполненным запахом рыбы и пустым жестяным грохотом», и вальщик леса Женя Баранцев, и полуфантастический, напоминающий булгаковского Коровьева Семен Семсич — человек-приз-

рак, экономист широкого профиля с серым лицом, о котором «вполне можно было бы сказать, что оно нехорошо выглажено», и вполне реальный бывший министр, и десятки других людей — безголосых и голосистых, напористых и скромных, хороших и плохих. Обилие наблюдений, впечатлений, мыслей, пережитых, передуманных автором во время поездок по российским городам и весям, вошло в повесть на равных правах с изложением производственной истории, определяя многосложность повествования, его серьезность, его своеобразие.

Ориентире социально-нравственные поступают на страницах «Бумажного дела» вполне явственно. То обилие подробностей, отступлений, экскурсов в прошлое, с которыми Нежный рассказывает о судьбах нашего леса, о ситуациях, характеризующих сегодняшнее состояние нашей экономики, отнюдь не самоцельно, автор уверен: если предать эти истории забвению, то «в нас словно некий изъян образуется». И в самом деле — «от наших поступков само мироздание, может быть, всякий раз потрясается, а мы столь непростительно легко к ним относимся...».

Грозная сила, обретенная человеком, заставляет сегодня задумываться об этих потрясениях все чаще и чаще. Она и в электропиле, что валит наземь деревья, «она и в атомной бомбе; она в колбочках затаилась, повальными морями грозя; она в небесах воеет и под водой крадется; она своими зубами меч-рыбы вот-вот перепилит сук, на котором мы все — почти пять миллиардов — сидим...». Тревога за будущее звучит в словах автора, спрашивающего: «Кто ее остановить может? кто насытит ее? предел ей положить?»

...Из малой истории делается большая. Из мелочей незаметно, но верно складывается облик времени, его дух, который должен стать духом «реальности плодотворных свершений». Если смотреть на дело так, тогда и за «бумажным делом» станут видны все другие, имя которым — дела человеческие.

Л. Карасев.



ПЕСНИ БЫЛОГО. Из еврейской народной поэзии. М. «Советский писатель». 1986. 319 стр.

Хотя в этой книге, разделенной (как водится в сборниках поэтического фольклора) на тематические разделы, один из них имеет подзаголовок «Шуточные песни», я давно не испытывал такой грусти при чтении.

Умер составитель, переводчик и автор послесловия Наум Гребнев. Но и весь тот мир, о котором — со всеми его радостями и бедами — говорит книга, целиком в прошлом. Насильственной гибели людей, населявших и воспевших его в этих бесхитростных и оттого прекрасных стихах, посвящен целиком предпоследний раздел.

Правда ли, что есть на свете где-то
Край, где нет ни стражников, ни гетто?

Я не знаю, случайно ли в строке «По всей земле и грохот, и смрад» отозвались слова из раннего (1916) стихотворения Цветаевой «Евреям», которому суждено было стать пророческим:

По всей земле — от края и до края —
Распятие и снятие с креста.

В послесловии Гребнев вспоминает, как перед войной он слушал песни в местечке, о последующей судьбе жителей которого он потом не переставал думать с ужасом. Ему удалось создать памятник тем, кто сочинил и пел эти песни. Он переложил их со всем своим мастерством, передав и естественность интонации и простоту словаря, и разнообразие и необычность ритмов, и глубину накопленной веками, если не тысячелетиями, мудрости, почти всегда спрятанной за усмешкой. Ведь это не совсем обычный фольклор: его создал народ, имевший многотысячелетнюю высокую книжную культуру, но на другом языке (древнееврейском, продолжаемом современным ивритом). В средние века, когда рядом с этим сакральным языком стал использоваться в качестве неофициального языка (говоря словами Бахтина) идиш, возникший на основе одного из немецких диалектов, на нем начали сочинять стихи и поэмы (самая ранняя из них относится к XIV веку). О значительности этой традиции, не стесняемой рамками официальной торжественности, можно было уже догадаться по ее преломлению у авторов, писавших на идиш, как, например, Шолом-Алейхем. Однако систематическое изучение фольклора на идиш у нас началось и велось успешно в 20—30-х годах: в это время в Минске и Москве выходят специальные журналы и сборники, из которых черпал материал Н. Гребнев (справедливости ради замечу, что самые первые публикации фольклорных еврейских песен из России напечатал более ста лет назад И. Г. Оршанский). Затем эти исследования, как и другие начинания, связанные с еврейской культурой, обрываются. До книги Гребнева подобного сборника переводов на русском языке не было.

Знакомому с литературой Древнего Востока, где к числу самых ранних поэтических текстов принадлежат заговоры и заклятья в таких переведенных Н. Гребневым «Проклятых», как «Чтоб у тебя потрескались губы, чтоб у тебя выпали зубы...», мерещится Древний прообраз, воплощенный в другом языке. Но и там, где в стихах можно услышать отзвуки мифологического прошлого, они иной раз иронически переименованы, стихи пропитаны горечью последующего опыта, рождающего скепсис:

Слетались на своих крылах
К нам ангелы в былые дни,
А нынче и на небесах
Перевелись они.

В каждом из разнообразных жанров, представленных в книге, Наум Гребнев показал себя подлинным мастером перевода. В разделе Детских стихов есть подлинные шедевры «нелепиц», как «Чудо-перечудо» с блестяще найденными созвучиями. В нежных и грустных любовных песнях Гребневу в самой лирической форме удалось показать отмеченную им и в предсловии близость переводимых им фольклорных вещей к произведениям народной словесности тех соседних народов, прежде всего славянских, с которыми бок о бок на протяжении тысячи лет — как мы теперь узнали из новых находок — жили евреи в Восточной Европе (в это время и в идиш вошло много славянских слов).

Огромный переводческий опыт и эпиграмматический талант Наума Гребнева едва ли не всего отчетливее сказались в том, как он умел передать остроту мысли в предельно сжатом двустии:

Дни даже горькие цени:
Не возвратятся и они.

Вяч. В. Иванов,
доктор филологических наук.



ЛАДО ГУДИАШВИЛИ. Книга воспоминаний. Статья. Из переписки. Современники о художнике. М. «Советский художник». 1987. 335 стр.

Линия жизни Ладо Гудиашвили, на взгляд почтительно-рассеянный, каким мы, по совести говоря, привыкли смотреть на судьбы блестящие и благополучные, может представиться столь же ладно-округлой, изысканно-прихотливой, как линии на его холстах, как изгибы рук, волны волос, как плетение цветов, вязь лент и конских грив, как несочнаемые гирлянды на его графических листах... Впечатление усиливается от знакомства с фактами биографии художника: здесь замысел судьбы и возможность его воплощения сходятся с идеальной будто бы точностью. Легендарный Тифлис с его блеском народного артистизма, который мы тщетно пытаемся вообразить с помощью, скажем, книги Иосифа Гришашвили «Литературная богема старого Тбилиси» или фильмов Сергея Параджанова «Цвет граната» и «Легенда о Сурамской крепости», был для Л. Гудиашвили местом сильнейших впечатлений младенчества и отрочества. Годы ученичества Ладо, внука сельского священника, прошли в изучении архитектуры Древних и средневековых храмов в Набатеви, Гаредже, на юге Грузии. Восприняв такой, по признанию самого мастера, важный духовный и художественный опыт, Л. Гудиашвили соединяет его с традициями очень специфической тифлисской городской культуры. Этот слав становится сутью манеры художника. К тому времени в Грузии, как и в Европе и в России, рождаются формы нового поэтического мышления, новый поэтический язык: происходят процессы, близкие внутренним побуждениям молодого художника. Вместе с С. Судейкиным, Я. Николадзе, Д. Какабадзе и поэтами-«голубороговцами» Л. Гудиашвили участвует в художественной жизни Тифлиса. Затем —

пять лет в Париже, о нем пишут, картины имеют успех.

Вернувшийся на родину в конце 1925 года художник попадает в другую реальность: можно представить себе лексику и жесты поздних 20-х и ранних 30-х годов. Однако и тогда знаки успеха сопутствовали знаменитому теперь художнику: он много работает, выставляется — в Тбилиси и за рубежом, расписывает стены общественных зданий, профессорствует в Академии художеств, оформляет спектакли... В сюжете жизни художника в 1946 году совершается неправдоподобный по завершенности линии поворот (если вспомнить юношеские штудии в храмах Давид-Гареджи, Хахули, Ошки): он получает предложение католикаса расписать фресками внутреннюю часть Квашветской церкви... Художнику не дали возможности завершить работу — он создал лишь несколько центральных сюжетов и фигур над алтарем, однако молва и по сию пору хранит предание о том, что церковь Квашвети расписана Ладо Гудиашвили. Добавим к этому орден, премии, звания народного художника СССР и Героя Социалистического Труда и получим формулу: «При жизни переходит в память его признанная молва».

Но здесь впору задаться вопросом: может ли служить основанием для мнения о благополучии судьбы художника череда успехов и наград? И вообще, каким образом воссоздается правда сложного времени и творческой биографии взыскательного, но удачливого художника? Представляют ли ее воспоминания «Я — художник» — центральный раздел в рецензируемой книге? Ведь написанные для грузинского издания в 1979 году, они полны умолчаний, дипломатических недоговоренностей, смутных намеков и неясных упоминаний о различных фактах и событиях 30—40-х и начала 50-х годов. «Одним из первых, кто покинул эту группу («Голубые роги».— Е. Х.), был сам Паоло Яшвили...». «Вслед за Паоло вскоре ушел и Тициан...» Какие «уходы» разумеет автор? Чем вызван отчаянный рефрен Давида Какабадзе «все кончено...», потрясший Л. Гудиашвили до такой степени, что он сжег шестнадцать своих полотен? Комментарии составителя здесь, как и вообще во всех сложных случаях, нет. Книга постро-

ена так, что дразнящая тайна письма Л. Гудиашвили приходит в столкновение с парадными фактами его биографии, а недомолвки вынуждают к своевольному конструированию концепции этого художественного мира. На естественный в такой ситуации путь риску вступить и я.

Подобно многим замечательным мастерам, жившим на краю, у линии обрыва, Л. Гудиашвили не мог избежать отображения чувства ужаса в другой, глубокой и сложной системе образов. На пути объяснения истоков драмы художника вполне, на мой взгляд, правомочно сопоставление способов изображения ланеподобных и полнотельных сборщиц чая или грациозных рабочих завода Ферросплавов в Зестафони (кличка «формализм» была здесь по иронии судьбы вполне адекватной) с персонажами картин иных, сильных («Свадебное шествие», «Танцовщица Оль-Оль» и другие). В полотнах 30—50-х годов главенствует поэтика фантастического романтизма. В полном противоречии с холстами 1916—1928 годов, где тонкое колористическое решение каждого сюжета, аскетическое изящество жестов включает работы художника в традицию отзывчивости и сострадания сирому, падшему, ущемленному, здесь — победительное торжество змеевидной линии: буйство страсти, разгул телесности и «страшной красоты» греха... Девы из дурного сна приветствуют праздничную красавицу под белым покрывалом. Что-то от сатанинского карнавала в таком растленном веселье, и эта, возможно произвольная, правда подтекста в художественном мире Л. Гудиашвили потрясает нас.

Зрительный ряд в книге, о которой идет речь, оказался слишком сильным и сюжетным, потому, заполняя смысловые лакуны, он перевешивает словесный ряд. Едва ли такой эффект планировался издателями книги, многие страницы которой — спору нет — содержат ценные свидетельства, важные факты и наблюдения. Однако впечатление внутренней драмы сиятельного счастливица от книги остается, а это означает, что она нужна нам в сегодняшних нелегких раздумьях о судьбе отечественной культуры.

Е. Хомутова.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. Алексеев. Грани алмаза. Повесть о Патрисе Эмери Лумумбе. («Пламенные революционеры») 333 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Гече. Библейские истории. Перевод с венгерского. 367 стр. Цена 2 р. 50 к.

Семья Маркса в письмах. Перевод с немецкого. 223 стр. Цена 45 к.

А. Спиркин. Основы философии. 592 стр. Цена 1 р. 60 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Лажечников. Ледяной дом («Классики и современники») 316 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Пушкин. Эпиграммы. 158 стр. с илл. Цена 4 р.

Русская поэзия XIX — начала XX в. 863 стр. с илл. Цена 4 р. 60 к.

Ю. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара. Роман. («Классики и современники») 447 стр. Цена 2 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Воспоминания о бере Пановой. 447 стр. Цена 2 р. 10 к.

В. Каверин. Литератор. Дневники и письма. 298 стр. Цена 1 р. 75 к.

В. Казанцев. Прекрасное дитя. Стихи. 189 стр. Цена 35 к.

Г. Нанович. Слезы и молитвы дураков. Роман. 252 стр. Цена 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Анчаров. Записки странствующего энтузиаста. Роман. 334 стр. Цена 1 р. 30 к.

Лу Яо. Судьба. Повесть. Перевод с китайского. 166 стр. Цена 80 к.

О. Попцов. И власти плен. Роман, повесть, рассказ. 511 стр. Цена 2 р. 10 к.

М. Рощин. На сером в яблоках коне. Рассказы, повести. 367 стр. Цена 1 р. 70 к.

«РАДУГА»

К. Воннегут. Малый Не Промах. Роман. Перевод с английского. 167 стр. Цена 1 р. 20 к.

Голос даленного острова. Повести. Рассказы. Стихи. Перевод с гренландского, датского. 237 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Минковский. Непохожий. Роман. Перевод с польского. 191 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Снифтески. Погребенная стоя. Роман. Рассказы. Перевод с финского. 216 стр. Цена 1 р. 30 к.

«ИСКУССТВО»

Р. Беньяш. Катерина Семенова. 230 стр. Цена 3 р. 50 к.

В. Зименко. Орест Адамович Кипренский. 1782—1836. Монография. 351 стр. Цена 12 р.

В. Иванова. В жизни и в кино. Из блокнота журналиста. 192 стр. Цена 90 к.

«Слово о полку Игореве» в гравюрах В. А. Фаворского. Рисунки, эскизы, гравюры. 258 стр. Цена 8 р.

«НАУКА»

В. Вернадский. Письма Н. Е. Вернадской. 1886—1889. 304 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Вернадский. Труды по всеобщей истории науки. 334 стр. Цена 2 р. 30 к.

В. Вернадский. Труды по истории науки в России. 467 стр. Цена 3 р. 30 к.

В. Кабаиов. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». 304 стр. Цена 2 р. 50 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

О. Деметрашвили. Тбилиссские рассказы. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 126 стр. Цена 45 к.

Т. Зульфинаров. Возвращение Ходжи Насреддина. Поэмы. Душанбе. «Маориф». 480 стр. Цена 2 р. 40 к.

Собиратели книг в России. («Деятели книг») М. «Книга». 296 стр. Цена 1 р. 80 к.

Страницы русской поэзии. 20—30-е гг. Томск. Издательство Томского университета. 463 стр. Цена 2 р. 90 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаются в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, И. Б. Роднянская, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К 6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 19.04.88 г. Подписано к печати 03.06.88 г. А 06148.

Формат бумаги 70X108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)

27,66 уч.-изд. л.

Тираж 1.110.000 экз. (3-й завод 360.001 — 560.000 экз.). Зак. 1331

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии

Известий Советов народных депутатов СССР, Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в типографии «Красная звезда», 123826, ГСП,

Москва Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

*«Новый мир» в текущем и в 1989 году
предполагает опубликовать:*

Ч. АЙТМАТОВ — «Богоматерь в снегах» (роман), В. БЕЛОВ — «Год великого перелома» (роман), А. БИТОВ — «Япония как она есть» (повесть), И. ВЕЛЕМБОВСКАЯ — «Чужеземцы» (роман), Д. ГРАНИН — «Источник любви» (роман), Ю. ДОМБРОВСКИЙ — «Факультет ненужных вещей» (роман), В. КРУПИН — «Бумага» (роман-завещание);

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ С. Антонова, В. Астафьева, В. Быкова, Ф. Искандера, Р. Киреева, Ю. Нагибина, В. Распутина, М. Рощина, Вл. Солоухина, Т. Толстой;

ПОЭЗИЯ будет представлена новыми стихами известных, малоизвестных и неизвестных поэтов разных поколений, школ и национальных традиций;

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ Ю. Афанасьева, Ф. Бурлацкого, И. Клямкина, Г. Лисичкина, А. Нуйкина, В. Овчинникова, В. Селюнина, В. Цветова, Ю. Черниченко, Н. Шмелева;

ПУБЛИКАЦИИ И ОЧЕРКИ из истории отечественной общественной мысли первой половины XX века: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Д. С. Мережковский, В. С. Соловьев, П. Б. Струве, Н. В. Устрялов, Н. Ф. Федоров (под общей редакцией члена-корреспондента АН СССР С. С. Аверинцева);

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА М. Бабановой, М. Волошиной, Н. Клюева, Н. Кондратьева, В. Набокова, М. Пришвина, Александры Толстой, В. Ходасевича;

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА: размышления о путях современной прозы, о литературной панораме 20—30-х годов, о социально-философской фантастике, о новых тенденциях в изобразительном искусстве и театре; статьи С. Бочарова — о В. Ходасевиче, И. Дедкова — о Вас. Гроссмане, Н. Коржавина — о творчестве А. Ахматовой;

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: Г. Газданова — «Вечер у Клер», А. Ремизова — «Взвихренная Русь», а также Ф. Абрамова, И. Бунина, М. Горького, Ю. Казакова, А. Платонова, В. Тендрякова, В. Шаламова, М. Шолохова;

ИНОСТРАННАЯ ПРОЗА: В. Вулф — «На маяк», Д. Оруэлл — «1984», К. Э. Портер — «Корабль дураков».

Подписка на журнал «Новый мир» принимается в пределах тиража текущего года всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.